

# НОВЫЙ МИР

1-2

---

МОСКВА

1946

# НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXIII

№№ 1—2.

Москва, 1946

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВСЕВОЛОД ИВАНОВ — При взятии Берлина, роман	2
А. СУРКОВ — Из вчерашней тетради	48
ВИКТОР УРАН — На четырех дорогах, баллада	50
Л. СЕЙФУЛЛИНА — На своей земле, повесть	51
Н. УШАКОВ — Стихотворения	81
МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ — Ленинградские стихи. Перевод с украинского Марка Шехтера	83
В. ПОЛТОРАЦКИЙ — Стихи	84
АННА АНТОНОВСКАЯ и БОРИС ЧЕРНЫЙ — Ангелы мира, роман. Окончание	85
АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ — Утром, стихотворение	138
ВЛ. КУРОЧКИН — Рассказы	139
ААЛЫ ТОКОМБАЕВ — Воспоминание, стихотворение. Перевод с киргиз- ского С. Обрадовича	145
ДМ. ПЕТРОВСКИЙ — Солдвей-разбойник	146
НИКОЛАЙ АСЕЕВ — Переводы из Адама Мицкевича	148
СТЕПАН ЩИПАЧЕВ — Два стихотворения, из цикла «Строки любви»	155
<hr/>	
ЮРИЙ ЖУКОВ — В Англии после войны	156
ЭЛЬЗА ТРИОЛЕ — Французские писатели в дни войны	175
<hr/>	
И. СМИРНОВ — Ленин и советская культура	181
<hr/>	
СЕРГЕЙ ИВАНОВ — Михаил Шолохов — писатель-депутат	190
Б. ЕВГЕНЬЕВ — Рассказы о необыкновенном	197
<hr/>	
А. КОСТИЦЫН — Сборник о Ленине	203
А. ДЕРМАН — Великие русские люди	205
В. РАКОВСКАЯ — Мир поэта	208
<hr/>	
НОВЫЕ КНИГИ	211
<hr/>	
ПАРОДИИ И ШАРЖИ: А. РАСКИН. Драматурги (Н. Погодин, В. Шквар- кин). — Худ. КУКРЫНИКСЫ. Всеволод Иванов (Дружеский шарж). — Александр ЖАРОВ. Пародии (Б. Пастернак, С. Щипачев). — Я. САИДИН Как не был дописан Чижик (Виктор Шкловский). Он прочел, (Пьеса)	219

# ПРИ ВЗЯТИИ БЕРЛИНА

Роман

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ



Глава первая

## ЕГО СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

1

Виктор Ильич Михеев, молодой, способный художник, работавший иллюстратором в широко распространенном московском «Журнале», начал чувствовать, что его семейные отношения запутались. Думал ли он о жене, о матери, о своем ребенке, быть может, рожденном и умершем в немецкой неволе, ему почему-то представлялся луг и стадо, виденное им в детстве. На лугу было много солнца, и особенно много возле стожка сена, которое тербило забредшее откуда-то стадо. Тербят неотвязно, и уж дорастеребят. Ему б взять хворостинку, прогнать, а он, мальчишка, стоит и смотрит... нехорошо!..

Разумеется, Виктор Ильич никак не расшатал своего убеждения, что семья — великий и высокий долг человека, выше которого только долг перед родиной! Наоборот, он укреплялся в этом убеждении, ненавидя людей, которые создавали семью мимоходом, презирая тех, кому поцеловаться с женщиной, сойтись с нею было легче, скажем, чем остричь ногти. Он готов ждать и искать свою семью бесконечно долго. Желания и мысли о женщинах редко посещали его, а если и посещали, то он умел их отогнать. И, однако, он сознавал себя виноватым перед своей семьей. Почему?

Не потому ли, что он реже и реже вспоминает жену, ребенка, мать, тогда как именно сейчас, накануне новой поездки на фронт, где он мог, наконец, найти свою семью, угнанную немцами, ему следовало б думать о ней непрестан-

но? Не шептал ли он прежде, засыпая ночью, как молитву: «мой, наш ребенок, найдется»..., причем слово «наш» старался шептать с интонациями жены, чуть притушенными. А теперь? Теперь он редко думает о ребенке, а если и думает, то ему представляется, — как бы передать это поточнее, — нечто ничье, нечто больше умственное, чем чувственное. Правда, он не видал своего ребенка, может быть его даже и нет, если действительно, как видел отец, весь деревенский обоз раздавили немецкие танки... Ох, какие гнусные оговорки! И всякий раз, перебирая свои мысли о семье, он содрогался, краснел, ему было стыдно.

А в особенности ему было стыдно, когда он сравнивал свое недавнее прошлое с настоящим. Значит, есть разница? Какая же?

2

Считая семью одной из важнейших обязанностей, он долго и настойчиво выбирал подругу жизни. Из-за своего, порой несколько отвлеченного ума, он был склонен к продолжительным размышлениям и обобщениям. настолько, что в институте живописи, который он окончил блестяще, ему предсказывали карьеру профессора и исследователя искусств. И никто не удивился, что он вступил в брак с Ириной Лонговой, библиотекаршей института: это была умная, настойчивая, склонная к науке, к популяризации ее, девушка; при том красивая, с прекрасными белыми руками, которые не двигались по книгам, а текли, лились волшебной струей. Студенты завидовали Михееву, учебный персонал предсказывал ему счастье и удачу.

Так оно и случилось. Виктор и Ирина Михеевы были счастливы.

Виктор рисовал картины, много работал в «Журнале», иллюстрировал книги, читал, ходил по музеям, библиотекам, жена помогала ему советами — она читала лекции на библиотечных курсах, и, когда она, вычерчивая сложные диаграммы, держала в руке линейку и карандаш, а глаза ее были устремлены на широкий лист бумаги, Виктору казалось, что в мире нет ничего важнее библиотек, книг и библиотечных работников. Он целовал ее руки и говорил, что если ему подавать книги такими руками, он прочтет все книги мира.

В мае 1941 года, узнав, что жена беременна, Виктор отправил ее на лето в Смоленщину, где отец его был председателем колхоза. Мать художника, Степанида Кузьминишна, сама приехала в Москву, чтобы проводить в село невестку. Родные пришлось ей по духу, она чувствовала себя великолепно, он отвечал ей в письмах розовыми, зрелыми словами. Он дивился на свою любовь и был доволен ею и каждое письмо заканчивал так: «Живу тобою, дышу тобою, жажду и завидую сам своему счастью. Никогда, никому не занавесить нашей любви».

Новый дом «Журнала», где жил Михеев, разбомбили. Виктор Михеев переехал к родителям жены на дачу.

Однажды, неожиданно, вошел с котомкой его отец. Сгорбленный, седой, иссушенный злобой к немцам, с окаменелым лицом он проговорил безумным, быстрым голосом:

— Ездил ты, слышал, не пробрался к нам. Куда? Колхоз-то уходил обозом: жены, имущество, скот... семейные. Ну, и наша — тоже!.. А как вышли они на большое шассу, возле Тайновского болота, помнишь, — от Важницы-то на них: танка! Одиннадцать, одна другой выше, танка-то!.. Шассу, как дождем, кровью залили, дрожит она аж вся... Так всех, Виктор Ильич, и подавило, и остались мы с тобой сиротами... Подавило!..

Виктор не мог выговорить ни слова. Он только раскрывал и закрывал сухие, пощипанные губы. Старик продолжал безумным своим говорком, то завязывая, то развязывая котомку, где лежала краюха хлеба и рваные сапоги:

— Ну, кто уцелел — в поле, через болото, побег. А тех на кочках пристрели-

ли. Забавлялся «он». Один, помню, очки, — у-уче-ный, выходит, стерьей, — очки снимет после выстрела-то, похочет да опять стрелять. По детям... по деткам. Ну, отошла танка эта, почал я семейных искать, наших. Да где найдешь? Там да здесь лежат они, вверх личиками, простреленные детки да жены... и ничего по лицам узнать нельзя, месиво, сынок. — Туго затянув котомку, точно завязав свое горе, он вздохнул и сказал. — И потянулся я к тебе, сынок, посоветоваться. Тля пошла по земле, ядовитая тля, сынок...

Виктор, собравшись с силами, проговорил:

— Гнать, уничтожать, до Берлина дойти, до тла уничтожить и прогнать!!

Отец, помолчав, сказал:

— Ты, стало быть, в армию? — И опять помолчал. — Обожди только денек-другой. Язык, голова у меня будто заржавели, а душа как в дыму... смерть, что ли, зовет, надо бы проверить тебе...

Старик Илья Михеев, председатель колхоза «Пятнадцать лет Октября», вскоре умер. Виктор сам вырыл ему могилу, сам сколотил гроб и на короткой телеге, взятой в соседнем санатории, сам отвез своего отца на кладбище.

Вскоре после смерти отца сестра жены, Анна Алексеевна, сошла с ума. От немецкой фугаски загорелась дача Лонгсвых. Сынишка Анны Алексеевны, дежуривший на крыше, был убит взрывной волной. Тесть, заслуженный педагог Лонговой, поехал в воинскую часть читать лекцию. Часть находилась неподалеку от переднего края. Во время артиллерийского налета Лонговой был тяжело ранен осколком снаряда и, промучавшись день, скончался.

Советские армии отступали. Нежно любимые, родные люди гибли. Горели зажженные рукой врага древние русские города. Враг подходил к Москве. Казалось, невозможно испить до дна эту чашу. Однако Виктор Михеев испил ее — мужественно и с надеждой. Он надеялся на победу и, мало того, надеялся встретить свою мать, жену и ребенка живыми и здоровыми. Ненасытная эта надежда упорно толкала его вперед. Худой, вытянутый, черный от ненависти, пришел он в московское ополчение. Терпеливый, тароватый, боелюбивый, он дрался за четверых, а отдыхал в одну треть. Рота назвала его «дельным», а ба-

тальонный — «славным русским солдатом». Однако и здесь достиг его кнут несчастья! Зимой сорок первого, при разгроме немцев под Москвой, вражеская пуля пробилась ему грудь, он пролежал два с половиной месяца в госпитале и навсегда был освобожден из Красной Армии.

Веря, что семья его жива, Михеев поехал в Бугуруслан, где расположено было Центральное справочное бюро по розыску близких. «В списках бюро ваших близких не обнаружено», — ответили ему несколько раз.

«И все-таки я их найду!», — упрямо думал он.

## 3

Когда он вернулся в Москву, «Журнал» предложил ему снова взяться за карандаш.

У Михеева была настоящая, твердая и одновременно эластичная воля, которую он проверил при весьма разнообразной деятельности, при целом ряде трудных, следующих одна за другой, скучных и тяжелых работ.

Интенсивность и энергия воли соединялись в нем с продуктивной и творческой силой мышления, как в мае месяце тепло и свет соединяются с землей. Большая продуктивность и духовная творческая сила делали его оригинальным, своеобразным, — но пока что это была только луковица, из которой еще не выкинулся стебель цветком.

Неведомое беспокойство грызло его. И, когда он стал опять рисовать, он понял, что это было беспокойство мести: ведь он мог после ранения оказаться бесплодным! Быстрый, бешено злой карандаш его должен быть близок алчным к подвигу бурным душам, населяющим ныне Москву. Москва, и без того всегда молодая, казалась ему совсем поюневшей.

И, однако, карандашные его рисунки печатали с затруднением. Щадя его военные заслуги и раны, ему в глаза советовали «доработать», а за глаза говорили, что, к сожалению, талант его принял сложные, малопонятные и тяжелые, как крутая лестница, очертания. Разумеется, много навредила ему и ссора с известным художником Тереховым.

Художник Лука Терехов — средней интеллектуальной одаренности, среднего света, как, скажем, лучина. Но

приближение его — неусыпно, настойчиво, последовательно и ловко, прилежание уже более сильного света, например, света свечи. Он основательно образован, превосходно знает итальянских мастеров, хотя и говорит, что учился на Сурикове и Репине. У него работоспособность лисицы. Но творческого отпечатка на его работах нет, хотя он не лишен некоторой фантазии, размеры которой относятся к Сурикову или Репину так же, как размеры ладони к размерам городской площади. Он много говорит о России, русском гении, и по этому поводу Михеев сказал:

— Он знает, что портки русского мужика собираются из двух штанин и очкуры, и что нижние части штанин называются сополи. Но как болтаются на ногах мужика эти штанины и как играют на них отсветы спелой ржи, да еще с васильками, (да еще найдя этому правильную, исчерпывающую форму выражения), он в жизни не напишет!

Кто-то передал эти слова Терехову. Сморщив лоб, низкорослый, выставив вперед толстое колено и лоснясь белым жирным затылком, Терехов остановил Михеева в клубе художников и, играя пальцами, точно втасовывая карты в колоду, спросил:

— Виктор Ильич! Дорогуша. Не дадите ли ключика к вашим словам о моих порточках?

Михеев сказал:

— В искусстве иногда потребности общества превышают размеры имеющихся талантов и на запросы общества отвечают таланты мелкие, если они вообще таланты. Такие ответчики претендуют на значение руководителей художественных школ, Райнольд, например, или Рафаэль Менг.

— А у нас?

— В данное время?..

— Да, в данное время.

Михеев подумал и сказал:

— В числе других я мог бы назвать и ваше имя.

Терехов вспыхнул и почти взвизгнул:

— Портки, так сказать, не по ногам!

— Не по ногам, — сказал, улыбаясь, Михеев.

— И вы, Виктор Ильич, считаете нужным сдернуть эти порточки и натянуть на себя? То-то вы вокруг себя молодых художников собираете?!..

Михеев сказал:

— Я никого не собираю. А если мы когда и собираемся, то это выходит само собой. Чем будет больше правды в кисти художника и в его жизни, чем будет меньше эгоизма, тем скорее распустится во всю силу наше искусство. Причем, не исключена и та возможность, что чем выше категория искусства, тем субъективнее и род его творений, тем оно, так сказать, дифференцированнее. И мы хотим...

— ...лелеять гениев?

Михеев спокойно сказал:

— А почему бы и нет? Ведь согласитесь же, что ничтожество, выдаваемое за гения, пользующееся признанием — очень вредное явление в искусстве. Искусство должно идти вперед, а тут — тишь да гладь, никто не беспокоит, никто не принуждает к полной перемене привычек, а привычки — такое уютное занятие...

Теребентьев затасовал руками и воскликнул:

— Позвольте, ну а я-то при чем тут? Неужели и я — привычка?

— И вы привычка.

— Дурная?

Михеев пожал плечами.

— Я, по-вашему, может быть, даже и эгоист? Пошляк? Идиот, наконец?

Михеев, побледнев, сказал:

— Ну зачем же так...

— А выходит — так! Потому что вы отрицаете мой талант, завидуете, а у самого таланта нет и на горошину. Да! И порточки вам с меня не сдернуть, не сдернуть, сколько бы вы ни старались!

Теребентьев убежал, тасуя руками.

Михеев вернулся к Ивану Смирнову, приятелю-художнику, где временно жил, вернулся с отвратительным чувством обиды, огорчения, даже одиночества. То, что Теребентьев не простит резкостей — плевать! Это, действительно, эгоист и в жизни, и, что страшнее всего, в искусстве, и сказать ему правду только приятно. Но вот — ты? Не ходишь ли ты сам по кромке искусства, за которым начинается одно умствование?

Он сказал Смирнову:

— Легко бить в колокол обличения и обличать таких, вроде Луки Теребентьева. А вот каков ты сам?

— В таком случае лучше всего посмотреть свои работы, Виктор!

Достали работы, посмотрели.

Лжи в них не было. Эгоизма — нет. Искусство есть стремление воспроизвести жизнь, идеи, — и, значит, приблизиться к ним. И, как таковое, оно тем совершеннее, чем лучше и ярче умеет запечатлеть сущность жизненных форм и явлений, в должной мере отводя место и общему основному, и личному индивидуальному.

— Виктор! Ты отчетливо и ясно не сешь свою идею!

Резко, откровенно, как родному отцу, Михеев открывал и рассказывал своему народу всю тяжесть и всю редкую сладость свободного подвига. — подвига труда и борьбы за счастье народа. У, как тяжела своя собственная сила! У, как труден подвиг творческой славы! И, однако, наши люди идут на него, идут с охотой, с гордостью.

И вот война с фашизмом. Как невыносимо тяжело преодолеть страх смерти, страх сражения. Быть может, черты людей слишком индивидуальны? Быть может, сложна форма выражения, мало простоты?.. Но неужели же это хуже теребентьевских мозаик, где собраны черты людей не из наблюдений в глубине народа, а наблюдений в глубине старых полотен, и, где, если вынуть каждую деталь отдельно, можно назвать автора, которому она принадлежит.

— Нет, наше искусство дойдет до народа! — сказал он вслух, — дойдет!

— Дойдет, Витя! — отозвался Смирнов. — Будем работать.

Михеев работал и думал. «Истина и красота, — думал он, — вот два высших проявления духовной и физической жизни. Красота есть физическое выражение истины, то есть идея в ее воплощении. Красота, разумеется, в индивидах редко воплощает собою всю истину, но случается, и если этого добиться, то есть передать красоту совершенную — цель жизни художника достигнута».

#### 4

Борясь с эгоизмом в искусстве, Михеев, естественно, боролся и с малейшими оттенками эгоизма в самом себе. Он много думал о себе и о своем искусстве, взвешивая замечания других, ища ошибок и заблуждений.

Он старался быть искренним, потому что истина недоступна без искренности.

«Если я нахожу в себе изменения,

свидетельствующие о моем несомненном охлаждении к семье; если говорят, что мои картины скрывают в себе элементы некоторой замкнутости, то не показывает ли все это, что на меня влияет что-то чужое, с которым мне угрожает опасность скатиться вниз?», — думал Михеев.

И, роясь в памяти, Михеев заметил, что, вспоминая друзей и знакомых, его мысль чаще других вспоминает Сашу Озимкову. Он рассмеялся. «Здесь — истоки моего стыда перед семьей? Отсюда — замкнутость моих картин?»

Михеев встретил ее впервые в Исполкоме Союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, куда направился в надежде отыскать свою семью.

Подобно другим посетителям, бледный, взволнованный, он сказал работнику отдела с настойчивостью стрижа, мчащегося к своему гнезду:

— Нужно во что бы то ни стало найти мою семью!

Ему ответила Саша Озимкова, спокойная, чистая, с сочным и спасительным взглядом голубовато-серых глаз. Еще не слыша ее слов, но от улыбки, от жеста, которым она поправила головную шпильку, Михееву подумалось, что это тот самый работник, скупым и точным словам которого все охотно поверят. Учтиво посмотрев на него, Саша благодарным и благодетельным голосом сказала:

— Мы найдем вашу семью, гражданин.

Сколько в этом благородного, бодрого ума, когда она со смелостью, чуть ли не божественной, берется довести до конца дело почти неисполнимое: отыскать песчинку на берегу, заливаемом бушующими волнами моря!

Михеев, облокотившись на деревянную балюстраду, отделявшую посетителей от служащих, немедленно изложил ей не только признаки, по которым можно найти его семью, но и свои принципы о семье и семейном долге.

Она ответила с прежней, уверенной откровенностью:

— Разделяю все ваши принципы, товарищ. Заранее уважаю вас, хотя и не знаю совершенно.

Михеев назвал свою фамилию. Она не слышала такого художника. Впрочем, она совершенно незнакома с искусством, разве немного знает музыку...

Подобно всем художникам, Михеев хорошо изучил горькую и старую истину, что внешность обманчива. Но внешность Саши никого не обманывала. Вы сразу видели перед собой сильную и смелую натуру. Большой лоб, огромные глаза, стройное тело, все устремленное к голове, поддерживающее голову, как дорическая колонна поддерживает крышу.

Густые волосы рыжего цвета с тем диким оттенком, который дают горы, лежали гладко, смиренно, благополучно и, однако, чем-то похожи на горящий факел... голова эта очаровывала его своим неустанным стремлением к мысли, и часто, вернувшись к себе, на диван приятеля, он с веселой истомой делал по памяти наброски с нее. В этой прекрасной истоме не было ничего нечистого. Его ум попрежнему оставался крепким, и он попрежнему крупным шагом настоящего художника, взобравшись на крутой берег своих мыслей, шел вдоль реки искусства, влекущей обширные, плодоносные, плотные свои воды в океан вечности.

Искусство!..

Он много рассказывал ей о живописи, работах учителей и товарищей. Он рассказывал ей о задуманной им картине — Сталин, Царицын, Волга, 1918, 1919 год, молодая, но ярко блестящая, как Большая Медведица, указывающая полюс мира, — Республика. Может быть, картина будет называться «Сталин встречает поезд с вооружением из Москвы» или просто «Сталин в Царицыне», трудно сказать... Сталин идет по перрону... или что пристани... в руке у него что-то письмо... наверное, письмо от Ленина. «Прочтите статьи Ленина и Сталина, относящиеся к этим годам, непременно перечтите!», — восклицал Михеев. И он опять возвращался к своей картине. Солнечный, яркий день. Он не понимает, почему некоторые картины, относящиеся к Октябрю, такого мрачного, серого колорита. Ведь тогда было столько света, красок, движения, и все это так тесно было связано между собою... Итак, солнечный день на Волге.. Поезд... рабочие выгружают оружие, ящики с патронами. Казак, прибывший откуда-то из донских степей, что-то горячо говорит трем рабочим. Рабочие возле оружия и ящиков прислушиваются. Вдали проходит на фронт батальон пехоты... Сталин задумался...

Ах, это искусство! Оно так смягчает сердце, когда говоришь о нем, и так хочется следовать за ним далеко-далеко...

— Далеко-далеко, — говорила Саша, и казалось, что она понимает ту даль, о которой говорил Михеев.

## 5

Саша часто уезжала в командировки, посещая прифронтовые города, где сосредоточивались освобожденные из немецкой неволи, или далекие тылы, где еще обитали беженцы. Она жила в селах, плавала на пароходах, ездила в поездах, подолгу дежурила на станциях, «проталкивая» какой-нибудь состав с беженцами, шла с обоями возвращающихся на родину крестьян. Она видела и говорила с тысячами, она помнила тысячи фамилий, которые надо отыскать и направить туда-то, но среди этих тысяч она непременно вспоминала одну:

— Семью художника Михеева не встречали? Они из колхоза «Пятнадцать лет Октября» со Смоленщины. Жена, мать... должен быть ребенок.

Каждый раз, возвращаясь из командировки, Саша немедленно звонила Михееву по телефону. Глубоким, добросердечным голосом она говорила:

— Ничего никто не знает, Виктор Ильич! — и, вздохнув, добавляла: — Приходите, расскажу подробнее.

— Какие же подробности, если «ничего»?!. — грустно отзывался Михеев.

— Чем больше «ничего», тем видней надежда, — говорила она. И эти старинные слова, которые тысячелетия повторяет оптимизм, казались в ее произношении тем сухим древесным трупом, в который попадает искра и который быстро разжигает костер.

Михеев с удовольствием слушал ее рассказы о поездках. Саша обладала способностью хорошо описывать предметы, способностью, которой, как казалось Михееву, сам он наделен мало. И способность эта была ей свойственна от просторного воображения. Правда, ее воображение, как она сама сознавалась, с трудом выходило за рамки семьи, но война так широко раздвинула эти тугие семейные рамки, — а у людей отзывчивых — особенно, — что Михееву думалось, будто и он сам вошел

в эту широкую семью, тем более, что и его семью — жену, мать, — Саша, видевшая только их фотографии, могла описать с удивительно четкими подробностями, словно они были ее подругами или долго жили в одной квартире,

А она описывала загородный домишко своего дяди, куда удавалось ей съездить иногда. Сосна перед домишком, дятел, бегущий по стволу и похожий на веретено, распухшие под дождем изголуба-серые заборы, три-четыре стебелька брусья подле сосны, соломенную шляпу, лежащую на террасе, сияющую под солнцем и колеблемую ветром, удочки дядины, и крик утки через дорогу, похожий на удар в бубен... Жизнь ее, как весло, опустившееся в утренние, неподвижные воды, — приятно сидеть рядом с ней на скамейке и быть ее ближним, именно ближним, а не близким, даже не ее другом...

«Почему же мне не стремиться быть ее другом?», — спрашивал он сам себя, глядя в ее глаза, теплые, как сумерки в конце августа. Он переводил взор на ее прическу, на очертания ее губ: «Разве ты боишься чего-нибудь?!»

И возникла мысль, которая обрисовалась теперь, после ссоры с Терепеньевым, особенно полно и четко, мысль или, вернее, предмыслие, что Саша каким-то непонятным образом способна испортить ему что-то такое, до чего он боялся и дотронуться, хотя и предполагал, что думает об этом постоянно.

Если раньше это предмыслие, предмыслишка посещала его по одному-два раза в день, то теперь липко осела, вставала по сто раз, грубо впилась в него.

«Но, ведь нет же ничего конкретного! — восклицал он в ужасе и стыде. — Есть только доброжелательство, есть самое достойное поведение с ее стороны. Следить надо за собой и отойти от этих дурных помыслов».

«Но есть еще что-то другое, в чем ты боишься сознаться, — говорил ему какой-то гадкий, какой-то глиняный голошишко. — И все-таки в этом придется сознаться. Они придут, достаточные и достоверные доказательства этого досадного другого».

Во рту образовывался соляной вкус. Он нервно клал ногу на ногу, отбрасывал работу и, как всегда в таких случаях, низко склонял голову, точно пытаясь рассмотреть свои подметки.

«Откуда придут доказательства? — спрашивал он сам себя. — Откуда и почему?!»...

## 6

Нежный и, как ему показалось, разноцветный голос Саши проговорил в телефон:

— Здравствуйте, Виктор Ильич. Я опять приехала, да! Огромные новости, преогромные! Была в Праге, предместье Варшавы... мой брат, — он лечится там, — он очень деятельный... ах, как я рада за вас, Виктор Ильич! Вы слышите?..

— Да, да!..

— Он, понимаете, наткнулся, наконец, на следы вашей семьи. Что с вами!.. Почему вы молчите?

Михеев улыбнулся долгой и напряженной улыбкой:

— Молчу потому, что слушаю вас.

— Виктор Ильич! Великая весть! Когда вы придете за подробностями?

— Сегодня вечером... — смущенно, запинаясь, ответил Михеев.

— Тогда говорите же!

— Но что мне говорить?

— Ну, что вы рады!

— Я? Я очень рад!..

И тут, на другом конце провода, ему послышалось всхлипывание: наверное оттого, что Саша думает, будто он необыкновенно смутился от радостной вести и может быть даже плачет.

А он смутился, более того—пришел в ужас, что весть эта не была для него радостной.

Стыдно признаться, но он нашел главную, отвратительную и гнилую причину своего охлаждения к семье: к жене, к матери, к ребенку, к своему ребенку. Отсюда этот туман, это холодное нытье в сердце, отсюда, быть может, эти грязные тона в его картинах, которые неприятны людям.

Он — любил.

Он, не имевший никакого права на любовь этой девушки, не только любил ее, но и жаждал ее любви.

Такова жестокая, но давно желанная правда.

Между тем, дружеский и ласковый голос звенел попрежнему:

— А сейчас что же?!..

— Что сейчас?

— Ну, сейчас вы притти способны?

— Сейчас? Сейчас не могу притти.

— Тогда я вас жду вечером, в седьмом часу, как всегда.

## Глава вторая

## „В СЕДЬМОМ ЧАСУ, КАК ВСЕГДА“

## 1

Михеев пришел не в седьмом часу, как всегда, а в одиннадцать. Для разговора, стало быть, он оставил минут сорок, сорок пять: у него, и Саше это известно, нет ночного пропуска, а хождение по городу до двенадцати. «Если уж петля, так покорооче», — жестко думал он, поднимаясь по темной лестнице.

А Саша освободилась рано. Она начала ждать его с пяти. «Вдруг он вздумает притти пораньше». Тем более, что и все остальное получалось согласно ее самому скрытому, тайному желанию. Квартира пуста: мать отправилась на дачу к брату, соседи разошлись кто куда.

И тогда помыслы ее с дерзкой быстротой устремились по одному неизгладимому и родному следу.

Она ждала его, ждала со сдавленным сердцем, сгорая и холодея от счастья, застенчивости и предчувствия чего-то страшного.

Она почти с вдохновенной ясностью воображала, видела каждое его движение, каждый долгий его шаг, видела каждую его мысль. О, его мысли! Она боялась их. Она уважала, разумеется, его размышления, но все же ей иногда казалось, что он разводит огонь на болоте, в особенности, когда говорит о каких-то там теребенъевых, тьфу на них! Он так расточителен. А как она радовалась его островам, его охоте за аллегориями, когда кажется, что ты уже подстрелил истину, а на самом деле, дай бог, если оцарапал ей кожу, ха-ха...

Часто, вместе с ним, она ужасалась его отвлеченностям, разделяя его уверенность, что страсть к отвлеченностям указывает на отсутствие способности представить предметы и идеи в чувственном образе. Но стоило ему сгоряча назвать все свое творчество бескрылым, как она, возмущившись, уже не верила ему. Тогда она смеялась над опасениями, сжигающими его душу: ему, видите ли, думает-

ся, что он чересчур развивает свой ум, чересчур много читает, особенно теоретической литературы. Не поражает ли чересчур отвлеченный ум волю и воображение, создавая много запретительных преград?

— Чтобы действовать, бороться, рисковать, — воскликнул он, — надо навечно и беспощадно проникнуться одной идеей! Идея, как шелковая материя, должна плотно облегать тело и душу.

Она, смеясь, возражала, что есть шелковые материи, которые плохо гнутся, например, парча. Именно только один ум, как плотина воду, способен собрать чувство и направить его по одному руслу. Глаза ее, голубовато-серые, приобрели нежный оттенок, и вся она наполнилась юной, огромной нравственной силой. — и Виктор трепетал, и она чувствовала его трепет.

И тогда она вслух начинала описывать ему его картины, спрашивая после каждого описания: «Так значит, этот ум рассеивает чувство? Неправда! Тут, Виктор Ильич, каждый вершок вымощен чувством!» Она говорила, что он описывает не только рослых, дородных, дюжих и видных силачей, смелых и удачливых, побивающих одним махом десятки врагов и разные чудища. Нет. Он умел написать «Богатырище», но рядом, напряженно и остро, сделал «Богатыренка», где слабый, маленький человек делает свой подвиг. Поле. Пала лошадь, впряженная в телегу. Лошадь везла большую слугу, должно быть, очень нужную в семье. И богатыренко, взвалив слугу на плечо, тащит ее в деревню. Или другая картина: «Их свойство». Горит подожженный немцами город. Старуха, полуслепая, нищая, голодная, выносит из города троих детей. И еще. Сражение. Утомленная девушка, тоненькая, — былиночка, как говорят, — под снарядами, сама раненая, дрожащая, ведет с поля боя бойца. Но особенно почему-то Саше нравится «Дивище». Дорога, залитая солнцем, с веселыми травами, которые так умело пишет Виктор Ильич. На дороге озверелый, с цепью на шее медведь. Испуганный поводыренко за ним. И какой-то странник, с клюшкой и котомкой, бесстрашно остановился против медведя, не пускает его. Дальше, с холма спускается воз с мешками, на мешках спит женщина, кони уже испуганно поводят ушами и вот-вот, если странник, этот

сморчок, не остановит медведя, понесут и, быть может, убьют спящую женщину...

И, подумав, он говорил, заложив, как всегда в таких случаях, ногу на ногу и наклонив голову, словно желая разглядеть свои подметки:

— Я хватил через край, Саша! Вы правы. Сильный ум способен схватить и различить все идеи, как хороший напильник способен обработать и тот, и другой металл. Истинный ум различает идеи, действия и, пожалуй, главное — их взаимную подчиненность. И этот свежий, сильный ум, вроде вашего, всегда увидит, что ему надо делать, Саша. Любая задача имеет свое, наиболее верное и скорое решение. И если я не могу ее решить, то это не от излишка ума, а от недостатка знаний. Вы правы, Саша.

— Ну, вот, теперь вам кажется, что у вас мало знаний, Виктор Ильич. Право же, вы себя снабдили ими достаточно хорошо...

И вот этот своенравный, беспокойный, изменчивый человек, мерещилось ей, уже поднимается по лестнице.

Он жилистый, у него тяжелые кости, он склонен к противоречиям и, в сущности, он должен быть ей очень далеким. А она видит его перед собой отчетливо, как не видала никого и никогда! И это незнакомое, неудобное чувство пугало и прельщало ее.

«Как никого и никогда», — думала она, только со слов подруг зная, что кого-то когда-то обнимают, целуют, надолго остаются вместе. И вот, она впервые в жизни сделала так, что квартира пуста, они н а д о л г о останутся вместе. Зачем? Он женат. Он уже нашел семью, которую он очень любит. Да и она относится к этой семье хорошо, почти любит их... Что же произойдет?.. И она вздрогнула от испуга. Ей хотелось, чтоб реже звонил телефонный звонок. И чтоб звонил почаще! И чтоб не пришел посторонний. И чтоб скорей пришел кто-нибудь, именно посторонний, и сидел долго, путаясь в их разговоре, как гребень в свалывшихся волосах!

Весь вечер ей мерещилось одно и то же: вот он поднимается по лестнице упругим и громко-звучным шагом. Он смотрит на поворотах в окна лестничной клетки. Уже осталось внизу здание школы, в которой она училась. Их дом так высок! Он уже поднялся выше купола старинной

церкви, пробитой снарядом. Уже под ним почти все крыши новых зданий. Видны на крышах стволы зениток и пулеметов. Он смотрит сверху на Москву. От сажи, обильно падающей из укороченных заводских труб, снег на крышах соловый; небо над ними бледнозеленое. А среди этих четких, резко очерченных домов, где жизнь представляется согласной, смелой, простой, течет река. По реке день и ночь, шмыгает низенький темный пароходик, таща за собой через лед и полыньи длинные и плоские нефтеналивные баржи. Он ходит так всю зиму, этот своеобразный ледокол, и нигде и никто не упоминает о его работе. Михеев стоит и думает: «А ведь ему, наверное, чертовски трудно. Хорошо бы написать о нем картину, помочь ему». И хотя Саша знала, что теперь ночь, и не видно ни школы, ни церкви, ни реки, ни пароходика, это все стояло перед ней неотступно. Ей казалось, что она сама подходит на эту реку и что хорошо бы, если бы Михеев написал о ней картину или, в крайнем случае, подумал, что напишет.

## 2

Когда он вошел в переднюю, она крепко взяла его руку в свои горячие и сильные руки.

— Сегодня мы будем совсем простыми, — сказала она, и видно было, что ей весело, радостно и беспокойно, и что она не знает, сколько сейчас времени.

— А разве вы бывали непростой? — спросил он, улыбаясь и жалея, что пришел так поздно. — Простите, меня задержали...

— Да? А у нас в квартире никого нет, — сказала она, краснея. — Я немного трусила и волновалась.

Голос у нее грудной, волевой, чуть грубый, и он, видно, не сорвется, если она и вздумает поднять жернов. Но здесь он срывается, дрожит...

— Теперь будем защищаться двое, — проговорил он, и голос его тоже дрогнул, и он тоже покраснел.

Саша подошла к дивану, перебрала оттуда на стул вышитую синюю подушечку, согнала котенка, но сама на диван не села. В упор посмотрев на Михеева и явно говоря не то, что желала сказать, а готовясь лишь к этому, она проговорила:

— Я видела последний ваш рисунок в

«Журнале». Он... помните — дуб, дым, убитый немец у забора...

И замолчала.

Виктор как-то виновато улыбнулся, вскинул ногу на ногу, наклонил голову, словно рассматривая свои подметки, и проговорил:

— Рисунок не сильный. — я сгреб в одно слишком много представлений...

— Да, рисунок не сильный, — глухо отозвалась она, берясь за спинку венского стула и покачивая его. — Виктор Ильич! Вы что-то хотели сказать.

Глаза ее смотрели сильно, радостно. Обстановка в комнате была бедная, и хотя печь натопили тепло, но видно было, что дрова последние. И тем более сладко смотреть в эти глаза, которые согревали его сильнее любого пылающего очага!

Тут он подумал: «Разве жизнь — прогулка по морозцу, после которой приятно согреться у очага? Жизнь — высокая и заповедная гора, разлучающая долины. Я веду себя по отношению к своим обязанностям плохо... расточительно, с точки зрения долга».

Поэтому, опустив взор к подметкам ботинок, он сказал так строго, как это возможно было при данных обстоятельствах:

— Вы, Саша, верно уловили плохую связь между моими представлениями...

— Да? — спросила она радостно.

— Я говорю о моем рисунке в «Журнале».

Тихое «да» было произнесено уже другим тоном. Делая вид, что он невнимательный и ненаходчивый, Михеев продолжал:

— Настоящий художник должен связывать предметы принципами, обязательными для всего человечества... для лучшей части его, хочу я сказать, Саша. Идея — вот наиболее крепкая совокупность отношений, столь крепко связывающих все предметы, что их можно уже охватить одним взглядом...

Она прервала его:

— А любовь — идея? В том смысле, Виктор Ильич, что есть конечные идеи. Конечная она или над нею есть еще более высшая?!

Она спрашивала, поглаживая красивого серого котенка, не по возрасту уса-

того. Он сказал:

— Саша! Вам самой прекрасно известно, что и над любовью есть еще более высшая идея.

Он говорил с усилием. Боясь и ожидая его догадливости, разгадки ее мыслей, она спросила робко:

— И над любовью? Какое же это «и». Какая идея выше любви?

В обращении со своими чувствами он был смел, как опытный врач со своим больным. Однако с большим трудом, внутренне браня себя за ~~изнеженность~~, он выговорил эту суровую истину:

— Самопожертвование.

— Самопожертвование?!..

— Самопожертвование, Саша. Долг, обязанности...

— Оно абсолютно выше всего? Самопожертвование!.. Какое длинное слово, в горло не влезет, как войлок.

Он встал.

— Абсолютно! — проговорил он почти с отчаянием.

И добавил:

— Не думайте, Саша, что самопожертвование легко дается... путь извилисто кривой. Но посредством рассуждений, посредством страстного желания знать, как и что объединяется в людских отношениях, как и что жертвуется, вы, Саша, придете к самопожертвованию.

Когда она бывала особенно нежна и мягка, мать, страстно ее баловавшая, осмеливалась упрекать ее в бестактности. И сейчас сказать бы ему: «А вы, Виктор Ильич, на трамвай опоздаете». Недовольная собой, она взбила рукой свои волосы. Голова была горячая. Она посмотрела в нахмурившееся лицо Михеева и подумала: «Почему он такой надутой?» Ей стало жаль его и уже не хотелось быть капризной. Она сказала:

— Рассуждения! Разве идея — заставляющая повозка, которую надо все время подталкивать?

— И одновременно не подарок. Подать, которую должны выплачивать все мы...

— Буря, а не подать!

— И подумайте, — продолжал он, понизив голос, легонько вздыхая, словно они уже миновали наиболее тяжкий подъем, — есть личности, для которых идея не имеет жизненного значения. А вот уж именно: листки книги, не соединимые никаким, даже самым искусным переплетчиком. Для них идея всегда пустой, порожний сесуд. Почти незвидимый.

Часто они думают, что другие, принимающие и живущие идеей, ошибаются. А между тем, каким они сами служат вздорным идеям...

## 3

Она молчала.

— Встречался мне один человек, который весь свой рассудок и помыслы сводил к тому, чтобы кого-нибудь толкнуть ногой...

Она подумала: «А вы, дорогой Виктор Ильич, не толкаетесь?» Ей опять захотелось сказать что-нибудь короткое, резкое, коварное, — и опять стало жаль его, и она мирно проговорила:

— Продолжайте.

— ...толкнуть не в переносном, Саша, а в буквальном смысле. Во всех других отношениях это был разумный, дельный человек. Но не было для него лучшего удовольствия, как, процитировав Крылова: «Соседа толк ногой», близенько подобраться к кому-нибудь и быстро, крепко толкнуть, так, чтоб тот взвизнул. Я был тогда мальчишкой. Он толкал меня безнаказанно... натурам самолюбивым, в детстве кажется, что их все толкают... мне тоже... но из всех толчков его толчки были самые непереносимые. В них я чувствовал не шалость, а, если хотите, идею. Пакостную, но идею. Помню, слюни у него текли, когда он рассказывал, как он толкнул Пуанкаре. Читали, Саша, — президент Французской республики приезжал в Россию в 1914 году? Ну так вот, он, мой толкунчик, пробрался к нему, к Пуанкаре, цветы, что ли, поднести, и утолил-таки жажду, толкнул.

Саша напряженно засмеялась.

И добавила:

— Мы одни в квартире, и голоса раздаются, как гром.

Он спросил спокойно:

— Говорить тише?

— Нет, почему же? Для того и встретились, чтобы говорить громко. Очень громко. Иначе в лесу человеческих отношений не ориентируешься. Кстати, о человеческих отношениях. Брат говорит, что незадолго до прихода советских войск ваша жена убежала из немецкого концлагеря, увела с собой сорок заключенных, свою свекровь, ребенка... она ре-

шительная женщина, Виктор Ильич, из немецкого концлагеря не так легко убежать. Конечно, скрывались, голодали, им помогали поляки... теперь — подкормили, вы скоро получите письмо.

Она прошла по комнате, узкой, изогнутой, как шейник. Лицо ее изменилось, пылало, да и вообще во всей ее фигуре видна была перемена, словно ей надо было высказать требование всей ее жизни, и она не могла собраться с силами.

— Знаете, что?.. — проговорила она. — Знаете, что я хотела от вас услышать?

— Что, Саша?

Ей показалось странным, что он называет ее Саша, а она его Виктор Ильич, хотя он много раз просил называть его просто Виктором... прежде это не казалось странным. Она проговорила:

— Скажите, Виктор Ильич... разве любовь не есть самопожертвование? Ведь нужно же знать, кому жертвовать себя и кого любить.

— Да, если вкладывать в понятие любви понятие долга.

— Долг! Что такое долг?

В голосе ее слышалась мольба. Она просила угадать ее мысли. И она услышала:

— Вы ли, Саша, не знаете, что такое долг?

Она потупилась: его глаза казались ей пьяными. Ее наполняло ощущение, никогда доселе не испытанное: много чего-то беспомощного, почти сонного, сладко усталого. Вязаный платок, палевый, оренбургский, перешедший к ней от матери, соскользнул с плеча, и ей показалось, что и она сама скользит с ним куда-то в певучую и страстную пучину. Ей стало страшно. Она вся дрожала. Стул, на который она опиралась, упал. Послышался громкий, пустой и прямой, как веревка, на которой висят весы, звук.

Он проворно взял стул. Поставил перед ней. И сказал, опять усаживаясь на диван:

— Вы правы, Саша. Высшая любовь и есть долг, самопожертвование.

Ей хотелось крикнуть: «Кого же вы любите вашей высшей любовью?», а крикнув это, броситься куда-то, бежать, быть может свалиться с лестницы и завертеться волчком — в стыде, позоре, унижении. Но стул, обыкновенный венский стул с сиденьем, исцарапанным котенком, преграждал ей дорогу. Она сто-

яла прямая, высокая, и косой свет электрической лампочки недвижно лежал на ее волосах, казавшихся сейчас совершенно черными.

Она сказала:

— Вы не опоздаете на трамвай, Виктор Ильич?

— Успею.

4

И он продолжал.

— Спасибо вам за хлопоты, Саша. Я пришел проститься... И мне думается, что именно вы тот человек, который в идеях добра, правды и честности находит высшее наслаждение. Я говорю несвязно, мысль не получается, иногда кажется, что на весах вешаю ветер.

Она сделала движение, удивившись, что он знает ее мысли. Но промолчала. Он продолжал:

— И я убежден, что расширение умственного горизонта производит подконец такое же успокаивающее действие на страсти, как и продолжительный опыт на того, кто жил.

Она ухмыльнулась:

— Опыт? У меня дедушка жил до восьмидесяти шести, а восьмидесяти лет он женился,пил и даже ревновал жену в день свадьбы. За полчаса до смерти дедушка выругал внуку скверными словами, потребовал рюмку водки, огурец и папироску. Опыт жизни у него был продолжительный, а чему он помог?

Послышались шаги в передней.

— А вот и мама вернулась.

Вошла мать Саши. Это была хорошая, добрая женщина, и Саша ее любила. Нравилась она и Михееву. Она часто рассказывала Михееву «несчастье своей жизни». Покойный муж ее был инженер-металлург. Сорока лет он увлекся игрой на скрипке и задумал быть музыкантом. Учился, играл, — но какое ж ученье в сорок лет? Профессии он своей не бросил, но все же музыка принесла ему много несбыточных надежд, и, как казалось сашиной матери, преждевременно увела его в могилу. И, иногда Михееву думалось, что его профессию художника она считает такой же ошибочной, как и игру на скрипке своего мужа... да и вообще, не след женатому мужчине посещать молодую девушку!

И сейчас ему показалось, что она думает об этом же. Михеев начал прощаться.

Саша подала ему письмо к брату:

— Здесь все адреса. Брата вы еще застанете в Праге.

Она вышла его проводить.

«Можно бы успеть сказать, если любишь», — подумал он.

А вот — не мог сказать, «Значит, не любил? Не любишь?»

В передней было темно, пахло сырими дровами, несло прокисшим супом из коммунальной кухни, за дверью по лестнице кто-то быстро шел, громко дыша и стуча деревянными башмаками.

— Приедете, вернетесь... позвоните, Виктор Ильич.

— Разве мы больше не встретимся? Я уезжаю ведь через три недели.

Она сказала сухо:

— А я уеду гораздо раньше.

— На фронт?

— Нет. В тыл.

Стук деревянных башмаков усилился.

И ей подумалось, что, когда она ему почти объяснилась в любви, он рассматривал свои подметки, как будто хвастаясь, что они кожаные, а не резиновые и не деревянные... Нашел время!.. И ей было стыдно думать так про него и стыдно, что у нее возникли такие мысли, и слезы навертывались у ней на глаза.

Но в передней темно, и он не видел слез, и она радовалась, что он не видел, и в то же время огорчалась, что не видел.

Она молча закрыла за ним дверь.

Сразу же холодная, щемящая и унылая тоска хлынула ей на сердце.

Он ее не любил! Она его поведение толковала превратно, — если было что толковать.

Он едет к жене, к ребенку. Он любит жену!.. Но почему же он не объяснил своего состояния человеческим языком, а танцевал все вокруг да около? Он, так много говорящий о воле человека с большой буквы!

Он обязан был объясниться, а она должна была биться за свое счастье, должна была потребовать объяснений.

— Сашенька, покушаешь? — спросила мать.

— Надо бороться за жизнь, надо ее утверждать. Только не говорите, мама, о том, что папа плохо делал, когда играл на скрипке... — бормотала Саша, глядя на растерявшуюся мать широко раскрытыми, сухими глазами.

## Глава третья

### ПОРТРЕТ

#### 1

— Молодое искусство, — говорил Михеев, сидя на диване в студии, Смирнову, — должно быть в неустанном гневе на леность. Ты должен работать, Ваня, все время работать.

— Но чаю-то я должен попить? — говорил Смирнов, смеясь.

— Ты тащился, как верблюд. Что ты сделал со вчерашнего дня? Ничего!

— Но именно верблюд переходит безводные пустыни, а для истинного художника полотно всегда жаркая и безводная пустыня.

— И мы все мало работаем! Работать надо много. Только тогда мы победим теребеньевых. Они ведь тоже не сидят, сложа лапки!

— Неужели тебя расстроило это гремящее ведро—Теребеньев?

— Нет, — вскричал Михеев. — И я рад, что имел смелость отказаться от знакомства с ним. И вообще уметь отказываться — огромное дело, Ваня! Огромное...

Он пересек комнату.

— Я сегодня, братец мой, от любви отказался! Не скрою.

— К кому?

— Это тебя совершенно не касается. Это не вопросы искусства, с которыми ты имеешь право влезать ко мне в душу!

— Милый мой! Но ты сам распахиваешь свою душу и сам же кричишь на меня, что я заглядываю в нее.

— Заглядывать можно по-разному! Да!

Михеев опустил на стул, опять вскочил. Смирнов наблюдал за ним внимательно. В низкой и длинной комнате было холодно, но приятели не чувствовали холода. Они напряженно наблюдали за своими мыслями, за работой своего воображения, и Смирнов сказал:

— Да вовсе тебя не мучает ни Теребеньев, ни какая-то там твоя любовь, от которой ты сегодня отказался, а я знаю, что тебя мучает.

— Что же?

— Замысел тебя мучает.

— Какой?

— Точно не скажу, но смутно догадываюсь. Что-то современное, громадное, то, к чему ты нес себя и которое упадет на головы зрителей, как лавина. Да, да, ла-

вина искусства, Витя! Я вижу эту картину в твоих глазах. Это будет, ей-богу, оборона Москвы...

— Какая оборона? Когда?

Михеев смотрел на Смирнова с удивлением. У него в последние дни действительно бродила мысль о картине «Оборона Москвы в 1941 году», но бродила очень смутно...

— Ты видел Москву, и эту ценность видения Москвы в 1941 году ты должен сохранить как художник, Витя!

— Ну, что ты там бормочешь, — сказал Михеев, волнуясь. — Ничего во мне еще нет ясного. И ни о чем ты не догадываешься, Ваня!

— Догадываюсь.

— Нет!

— Догадываюсь! Но предупреждаю. Хлопот тебе с этой картиной предстоит много. Чего-чего, а этой картины Терзентьев тебе не простит. Я тебя понимаю!.. — кричал он восторженно. — Ты, Витя, всегда шел к синтезу. Ты хотел соединить технику современной живописи с извечными сюжетами русского искусства, с его страстью к действию, к воле. И ты, Витя, сделаешь это, соединишь! Я вижу это по твоим глазам. Я вижу в них картину...

## 2

Наконец Смирнов ушел спать. Спать он будет долго, часов до пяти вечера, а затем делает какой-нибудь карандашный рисунок и успокоится.

Михеев осторожно снял с окна синюю бумагу затемнения. Крупного роста, бледный, он стоял у зимних, чуть позвякивавших стекол, весь залитый кобальтовыми тенями раннего утра.

Утро ветренное. Дома и деревья осыпаны тяжеловесным, тусклым снегом, и кажется, они взаимно кланяются друг другу... ах, как чертовски все это красиво и как чертовски хочется выразить эту красоту в огненно жарких красках, чтоб вековечно и грозно встала она, московская эта красота, встала, как скала, несокрушимая, очарованная!

«Эх, взнудать бы ее, эту красоту, взять вожжи в руки... но как? Ваня говорит: есть замысел! Есть воздух замысла, есть возмущение во мне, производимое током этого влажного и здоро-

вого воздуха, — но замысла еще не вижу».

Весь день он, поспешно скользил по московским панелям, облитым февральским ледком. Неотложных забот так много. Командировка «Журнала» застряла где-то в канцеляриях. И тем не менее, перед глазами стояло это впечатление раннего, кобальтового утра, заставившее всматриваться в себя, вслушиваться, думать о красоте, о ее немедленном воплощении.

Изголуба-серая, бархатистая матовость зыбкого февральского тумана к концу дня сменилась падающим мелким снежком, мягким, беличьим, девичьим. И тогда он опять вспомнил Сашу, и сердце его поднималось и падало, словно лодка, подхваченная высокой волной. Но замер и снежок. В работу вступил мороз. Сразу окрестности, дома, набережные сделались сиренево-синими, и все это заледенело.

Льдисты ультрамариновые. неподвижные. провода телеграфа и телефона. Льдисты и неподвижны их столбы, что цвета умбры. Льдисты и кривые деревца, что расставлены кое-где среди столбов и возле домиков, которые похожи теперь на пихты. Мороз создает над тобой некий ледяной свод, словно ты на какой-то детски увлекательной и беспечной льдине.

И все-таки сквозь мороз, льдистость, снежность пробивается солнце. Оно, правда, сильно утомилось на этом деле, но хочешь-не хочешь—а февраль, и хоть падай от изнеможения, но свети! Поэтому-то вся льдистость—чудесного лимонного оттенка, словно под нее подбит желтый атлас.

Прекрасно, но все же это подобно невыделанной коже, а ты — скорняку, зашнуровавшему рукава, чтобы взяться за работу.

Ветер продувает пальто; туман, снежок, льдистость наливают влагой шарф; чихаешь... Хорошо бы прогреться, съесть горячего... В хлопотах он забыл об еде, и его мучила настоящая голодная дрожь, весенняя, почти волчья.

Вечерело. Заря раскинулась по всему небу. Подходя к дому, где квартировал Смирнов, Михеев подумал: «А не вернуться ли? Вдруг в столовой остались обеды?»

Рыхлые, кобальтовые тени, не такие

резкие, как утром, а словно поизносившиеся за день, лежали на снегу. Голодная, пронизывающая дрожь не могла убрать мягкости и изящества тонов, в которые приделся переулочек. Михеев остановился, чтобы, по обыкновению художника, взглядеться. «У «Боярышни» должен быть совсем другой фон», — подумал он.

Из «виллиса» вышел мужчина с тонкими, точно шелковый шнурок, бровями. Михеев узнал его. Это был секретарь директора «Опытного завода № 98». Михеев часто встречал его года три тому назад. Михеев сказал:

— Здравствуйте. Ну, как здоровье начальника? Он теперь, кажется, генерал уже?

— Генерал-майор Бурсаков шлет вам привет и письмо.

И Михеев прочел. нервно и быстро набросанные строки с крупным «о», словно выпадавшим каждый раз из слова: «Вы, я слышал, Виктор Ильич, задумали портрет товарища Сталина. Возьметесь ли выполнить этот портрет для нашего предприятия? Мне думается, вы должны подумать о нас в первую очередь, ведь именно у нас, в 1942-м, вы имели счастье видеть товарища Сталина».

Михеев сразу забыл и голод, и сегодняшние неурядицы, и этот цвет переулочка. Он спросил:

— Когда меня примет генерал Бурсаков?

— Когда вам угодно, товарищ Михеев.

— Сейчас!

### 3

Незадолго перед вступлением в ополчение Михеев узнал, что при важнейшей магистрали столицы — Ленинградском шоссе — создается система оборонительных укреплений: противотанковые рвы, баррикады, доты и дзоты, и что на работу из одного района вышло пять тысяч человек. Вышел работать и Михеев.

И по собственному желанию, и по поручению комсомольской организации Михееву приходилось не только копать, тесать бревна или гнуть железные рельсы для «ежей», — он и рисовал, и выступал на собраниях, и собирал теплые вещи в предвидении будущей зимней кампании, и помогал рабочим станции «Подмосковная» строить мощный бронепоезд, и зарисовывал комиссию НКО,

принимавшую бронепоезд. Однажды, исполняя какое-то поручение, он зашел в ремонтную базу УВВС Западного фронта. База показалась ему типичной и эффективной, как пламя, и необходимой для него, как питье в жаркий день. Написать! Он зачастил сюда, делал эскизы...

Но картину не удалось осуществить. Ополчение, московская битва, рана, лазарет, множество замыслов, искания в манере работы, «Журнал», где происходили постоянные стычки с редактором, который рассматривает ваши замыслы, как материал для плавильного котла, причем этим котлом является его голова, где идей столько же, сколько в его дубовой конторке, за которой он пишет... Изредка вспоминал он базу, фигуры рабочих, горячий поток воздуха, идущий ему вслед из цеха; готовые самолеты, которые рабочие ведут на аэродром, словно коней на поводу.

В феврале 1942 года, помнится, редактор сказал ему своим вылинявшим, как потертая шуба, голосом:

— Есть задание поставить в «Журнале» целую серию рисунков из жизни трудящихся тыла. Вас куда влечет, Михеев?

Михеев назвал базу. Редактор сделал вид, что превосходно знает базу, посоветовал ему держать «правильный курс: не очень мудрить, не подделывать действительность, почаще консультироваться с товарищами» и приказал выписать ему «соответствующее направление на базу».

— Мы всегда стоим на поддержке творческих принципов, если вас правильно влечет туда, — добавил он, подмахнув «направление».

Что же влекло туда Михеева? Его не влекло туда красивое и кокетливое личико, хотя они и встречались там; не прельщало его и особенно глубокое радушие, хотя он и не мог пожаловаться на отсутствие внимания к нему; не искал он здесь и безопасности — база работала в изувеченных, разбомбленных корпусах какого-то завода, эвакуированного на восток. Сам не зная почему, но Михеев больше чем где-либо видел здесь счастья, того богатырского, геркулесовского, гордого счастья, которое дороже всего на свете, — счастья, испытываемого нашим человеком при защите Родины, России, столицы страны и вообще при

защите народов всего Советского Союза. Ему непрестанно виделась эти удалые и титанически сильные люди, улавливалось то трудно уловимое кистью и пером чувство, которое мы называем военной доблестью советских людей или их трудовым подвигом. Он рисовал, набрасывал, откладывал в память эту силу-моченьку, силу-удаль, пышно-цветную и упоенную, как дивный, несравненный сад.

Редактор смотрел работы, морщился и говорил: «Направление дано «Журналом» правильное, но ваше направление... один раз он называл его натуралистичным, другой — формалистичным, третий — символичным... а в общем, как видно, рисунки ему не нравились. При объяснениях редактора Михеев чувствовал себя потерявшим голову, злился, но стоило ему покинуть этот кабинет с высокой дубовой конторкой, как он забывал свои огорчения, и редактор с его плешивой головой, похожей на кусок отварной рыбы, казался ему смешным и вздорным, даже быть может неудобным явлением.

Тем временем под обстрелом и бомбежкой база быстро восстанавливала и ремонтировала истребители, штурмовики, бомбардировщики. Михеев рисовал лучших стахановцев базы: слесарей-сборщиков, мастеров-медников, борт-механиков. Лица — благодатные, одежды — выразительные, свет — горячий, игривый, и если иногда его карандаш и кисть казались ему тяжелыми, свинцовыми, холодными, то потому лишь, что могучая и святая свобода художника не могла уложиться в то время, которое было отведено ей.

Он, например, не ощутил спокойно-радного удовлетворения, когда написал портрет токаря Травкина, — и знал, почему не ощутил. Травкин — тощий, необыкновенно молодой на вид, и трудно поверить, что он отец четырех детей, что он свыше пятнадцати лет работает первоклассным токарем, — такой он подвижной, живой и веселый. Когда он садится позировать, он задумывается, и лицо его делается печальным. Помолчав несколько минут, он спешит излить свою печаль: хватит, постоял у станка, сыны летают, почему б и ему не полететь. Ему хочется в летную школу, а не берут: по возрасту, по состоянию сердца... «Что же это, Михеев? — восклицает он. —

Разве сердце у меня вроде луны: от дельно вращается. Я, по врачам, не хилый. для работы у станка. А сердце, по тем же врачам, хилое для самолета». И будто умея молодить и переделывать не только металл, но и свое тело, Травкин от сеанса к сеансу молодеет, изменяется... И, разумеется, затруднительно уловить на полотне это гульливое и вольное, как горная река, молоденье токаря Травкина.

Написал он опытного диспетчера Маркова, широкого, грузного, с узорчатыми южными глазами. Написал он и высококвалифицированного слесаря Валентинова, услужливого, сутулого, с лицом и манерами ученого. Обоих он посмотрел, чтоб получше понять, в их домашней обстановке. И оба на базе преобразались. Слесарь, например, казалось, работает не один, а втроем, вчетвером, а то и вшестером: усовершенствовал технический процесс и применив приспособления, Валентинов вдруг свое сменно-суточное задание выполнил на 600%, сразу сдал полторы тысячи деталей! Конечно, Михеев передал пушистые и белокурые ресницы Валентинова, сухие и твердые руки Маркова, его игривые и чувственные глаза. Но как передашь это пленительное стремление, золотистое и колосистое, как рожь? Как передашь это настроение людей, шумное, как точило, и теплое, как меховая шапка?..

И ему казалось, что насколько редактор недооценивает его работы, настолько же Яков Степанович Бурсаков, директор «Опытного завода № 98», переоценивает эти работы. Впрочем, быть может эта чрезмерная оценка в интересах производства, пропаганды лучших людей. На основе базы создавался большой «Опытный завод» и Конструкторское бюро при нем. Яков Бурсаков — будущий директор и начальник Конструкторского бюро. Биография его сложна и обширна, как горный кряж: множество ответвлений, а все же движение вверх. Крестьянин, печник, солдат-взводный, милиционер, начальник районной милиции, уголовный следователь, студент рабфака, студент вуза, летчик, журналист, инженер, конструктор, начальник цеха самолетного строения, помощник директора того же завода по технической и, вдобавок, охотник, рыбовод... ему ли не обладать нюхом на людей, металл, погоду, машины. Шарообразный, лет сорока пя-

ти, с лицом якута, с чистыми, ясными глазами Бурсаков, холост, живет один, в свободное время читает или научные труды или, «для разрядки», детективные романы на каком-нибудь иностранном языке, которых он знает несколько, впрочем, довольно плохо.

Однажды он подошел к Михееву, посмотрел на его рисунок, который тот заканчивал, и спокойно, уверенно, громко сказал:

— А вы правильно, Михеев, делаете, что держитесь около базы, а не «Журнала». И додержитесь. Придет время: ваша картина в войне сыграет роль не меньшую, чем самолет самой лучшей конструкции, — и он добавил с усмешкой: — «Журнал»! Много он понимает в искусстве! Мы ваш «Журнал» не читаем.

Бурсаков обычно ходил с ученической тетрадкой в руке, свернутой в трубочку. И всякий раз, когда синяя трубочка показывалась возле Михеева, художнику казалось, что Бурсаков хочет повторить свое насмешливое утверждение о «Журнале». В основном он разделял его мнение, но долг приказывал ему, прежде чем выбрать товарища по работе, всесторонне обсудить его действия. И он подобрал много доводов и против работы редактора, и в его защиту. Что же касается мнения, будто «Журнал» не читают, то когда же тут читать? Дай бог газетку-то просмотреть! Несколько раз во время восстановления корпусов рабочие и инженеры повторяли свое слово: «Не покидать ни на шаг строительства, пока не закончен монтаж». А сколько бессонных ночей стоило это слово, сколько напряжения, сколько унесено жизненной силы, здоровья, нервов, сколько потрачено воли... Сердце Михеева сжималось от гордости и радости.

«Опытный завод № 98» и Конструкторское бюро созданы.

И работа всюду шла ладно, быстро, так быстро, что даже странно было наблюдать. Ценные, громадные станки ставились на фундамент, который не успел еще высохнуть и от которого несло запахом мокрой глины и краски, — и сразу же начинали работать. В широких пролетах, по рельсам, уже маслянисто блестящим, из таинственной глубины огромных цехов выползали какие-то неизвестные Михееву части каких-то еще неведомых самолетов, окруженные людьми и при-

способлениями, как бронзовой рамой. И если Михеев подходил к станку и видел обыкновенные тиски с винтом, эти тиски казались ему небывало красивыми, умными, изящными, и он, чуть ли не со слезами на глазах, шептал: «А, додержался. И до победы додержимся».

## 4

Это произошло в памятный для него навсегда ломкий апрельский день 1942 года, день с часто набегающими тучками, узкими и тонкими, как полотенце, с ветерком, то теплым, то холодным. Утром обычно лужицы подмерзают, но ледок на них так хрупок, что солнце, лишь появившись, расплавляет его немедленно.

Михеев без предупреждения пришел в Конструкторское бюро.

По коридору с ученической тетрадкой в руке, подбрасывая ее и хватая, метался Бурсаков, и круглое, плоское лицо его было так озабоченно, что трудно было и подыскать причину, объясняющую такую озабоченность. Увидав Михеева, он удивленно спросил:

— Вы откуда пришли?

— Со стороны завода... мимо гаража... — недоумевая, но с возможной точностью ответил Михеев.

— Ну и охрана! Вот что, голубчик! Уходите-ка отсюда поскорее: у нас совещание, на котором вам быть нельзя. Нельзя, хо-о-тя, с другой стороны... беру на себя риск. Оставайтесь!

Подбежал секретарь, взволнованный.

— Прибыли, — прошептал секретарь на ухо директору.

— Прибыли? — во весь голос спросил Бурсаков, и у него лицо стало необыкновенно радостное. Обмахивая тетрадкой лицо, он побежал к выходным дверям, ослепительно блестящим в конце коридора. Однако он успел обернуться и крикнуть секретарю:

— Художника... художнику — видеть устрой!..

Михеев ничего не понимал. Чтобы несколько притти в себя, он хотел было обратиться к секретарю за разъяснениями: «Какое совещание и при чем он, Михеев, тут?» Но секретарь, взяв его под руку, повел вправо.

А затем в голове Михеева целый день был как бы сильный вихрь. Одно всемогущее представление владело им. Он ви-

дел необыкновенно великое, мудрое, что, определяя всю его жизнь, делало ее еще более радостной, широкой, как половодье.

Он видел Сталина!

... Михеев и секретарь вошли в чей-то кабинет. На сукне стола дымилась папироса, раскрытый портсигар валялся в кресле. Михеев взял было папиросу, чтобы бросить ее в пепельницу, но вдруг двери, ведущие в коридор, и другие, ведущие в какую-то длинную синюю комнату, распахнулись, и Михеев замер, держа глеющую папироску в руке...

Сталин шел своей медленной, степенной походкой, разговаривая с директором Бурсаковым и тремя конструкторами, которые шли чуть поодаль. Апрельские капли, наполненные крошечными льдинками, придававшими воде опаловый цвет, упали должно быть с крыши, когда он выходил из машины, и лежали кое-где на его шинели. Он шел, задумчиво вслушиваясь в слова самолетостроителей, шел так плавно, что не стяхнул этих капель.

Сталин, генералы, офицеры, конструкторы, летчики, инженеры и несколько рабочих-стахановцев прошли длинную синюю комнату с подсолнечниками на потолке и спустились на несколько ступенек вниз. Неслышно раскрылись третьи двери, и Михеев увидел зал — такой широкий и высокий, что в нем легко размещалось шесть или семь самолетов странной, невиданной формы. Это были опытные машины. За машинами виднелись еще двери, больше похожие на ворота, изжелта-красноватые. Они были полуткрыты, и пепельно-серая, вся в апрельских, льдистых, крохотных лужицах, блестящая взлетная дорожка вырисовывалась там. Несколько летчиков в тусклых кожаных комбинезонах стояли вдоль ее недвижные, как изваянья.

Апрельские капли, сверкавшие на шинели вождя и его спутников, сверкание солнца на взлетной дорожке, вызвало в душе Михеева ответное, с огненным, невыразимо отрадным отливом, сияние. Да, сияние! Иначе он не смог бы назвать свои мысли.

Он смотрел на Сталина, на паркет, по которому тот прошел, на его спутников, на высокий зал, где находились новые самолеты... И горделивая, могучая радость наполняла сердце Михеева.

За все хорошее, что сделали ему люди, за счастье, что он видел их, за счастье, что он видел Сталина, ему хотелось отдать жизнь до конца. И ему, наряду с тем, что он видел, совершенно отчетливо и ясно мерещилось, что Сталин спросил о чем-то у него и он, Михеев, ответил, счастливо улыбаясь, — вот моя жизнь... Как и сотни тысяч людей, которых вот так же спросил Сталин и которому они так же ответили полными решимости словами... И ему мерещился одновременно полет красивых легких машин... Мерещились кучевые облака цвета расцветшей яблони, и лес внизу, и голубоватосиние горы, и сбитый зажженный, вонючий самолет врага, ящерицей скользкий вниз.

Еще из длинной комнаты с подсолнечниками на потолке Сталин увидел красивые самолеты. Удовольствие отразилось на его лице: должно быть он вообразил их полет и мысленно пронесся вместе с летчиком среди облаков над лесами, горами...

Но это было одно мгновение. Овеянный клубами воображения, как пороховым дымом после залпа орудий, Михеев остался в кабинете неподалеку от стола.

Сталин же шел от одного самолета к другому, сразу улавливая, где лучше воплощена техническая идея, лучше применены накопленные знания и каким образом сметка и ловкость рабочих воплотят это лучшее в дерзкие, бестрепетные машины.

Стараясь угадать мысли Сталина, директор Бурсаков сказал, что машина, возле которой они остановились, конструкции инженера Лазурского, превосходит все прочие...

Сталин подошел к Лазурскому и спросил, которая по счету им создана машина. Лазурский, белокурый, высокий, как весенний тополь, ответил: «Шестая». Сталин добродушно улыбнулся и проговорил:

— Можно почти с уверенностью предсказать, что седьмой ваш труд, товарищ Лазурский, удачно соединит в себе и удивительную скорость и удивительную маневренность.

Сталин говорил, что требуются не только высокие летнотехнические качества авиации, но для победы над врагом родина требует и ускоренные темпы проектирования и постройки самолетов. Надо сконструировать, отработать опытную

машину, пустить ее в серийное производство в кратчайший срок.

... И долго затем Михеев ходил по московским улицам с красными от волнения щеками, поглощенный одной мыслью: «Я видел его. Я его видел!» Он без дела зашел в «Журнал». Оттуда, тоже без дела, в издательство «Искусство». И хотя он никому не говорил о том, что видел Сталина, лицо художника было такое крылато-радостное, что все спрашивали: «Вы узнали какие-нибудь хорошие новости с фронта?»

## 5

— Сейчас? Сейчас Бурсаков может меня принять?

— Так точно, товарищ Михеев.

И, сидя в «виллисе», Михеев снова вспомнил то, что он видел в великий для него апрельский день 1942 года. Вспомнил и говорил сам себе: «Ну конечно же надо написать портрет Сталина. Надо непременно, неотложно написать».

И ожидая в приемной Бурсакова, он вспоминал апрельский день, самого себя, Бурсакова, его окружающих и опять возвращался к образу-гения.

## Глава четвертая

## „НА Н-СКОМ ЗАВОДЕ — СТАЛИН“

## 1

Михеев сидел в сером уютном кабинете и думал. Думы были о трудолюбии, счастье, терпении, и каждая дума возвращала к портрету, который решил написать он. «Как написать? Как передать свою думу? И главное — думы народа». Представлялась почему-то и резная золоченая рама, в которую вделан портрет, и зал, где он будет висеть, — огромный, высокий зал с самолетами...

Перед Михеевым на столе лежал медный колокольчик и два медных кольца, оторвавшихся от шторы. Михеев поискал глазами в шторах: где бы находиться этим кольцам, но колец было так много, что зарябило в глазах от их медного, спелого блеска. «Позвольте, но ведь если убрать эти шторы, будет кабинет, куда вошел тогда Сталин. Вот и дверь в синюю комнату с подсолнечниками, а там, дальше — длинный зал...» И снова

его охватило сладкое чувство восторга, которое он испытал тогда. Только теперь это чувство быстро сменилось тревогой: он дал согласие написать портрет, а совесть спрашивала: «Как же напишешь? Хватит ли таланта, умения?»

Из синей комнаты доносился возбужденный голос. Когда Бурсакову предстоит крупный и важный для него разговор, он находит необходимым позвать подчиненных и «посоветоваться». Обычно он созывает начальников отделов управления, шумит, бегаёт по кабинету, звонит, посылает секретаря за справками, крутит учебную тетрадку, пьет много воды и, странно, при крупном разговоре держит себя совершенно спокойно. А, может быть, нисколько это не странно, а просто надо ему разрядиться, чтобы сосредоточиться... «Только теперь — какой же и с кем крупный разговор. Неужели с ним, Михеевым?» И то, что Бурсаков волнуется перед разговором с ним, молодым человеком, было приятно Михееву, приятно и тревожно еще более.

Нервно позевывая, Михеев стал рассматривать фотографии, развешенные по стенам кабинета. Фотографии поблескивают лаком новых дубовых рамок, чуть зеленоватым стеклом... Позвольте... И он прочел внизу: «Герой Советского Союза, летчик, старший лейтенант И. В. Травкин». Не тот ли это Травкин, которого три года назад он рисовал? Что-то уж больно молод... Ах да, он ведь молодец и хорохорился, стараясь пробиться в летную школу. Ай да токарь! Сбил восемнадцать фашистских самолетов...

Знаком и этот широкий, грузный мужчина с двумя орденами, П. Р. Марков, диспетчер завода. «Пошел в Красную Армию рядовым. Ныне командир артиллерийского дивизиона, гвардии капитан и слушатель Военной Академии имени Ленина».

— А где же слесарь Валентинов, этот человек с лицом и повадками ученого? Что с ним?.. — Валентинов нашелся быстро. Трижды орденосец, он организовал такую бригаду, которая своими силами, в неурочные часы, в феноменально быстрый срок сделала пять звеньев боевых самолетов...

— Народ-богач. Силач-народ, а, Виктор Ильич?

— Тьма силы. — сказал Михеев, здороваясь с Бурсаковым.

Бурсаков изменился мало. Только еще больше потерт меховой жилет, да вот разье не по росту широки генеральские брюки. Сразу вспомнился разговор о «Журнале», и Михеев сказал:

— Наверное и журналы есть уже время читать?

Бурсаков, видимо, не помнил этого разговора. Он сказал безразличным тоном:

— Почитываем, почитываем, — и махнул ученической тетрадкой в сторону синей комнаты. — Прошу.

Цветущие подсолнечники, разбросанные по потолку, замазаны. Комната окрашена в серый, безразличный цвет. На спинке кресла распялся генеральский мундир с полевыми погонами, и даже у этого мундира занятый, деловой вид. Обстановка попрежнему, видать, трудовая, беспокойная, и если спуститься из этой комнаты вниз, на несколько ступенек, и раскрыть вот те, плотно прикрытые и окрашенные в цвет стен двери, то узнаешь нечто, отчего замрет восторженно дух.

— Давненько не видались, Михеев, — сказал Бурсаков, размахивая своей тетрадкой. — А художники должны быть возле нас почаще. Красота должна быть всегда ощущаема. В иные тяжелые минуты понимание и передача героизма и красоты жизни чрезвычайно важны, являясь не меньшей самоотверженностью, чем самоотверженность, скажем, в атаке.

Бурсаков высоко и тяжело, как кузнец молотом, взмахнул своей тетрадкой. Утром у него был известный художник Иван Смирнов, который открыл ему, — правда, изъясняясь туманно, больше жестами, чем словами, — обширные замыслы Михеева. «До известной степени они рождены на вашем заводе, генерал!», — восклицал Смирнов, а затем долго говорил о том, что советская общественность должна полностью приютить и обласкать этот, несомненно, выдающийся талант. «Теребентьевшине надо противопоставить уважение!», — воскликнул он под конец, и Бурсаков дал слово «противопоставить», и теперь ему хотелось, не обижая Михеева и не навязываясь ему, поярче выразить «противопоставление». Смущало его еще и то, что, считая себя знатоком русского искусства, он относил талант Теребентьева к разряду «вон выходящих», ведущих. И, с другой сторо-

ны, он верил вкусу Смирнова, хотелось поддержать молодежь в ее законных исканиях. И он думал: «Чорт возьми, может быть в области искусства я уже отстал? Или характер у этого Теребентьева отвратительный. В чем дело, как бы узнать?»

— Не возражаете?

— Не возражаю, — сказал Михеев. — Но если уж говорить о самопожертвовании, да в искусстве особенно, то не нужно забывать и о чисто физических препятствиях. Как ни будь велик ваш талант, а нельзя сделать того в три недели, что вы можете сделать в лучшем случае в полгода. Я не буду говорить вам, товарищ Бурсаков, о восторге, с которым я прочел ваше письмо... я согласен и буду работать ожесточенно...

Бурсаков неожиданно схватил его за плечи, сильно качнул. Ему показалось, что он очень хорошо выразил свою ласку, и он растрогался.

— Ваше согласие, Виктор Ильич, очень существенно!

— Однако вы не выслушали меня до конца, — улыбаясь, сказал Михеев. — А я хотел сказать следующее: через три недели я уезжаю на фронт...

— Куда?

— В конную часть генерала Кочергина.

— Хорошо знаю. Даже подшефная нам часть. Зачем?

— Сделать для «Журнала» зарисовки героев прорыва на Висле.

— Итак, вы едете к Кочергину. Умейнейший и смелейший мужчина, доложу я вам. Многому научитесь. Но при чем тут портрет?

— Срок малый: три недели.

— Три недели для вас малый срок? — сказал со зловещим спокойствием Бурсаков. — Три-и не-де-ли-и!... Я оглох, что ли? У нас, голубчик, завод выпускает серийный самолет... который по счету, вам не для чего знать... у нас поточный метод: и в цехе центропланов, и есть поток фюзеляжей, и поток бескрылой машины... и все это, голубчик, творчество. И мы знаем, что такое для творчества три недели. И мы имеем право на портрет Сталина! Именно таким, каким он с нами тогда разговаривал. Вы напишите портрет маслом...

— Маслом в три недели? Нет. После моего приезда с фронта.

— Отложите поездку!

— А вы бы свою могли отложить?

— Позвольте. А откуда вам известно, что я еду на фронт?

— Догадываюсь. И мне даже кажется, что вы покидаете завод, передаете его другому лицу и сами получаете другое назначение.

«Особой, положим, тут пронизательности и не нужно, чтоб догадаться, что я еду на фронт, — думал Бурсаков. — Да и тайны здесь особой нету. Всем говорил. Положим, побочно, есть кое-какие и тайные поручения. Вот хотя бы и тот же Альберт Хильдебрант. Действительно ли он организовал промышленников и изобретателей, чтобы создать какие-то особо губительные виды вооружения? В конце концов, он — аферист! То он собирал картины славянских художников, писал исследования об анемичности славянского искусства... то он выдумал какой-то «ковш», машину, которая и разбирает развалины и одновременно рядом строит дома»...

— Секрета нет. Еду, — сказал Бурсаков, прервав свои размышления. — Долго просился, наконец пустили. Нельзя не быть там...

— Да, нельзя не быть!

— И вы правильно делаете, что туда едете! — забыв о том, что только что уговаривал Михеева не ехать, сказал с жаром Бурсаков. — Поезжайте! Нам много надо работать и в области искусства. Такие мерзавцы, вроде Хильдебранта, поспекулировав в свое время на славянских картинах, небось уничтожили их теперь.

— Кто такой Хильдебрант? — спросил Михеев.

— Так, один мерзавец.

Бурсаков вскочил, отбежал в противоположный конец комнаты. Заложив короткие руки за спину и вперив в Михеева обеспокоенный взор, Бурсаков громко спросил:

— А при взятии Берлина штурмовики нашего завода будут участвовать, как вы думаете?

— Несомненно, будут.

— И чем их будет больше, тем лучше для нас, не так ли?

— Так.

— И если вы помогаете нам своим портретом создавать штурмовики, вы разве не участвуете в штурме Берлина?

И он продолжал низким, настойчивым голосом:

— Вы должны исполнить желание всего «Опытного завода». И всех номерных заводов, выпускающих наши машины. Вы — пишите портрет! — и добавил. — Срок малый, зверски малый, в обрез. И тем важнее — немедленно за дело. Вам что сейчас надо: помещение, краски, полотно, кисти, мольберт, подрамники всех размеров... Все уже подготовлено. И кофе вам готов черный...

Михеев не выдержал и расхохотался:

— Какое кофе? Откуда?

Бурсаков тоже расхохотался:

— Говорят, художники во время работы пьют кофе. Я приказал достать «мокко»...

— Терпеть не могу кофе!

— Я тоже терпеть не могу. Значит, работа пойдет.

## 2

Михеев ходил по большой, как улица, комнате с щербато-серым, словно солонцы, полом и думал. Он думал вслух каждый раз, когда приступал к работе; на этот раз, быть может, говорил громче и дольше чем прежде. Он ворошил волосы, моргал белесыми ресницами, видел покрасневший от волнения кончик крупного своего носа.

Ух, и не нравился же он самому себе! Кожа на голове холодила, была словно в инее, а правая рука делала такой жест, будто он непрерывно чокался. Ему не нравился его высокий рост, ковьяющая походка, словно у него повреждены подколенные жилы. А больше всего ему не нравился этот торг с самим собою, эти разговоры о воле, о долге, о гениальности. Сказал? Обещал? Делай!

А как делай? Как лучше сделать?.. Вот оно: сито, сквозь которое, словно вода, проваливаются, текут все решения.

«Зачем же ты здесь?», — спрашивал он сам себя.

Длинный, тяжело стуча сапогами, он долго ходил по комнате, пока не расплылся в сумерках. Но и из темноты слышен его грубый, как сермяга, голос:

— Зачем я здесь? Именно затем, чтоб сделать. Сделать лучше, лучшее в моей жизни, жизни художника... Зачем я здесь? Затем, что подошел к творению, безгранично глубокому, как небосвод. А почему нет? Почему мне бояться высоких слов, если передо мной задача

всей моей жизни. Но разве не странно, что задачу всей жизни нужно решить в три недели... А почему месяц, год? Разве ты забыл, как в детстве бабка тебе рассказывала о Моисее. Долго ли он поднимался в гору, чтобы в громе и буре получить скрижали Завета, которыми столетия затем жил его народ? И разве не гром и буря творчества в твоей душе, и не воздвигнуты там скрижали искусства? Три недели отчаянного, неуголимого труда: очень много. Тайнственные пучины времени измеряются нашей страстью и нашей волей.

— Стало быть, ты подошел к основному измерению твоей жизни, к воле?!

Он сел на табурет и, глядя на подошвы своих ботинок, отвечал:

— Да. Я знал ее еще тогда, когда мне неизвестно было ее имя. В деревне шестилетним ребенком, помню, в разных валенках, по льдистому склону холма тащил я на коромысле два ведра воды. Дул холодный ветер, было очень, очень тяжело, а я тащил, да еще старался не расплескать: мать была больна, отец уехал в город на работу... В юности, под палящим солнцем, я рубил сруб: с утра до поздней ночи. Болела спина от напряжения, ныли руки, ноги; топор, казалось, вот-вот упадет мне на пальцы ног, которые скользили в какую-то одуряющую бездну, а я заставлял себя рубить и рубить. Надо было заработать денег, чтоб уехать учиться. Затем я работал в граверной до одурения: мыл доски и камни, печатал... затем ретушировал пластинки у фотографа, таскал ящики со взрывчатыми веществами на заводе; учился, а книги казались глухими, гнилыми... город манил к себе, я чувствовал себя глуповатым: ну, зачем учиться, разве другие не обходятся без ученья, да и еще чему учиться-то—рисованию. Народ издавна с насмешкой относится к малярам, к живописцам, считая их работу легкой, никудышной. Но я заставлял себя учиться. Я уже тогда решил, что земля сама по себе не устроится, хотя неизбежно и идет к добру. Надо помочь земле. И каждый из насчастных и волевых людей, должен вложить свою долю в это всеобщее устройство. Тогда дело получится и вернее, и скорее. Вот почему я не желал складывать рук, я трудился.

— А не искал ли ты личного счастья?

И твоя живопись — тоже твоё личное счастье?

— Разумеется, искал. И сейчас ищущу... Вот... Саша... ах, Саша! В том километре всечеловеческого счастья, которое я хотел найти, для себя я бы отмерил один сантиметр, не более. А из этого сантиметра половина — искусство. Почему? Да потому, что чувство человеческого достоинства—вот главная подпора моих нравственных принципов. Своим поведением я хотел служить этим принципам, сочетая их с личным счастьем... И моя жена...

Он молча пересек комнату, подошел к окну, взялся за холодную оконную ручку, серебристо блестящую, и, играя по ней пальцами, продолжал:

— Моя любовь к Саше... Да, да, любовь. Несомненно, я ее люблю. А мои встречи с ней — погоня за счастьем, вернее сказать, за младшей сестрой счастья, за троюродной сестрой, может быть. И поэтому — стыд, а через него: страстное побуждение к исполнению своего нравственного долга, порыв воли...

— Ты часто говоришь о воле. Саша, несомненно, волевая девушка с громадным душевным подъемом.

— Вот тут-то и надо разобраться. Что ее душевный подъем: обдуманное, волевое, мотивированное действие, широкая дорога жизни, или это — инстинкт, тропинка жизни. Солома загорается быстрее, чем ваш ум придет к решению, что такое огонь. Дикая козёл легче переваливает через горный хребет, чем превосходнейший ученый-географ. Но географ, переваливающий через хребет, действующий сознательно, расскажет миллионам людей о горном хребте го, чего не знали они тысячи лет, и укажет верные пути, которые уже будут лежать вечно. Он не забудет ничего в том, что решил сделать. Мотивированное действие имеет громадные преимущества перед инстинктивным. Тот, кто отдаст себе отчет в действиях, никогда не сделается игрушкой мотивов, которые ранее при размышлении были отторгнуты. Таков и мой отказ от Саши.

— Объясни точнее.

— Возможно, она ждала меня, как младшая сестра, но я, несомненно, шел к ней, как мужчина. Это недостойно меня. И я от нее отказался. Я подверг свое поведение строгой, раскаленной критике. Вот почему ясно, что размышление яв-

ляется высшей формой человеческой деятельности, настоящей волей, как дерн выше и красивее глины, хотя может состоять из тех же основных элементов почвы.

И он видел дерн, видел на нем траву, пунцовые, золотистые, ало-голубые цветы. Это прообраз его жизни, его творчества! И однако беспомощно глядя на пустое полотно, туго натянутое на подрамнике, он чувствовал себя жалким, опустошенным. Он должен осуществить свою мечту... но как и когда он осуществит эту мечту? Часы идут вперед неумолимо.

## 3

В окно был виден большой, просторный двор, заваленный ржавым железом, и низкий длинный дом под высокой рыжей крышей. Комната, где ему предстояло работать, велика и казалась ему неуютной, как степь в непогоду. Михеев шагал по ней, и шаги его, тяжелые шаги устало тащились и грохотали за ним.

Посредине комнаты возвышалось громадное пространство белого загрунтованного полотна, еще не тронутого ни углем, ни краской, пространство, пожалуй, более громадное и неуютное, чем степь. Сколько длинных раздумий, сколько знаний, сколько воли надо вложить сюда...

Он подошел к уголю для рисования. «Что, трусишь?», — казалось, подмигивал этот уголь. И он упрямо смотрел на уголь, пока положение не получилось совершенно безнадежным. И тогда он шагал опять к окну и опять смотрел на двор, на железо, на крыши.

Полотно будущего «полотна» отражалось в стекле рамы, от блеска заходящего солнца похожее на золотой зонтик. День кончался. «Ну, не бесполезный ли я, несостоящий человек, не труха ли я?», — бормотал он.

И он отворачивался от стекла.

Но только лишь полотно исчезло из глаз, как начинало усиленно биться сердце, горела голова от возбуждения, дрожали руки. Хотелось работать. Он чувствовал себя удивительно цельным, наполненным до краев, предназначенным для подвига. «Кем предназначенным?», — не без гордости спрашивал он сам себя. И отвечал: «А может быть и народом». И мягкое, легкое чувство

овладевало им. Он брал свои карандашные наброски, эскизы будущего портрета. Он подбегал к полотну, хватал уголь, заносил руку...

К сожалению, рука казалась маленькой, неопытной. Опять находило отчаяние.

Но все-таки уголь уже ходил по полотну.

И вдруг, после многочисленных набросков по бумаге и полотну, он вспомнил, что стоял в декабре 1936 года на улице, возле репродуктора, и слушал доклад Сталина о конституции. Михеев и раньше вспоминал эту сцену у репродуктора, но сейчас вспомнил ее особенно ярко и выпукло. Он вспомнил впереди себя темнобагровый репродуктор, похожий на большой распустившийся мак, толпу и женскую головку в светлозеленом платке. Платок соскользнул, и открылась темная, чугунного цвета со слабым блеском коса, и женское лицо, и что-то милое, задумчивое на этом лице...

А голос Сталина, сквозь звуки которого чувствуется вечность, и вечное счастье людей, и вечная их правда...

Михеев схватил уголь. Рука его опять показалась ему малой, но неопытности в ней уж не было. Она, как плуг, в который впряжены сильные кони, легко, будто по пашне, идет по белому и послушному полотну. Михеев сознавал, что теперь он способен достать нечто лежащее выше и дальше того, о чем он когда-либо мечтал; нечто далекое, трудно воображимое, и даже нечто, что лежит дальше этого трудно воображимого.

И в подъеме вдохновения он начал убирать лишнее... именно убирать то, что просилось наружу, и что ему теперь мешало. Он мысленно убирал, стирал это лишнее тыловой частью руки, а углем выводил абсолютно необходимое и нужное, верное. Он проводил эти нужные черты сильной, горячей, любящей рукой, и рука эта казалась ему теперь громадной, наделенной колоссальной, неиссякаемой силой.

То, что он писал, было: Сталин и народ, народ и Сталин!

Михеев поступил, как истинный творец, и это ощущение творчества разливалось и заполняло его, как пруд заполняет низину.

Картину он начал писать, изобразив вначале лицо сторожа в зале, где стоят

самолеты. Он вспомнил, что, когда вошел Сталин в зал, лицо у сторожа вытянулось вперед, с каким-то особенным взором посмотрел он на самолеты, а уж он ли был не жилец этого зала. Тулуп у него распахнут, рука опирается с силой на винтовку, как на костыль, а на лице не изумление или растерянность, нет, на лице трудно уловимый восторг создателя, решительного, крепкого.

Михеев писал «На Н-ском заводе был Сталин». Михеев писал о том, как Сталин и народ выбирают и делают лучшие машины, вооруженный которыми народ быстро и метко поразит врага. Фигуры чуть наклонены. Глаза... Это были глаза Сталина, глаза летчиков, инженеров, конструкторов, рабочих, Травкина, Валентинова, Маркова... Сильные, способные, рассудительные, согласные между собой — и прекрасные люди. Сотоварищество! Вот, вот, именно товарищество должно увидеть зритель...

Так прошло дней десять... шестнадцать... двадцать... Михеев уже не чувствовал озноба, когда подходил к картине. Пожалуй, наоборот, он испытывал легкий жар, точно возле картины уже наступил летний день. Лениво покачиваясь на каблуках, он отходил на несколько шагов назад и из-под ладони смотрел на картину. Он был доволен.

Но наступил день, когда довольство исчезло окончательно.

Положив кисти, Михеев отошел к окну. Зачем он взялся за то, что не умеет делать?..

Бледный, усталый, он вышел в коридор. Он шел по коридору, и всем встречным казалось, что коридор низок и тесен ему. То же самое показалось и Бурсакову, и саперному майору Черноглазову, которого с его батальоном «для особых заданий» дали в распоряжение Бурсакова. Майор характера придирчивого, строгого и в то же время восторженного. Бурсаков сказал ему, указывая на Михеева:

— Обрати внимание: большого таланта человек!

Михеев подошел вплотную к Бурсакову и голосом полного отчаяния сказал откровенно, как спутнику, с которым вместе поднимаешься на крутую и неприступную гору:

— Беда. Ничего не получилось! И зачем вы меня, Яков Степаныч, пригласили?

— Да беда ли еще? — сказал Бурсаков, хватая майора Черноглазова за руку и таща за собой.

Бурсаков взглянул на картину, охнул, глаза его наполнились влагой, и он крикнул Черноглазову:

— Ты, майор, понимаешь, что это такое?! Я всех, всех созову! И Терентьев в том числе. Он у меня поймет! И покается!

## 4

Лука Терентьев, увидав картину Михеева, не только, как ожидал Бурсаков, не покаялся, но сразу нашел веские доводы в защиту своего положения, что некоторые представители нашей художественной молодежи находятся на ложном пути. Выпятив толстое колено, он говорил с трогательным состраданием, что картина, при всей значимости темы, страдает ученичеством у художников прошлого.

Бурсаков обратился к Смирнову. Тот ответил кратко, шопотом, не желая, видимо, ввязываться в спор с Терентьевым:

— Может быть это гениально! Синтез есть. Мы к этой картине будем возвращаться... и спорить с автором. Но здесь мне не хотелось бы...

Однако Терентьев, услышав слово «синтез», подлетел... и замелькали слова, от которых Бурсакову рябило в глазах и хотелось зевать. Колорит, декоративность, формализм, орнаментика, эклектика, опять формализм, композиция, тона, нюансы, классицизм, античность, рококо и снова — формализм...

Смирнов уже кричал, наскакивая на Терентьева:

— Нет, вы еще откажетесь от своих слов. Печатно!

— Я? Да вы, дорогуша, спятили!

— Спятили вы! Что вы понимаете в живописной композиции, колорите? Кроме этой вашей, в большинстве заимствованной, композиции, соединяющей только линии, да убого освещенные пространства, вы не видите ничего! А перед вами — идейная композиция, композиция вихря героизма, соединяющая лица и позы. Это совершенно по форме, неповторимо по выражению, а вы приклеиваете пошлые ярлыки — формализм, распад...

— Меня ваш темперамент не пугает,—говорил Терентьев, весь дрожа от

злости и тасуя безостановочно воображаемую колоду карт. — Вы, товарищ Смирнов, ваш темперамент в картины пихайте, а не мне под нос. Вот тогда мы и посчитаемся.

— Да мы уже и посчитались. Отойдите!..

— Ка-ак? Каким образом?

— Таким, каким отходят вообще от искусства!

Спор был горячий, малопонятный, однообразный, и сначала Бурсакову было скучно. Но затем он начал разбираться и понял, что и в искусстве так же, как и в его деле, остальные и глупые стараются мешать талантливому и умному и что с этим приходится бороться. И ему было приятно понять, что искусство не стоит неподвижно, что жаждет новаторства, изменений. Бурсаков порадовался этому спору и тому, что он сам стоит на стороне передового, ищущего искусства. И Терентьев стал ему противен и он изумился, что «мазня» Терентьева могла раньше нравиться ему.

## 5

Михеев в машине лектора Васильева из Политуправления 1-го Белорусского фронта ехал по Минскому шоссе. Стараясь настроить себя, приготовиться к новому делу, Михеев расспрашивал своего спутника Васильева об условиях его работы на фронте, а затем спросил, интересуются ли там искусством.

— Искусством, конечно, интересуются, но стоит во главе искусства подполковник Охлопов, — сказал с некоторым затруднением лектор. — В других делах понимает, но в искусстве не разобрался.

Шофер, искусно ведший машину со скоростью восьмидесяти километров в час, повернулся к Михееву и сказал:

— А я ваши картины видел. Вот бы вам к нам на Дон.

— Почему на Дон? — спросил Михеев.

— Вода у вас получается. У нас вода красивая... и такая ехидная...: прямо, как баба, ей-богу! — и шофер Голубцов рассмеялся своим мыслям.

— Да, воду я люблю, — проговорил Михеев, вспоминая, что давно уже не гулял у воды и что последний раз гулял вместе с женой, Ириной Алексеевной. И он подумал: «Встречу ли? Жива ли она? Жив ли ребенок?». И ему вспомни-

лась родная деревня, мать, вечерний свет на речке, гуси... Хорошо!

Вспомнил Михеев и Сашу. Он зашел к ней проститься перед отъездом, но ему сказали, что ее нет дома. Бестолковая соседка так и не могла объяснить: в городе Саша или нет. Уходил Михеев с тоской и, чтоб не бередить больше раны, решил окончательно побороть себя и не встречать Сашу никогда. «Ничего, не соломинка, не переломишься», — говорил себе и тогда, и сейчас.

Был тих и холоден, по-весеннему холоден лес, который пересекало черное, накатанное шоссе. Военные плакаты и лозунги окаймляли шоссе. Легкие хвосты метелей кое-где выползали на него, оставляя белые пушинки снега. Небо, облака и весь этот обширный, красноватый лес, на полянках уже начинавший подтаивать, были, как это часто случается в феврале, особенно смиренны. Казалось, что и самолеты не решались резвять эту безграничную и сладостную тишину.

Самолеты шли стороной.

Во все края Союза самолеты в то утро, как и всегда, везли людей и газеты, людей со срочными заданиями и приказами, газеты с важными и нужными вестями.

Газеты везли и на Урал, и в Среднюю Азию, и на Север, и на Кавказ. Но особенно много везли их в Красную Армению, что стояла и в Восточной Пруссии, и в Померании, и на Карпатах, и в Силезии, и в Венгрии, и неподалеку от Одера, и за Одером, на плацдармах. В газетах были напечатаны сводки Совинформбюро, статьи о боях, стихи и рассказы о сражающейся родине, телеграммы с Западного фронта...

А в одной молодежной газете были напечатаны репродукции с четырех картин художника В. И. Михеева. И среди них — снимок с картины «На Н-ском заводе — Сталин».

...Самолеты шли. Самолеты везли газеты. И среди них одну в две странички. На второй страничке, сверху, были напечатаны репродукции с картин молодого художника Михеева. Самолеты опережали Михеева, и он не знал, что газета величиною в две странички летит впереди него, на фронт и несет туда весть о его картине...

Машина пересекала лес.

Открылось поле.

## Русское поле!

Было два часа дня. Машина перерезала черную лужу на дороге, и в блесках ее отразился лес, который оставался позади.

И широкое чувство радости полета вдруг наполнило Михеева. Он глядел на холм, покрытый голубовато-синим, полупрозрачным, февральским, каким-то, как ему казалось, опрокинутым снегом. Глядел на оранжево-желтые сосны кончающегося леса, застрявшие в этом снегу и словно задыхающиеся от желания выбежать на простор поля. Глядел и на другой холм, косо срезанный у подошвы обнажившимся льдом озера. Глядел на мчавшиеся навстречу грузовики, покрытые влажным брезентом. Ощущая кислотный запах мокрого снега, набухшего по обочинам шоссе, глядел на этот нескончаемый снег, — и все окружающее казалось ему умным, живым, волевым и полным до краев щедрым человеческим достоинством.

От радости щемило сердце. Путь, знаю, далек, но разве он страшен тому, кто верит в жизнь и ее силу?.. И ему припомнилось детство, когда, только что научившись грамоте, он раскрыл Гоголя. Был вот такой же пухлый и свежий февральский день. Он сидел у окна и читал «Страшную месть». Это было действительно страшно и в то же время не страшно, хотя тогда, само собой, он искренне верил в колдунов, в их ненасытную, отвратительную силу. Он и тогда знал: правда жизни побеждает. И привязчиво, и привлекательно вставали перед ним справедливые гоголевские горы, и чудесный всадник на них, и ползущий к нему злой колдун, не менее жуткий, чем тот, что засел теперь в Берлине и точит зубы на всю Русь...

— «Не-е, мы своего, брат, добьемся!..—упрямо шептал неизвестно кому, как и тогда, в детстве, Михеев.

## Глава пятая

**„ТУТ ЧУДИТСЯ КОЛДУНУ, ЧТО ВСЕ  
В НЕМ ЗАМЕЛО, ЧТО НЕДВИЖНЫЙ  
ВСАДНИК ШЕВЕЛИТСЯ, И РАЗОМ  
ОТКРЫЛ СВОИ ОЧИ“**

(ГОГОЛЬ)

1

Когда идет война с врагом ужасным, жестоким и подлым, которого еще не знало человечество; когда враг этот ви-

сит над вами в небе, ввергая вас в огонь и смерть, когда он заползает в ваши тылы, готовый отравить вас, задушить, выколоть вам глаза, вырезать язык; когда ваш ребенок, еще не научившийся говорить, предназначен им к немедленному уничтожению, — тогда вы не можете не вздрогнуть от гнева, если вам скажут, что до границы врага осталось несколько километров. Тогда и этот обычный средневропейский ландшафт, вступающий по обе стороны изъезженного шоссе, приобретает особые, жуткие очертания!

От Познани шоссе начинает извиваться, углубляться или вдруг взлетает на холм. Из-за холмов, словно крадучись, выглядывают сосны и дубы, мрачные, ободранные взрывами, а разлапистые яблони кажутся застывшими в безумном и тяжком страхе. И вы увидели темную багровую, наспех сколоченную из бревен и досок арку, похожую на три гроба, которые судьба соединила вместе. На верхнем гробу черная надпись, казалось, сделанная запекшейся кровью: «Германия». Проклятие тебе, фашистская Германия.

И, словно вслушиваясь в это проклятие, молча стоят вокруг арки тигрового цвета сосны. Умолкают и люди, мчащиеся по шоссе на машинах, — пешеходов здесь нет, — умолкают, поднимая вверх глаза, даже те, кто много раз проезжал под этой аркой и которым кажется, что они привыкли к ней.

Затем вы проедете по небольшим немецким городам, по Королевскому лесу и выедете на Одер. Здесь идут бои — под Кюстрином и Франкфуртом. За Одером стоит вооруженная и непрестанно вооружающаяся Германия, роятся укрепления, рвы, минируются поля и дороги; от Одера до самого черствого Берлина, под трепетно-сумрачным небом, наводящим уныние, расположена артиллерия, танки, самолеты, всюду снуют немцы, слышны приказания, повторяются слова фюрера, непрестанно из подземной имперской канцелярии кричит Геббельс, призывая немцев всеми силами и всеми средствами защищать Берлин. Миновала пора, когда гордо лилейные морды беспрепятственно шествовали по Европе. Встала хмурая и угрюмая действительность. Немцы постепенно размягчали Европу, как железом, намереваясь выковать из нее вечный пьедестал для Германии. Кинулись они и к России,

не зная того, что Россия сразу способна сжечь парадные мундиры и парадные замыслы фюреров и подфюреров.

Так оно и случилось. Горит Германия! Смрадный дым повис над ее столицей. Ухают русские, американские, английские бомбы, падают в имперскую канцелярию, качаются ее квадратные, тонкие и длинные, как карандаши, колонны, и Гитлер бежит в подземелье, туда, где давно уже сидит Геббельс. В подземелье много этажей, белые изразцовые стены, часовые, много света, но и в самом нижнем этаже слышны взрывы. Горит Германия. Кричит иступленно Геббельс. «28 апреля 1945 года, — кричит он, — окончится война полным уничтожением русских и их союзников. Мы выпустим особые средства войны». «И да простит мне бог за то, что я сделаю в последние эти минуты», — в таких приблизительно словах подтверждает Гитлер то, о чем кричит уже много дней Геббельс.

И идет слух по Берлину. В подземелье, под имперскую канцелярию, в кабинет к самому Гитлеру спускался Альберт Хильдебрант. Берлинцам он хорошо известен, спортсмен, гребец, длинный, худой. Туловище его постоянно стянуто мохнатым зеленым жилетом. Говорят, он подробно рассказывал Гитлеру о своей новой машине. Это гигантский ковш, способный в течение одного часа убрать любые развалины, и не только убрать, но, переварив их в своем чреве, выпустить большими блоками, из которых можно немедленно сложить новый дом. Вообще Гитлер очень интересуется строительством новой Германии—победа так близка, принимаются все меры к победе... И перед грязно-маслянистым, как оплывшая сальная свеча, лицом Гитлера показался еще строитель-архитектор Франц Лемман, который будет воздвигать в Берлине «Дворец победы». Уже с 1941 года из Финляндии и Швеции множество барж везут вверх по Одере и выгружают за Франкфуртом нескончаемое количество плит отшлифованного гранита. Тут серно-желтые, снежно-белые, розовые, чисто-зеленые блестящие камни лежат в неисчислимом множестве... Не унывайте, берлинцы! Гитлер построит вам и «Дворец победы», и выстроит вам разрушенные бомбами дома: чудодейственная машина Альберга Хильдебранта уже почти готова, находится в стадии опытов. Не унывайте, берлинцы,

противник на Востоке и Западе скоро, к 28 апреля, а может быть, и раньше будет уничтожен. Фюрер не дремлет в белых подземельях имперской канцелярии. Он — вы слышали?.. — находит даже время разговаривать с архитектором Францем Лемманом. Правда, сам Франц Лемман не может рассказать берлинцам, о чем он беседовал с фюрером; и вообще, архитектор — человек неопределенный: просто какая-то серая дыра, а не человек. Он на все расспросы говорит: не столько о фюрере, сколько об его адъютантах, что строги, звенящи и блестящи, как жемчуг.

— Да, фюрер не дремлет, — говорит, ухмыляясь, седой генерал Ражников, выходя на берег Одера и разглядывая узкий плацдарм на том берегу, который заняли его войска. Далеко за плацдармом и за немецкими позициями видно прочное и длинное зарево. По прямой до Берлина 80 километров, но несомненно: горит Берлин! Славно его сегодня побомбили! Да, фюреру сегодня не до дремоты.

Не до дремоты немцам, встревожены они. Шныряют их самолеты, бросаются вниз парашютисты, скрываясь в лесах, возле фронта, чтобы разведать мысли русских, крадутся берегом Одера шпионы, вооруженные взрывчаткой и различными аппаратами, а бюргеры прячут, закапывают в землю драгоценности и деньги; в небольшом городке Найдан, к которому приближаются конники генерала Кочергина, отвели бюргеры в лес и спрятали в землянке семнадцать наикрасивейших дочерей сего малопрославленного града.

## 2

Лектор Васильев ссадил Михеева у ворот дома, где остановился подполковник Охлопов. Он расположен в немецкой деревне: одна улица каменных домов, в пять-шесть окон каждый, и шесть или семь улиц огромных каменных сараев, которые, словно горы, встают за этими домами. Сарай эти словно облиты желчью: подходить к ним неприятно. Какие там стояли кони! Какие там стояли борова! Какие коровы! И какие железные ворота замыкали этот двор и эти сарай, кажется—никакому ветру не распахнуть их! Кони, борова и коровы разбрелись по лесам и ходят вместе с дикими

козами, которых немало в окрестностях. Хозяева—за Одером, они ушли спасать себя, роют там канавы, рвы, рубят лес для баррикад и с унылыми, серыми, цвета окостенелой оконной замазки лицами слушают речи Геббельса и тоскуют по своим домам, по опрятному лесу, который окружает дома, лесу, где вам и гнилушки не найти, хоть ищите ее год.

Основное убеждение подполковника Охлопова то, что он исправно исполняет свои обязанности.

Для Охлопова не существует соблазнов, он проходит вдоль них, как путник, боящийся заблудиться, идет вдоль леса, по опушке, не углубляясь в таинственную и смутную тьму. Но остальные, он убежден, только и думают о том, чтоб остаться позади него и что-то такое сделать неприличное. Особенно молодежь, и штатская молодежь. Подполковнику — сорок пять, он себя считает молодым, хотя к молодежи себя и не относит.

Живет Охлопов в доме пастора: пастор не покинул деревню, а только переселился, и притом добровольно, на чердак, вместе со своей престарелой тетушкой и толстоногой племянницей. Пастор почти безвылазно сидит на чердаке, и ему кажется, что он находится поверх всех победителей, знает все их намерения и повадки.

Вместо любопытства к приезду художника на фронт и естественных расспросов об искусстве, Охлопов прочел Михееву выговор, что машина, везущая важные документы, задержалась в Варшаве на три дня. Михеев начал: поломка, задняя ось, подшипник... Охлопов не слушал его. Тощий, желтолицый, похожий на папоротник осенью, он сидел в кресле и, глядя в окна, говорил, что газетные корреспонденты распустились, катаются в Варшаву, и что пора принять меры...

— Почему вы без погон?

— Я уволен из армии и служу в «Журнале»...

— Нет никаких оснований распускать себя...

Михеев хотел возразить, но вдруг, разглядев тусклое лицо Охлопова, подумал, что существовала эпоха, когда папоротник был большим деревом, приносил пользу, а теперь осталась сухая трава с острым неприятным запахом, да еще поверье, что он цветет. Ему стало

смешно, и он сказал, чтоб покончить разговор:

— Разрешите итти зарегистрироваться, товарищ подполковник.

«А мальчишка нахальный», — подумал подполковник и, забыв о Михееве, принялся за сочинение какой-то резолюции по какому-то докладу

### 3

Неподалеку от арки с надписью «Германия» есть сворот направо. Поднимется шлагбаум. Регулировщица проворно укажет вам путь. Узка дорога среди холмов, усаженных грушами и яблонями. Длинные, узкие машины скользят по этой дороге бесшумно и ловко, седоки разговаривают между собой шопотом, чтоб, очевидно, не помешать той сложнейшей работе, которая происходит в конце этой узкой дороги, возле озера, в серо-красных домиках, в новой части городка Бирнбаум. Здесь расположена штаб-квартира маршала Жукова, командующего 1-ым Белорусским фронтом.

Крошечный мостик через ручей, соединяющий Варту и озерко, название которого знают только одни военные карты, делит Бирнбаум на две половины: их можно было бы назвать Старый и Новый Бирнбаум, но разница в строениях едва ли достигает пятидесяти лет. Оба, Старый и Новый, имеют всего по две улицы, но Старый омывает река Варта и озерко, а Новый толпится лишь у озера.

Знают ли поляки, что в унылой тени голых деревьев, откуда выглядывают бетонно-серые дома и неутомимым пламенем горят на солнце черепицы, живет и трудится маршал Жуков? Во всяком случае Старый об этом громко не говорит, однако настроение у всех приподнятое. Праздников у поляков и без того много, но они с жадностью вытаскивают самых замшелых святых и гуляют в честь их и в честь пришедшей свободы по двум улочкам Старого. Улочки, словно сознавая, что их двух для этого городка чересчур много, за городской площадью сливаются в одну, и эта улица идет долго, качаясь то в сторону Варты, то в сторону озера; и от костела до окраины, где прячутся за деревьями зенитки, слышен смех, шутки, играют светлые пальто и шляпы мужчин, и непромокаемые, ра-

дужно стеклянные, словно крылья стрекоз, плащи женщин. На русских офицеров действуют убийственно ошеломляюще-чарующие и упоительные улыбки и бездонные, как стремнины, глаза. И кажется, что в этом городке собрано столько обольстительной нежности, сколько нет и во всем свете! Офицеры шагают мимо костела, мимо пустых витрин, на которых наклеены воззвания и сообщения о митингах комитетов различных польских партий, глядят в глаза встречаемых женщин и сразу забывают набухшие, разлившиеся реки, мокрые леса, в которые по ночам немцы спускают диверсантов, густо заминированные поля и думают: «Переплывали и не такие реки, переплывем и Германию. Долго еще будут вспоминать нас и улыбаться нам вслед эти глаза».

### Глава шестая В ПОЛЬСКОМ ДОМЕ

#### 1

Там, где заканчивается городская площадь и две улочки, влившиеся в одну, еще не освоили своего состояния, торчат четыре домика. За этими домиками растут каштаны, а среди них, не без польского изящества, вырыто бомбоубежище. Как раз против бомбоубежища стоит двухэтажный домик у белой стены, за которой незаметно стоит костел, встающий перед вами во весь рост лишь при закате солнца, когда оно, стражаясь и в реке, и в озере, вливается через окна костела, наполняя его светом и теплом. И делая его как бы воздушным, и когда вы, как вам кажется, начинаете понимать Польшу и эти обольстительные нежные фигурки резвых и тонких, как стрекозы, женщин.

Под домиком находился электромагазин, принадлежавший немцу. Магазин поляки разгромили. На полу валяются битые матовые шары, люстры, стекло, ниль, ящики из конторок, немецкие деньги, письма и гофрированная бумага, в которую завертывались электролампочки, абажуры и выключатели. Дверь постоянно открыта, хлопает, словно напоминая, что то же самое будет и во всей Германии. Против магазина, под лестницей, ведущей наверх, двери в механическую мастерскую, где пожилые мастера в клеенчатых фартуках и теплых меховых

жилетах что-то строгаят по металлу, их дети пишут на жести какие-то вывески для армейских учреждений, безбожно путая русские буквы с польскими, но на каждой вывеске непременно изображая красную звезду с серпом и молотом в середине ее. Жены этих мастеров пекут и варят: леса доставляют обильную пищу, а обильная пища, как известно, волнует молодую женскую кровь, и поэтому ночью в мастерской уже визжит не металл, а слышится другой, горячий и пылкий визг. Здесь, у старшего мастера кооперативной мастерской, остановились приехавшие вчера из Познани два поляка: Вольдемар Виллер и Ян Путульский. Они зарегистрировались у военного коменданта и сейчас наверху, в комнате хозяйки дома.

Когда вы распахнете наверху входную дверь, а она раскрывается с усилием, с леденяще скрипучим, как страх, звуком, вы увидите две комнаты с кроватями, диванами, низкими и чрезвычайно теплыми изразцовыми печками, с дубовой мебелью, отделанной лакированным железом, с железными люстрами, повешенными низко, так что они постоянно бьют вас по носу, с запахом карбидных ламп (электричество есть только в штабе). Здесь живут специальные военные корреспонденты, фотокорреспонденты и два писателя: сутулый, усталый, с постоянной повязкой на шее майор, еврей из Одессы, и толстый в темных очках, широколицый, шепелявый сибиряк, впрочем, лет двадцать пять не посещавший Сибири. В остальных двух комнатах живут польки, владелицы домика — мать и две дочки: Ядзя и Ванда, и сынок, шестнадцатилетний оболтус-филателист, делающий вид, что чрезвычайно занят внизу, в мастерской, где он непрестанно курит, врет и пьет с мастерами «шпирт»-сырец. Вольдемар Виллер и Ян Путульский рассказывают хозяйкам о жизни в Познани. Топится кухонная плита, жарится ляжка кабана: корреспонденты собираются плотно поужинать с приехавшим из Москвы товарищем, художником, отпраздновать его встречу с женой. Беспочвенно часто входит в кухню жена художника: строгая дама с красивыми белыми руками. Ей, собственно говоря, смотреть бы на плиту, ведь она сама вывела хозяйничать и обставлять ужин. Она же смотрит через открытую дверь на Путульского, и даже не очень наблю-

дательный взгляд может прочесть у обоих в глазах страдание, так что, когда Ирина Алексеевна приглашает поляков пройти в комнату корреспондентов, Вольдемар Виллер вздыхает и идет без особенно большой охоты. Происходящее кажется ему не особенно тактичным по отношению к русским друзьям. Но он много лет знает Яна Путульского — это благородный, возвышенный, тонко чувствующий человек, и нет оснований думать, что происходящее кончится как-либо пошло и низко. «Ах, что делает любовь, ах, что она делает,— тем не менее»...

Ирина Алексеевна говорит:

— Ян Доминикович, товарищи просят рассказать, как вы спасли меня от гибели. Я расскажу. Прошу поправить детали, если в чем-либо спутаюсь. Но прежде всего я сыграю «Шестой полонез» Шопена, благодаря которому я была спасена.

Ян Доминикович сконфужен. «Пустячная услуга, ее оказал бы каждый»...

## 2

Ирина Алексеевна сняла с клавишей пианино вышитую зеленую суконку. Руки у нее прекрасные, движения точные, твердые; ногти, несмотря на пережитые несчастья и приключения, великолепно отделаны и вообще есть в ней что-то от шиповника: твердость, колючесть, и алый, влажный рот, словно цвет шиповника... Как ее можно любить! И под всеми этими мыслями о ней билась в Михееве одна затаенная: о том, что он не любит ее, что отношения его к ней изменились совершенно. Он отчетливо помнил, что руки ее особенно волновали его, будили чувство. Сейчас он смотрел на них спокойно, размышляя, почему ему не удавались рисунки ее рук. Он вкладывал в них движения творца, а это просто движения лектора, передающего чужие мысли, пусть даже страстного лектора, но, к сожалению, только лектора.

Вот и сейчас. Как было б хорошо, если бы она просто рассказывала о своем спасении. Но то, что она сейчас скажет, будет лекция о пользе подвига, исходящего, имеющего корни... в чем бы? Возможно, в искусстве. Она, встретив его сегодня, сразу же заговорила не о ребенке, не о любви, не о

его матери, не о своих родных, а об искусстве, понимаемом ею своеобразно:

— Виктор! Превосходно, что ты приехал. Здесь так мало людей искусства. Ты окажешься очень полезным. Я говорила с начальником тыла фронта. Всюду собирают предметы искусства, похищенные немцами у нас. Но для планомерной работы сборщиков надо провести кампанию, донести до самых низов задачу. Понимаешь? Красноармеец привлек обращать внимание на брошенный немецкий танк или склад материалов, но никто не учил его обращать внимание на произведения искусства, всматриваться, докладывать о виденном. Но он часто не замечает картины, вазы, скульптуры, художественного издания книги... ну, полюбуется для себя и пройдет мимо. Но если мы расскажем, мимо чего он проходит, красноармеец спасет колоссальнейшие культурные ценности.

Слова правильны. Лекции об искусстве, несомненно, принесут огромную пользу. И те, которые она успела прочесть, уже и принесли... Однако почему ж ее так скучно слушать, словно перед ним Охлопов, похожий на сухой папоротник, а не его любимая жена, доставлявшая ему прежде столько радостей?

— Ты видел — тощий, похожий на птицу, длинноносый? Вольдемар Виллер? — спросила она его.

— Вольдемар Виллер? Это его скульптура «Ребенок, потерявший мать». Ну да! Там еще козленок тычет ребенка рожками, а тот плачет, не замечает. Чудесная вещь, великолепный стиль! Неужели это он?

— Виллер плохо говорит по-русски, а то б его тоже использовать для пропаганды искусства. Как странно, Виктор! Думали ль мы, что будем разыскивать на фронте, в величайшую войну величайшие художественные ценности, принадлежащие нашей родине. Ведь знаешь, — проговорила она шопотом, — они где-то здесь неподалеку... в подземельях... и какой-нибудь фрицек нажмет кнопку, и они взлетят. Надо вырвать, Виктор! Я очень рада, что ты приехал сюда.

Только и всего. Она рада, потому что он будет помогать в розыске картин, скульптур, книг. Но где же любовь? «Где, прежде всего, твоя любовь?», — могла бы и она задать вопрос. Но ведь не задала. Да и желает ли она задать этот вопрос? Интересует ли это ее?..

Какой беспокойный был день и какой беспокойный наступил вечер. Михеев не мог сидеть в комнате и вышел на улицу.

## 3

У окна мастерской стоял шофер Голубцов. Он отдал честь и сказал:

— Вот и приехали, товарищ гвардии художник. А я, через своего майора, буду проситься к вам: есть возможности.

— Просись. — проговорил Михеев. — Какие ж возможности?

— А может из Берлина на Дон вместе поедем. — И он сказал на кухню, видимо, продолжая разговор с поляками. — Немец кушать не умеет. Немец, как я заметил, жрет! Ему дай машинное масло, он и масло сожрет. А кушать, если рассуждать по-нашему, кушать — я так кушаю, что умру с голоду, а плохой пищи не приму. И я тебе скажу, пан мастер, даже животные, и те едят с разбором... Сейчас я тебе расскажу, как у нас рыбу готовят...

На крылечке показался Вольдемар Виллер. Он стоял, глубоко всунув руки в карманы и делая вид, что не смотрит на Михеева, а глядит вверх кирпичной арки ворот, на озеро. Не обращаясь к художнику, он сказал:

— Путульский спас вашу подружку, пан Михеев, потому что услышал, как она играла «Шестой полонез» Шопена.

— Я ему очень признателен, пан Виллер.

— Немцы не разрешали нам музыки, пения, искусства... Когда меня посадили в тюрьму, в Познань приехал некто Альберт Хильдебрант и увез все мои работы... я не знаю куда.

— Альберт Хильдебрант... я слышал это имя, — сказал Михеев, — он, кажется, что-то пишет или писал о славянском искусстве?

— Только клевету и подлости.

— Но что значит увез все?

— Все! Остались пустые стены. И в этих пустых стенах моего дома размещалась воинская часть. — Он вздохнул и добавил: — Это было мучительно тяжело. Я отказался от искусства. Воевал. И сейчас мы вместе с моим другом Путульским оформляемся и будем служить в польском войске..., а, вместе с тем, мне очень приятно смотреть, как вы работаете.

— Сегодня вам захотелось работать?

— Я решил снова лепить. Можно?

— Почему же нельзя?

— Хотел бы начать с вашего портрета.

— Позировать, пан Виллер? Когда успею?

— Я — эскиз... и, знаете, трудно начинать снова. Для меня долго не существовало искусство. Но вижу, оно лишь дремало во мне. Я всегда думал, что велик тот, кто, схватив в юности замысел, осуществил его в зрелые годы и вспомнил в старости! И, вспомнив, повторил его еще раз. Я его опять увидал, и оно, искусство, опять, как смерч, встало передо мной! Какое нежно-печальное...

— И какое узорное чувство, — закончил Михеев, — какое глубокое и какое благодатное!

## 4

Скульптора окликнул Путульский, и он вошел в дом.

Поспешно, с потухшими фарами, бежали машины. Регулировщики ушли. На мосту через Варту остались только караулы. Городок замер. Михеев вышел за ворота, свернул в переулок, который вел к озеру.

Не то у ветел, не то во дворе, где машины корреспондентов, звякнуло, словно зарядили пистолет. Тут, в этой сумрачно зеленой тишине, с чуть заметной полоской меди на закате, трудно определить направление звука. Да и зачем? Михеев шел, наслаждаясь напряженной тишиной и странными отблесками давно окончившегося заката. Он расстегнул куртку, сшитую из солдатского сукна, и дышал широко, всей грудью.

В обочинах дороги и по вязкому берегу сзера кое-где лежал еще снег, отсвечивающий оловянно-серо. Плынь делила озеро на несколько ледяных полей. Между ними, точно медь, покрытая маслом, блестела вода, и от нее несло зыбким, пронизывающим холодом. Ветлы еще можно разглядеть каждую в отдельности, но домики Бирнбаума давно слились за спиной, хотя до них едва ли шагов тридцать. Превосходно, остро, необыкновенно! Теплая, гордая волна уверенности в своих силах охватила его, когда он вышел на берег озера и приступил к самой воде. О, он недаром любил воду!

Ветлы, неподвижные, голые, мрачно повисали над ним. Они были темны и

бесцветны и, однако, казались пепельно-серыми.

И вспомнился скульптор Виллер, его трепет перед искусством, и подумалось о Хильдебранте. Второй раз он слышит это имя, — впервые услышал от генерала Бурсакова, — и хотелось бы знать, каков он из себя? Такой, наверное, широкий, выпуклый и коричневый. А, впрочем, что ему Хильдебрант? Протечет мимо имя и затеряется в песках забвения...

Бродил он по берегу долго, больше часа, и вернулся в дом. В груди горело что-то темное, словно раздували угли от одного, уже горящего. Ему казалось, что там, возле озера, он узнал какую-то огромную, способную потрясти новость, но не находил слов определить ее. А может быть это просто жажда труда, работы, желание видеть побольше людей, понять через них источник жизни и счастья!

Ирина Алексеевна все еще сидела у пианино и все еще собиралась играть «Шестой полонез». Она не то чтоб смущалась или рисовалась, — нет. Но ей хотелось посидеть спокойно, в хорошей беседе, с хорошими людьми. Увидав Михеева, она поправила своими чудесными, бело-розовыми руками волосы, освободив из-под них великолепные овалы ушей, и проговорила:

— Виктор! Я все-таки хочу играть.

— Конечно же, играть, — сказал Михеев, садясь в угол, противоположный пианино. — Я жду с нетерпением.

И он подумал: «Семья у них музыкальная. Кто знает, не проснулся ли у ней талант?»

Но при первых же звуках полонеза, он понял, что талант у нее не проснулся, и ему стало скучно слушать. Ему бросилось в глаза, что один только Ян Путульский слушает ее игру, как откровение. Мысли побежали в другую сторону, и думалось, что, чего доброго, не приняли бы ее рассказ за манерность или за бахвальство. Жаль, что исчезло ощущение углей, раздуваемых в груди, а вместо того — першило в горле: ужасающе много курят корреспонденты. Дым, волокнистый, длинный, похожий на какие-то фигуры без костей, вился над железной люстрой, под которой медленно горело пламя, вырывающееся из овально-го сосуда с карбидом.

Окончив игру, Ирина Алексеевна стала рассказывать о подвиге Путульского. Она наткнулась в пустом доме на

рояль и вздумала сыграть «Шестой полонез». Дом находился возле маслозавода. Вошел Путульский, давно не слышавший польской музыки. Внезапно в город снова ворвались немцы. Путульский, в благодарность за музыку, провел ее на маслозавод и спрятал в подвале, где она и прожила в очень тяжелых условиях три недели, пока город обратно не взяли наши части.

«Три недели прятать человека, да еще вдобавок бежавшего из концлагеря, конечно, подвиг, — думал Михеев. — И этот Путульский молодчага, хотя и сыровар! Но только чем объяснить этот рассказ, вернее его появление здесь?» Он обернулся к Путульскому, затем посмотрел на Ирину Алексеевну и вздохнул: «Ну, что ж! Она, кажется, его любит. И, пожалуй, она будет с ним более счастлива, чем со мной». И тут же мелькнуло: «Что, обрадовался? А как же ты? Как же твой ребенок? Как же твоя мать?»

Окончив рассказ, очень короткий, элегантно сделанный и, видимо, всем понравившийся, Ирина Алексеевна проговорила:

— Корреспонденты, офицеры, фотографы, писатели, художники, присутствующие здесь, столько видели, столько раз были спасаемы и столько раз сами спасали, что знают, верна ли теория, будто спасенный меньше любит спасителя, чем спаситель спасенного. По этой теории пан Путульский должен влюбиться в музыку и стать профессиональным пианистом!

Заключение было тоже элегантно. Пан Путульский ответил чем-то галантным и с красным от волнения лицом, очень довольный вечером, рассказом Ирины Алексеевны и своей ролью в этом рассказе, прошел в кухню, чтобы узнать, как там ужин. Он сегодня объяснялся в любви Ирине Алексеевне. Она поблагодарила его за заботы о ней и за его чувство, но сказала, что у нее муж, ребенок, долг, что она признательна ему, но о том, что она сама чувствует к нему, она ничего не сказала. Когда он взял ее за руку, она позволила ему поддерживать ее столько, сколько нужно для того, чтобы не обидеть, а затем отняла руку и проговорила, что на дворе становится свежо и пора в дом. Он сказал, что любовь его к ней будет длиться вечно, он просит помнить это, и хотя он скромный

сыровар, но он большой специалист в этой области и когда кончит войну с немцами, то он покажет всему миру, какие надо делать сыры! Он одинок, ему тридцать лет, он никогда не рассчитывал жениться, да и как жену может выбрать благоразумный человек в эти сумасшедшие дни, которые выпали нам на долю? Но теперь он понял: если жениться, то лишь на ней, Ирине!..

## 5

Окончен полонез, окончен и рассказ. Пора за стол. И так как все к тому времени были посвящены в забавные затруднения Васи Фуражкина, фотокора и автора известной всему фронту поговорки «тридцать на сорок», то все и ждали, когда ж он откупорит свою бутылку. И откупорит ли вообще?

Вася Фуражкин, полный, розоволицый, с волосами цвета сухого песка, не мог получить ответа на очень, казалось бы, простой вопрос. И кого б он ни спрашивал, все отвечали:

— Обратись к другому. Разве мне такой вопрос разрешить? Очень сложно, Вася! Поищи постарше и поумнее. Научного человека поищи, Вася!

Дело в том, что вчера Вася Фуражкин получил ошеломляющий подарок. Он попал в часть, наступавшую на Кюстрин, что на Одере. Часть захватила склад вина. Генерал, командир части, трезвенник, с одной стороны, и опасавшийся, что вино немцами отравлено—с другой, приказал спустить вино в канал, потому что многие бочки с вином были повреждены снарядами, вино заполнило подвалы по шиколодку, значит, нечего ставить тут и караул, чтобы передать вино тыловым частям.

Среди бочек наткнулись на огромные бутылки, оплетенные ивовыми прутьями. «Токай» — гласила однословная надпись на прутьях.

— Неужели, товарищ генерал,—сказал Вася плачущим голосом, — вы и токайское прикажете в реку?

— Безусловно, в реку, — ответил генерал.

И тогда Вася взмолился. Он припомнил все причины, какие только мог:

— Товарищ генерал. Да вы шутите! Завтра приезжает художник Михеев. У него жена освободилась из плена. Он мать ждет. И нам их потчевать сырцом?

Подарите мне эту бутылку, товарищ генерал, и, клянусь, будете довольны мной!

Генерал пожал плечами, но подарил бутылку. Вася завернул бутылку в шинель, нашел ей чемодан, привез в Бирнбаум, и теперь его мучил вопрос приличия,—так как Вася считал себя человеком воспитанным: «Прилично или неприлично принести сюда эту бутылку? Во-первых, на фронте сухой закон, во-вторых, в бутылке не менее двадцати пяти литров крепчайшего вина. Прилично или зарвавшееся хамство: тащить на ужин товарищу столько вина?»

Никто не сомневался, что Вася в конце концов притащит. Но все хотели знать, как же он разрешит эту дилемму? Вася волновался, — он ничего не понимал из того, что рассказывала и что играла Ирина Алексеевна. Но музыку он любил, и это обстоятельство еще более усложнило проблему бутылки. «Нахальство или прилично?», — думал он, глядя на плавно ходившие руки Ирины Алексеевны.

Пришел Михеев. «Этот — громоздкий слишком, что он понимает!», — подумал Вася.

Наконец, он отодвинулся в глубину коридора, и когда проходила Ирина Алексеевна, он дернул ее за рукав и сказал:

— Ирина Алексеевна! Вы скажите мне: прилично или неприлично?

— Что, неприлично? — сказала она, улыбаясь.

— Бутылка вина, бутылок на пятьдесят! Прилично или неприлично?

— Какая бутылка?

— Да у меня есть, — шопотом сказал Вася. — Токай! Генерал подарил. Кужину?!..

Ирина Алексеевна сказала наставительно:

— Он вам, молодой человек, подарил это вино, чтоб его выпить после окончания войны. Сейчас нет таких причин, чтобы выпить столько вина.

— Нету?

— Нету, Вася.

Он вздохнул и, отдавая честь, сказал:

— Подчиняюсь. Исключительно ради музыки, шутите вы, что ли!

И Вася ушел, чувствуя себя рыцарем. Спрятав вино в недостижимое место, он лег спать не у себя, а у приятеля. Долго в ту ночь спрашивали, куда девался Васык и скоро ли окончится эта шутка, которая становится неприличной...

## 6

Михеев ел мало и после ужина раньше всех вышел из-за стола. В коридоре у окна стоял большой кофр. Михеев присел на него и задумался. Возбуждение колыхалось в нем, как сухой туман при сильной жаре. От окна несло сыростью, бумага затемнения еле заметно шевелилась, и, казалось, над домом легла большая, черная и страшная туча. Станным кажется стук солдатских сапог по двору, высланному камнем. Стукнула дверь машины; завозились кролики в большой деревянной клетке.

Из комнаты слышен четкий голос жены. Терпеливо, точно терпугом, подпилником, спиливая возражения противника, она говорит о скотоводстве, так как сама сейчас работает на сборном пункте скота. Михеев вообразил почтительные, внимательные лица слушателей и улыбнулся. Она может заставить себя слушать!..

— В руках хорошего скотовода, товарищ корреспондент, тело животного — мягкая глина, как, например, та, из которой скульптор Виллер лепит все, что ему вздумается. Отбирая каждый раз на племя экземпляры с самой длинной шерстью, экспериментатор Дебантон, через семь или восемь поколений, получил шерсть в двадцать два дюйма длиной. Заметьте, что руно первого подопытного барана...

«Прекрасно, умно, но об этом ли надо сейчас говорить?», — подумал Михеев.

Прошел Виллер. Нос у него длинный, голова птичья, а туловище тонкое, странное, точно у горностая. Но странней всего руки — руки владыки, сильные, способные, пожалуй, переломить в пальцах полено. «А. она любит Путульского. Почему? Чем он может нравиться?», — подумал Михеев.

Виллер сказал:

— Коллега. Будем много работать? Очень много?

— Да, очень много.

— Да. Чтобы вдохновить славянство.

«Это он о Хильдебранте и своих работах думает», — мелькнуло в голове, и Михеев сказал:

— И славянство, и все человечество!

Виллер воскликнул:

— Друг! Разрешите вас обнять.

И он охватил его своими крепкими руками. Михеев почувствовал ~~теплоту~~ и

цепкую ширину этих необыкновенных рук. Он поцеловал Виллера в губы и засмеялся:

— Точно дети.

— Люблю детей, — сказал глухо Виллер. — Было двое. Убили. Немцы. Жену повесили: хотела спасти и детей и мои работы. Немцы — это не люди. Это подкожные черви человечества. Нужно их выжечь. До свиданья, мне завтра в военную часть, рано...

И он поспешно ушел.

Михеев прикрыл дверь в комнату и, чтоб немножко освежиться, открыл окно.

Неподвижная тьма лежала за окном.

Раскрылась в столовую дверь. Он опустил бумагу.

Ближе к порогу сидели за столом польские девушки в невинно-белых коротеньких платьицах, точно наступила весна или справили свадьбу. Лица у них были весенние, радостные. В конце стола, простерши прекрасные руки, точно благословляя пищу, говорила Ирина Алексеевна. На минуту и девушек и Ирину заслонила неуклюжая, словно одетая в шубу, фигура какого-то корреспондента, и хриплый бас спросил о пропавшем Ваське. Затем опять послышался голос Ирины Алексеевны:

— Вообще, сложный вопрос: предоставляет ли природа полную свободу упражнению каждого новообразовавшегося органа и ставит ли измененного индивида в наиболее благоприятные условия...

— А не выпить ли нам тогда каву, ксфе? — спросил опять тот же хриплый бас.

Вскоре Ирина Алексеевна вышла в коридор:

— Виктор! Душно? Хочешь к озеру? Вдруг луна выйдет? Ты любил гулять у воды.

— В этих числах луны не бывает. Да и тучи. К тому же я гулял. Грязь.

— Ты улыбаешься как-то сардонически, Виктор! Устал от дороги? И не трудно устать...

— Что ж дорога? — сказал, напряженно улыбаясь, Михеев. — Бывали дороги и хуже.

Лицо у нее бледное, красивое, цвета серебра с чернью. В конце концов она хороший человек и пусть она будет счастлива! «Но говорить ли ей о Саше? Да, и что я могу сказать, когда я не знаю: любил ли я ее или не любил?»

Ведь ничего ж не было!», — подумал он и, подумав так, сказал сам себе: «А, пожалуй, лучше всего ж сказать. Скажу!»

Но прежде всего он спросил:

— Мне хотелось бы знать подробности о матери, Ирина!

— Она осталась.

— Случайно? Сознательно?

— Думаю, сознательно. Она болела, и ей трудно было идти с нами. Она прислала записку: «Меня не ждите».

— Записку? Но она неграмотная!

— У нас были курсы. Сама я, например, выучила три языка: французский, немецкий, польский. Мы читали друг другу лекции. Тайком от немцев, конечно.

— Где это происходило?

— В лесах около Найльдама.

Она глядела на него прямо, не отводя взгляда.

— Что же ты предполагаешь делать? — спросил Михеев.

— Домой.

— В Москву?

— Куда же мне, в другое место?

— Ребенок обо мне знает?

— Иринушка! Я много и часто говорила ей о тебе. Но она больна...

Ирина Алексеевна холодно молчала. Затих разговор в соседней комнате. Гости разошлись. Михеев сказал:

— Сестра твоя чувствует себя лучше.

— Да, в самом деле? — сказала Ирина Алексеевна равнодушно.

Тогда он сказал:

— Я, видишь ли, чуть ли не влюбился. А ты... не ошибись, если скажу, что ты любишь другого.

Она вздрогнула, словно от удара, опустила глаза и, должно быть не поняв того, что он сказал о себе, а поняв только свою муку, подняла на него глаза, и они были красные и мокрые.

— Ты презираешь меня, Виктор? — И добавила с тоской: — Боже мой, что мне делать?!

— Нужно остаться здесь, если любишь.

— Я еду в Россию. У меня родина, слово, ребенок.

— Я возвращаю тебе твое слово, Ирина. Ребенка... Ребенка я в Польше не хотел бы оставить. Я выстрадал его...

— А я не выстрадала? Боже мой, какие вы, мужчины, эгоисты!

Она повернулась и пошла от него, видимо чувствуя себя разбитой, пересили-

вая мелкую и скорбную дрожь. В дверях комнаты она остановилась и, не поворачивая головы, сказала:

— У тебя есть одеяло?

— Да. Я лягу с корреспондентами. Мне уступают «лужку». А завтра я уезжаю к генералу Кочергину. Мне можно навещать ребенка?

— Да. Мы недалеко от Кочергина. В замке фон Путц-Каммера.

— Спокойной ночи!

Она еще помедлила, а затем воскликнула с какой-то злобной тоской:

— Но даю слово, что он спас меня не из-за любви!

«Хорошая женщина, и как бы мне хотелось, чтоб она была счастлива! — подумал Михеев, укладываясь на койке одного из корреспондентов. — Но как устроить это счастье, как?»

Спал он, впрочем, крепко и проснулся в десятом часу. Ирина Алексеевна, да и многие корреспонденты уехали, каждый по своим делам. Михеев поискал попутчика. Таким оказался Вася Фуражкин, и они после обеда отправились к генералу Кочергину, который дрался где-то возле Найльдама, пробираясь к Одеру.

## Глава седьмая

### ПОМЕРАНСКИЕ ВСТРЕЧИ

#### 1

Одер — это задворье берлинских улиц.

Переступив Одер, внятно разберешься в пословице, что если «по задворьям дрова рубят, то вдоль деревни щепка летит».

Берлину эта пословица известна более чем кому бы то ни было. На берлинском дворе, заваленном трупами, осколками снарядов, рухлядью, машинами — дымная и удушливая суматоха. Владельцу двора плохо: он тяжело заболел, он — в припадке. Помогай-а!.. «Помогаю!», — кричит владелица, безотрадно мрачная фрау, и, не замечая своей неряшливости, растрепанности, бегаёт по всему обширному и когда-то богатому двору в грязном халате, ища лекарств и в то же время твердя мужу, что они опаздывают на поезд, потому что надо же спастись...

Увы тебе, Германия! Твои никогда не опаздывавшие поезда, опаздывают теперь так, как никогда не опаздывали, а чаще всего — никогда и никуда не приходят.

Выбиты двери и окна не только вокзалов, но и вагонов. И нескончаемой, поникшей чередой, не опаздывая, идут поезда бедствий!..

Накренилась и имперская канцелярия, точно кузов экипажа полуупавшего в канаву. В белом подземелье имперской канцелярии, размахивая руками, точно отгоняя мух, повис Гитлер над картой Восточной и Западной Померании.

Восточная Померания, о!

Гитлер видит дороги, озера, лесочки, холмы, отлоги Померанской возвышенности, Варту, Одер, пространство северо-немецкой низменности между 14 и 15 градусом восточной долготы и 52 и 53 северной широты, где расположен Найльдам, один из старинных городов Восточной Померании. Гитлер видит — и не видит все это, задерганный злобой цепной пес! Барахтаются бессмысленно в его опытном ораторском горле слова. Куда, казалось бы, легко выковырнуть русских из Восточной Померании, как выковыривают семечко из яблока концом ножа, — а, вот, попробуй!..

Померанские помещики и кулаки любят часы с кукушкой. Но думали ль они, что эта кукушка прокукует последний год Восточной Померании, да еще и нацелится на Западную, что за Одером? Свищет над Померанией жаркая коса смерти. Она взметнулась было над Найльдамом и обошла его, как косарь обходит густой куст польни, чтоб собраться с силами. Косарь приостановился, вытер лоб, достал оселок, чтоб поточить косу. Еще взмах — и Найльдам сбросят с его холмов, как сбрасывают ненужную бумагу со стола на пол.

Вглядитесь в цепи розово-красных хребтов. Это дома найльдамских промышленников, офицеров, купцов, инженеров, помещиков. Между домами — шелковистые пропасти стен, увитые плющом и виноградом. Среди этих розово-красных цепей возвышается, как шест среди травы, старинный найльдамский собор св. Иакова. Контрфорсы, упирающиеся в подошву холма, поддерживают и толкают вверх его шероховато-серые стрелы, башни, неф. В соборе, — уже не надеясь на фюрера, — непрестанно служат молебствия, точно вбивают молотком ряд крюков в стену, на которых можно было б попрежнему развесить благополучные и удобные одежды найль-

дамских промышленников, офицеров, гестаповцев, помещиков, начальников многих концлагерей, что прячутся в померанских лесах. Но выходит так, что лучше, пожалуй, повеситься на этих молитвенных крюках, вбиваемых в стены времени: казаки идут к Найльдаму, казаки, конно-гвардейцы Красной Армии!

Едва зайдет солнце, как по всему горизонту видны зарева, касающиеся одно другого. То фиолетово-синие, то изжелта-красноватые, то багряные, они так близки к Найльдаму, что кажется до них можно дотронуться рукой. На севере, при свете этих зарев, отчетливо обозначается замок фон Путц-Каммера, ржаво-цветный, оплетенный плющом и похожий на гигантскую щуку, что выпрыгнула из воды, оплетенная тиной. На юге, возле озера Мида, разглядите грязно-зеленые громады завода морских торпед. Посредине, в серно-желтых отблесках — автострада, идущая от Вислы до Балтийского моря и пересекающая Найльдам. По этой автостраде, при свете горящих городов и лесов, конногвардейцы генерала Кочергина, вооруженные танками, самолетами, ракетными снарядами, втаптывая Германию, как втаптывают в землю ногою камни, мчатся вперед с щедрым гневом, с ясной страстью мести.

Казаки!

Гиммлер, командующий группой «Висла», приказывает, ссылаясь на слова фюрера, держать восточный берег Одера во что бы то ни стало. Держитесь! Не позже как 28 апреля союзники, и в первую очередь русские, будут уничтожены. Держитесь! И, мало того, — вперед, на русских!..

За старинным найльдамским собором, за кленовыми и каштановыми аллеями, садиками, каналами есть, как во многих померанских городах, разбогатевших на войне, Новый Найльдам. Это — серые с красным дома, крошечные дворики, железные ограды. В Новом Найльдаме живут инвалиды гитлеровских войск, те, которые думали, что они прошли благополучно войну, как переходят мелкую реку в брод. Это те, что вывихивали руки, избивая покоренных, что утомили свои ноги, топча лица завоеванных, что надсадили спину, вешая беззащитных. Теперь они выращивают укроп, редиску, салат, подстригают штамповый крыжовник, розы, смородину. Дорожки в их садиках золотистые, посыпаны реч-

ным песком, выравнены тщательнейше, ни одной соринки, ни одного корешка, торчащего из земли, так же, как не видно ни одного корня преступлений их владельцев, благодаря которым появился этот опрятный и аккуратный сад, где каждое растение, как арестант, идет под соответствующим конвоем.

Казачи!

Жителей Нового Найльдама будто ударили по лицу крапивой. Покрывшись алыми пятнами, на фурах, на автомобилях, а то и катя свое барахло в детских колясках, бросились они по автостраде, что идет от Вислы к Одеру и Балтийскому морю. Кровавая лапша воспоминаний забила им голову. Они стонут. Ах, не подумайте, что их мучает совесть или они раскаиваются! Нет, эти вояки фашистской партии или эсесовских отрядов неспособны к страданиям совести или раскаланию. Но они способны понять, что у русских есть суд. — и суд суровый. И они бегут к Берлину, где в подземельях имперской канцелярии, облитых перловым блеском изразцов, машет кулаками над картой фюрер. Этот фюрер, думается им, окрепнет, как только они, его старые служаки, приблизятся к нему. О, неприступный Берлин! Ты окопан непроходимым рвом, твои каналы — железные двери, твой Одер — стальная ограда. К Берлину, к Берлину!.. И осатанелый от злобы и отчаяния какой-нибудь эсесовский вешатель Франц Бюбер поспешно обгоняет на автостраде какого-нибудь фашистского палача Генриха Немейера, тогда как Немейер, в свою очередь, старается опередить какого-нибудь Гиберманна...

Казачи окружают!

Возле развороченного немецкого танка со снесенной наотмашь башней лежит, оскалив зубы, конь. На этом коне недавно скакал некий Генрих Немейер, тот самый, который сейчас старается опередить какого-нибудь Гиберманна, чтобы проскочить мимо торпедного завода. к мссту через Одер. Генрих Немейер гостил в замке фон Путц-Каммера, у своего друга Людвиг Хильдебранта, сына известного изобретателя. Услышав о казаках, которые через озимые поля, с севера, приближались к парку, Людвиг, забыв о своем друге, убежал на автомобиле, хотя оба они поклялись бежать вместе к озеру Миди, где у директора торпедного завода, родственника Хильде-

брантов, на аэродроме ждал самолет. Убежал... Тогда Генрих Немейер взял из конюшни замка лучшего скакуна. И этот конь пал, сраженный осколком бомбы, сброшенной с русского самолета. Немейер бросился пешком к озеру Миди. Конь остался. Он смотрел мертвыми глазами вдоль автострады, на которой вот уже шестой день шли бои за Найльдам. Направо — поворот к замку фон Путц-Каммера, налево — к торпедному заводу возле озера Миди. Аллея лип — к горду. Аллея яблонь — к замку. Аллея молодых дубов — к торпедному заводу.

Но не скакать коню по этим аллеям! Быть ему опечалену вечно. Завершается один из заключительных эпизодов военной кампании в Восточной Померании. Город Найльдам наконец захвачен конногвардейцами генерала Кочергина, хотя немцы, повинувшись приказу Гиммлера, рвутся к городу. Не обращая внимания на контратаки противника, генерал Кочергин приказал расквартировать штаб своего соединения в Найльдаме.

• Лежит мухортый конь возле танка, на распутье трех дорог.

Проезжая мимо, прочел генерал Кочергин историю гибели коня по его глазам, и сказал:

— Дурак седок: какого коня погубил! Такой же конь для бегства не приспособлен, он для атаки! Закопать поглубже!

## 2

Отбили последнюю, по счету третью, контратаку немцев на Найльдам. Противник отступил к южной оконечности озера Миди, в лес. Из лесу рукой подать до автострады, по которой сейчас идут в город цистерны с горючим для частей генерала Кочергина. Что немцы перережут автостраду или истребят цистерны, в это генерал Кочергин плохо верил. Его беспокоило другое. Воздушные разведчики сообщили, что лесом, параллельно немцам, двигаются к автостраде колонны освобожденных.

— Сколько? — торопливо спросил генерал. Ему ответили: «Порядка семивосьми тысяч». Идут французы, бельгийцы, сербы, итальянцы... и будет совсем отвратительно, если освобожденным перережут дорогу немцы. «Тут уже эта сволочь отыграется, как всегда, на беззащитных!».

— Пригласить гвардии подполковника Григоренко. Стремительно, адъютант!

Если «стремительно» произносилось с заминкой, адъютант знал, что генерал волнуется. Но здесь не требовалось особых наблюдений над интонацией генерала: и по лицу, и по всем его движениям видно, что генерал хотел отдыха для подполковника Григоренко, а где найти другого такого! Да и не лучший ли отдых для него теперь—битва? В контратаках при битве за Найльдам подполковник, среди прочих своих подчиненных, потерял младшего брата Сережу. Выбито девяносто процентов личного состава полка, уничтожена почти вся материальная часть: при третьей контратаке противника защита Найльдама пала почти целиком на зенитный полк Григоренко, и полк бился с исключительным упорством и силой.

— Курите, товарищ гвардии подполковник.

Подполковник Григоренко, напряженный, тугой, как узел на веревке, курил торопливо и после каждой затяжки далеко, насколько хватала рука, отодвигал папиросу.

— Каково состояние полка, товарищ гвардии подполковник?

— Биться еще могу. Надо, чтоб немцу край пришел.

— Материальная часть?

— От материальной части, товарищ гвардии генерал-лейтенант, остались машины со спаренными зенитными пулеметами; так что полк биться еще может.

— Убили брата, подполковник?

Подполковник посмотрел с тоской в окно. Он видел найльдамский собор, за сбором — остаток старинной крепостной стены, канал, арку моста. Лицо Григоренко темнело, словно он подъезжал под мост.

— И... брата! — сказал он с заметным усилием. — Сережу!

— Надо отомстить!

— Полк биться еще может.

Тогда генерал Кочергин изложил подполковнику его задачу. Надо разведать лес в южной оконечности озера Миди, обеспечить свободное прохождение колонн освобожденных, а по дороге проверить, что делается на торпедном заводе. Завод приказано занять батальону майора Черноглазова. Почему саперы молчат? Если саперам туго, то — помочь...

— Есть помочь, товарищ гвардии генерал-лейтенант.

Подполковник уходил. Сквозь выбитые двери дома генерал видел, как шел подполковник. Он внимательно смотрит по сторонам, отвечает на приветствия, перекидывается словами с работниками штаба. — крепкий, сдержанный, великолепный человек, узел на веревке. Он проходит сквозь здание, как пахарь, что, вспахав десятину, идет полем, проверяя, насколько теперь мягка земля, глубоко ли увязают ноги. Подполковник, затаив свое горе, проверяет, насколько разбит и уничтожен враг. Так пахарь, несмотря на усталость, готов еще пахать вторую десятину, ибо посев не ждет, нива просит труда.

И генерал Кочергин думал: помимо стратегии и тактики, на войне едва ли не главное, — понимание неустанной необходимости подвига во имя человечности, во имя правды. На войне победа — это сам человек войны. Человек отражается в победе, и победа отражает только человека. В основе нашей победы поэтому есть источник любви к человеку, источник, который страстно ищет все новых путей и все сильнее и обильнее заливает мир. Таков и Григоренко, человек, движимый в бой любовью к миру мира, хотя сам он едва ли способен выразить отчетливо эти все движущие его чувства. «Есть помочь, товарищ генерал-лейтенант». И — все.

И генерал вспомнил, как несколько лет назад он, написав исследование «Конница времен Французской революции», читал отрывки из этого труда в Военной Академии. Труд был большой, листов двадцать пять печатных; и генерал Кочергин очень ценил его, не забывая при этом повторять, что автор он очень скромный. В прениях выступил генерал Ражников, тогда один из преподавателей стратегии в Академии. Он сказал, между прочим, что командарм может распоряжаться умно, красиво, умело, но, если у его солдата не разбужена душа, все превосходные стратегические замыслы генерала окажутся прахом. Люстра вспыхивает разом, но опытный взгляд разглядит, что свет идет от лампы к лампе, разливаясь все шире и шире. Так и воодушевление солдат в бою, при исполнении стратегической задачи. «А вот этого, к сожалению, почтенный автор «Конницы времен Французской ре-

волюции» не разработал, да и не разглядел». Генерал Кочергин возразил едко, зло, пространно. И с тех пор между двумя генералами—полемика по любому поводу, и еще недавно, на заседании у Жукова, под общие улыбки, они сцепились и долго спорили, в сущности из-за ничтожной детали в плане похода на Берлин. «Разумеется, в данном случае, генерал-полковник Ражников был неправ. Но тогда, в принятии по поводу «Конницы»...

Додумать мысль не дали. Штаб фронта приглашал к телефону.

— В каком виде объект «5—§—5»?

Генерал Кочергин презирал службу подслушивания германской армии. Поэтому он немедленно раскрыл шифр и сказал:

— Торпедный завод возле озера Миди. А кому нужна справка, Аркадий Петрович?

— Особой подкомиссии Бурсакова.

— Бьемся согласно задаче. Торпедный завод занимается, Аркадий Петрович, батальоном майора Черноглазова. Он известен, кажется, генералу Бурсакову? Подходы к заводу заминированы. Впрочем, часа через три сообщу точные данные: я отправил туда на разведку подполковника Григоренко.

— Кстати, о Григоренко. Слушайте, Владимир Матвевич. Как это произошло, что вы уложили весь зенитный полк Григоренко? Что это такое?

В телефон послышалось хриплое и сердитое дыхание:

— Товарищ генерал-полковник! К Найльдаму приближалось две дивизии эсесовцев...

Уже отчетливо можно было узнать вспышку дурного свойства Кочергина: он привяжется к замечанию, пусть незначай брошенному, разовьет это замечание до значения почти международного, наговорит грубостей... Аркадий Петрович поспешно сказал:

— Хорошо, хорошо, отложим беседу...

— Как отложим, товарищ генерал-полковник! Вы мне указываете...

— Слушайте, Владимир Матвевич, Приехал уже к вам художник Михеев?

— Нет еще.

— Мне Бурсаков показывал сегодня снимки с его картин. Я глядел, и мне вспомнились слова Руссо: «Если вы хотите читать с удовольствием, позвольте и мне писать с удовольствием». Этот че-

ловек пишет не только с удовольствием, но и со страстью.

Генерал Кочергин, человек широкого диапазона, считался на фронте знатоком и ценителем искусств. Некоторые генералы, в том числе и Ражников, подсмеивались, что ценителем искусств он стал после того, как женился на известной драматической актрисе Стрепетовой. И поэтому Кочергину лишний раз было приятно, что Аркадий Петрович во время такой сложнейшей военной операции, как сражение за Найльдам, находит возможность говорить с ним об искусстве. Вдохновение, внезапно осенившее Кочергина, заставило его выговорить следующую фразу:

— Именно со страстью, и с военной страстью, а посему я предполагаю организовать у себя в частях выставку последних работ Михеева.

«Постоянно-то вы, дорогой мой, «выставляетесь»,—хотелось сказать Аркадию Петровичу, но он, опешивший от неожиданной выдумки Кочергина, сумел только проговорить:

— Поздравляю вас с блестящим начинанием, Владимир Матвевич.

### 3

Всю дорогу от самого Бирнбаума шел дождь, дуло мокрым, машину кидало из стороны в сторону, комья грязи и воды летели в лицо, а когда миновали Найльдам, дождь внезапно прекратился, с юга хлынул сухой, теплый ветер, и небо поднималось все выше и выше, точно уходя от этих туч зловонного дыма, густого и сице-алого, стлавшегося по линии фронта. А здесь, недалеко от фронта, на озимых полях ошеломляющая зелень, за перелесками, легкими, как лёт ласточки, песчаные холмы с желтым отливом и между ними юно-лазоревые озера.

Конногвардейцы стремились к Одеру. Автострада звенит, кипит, гремит танками, «студебеккерами», «зисами» пушками, весенним камуфляжным блеском бронзово-бурых машин и орудий, запахом бензина и масла, запахом коней, конского помета, сырой кожи, темными пятнами кубанок, молодыми сосредоточенными лицами казаков.

Михеев с удовольствием оглядел автостраду и сказал:

— Ну где тут, у лешего, найдем поворот к майору Черноглазову?!

— Еще как найдем, — отозвался Вася Фуражкин, — тридцать на сорок. — и все.

А так как этих «30 на 40» он уже успел сделать на 1-ом Белорусском достаточно, то он, не без основания, надеялся в любых условиях найти дорогу куда угодно и ждать любезности отсюда угодно.

— А все-таки лучше б было заехать к генералу Кочергину.

— Во время боя он никого постороннего не принимает, хоть сними его 50 на 60.

У коменданта Найльдама, куда они заехали за справками, они получили тучок немецких иллюстрированных журналов, приглашение майора Черноглазова немедленно прибыть к нему и короткую записку от Ирины: «Мы ждем. И.» Поворот к замку фон Путц-Каммера они давно проехали. Комендант сказал, что майор Черноглазов заканчивает бой в районе озера Миди, и хотя озеро длиною в десять, а шириною в два, все же найти майора возможно... Охваченные беспечностью молодости, подстрекая друг друга, Михеев и Фуражкин переглянулись. «В бой, так в бой», — говорили их взгляды, и им показалось, что все затруднения решатся быстро и легко, как только они попадут в бой.

— Едем?

— Едем, — сказал Михеев.

Вася сам вел машину. Михеев сидел на заднем сиденье, возле бачков с бензином, огромной оплетенной бутылки вина, на две трети вставленной в разорванный чемодан, и светлая одежда — Вася любил спать в тепле и по возможности, долго. Вообще Вася был избалован и, кроме спанья, любил хорошие кушанья, духи и тонкое белье. Михеев казался ему очень умным, с обширными связями, которыми он не умеет пользоваться, и с талантом, который он еще не умеет выразить. Он с удовольствием вез Михеева, болтал, рассказывал анекдоты, то и дело повторяя свое: «тридцать на сорок».

Михеев сидел, наклонившись вперед, большой, жилистый, глядя на подошвы ботинок: На нем была неуклюжая, точно топором выкроенная куртка из шинельного сукна, и все же казалось, что эта куртка очень идет к нему. Изредка, когда машину встряхивало очень крепко, Вася, с озабоченным лицом, всем туловищем поворачивался и смотрел на бутылку.

«Собственно, за каким чортом попер я ее сюда, непонятно», — говорило его лицо.

Михеев думал о письме Ирины. И что это значит: «Мы ждем». Кто—мы? Ребенок? Ирина? Еще кто-нибудь?

Вася, насвистывая, говорил:

— Фю-ю! Я, Виктор Ильич, без ума люблю фотографию. Теперь, допустим, я делаю мировой снимок: например, наш летчик на бреющем полете обстреливает сооружающиеся укрепления на берлинских улицах. Возможно это? Теоретически — да. Мировой снимок? Безусловно!

Михеев внимательно и любезно улыбнулся. Он слишком хорошо владел собою, чтобы говорить резко; в его высказываниях форма никогда не превышала содержания. Его внимательность и любезность лишена надоедливой мелочности. Вася — щеголь, и поэтому признает за Михеевым вкус, умение придать характер достоинства всему, что он, Михеев, говорит или делает. Вася способен вслушиваться в слова Михеева.

— Вася! Допустим я вам говорю, что мною, впервые в жизни, встречено животное, которое имеет следующие признаки. Короткий хвост...

— Свинья.

— Вася, слушайте меня, пожалуйста.

— Да, боже ж мой, Виктор Ильич, я слушаю, что вы, шутите?!

— Массивное туловище на толстых, как бревна, ногах. Уши крупнее, чем вот эта моя папка для рисунков. Зубы, выступающие изо рта, загнутые, длиною в метр или полтора, бело-желтые...

— Да, боже ж мой, — радостно воскликнул Вася, — это ж слон, что вы, шутите?!

— Слон! Мы знаем его повадки и привычки. Теперь, Вася, предположите, что вы так же, как знаете признаки слона, узнали признаки какого-то человека — способны ли вы узнать его повадки и привычки?

— Я? Фотографические привычки?

— Нет, и другие.

Вася ловко обогнул танк, грузовую машину, наполненную снарядами, которая внезапно стала посреди автострады, просунулся в отверстие между этой машиной и какой-то фурой, причем отверстие на дороге было едва ли шире оконной рамы, и, багровый от напряжения, на секунду обернулся к Михееву:

— Во время войны часто пароход делает вид, что входит в гавань, а на самом деле идет дальше. Кто же он? Кого вы тут, на картинках,—Вася кивнул головой на журналы, — разглядели?

— Разглядел пока одного — Альберта Хильдебранта. Он — офицер и вроде изобретатель... Что он изобретает, узнаем позже. Он богат, и богат давно. И давно уже он собирает для личной коллекции славянское искусство. Издал каталог своей библиотеки и книгу о русской живописи, о которой, между прочим, говорит без особого восхищения, а это странно—собиратели, как правило, влюблены в то, что они собирают...

— Собираю фотоаппараты и люблю фотоаппараты! — крикнул Вася.

Михеев пристально рассматривал фотографии, напечатанные в журналах. Иногда при «пробке» машина их останавливалась, и даже проворный Вася не мог найти прохода в этой роще машин, стоящих плотно и близко друг к другу, как молодые деревья. Михеев разворачивал папки и набрасывал туда то, что видел. Он рисовал быстро, много и с силой, которая была из него неустанно и которую нельзя было остановить. Ему хотелось, чтоб его рисунки были похожи на карту, где впоследствии можно было бы разглядеть темп сражения за Найльдам. Найльдам, конечно, частность, но частность, несомненно, имеющая прямое и важное отношение к общему характеру кампании за Берлин. Вот пусть-ка немцы догадуются по боям за Найльдам, куда будет направлен наш основной удар по Берлину и где сосредоточиваются наши резервы, а они ведь где-то сосредоточиваются.

И Михеев, рисуя, или рассматривая журналы, или просто глядя на колонны движущихся войск, радовался, что занят делом, кровно интересным для всей страны, и, как врач, перевязывая раны, выбирает важнейшую для жизни, так и он стремился отобрать важнейшее и нужнейшее. Ему хотелось передать это свое чувство всем, в том числе и этому щеголеватому юноше-фотографу в длинных, чуть ли не охотничьих сапогах, в кожаной, не по форме, куртке и в шапке-кубанке из серых мерлушек.

Машина двигалась. Михеев продолжал:

— Людвиг Хильдебрант, сын изобретателя, служит в институте по изучению

восточных провинций в Кенигсберге. Вот здесь на журналах карандашом обозначено это имя. Возможно, что он получал эти журналы в Кенигсберг, а более вероятно, что в замок фон Путц-Каммера. Я нашел эту фигуру недалеко от папаша Хильдебранта на одной из фотографий. Видимо, они друзья.

Вася воскликнул:

— Виктор Ильич, и вы разобрались во всем этом, пока мы ехали?

— Да, пока мы едем.

— Но вы же прямо бог!

— Просто у меня хорошая зрительная память и большое желание найти наши картины.

— А, чего они вам, эти картины? Вы рисуйте свои. — Вдруг он обернулся, глаза его широко раскрылись, и он закричал: — Позвольте, Виктор Ильич! А не исключена возможность, что этот Хильдебрант... Поворачиваем обратно, а, Виктор Ильич? А если мы его в замке поймаем?

— Он убежал.

— Ну, знаете, на войне маневр — все!

— Майор Черноглазов, думаю, даст нам дополнительные сведения...

— Вы надеетесь на Черноглазова, а он — на вас.

— Это и хорошо. Этого мне и хотелось бы, Вася... Так, так. Теперь обратимся опять к журналам; они, между прочим, превосходно подобраны. Неужели их выбирал для меня майор? Он ведь, кажется, плохо знает немецкий язык... Цвет золота, Вася, мы рассматриваем, как необходимо принадлежаний золоту, и потому называем его «свойством» золота. Так же необходимо разглядеть нам основное свойство Альберта Хильдебранта. Он — изобретатель и коллекционер. Так вот, что же в нем основное? Ведь вещь в отношении к одним свойствам может рассматриваться, как вещь отдельная, а в отношении к другим — как составная часть другой вещи. И вообще «вещь» утрачивает свою замкнутость и мнимую самостоятельность в той мере, в какой развиваются знания. Знания наши, Вася, пока малы, но не будем отчаиваться.

Услышав, что все эти длинные рассуждения еще малы, но что отчаиваться еще не нужно, а стало быть, рассуждения будут еще длинней, Вася сразу почувствовал себя утомленным, протяжно зев-

нул, у него выступили слезы на глазах. Стыдясь своей зевоты, он воскликнул:

— Дороге конца не видно. — И он, махая рукой, закричал встречной машине: — Остановись! Стой!

## 4

Вася, сделав под козырек, сунул аппарат и полтуловища в чужую машину, шелкнул там, и тогда Михеев разглядел в машине кусок золотого шитья, недвижный чугун полусонного лица, подстриженный седоватый ус. Вася отскочил, отдал честь. Машина пронеслась. Вася свернул на узкую дорогу, и на круглом лице его появилось выражение шалуна, которому многое прощается:

— Тридцать на сорок. Только генералы знают точную дорогу. Через четверть часа мы у Черноглазова.

— А кто это был?

— Да генерал Кочергин же!

— Почему вы меня не познакомили с ним?

— В дороге? Кто же с генералом знакомится в дороге? Они тут злые. С ними надо знакомиться в квартире. Я даже и не сказал, что вы со мной.

— Право, это неудобно, Вася!

— Да вы шутите?! На войне главное неудобство — смерть.

Михеев пожал плечами и замолчал.

Машина шла открытым местом среди пологих холмов, песчаных и унылых. Встречались кое-где сосны, вереск лисьего цвета, мелкое озеро в прошлогодней, почему-то нескошенной, палеевой траве по берегам. Хотелось поскорее доехать, увидеть Черноглазова, и мысли о Хильдебранте и его сыне отодвинулись в сторону, хотя и не ушли из головы. Михеев попрежнему перебирал журналы. А Хильдебрант, оказывается, собирал предметы не только русского, но и древнегреческого искусства. Это и усложняет, и облегчает поиски мотивов, которые заставили его направить русские ценности именно в Восточную Померию.

Прежде всего, надо допустить гипотезу, что именно А. Хильдебрант прячет все русские ценности, награбленные фашистами. Почему он? Это возможно потому, что главари фашизма доверяют ему, как знатоку русского искусства, и почему-то еще... а также потому, что он сам хочет участвовать в сохранении этих ценностей, дабы спрятать ценности, и ему

лично принадлежащие. Особняк в Берлине и другой особняк в Цербсте, на Эльбе, не дают гарантии, что его личные ценности будут спасены там. Нужно найти такое помещение, где б его ценности и он сам были в полной безопасности, недоступны... где-то на большой глубине, где много воздуха, света, тепла... Может быть, действительно, какой-то небывалый, изготовляющий небывалое оружие, подземный завод. Да. Завод. Следовательно, если этот необыкновенно мощный подземный завод существует, существуют и наши картины. В случае, если существуют наши картины, то существует и А. Хильдебрант. А раз, несомненно, существует Хильдебрант, то существует и завод...

— Эй, стой, товарищ!

Вася затормозил. Они обогнали всадника, неумело скакавшего на толстой, коротконогой лошади. Это был старший лейтенант, пожилой; длинная голова его неумело забинтована.

— Где тут торпедный завод? — спросил Вася.

— Торпедный?

— Ну тот, что наши саперы заняли.

Старший лейтенант проговорил:

— Торпедный заняли не саперы, а танкисты. Саперы только способствовали, разминировали. А на торпедный я назначен комендантом. У меня машина налетела на мину... шофера убило. Схватил трофейную лошадь, а она, сумасшедшая, что ли, несет в сторону... все руки оттянуло...

— Садитесь к нам, товарищ старший лейтенант. Фамилия?

— Старший лейтенант Валентинов.

Лейтенант выпустил коня, и конь скакал по полю прямо к линии фронта. Жидко шлепала земля под его копытами. Он обогнул воронку от взрыва, какую-то разбитую фуру, разорванного пополам теленка. Где-то в яме, должно быть, лаяла испуганно невидимая собака, лаяла пронзительно, с визгом, и казалось, что не от уханья орудий, а от этого пронзительного лая холодеет и замирает сердце.

— Куда ж нам ориентироваться? — спросил Вася.

— Юго-запад, — отрывисто сказал лейтенант. — У него еще не прошло возбуждение, но он сдерживал себя, изредка шупая голову. Машина пошла на запад. Лейтенант закурил. Михеев спросил:

— Совсем разорвало машину?

— Противотанковая мина, — не без удовольствия отозвался лейтенант, — она рвет в куски. Шофера жалко. Машина трофейная, «мерседес», прах с ней, найду еще... а шофера жалко. Письмо я от жены утром получил... я железнодорожник, простудился—ревматизм, увольнять не увольняют, да и в строй не берут, вот и таскают по комендатурам. И хлопотно, и награды не бывает. Пустое дело! И шинель жалко! Письмо от жены положил в карман... и шинель, и письмо, и шофера...

Михеев спросил:

— А вы не знаете, крупный завод?

— Меня преимущественно на крупные заводы и назначают. Завод, уж будьте покойны, крупный. Не считая взрывчатки, одних готовых, говорят, торпед морских штук пятьсот. Это мы союзникам хорошо помогли: сколько бы иначе взорвали у них судов.

— Подземный?

— Нет, под землей только взрывчатка. Да, все равно взлетит на воздух, если будет удачное попадание.

— А они еще не налетали? — спросил Вася.

— То-то и оно, что не налетали.

Вася объяснил Михееву:

— У «его» такое обыкновение: сдает объект — посылает самолеты, чтобы отбомбили тридцать на сорок.

Лейтенант, не знавший васиной поговорки, поправил:

— Зачем тридцать на сорок. Он бомбит любую площадь. — И, вглядываясь в приближающиеся строения завода, добавил: — Здесь какое неудобство. Союзные военнопленные работали. Часть в леса успела убежать, а другая тут осталась. Ну прилетит «он», отбомбит, задует людей... большое неудобство. Я оттого и тороплюсь.

## 5

Освободили... И, Михееву показалось, что он разобрался, почему последние минуты он сам не свой. Разумеется, подъезжать к полю сражения, быть под пулями и снарядами, претерпеть бомбежку тяжело и даже страшно. Михееву была до того знакома эта тяжесть страха, и он не боялся его, то есть тело его боялось и изредка вздрагивало, словно прижигаемое тонкой раскаленной иглой, но он умел владеть своим телом, и не этот

страх был причиной волнения, которое он испытывал сейчас. Он понял чувство, волновавшее его, когда увидел низкие, пятнистые заводские строения и услышал слова старшего лейтенанта Валентинова. Освобожденные! Только что освобожденные от плена, от мучительных пыток, голода, страданий.

Для завода немцы выбрали ровную местность, медленно спускающуюся к озеру. Направо было болото, налево — мелкая поросль сосны, берез, осинника. За порослью вставал густой и длинный лес. Через болото и поросль, к заводу, шла высокая железнодорожная насыпь. На эту насыпь, треща и словно надуваясь от усилий, всползали танки. Вася указал Михееву на них пальцем. Но Михеев понял и без того: болото и поросль, тоже, видимо, выросшая на болоте, мешали нашим танкам подойти к заводу. Тогда командир приказал итти по железнодорожной насыпи. Они пришли, взяли внезапным своим появлением завод и теперь опять уходили той же насыпью, но уже в другое место боя.

Лейтенант одобрил выдумку, но не одобрил исполнение.

— Всю насыпь разворотили, — проворчал он. — Танк — машина нужная, а неприятная. Нет красивее и послушней машины, чем паровоз.

Приближаясь к заводу, лейтенант чувствовал себя хозяином, и, забыв о своей ране, он ерзал в машине, разглядывая завод со всех сторон, радовался, что мало разрушений, что подъездные пути в порядке, и обращал внимание Михеева, к которому сразу почувствовал симпатию, то на электростанцию, то на заливчик, откуда торчали трубы потопленных катеров, то на пристань, возле которой, если судить по спусковым кранам, испытывались торпеды.

Михеев, встав во весь рост, глядел на толпу, сплавленную радостью освобождения. Ему уже казалось, что он разгадал высокую, с длинными руками, часто прокашливающуюся, мать, слышит ее кашель, видит ее старчески прозорливые, прозрачные глаза, прижимает ее к своей груди. — и плачет, плачет. Он вытирал мокрые веки, и чем жадней смотрел он в толпу, тем уверенней думал, что мать непременно здесь.

Толпа стояла на яшмово-сером асфальте, сильно обогретом весенним солнцем. При виде быстро приближающейся

красивой машины, она замерла, ожидая встречи с каким-то большим начальством, которое, как ей казалось, обязательно должно ее приветствовать. Позади толпы, у низких и широких, в три створы, решетчатых ворот тусклого фиолетового цвета, стоял Черноглазов, махая Михееву толстой красной книжкой.

— Во-о, замечательно-о!..

Перед толпой, на коротких некрашеных дровках, недвижно замерли знамена разных наций. Это были английские, французские, американские, польские, югославские. Шли их по ночам, втайне от тюремщиков. Для полотнищ спарывали подкладки одежд, отдавали последнее белье, полотенца, платки. Знаменосцев отобрали самых здоровых, но и эти здоровые качались от волнения, и лица их передергивались судорогами восторга.

— Виват! Виктория, виктория!.. — кричали они.

— Виктория, ура! — закричал Михеев, вбегая в толпу, хватаясь руками за знамена, боясь упасть от счастья. Он искал лицо матери. Почему она так долго не откликается?.. Ее лицо мелькало в толпе... и уходило, уплывало. Он видел иные лица, родные ему по перенесенному страданию и по сочувствию, которое они к нему испытывали.

— Мать! Моя мать!?..

Слова этого не нужно было переводить: в великие дни подвигов русской матери оно знакомо всему миру. Сотни людей глядели вместе с ним в толпу, стараясь угадать черты его матери, и с грустью не находили их. Они плакали, заливаемые потоком лучей из его глаз.

Обежав толпу, Михеев вернулся к знаменам. Он все еще верил, что увидит и найдет свою мать. Может быть, она еще в бараках, или где-нибудь на заводе, или возится с больными, собирает отставших... Возле одного барака лежал перевернутый немецкий танк. На нем дрожал небольшой красный флажок, водруженный каким-нибудь комсомольцем, которому было поручено организацией донести этот флажок до переднего края. Михеев смотрел на этот флажок, переводил взор на эти знамена, словно окутанные переливающимися лучами света. Бывают мгновения, думалось ему, когда знамена приобретают особенно важное значение, которое раньше трудно было и представить. Никогда

Михеев не думал, что ему захочется целовать и обнять, как самого дорогого и любимого человека, этот крошечный красный флажок. Строго говоря, слишком сильное счастье не есть уже счастье в обыкновенном смысле этого слова. Это нечто другое. Это — верх жизни, удовлетворение всех требований.

— Ты знаешь, — сказал он подошедшему майору Черноглазову, чувствуя, что свои ощущения может передать, только перейдя на «ты», — ты знаешь... Моя жизнь была б мельче на мой рост, если б не было этого мгновения. Спасибо!

Черноглазов весело засмеялся и сказал, указывая на танкиста, который сигнализировал своим танкам:

— Его благодарите, а не меня! Возрвали б немцы завод, кабы не его догадка. И был бы у нас прожин, знаешь, когда жнут, так недочет в снопах или копнах, ха-ха-ха! Я мечусь возле болота, а он — «садись на танки, саперы».

Михеев протянул танкисту руку. Тот, боясь обмарать Михеева, вытер руку о полу куртки и, возвращая пожатие, сказал:

— Завод хотите осматривать? Но сроку—сорок пять минут. Через сорок пять «он» обязательно прилетит. Пока! — и он побежал к своим танкам.

Черноглазов с удовольствием глядел, как уходят по насыпи танки и как катятся из-под их гусениц шпалы. Ему нравилось даже, что лейтенант Валентинов неодобрительно качает головой — портят, мол, подъездные пути.. правильно, ведь он теперь комендант. Ему казалось, что всем весело, удобно, что все довольны. Он ходил в одной гимнастерке, и ему было жарко, словно шел не бой, а топилась хорошая, ладно срубленная баня.

Показывая красную книжку и смеясь во весь рот, он сказал Михееву:

— Витя! Ты разбираешься в этом «русско-иностранном переводчике»? Я ни черта не могу.

— Немного знаю немецкий, — сказал Михеев.

— Надо им сказать, освобожденным, что сроку на уход полчаса. Прилетят немцы, будут бомбить. Да еще б хорошо спросить: нет ли среди них инженеров. Мне поручено, между прочим, подземный завод искать в этом районе.

Через пять минут Михеев вернулся

и сказал, что освобожденные уходят, а инженеров среди них нет: немцы увезли.

— Скорей всего, потопили. Как только важный завод, так инженеры перебиты, а русские все утоплены.

— Утоплены?.. — сдавленно спросил Михеев. — Моя мать!..

— Либо топят, либо жгут. Ты, Витя, смотри: сколько их, освобожденных, тут? Тысячи полторы. А русских сколько? Ты, фотограф, почему не снимаешь?

— Не успеваю, слишком много освобожденных, — отозвался Вася.

— Конечно, много, — с восторгом, смеясь, сказал Черноглазов. — Вся Европа! Снимков нехватит!

Он подошел к толпе и, показывая на часы и на небо, объяснил, что до прилета немцев осталось полчаса и что надо поторапливаться.

— Пуф, пуф! — сказал он, надувая щеки. — Идите, а то в щепы разнесут всю вашу Европу. Пуф, пуф, виктория. Идите. Граждане европейцы, — проговорил он тоном милиционера, который просит граждан не толпиться и не мешать движению, — очень прошу разойтись: пятисот торпед на десять километров разнесут вам косточки. Адью, адью, мусье, пуф, пуф, — сказал он, хохоча, какому-то маленькому, как наперсток, французу, который лез целоваться.

Наконец, колонна пошла. Комендант направился на завод. Майор, строивший в колонны освобожденных, встряхивая зажигалку, чтобы фитиль пропитался бензином, сказал, глядя коменданту вслед.

— Авось не прилетят!

Комендант обернулся и проговорил:

— Обязательно прилетят.

— Зачем же вы идете? — спросил Михеев.

— Служба, — ответил комендант, — а, с другой стороны, бомбы может положить и в озеро, а я больше боюсь, не оставил ли «он» мин замедленного действия. Он мины любит.

— Я — с ним, — сказал Михеев.

— И я, — проговорил Вася.

— Ну, что ж, идите, — сказал, видимо гордясь отвагой товарищей, майор. — Я отведу колонну и вернусь за вами. А то вы увлечетесь, не расслышите немецкого гула, ха-ха-ха...

## 6

Михеев оглянулся. Торопливо шагая, уходила колонна освобожденных, погрузив свертки и чемоданы на велосипеды, взятые в конторе завода, или детские коляски из квартир убежавших немецких служащих. Колонну обгонял, торопя размахиванием рук, майор. Солнце стояло высоко. Воздух был напоен светом и теплом; от низких, темных стен зданий несло запахом извести и краски.

Корпуса разделены бетонными дорожками шириной в добрый переулочек. Строения не похожи на заводские, да и нет заводских труб. Пройдя два-три цеха, Михеев понял: немцы замаскировали завод под концентрационный лагерь. Все свободное пространство засажено молодыми соснами. Электростанция, окрашенная в густо-зеленый цвет, за двойной стеной, — чтоб не повредили бомбы.

Войдя в машинное отделение, старший лейтенант устремился к люкам. Он выбросил оттуда несколько плит взрывчатки, окрашенной под цвет кирпичей, и перерезанные провода. Вытирая мокрый лоб, он проговорил:

— Ноги заняли: к перемене погоды.

А Михеев, глядя на него с восхищением, думал: «Какой чудесный народ и как приятно быть сыном этого народа, быть солдатом и офицером его. Нынешнее зимне-весеннее наступление, широкое и победоносное, с новой необыкновенной силой показало всю мощь сталинской стратегии маневрирования. Мы наносим врагу удар в желаемом нами направлении и желаемой нами силой. Мы делаем то, что выгодно нам и невыгодно немцам. На множестве примеров видно это. Ну вот хотя бы этот сверхсекретный торпедный завод, построенный в конце 1943 и начале 44 года, то есть почти год назад.

Куда как надо было немцам уничтожить эти цехи, машины, гидравлические прессы, чертежи, — и все было приготовлено для уничтожения. Но успели потопить испытательные катеры, кое-какое оборудование, из трех машин электростанции увезли одну, а остальное осталось. И, конечно, остались следы убийств, следы, по которым идет возмездие».

В одном из домов для администрации Михеев натолкнулся на труп немца. Это лысый, немолодой человек, в форменной

куртке и брюках на выпуск. Он лежит на полу, ухватившись застывшей рукой за стенку кровати. Следов ранений нет. Старший лейтенант, несколько знакомый с медициной, определил разрыв сердца. Да это видно и по лицу. Вася достал документы и какую-то записку и передал Михееву. Документы на имя Генриха Немейера, а записка, извинительная, от Людвига Хильдебранта.

В конторе завода они нашли сотни так называемых «рабочих удостоверений». Михеев искал фотографию матери и не нашел. Перебирая листки, он наткнулся на фотографию печальной девушки в клетчатом заношенном платье, с коротенькими косичками. Отпечатки пальцев правой и левой руки. Над фото и отпечатками надпись по-русски: «Владельцу сего разрешается выход из помещения единственно ради работы». На обороте вопросы и ответы на них, отпечатанные на машинке. Ни надписи раба, ни следа почерка его. И вообще писать строжайше запрещалось. Тщетно будете вы осматривать стены, потолки и подвалы. Рабы молчали с зажатыми ртами.

Кто же она, одна из этих рабынь, глядящая на Михеева печальными, покрытыми плесенью тоски глазами? Софья Совко, 1924 года рождения, из Украины, — и это все, что напечатано на машинке на обороте «рабочего удостоверения».

В средину удостоверения вложен листок. Тринадцать языков повторяют одну фразу: «Настоящая рабочая карточка дает право на работу только у наименованного работодателя и теряет силу с оставлением этого места работы». Негодя! Право на работу. Право на смерть, а не право на работу. Куда она могла уйти, эта несчастная Софья Совко. Как она могла оставить свое рабское место. Через охрану, вооруженную и с собаками.

С шемящей, невыразимой тоской глядел Михеев на фотографии, во множестве заготовленные для подобных удостоверений, но почему-то неиспользованные. Немцы так были уверены, что никто, кроме них, не увидит этих фотографий, что не рассматривали выражение лиц у фотографируемых, или же отчаяние наших сестер и матерей доставляло немцам удовольствие. Им казалось, что они досыта напиваются нашей кровью.

Каждая фотография, каждое выраже-

ние лица — вопль горя. Горе сухое, едкое в глазах. Горе застыло на губах. Горе, как огнистый поток, льется из глаз. «Мама, где же ты, мама?!», — почти вслух воскликнул Михеев.

На обороте фотографий — фамилия и название родины. Других фактов нет. Номер раба, как видно из фотографии, прикалывался возле левого плеча на груди. Кое у кого, кроме номера, на правой стороне груди слово «Ост» — восток. Вот фотография Елены Моздейко. Плачущая женщина лет тридцати, со сдвинутыми скорбно бровями, с коротко остриженными волосами, в клетчатом мужском пиджаке с чужого плеча. Ее номер — 2.401.

Михеев перебирал фотографии: Мария Переменек. Вера Голева. Александра Фаменюк. Мария Узденкова. Старые, молодые, но одинаково изможденные, изнуренные лица. Где они теперь, эти несчастные? Убиты? Утоплены в водах этого мрачного озера, под этим ночным, жутким ветром, который дул в последние дни, наплясывая в лужах перед вами. Откуда доносится сюда сладковато-гнилой запах разложения? Где слезы этих несчастных? Где их проклятия? Неужели они не дойдут, не доведут нас до Берлина и не лигут законным грузом мести и суда на подлые плечи этого города?

«Мама, где же ты?»

## 7

Напоследок осматривали зал готовых торпед. Среди маслянисто-серых колонн лежали торпеды; длинные, бронзово-бурые тела, поваленные друг на друга, — это изваянная умелыми руками мгновенная смерть. Старший лейтенант Валентинов, увидав торпеды, весь как-то ощерился, глаза его заблестели, и, привстав на цыпочки, он двинулся вперед походкой охотника. Розовое лицо Васи изменилось, стало цвета резины, и он сказал:

— А, в сущности, Виктор Ильич, зачем мы сюда с вами пришли? Да вы что, шутите?! У меня колотится сердце.

— Ну, и пусть колотится, — сказал строго Михеев. — У меня тоже колотится, а быть нам здесь надо.

Старший лейтенант упал на торпеды. Сверкнул ножик и послышался его голос, от радости украшенный всеми блесками колоратуры — пассажирами, руладами:

— Про-во-да к то-ку пе-ре-ре-за-л я, ре-бя-та-а!..

Он подбежал к ним и показал отрезок провода:

— Иначе, может через пять минут или десять, всем нам — земляной колпачок.

И он вздохнул.

— И опять ноги занули: быть погоде.

Михеев спросил, с наслаждением разглядывая медные головки торпед, блестящие ослепительно желтым, шафрановым почти цветом:

— Тяжелая ваша комендантская служба, товарищ Валентинов?

— Да и ваша нелегка, — и, рассматривая костюм Михеева, он сказал:

— А вы, что, вольнонаемный в армии? Без погон и никакого оружия.

— Я художник, картины рисую.

Валентинов подумал немного, а затем, бросив проволоку, поспешно зашагал к выходу:

— Военные картины?

— Какие захочется.

— Самостоятельно работаете?

— Вполне.

— В Третьяковке есть? — с почтением спросил Валентинов. — А как она, где?

Михеев улыбнулся, дивясь и завидуя величавой простоте коменданта: нашел же человек время и место, чтобы спрашивать о картинах.

— В Третьяковке я видел Репина. Картинки — тверды, а фамилия — мягкая, будто из огородников. Плохо ему фамилию исчислили. Ну да что фамилия. Главное, чтобы ты душу мою нашарил, отыскал, да стиснул, чтоб я охнул...

Михеев рассмеялся от удовольствия:

— Вы хорошо и удивительно во-время говорите, товарищ Валентинов...

— Старший лейтенант...

— Извините, товарищ старший лейтенант.

— Ничего, ничего, я это по привычке поправляю. А вам надо торопиться в укрытие. Скоро, поди, прилетят. — Глядя на массивные серебряные часы, добавил: — Папаша мой машинист был, и вот управление дороги подарило ему за тридцатилетнюю беспорочную службу. Идут! А мне все шофера жалко... Да и письмо от жены не успел я прочесть. Сколько нынче она собирается картошки посадить, интересуюсь. Пока до свиданья.

— Как же вы-то, товарищ старший лейтенант?

И все с той же простотой шкипера, отлично знающего путь корабля, старший лейтенант сказал:

— А я тут. Мне опись имущества составлять пора. Посты наметить, скоро бойцы мои придут. Ведь эти... — и он указал на саперов с миноискателями, — ... временно. Они пройдут один раз гребенкой по шкурке — и, думаю, блохи все. А там они еще шныряют, пошныряют.

— Да немцы прилетят!

— С нами бог. да два пулемета, — сказал он, ухмыляясь. — И опять же служба. А вот ноги ноют — беда. И, главное, скажи пожалуйста, какая беда: при заводе, видели, аптека есть и от ревматизма наверно лекарство найдется, а прочитать по-немецки не в состоянии, — и он ухмыльнулся, придумав про себя поговорку, которую и сказал: — Что тебе, Матвей, от тех трофеев, когда ноги ноют?

Михеев уже уселся в машину фотокодера, отъехал, а комендант на своих ноющих ногах. медленно расхаживал перед низкими, в клетку, железными воротами, поджидая своих бойцов. Он повторял поговорку, и ему казалось, что боль уменьшается.

(Продолжение следует.)

## ИЗ ВЧЕРАШНЕЙ ТЕТРАДИ

А. СУРКОВ

★

### НАДПИСЬ НА КНИГЕ

*С. Кресс*

Еще не кончена война.  
Еще сердца разлукой раним.  
И все ж в иные времена  
Давай, назло войне, заглянем.

Вглядимся в даль иных годов  
И различим у горизонта  
Дымки военных поездов,  
Последний раз идущих с фронта.

Вообразим, что не шрапнель,  
А ливни хлещут по долинам;  
Что гимнастерка и шинель  
Погребены под нафталином;

Что в мире мир и тишина;  
Что спят деревья, люди, зданья;  
Лишь нам, счастливым, не до сна,  
Как в полночь первого свиданья;

Что слышит сонная трава,  
Как возникают в нашей речи  
Полузабытые слова  
Неповторимой первой встречи.

С души тревоги навсегда  
Спадут, как ржавые вериги.  
И сном покажется тогда  
Нам злая правда этой книги.

1943 г.

### ПОБОИЩЕ

Снег в капле кровавой росы,  
Пулеметной метелью иссеченный.  
Бродят сонные, толстые псы,  
Обожравшиеся человечиной.

Вверх прикладом маячит ружье.  
По пригорку окопы уступами.  
Черной тучей висит воронье  
Над промерзлыми, желтыми трупами.

У подножий степных ветряков,  
По курганам, насыпанным дедами,

Гренадеры немецких полков  
Полегли вперемежку с гонведами.

Мимо них, торопя лошадей,  
Вслед за теми, за самыми первыми,  
Мы идем с равнодушьем людей,  
Притерпевшихся сердцем и нервами.

В приоскольской степи ветровой  
Мы идем, о домашнем калякая.  
Эка невидаль! Нам не впервой.  
Мы солдаты. Мы видели всякое.

1943 г.

### ПЕРЕД ВЕСНОЙ

Сверля туннели по сугробам талым,  
Ручьи, журча, стремятся в лоно рек.  
А при пути, замученный металлом,  
Как свечка, догорает человек.

Его убийц тесня и настигая,  
За горизонт товарищи ушли.

Слепит глаза голубизна нагая,  
Тревожит запах тающей земли.

Кровь остывает, по виску стекая.  
Взгляд застывает дымка полусна.  
И зреет бред. Так вот она какая,  
Двадцатая, последняя весна!

До тех, кто скрылись за бугром  
пригорка,  
Не докричишься, сколько не кричи.  
Баюкает ручьев скороговорка,  
Картавят рядом черные грачи.

И весь в свеченье небосвод высокий.  
И степь под снегом празднично светла.  
Ты слышишь?—В травах оживают соки  
От каждой капли твоего тепла...

1943 г.

## ВЕЧЕР

Стараясь догнать убегающий день,  
Шагает усталый солдат большаком.  
А рядом бредет долговязая тень,  
Цепляясь за травы огромным штыком.

И булькает, булькает в горле вода,  
И рвется из ворота острый кадык.

Солдатская должность — шагай да  
шагай,

Он залпом осушит баклажку до дна.  
И капельки пота поспешно сотрет.  
Все дальше уходит на запад война  
И голосом боя торопит вперед.

Клуби сапогами горячую пыль...  
Налево железом изглоданный гай,  
Направо — без края—хохлатый ковыль.

И значит нельзя, чтоб солдат уставал.  
И значит идти ему ночью и днем.  
А после победы устроим привал.  
И выпьем по чарке и всласть отдохнем.

На миг задержался солдат у пруда.  
Сухими губами к баклажке приник.

1944 г.

## НОЧНОЙ ПЕРЕХОД

Сейчас бы, как в детстве, снопом на  
кровать,

Нелегкое счастье солдату дано.  
Иного не будет, не жди.

В уют обжитого тепла.  
Но нам запретила беда уставать  
И в долгий поход подняла.

Прими это трудное счастье, солдат!  
Ведь ты, сквозь потемки и дождь,  
По звонким ступеням сверкающих дат  
В бессмертие прямо идешь.

Гудят провода на высоких столбах.  
В соленой испарине лоб.  
От мокрых портянок и влажных рубаш  
По телу колючий озноб.

Пусть шаток судьбы беспокойной настил,  
Пусть в мире темно, как в аду.  
Ты солнце усталой земле возвратил,  
Плечом отодвинув беду.

А в поле, как в братской могиле, темно.  
Лишь вспышки ракет впереди.

1944 г.

## ДЕВЯТОЕ МАЯ

Где в потемках ракеты горят не сгорая,  
Где зрачки пулеметов угрюмо глядят,  
В полный рост над окопом переднего  
края

И нагнулся солдат. И к простреленной  
каске  
Осторожно приладил цветок.

Поднялся пехотинец-солдат.

Снова ожили в памяти были живые —  
Подмосковье под снегом, в огне  
Сталинград.

Сердце билось толчками, прерывисто,  
часто.

За четыре немыслимых года впервые  
Как ребенок заплакал солдат.

Тишина... Тишина не во сне — наяву.  
И сказал пехотинец: отмаялись, баста!  
И заметил подснежник во рву.

Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая,  
Сапогом попирая колючий плетень.  
За плечом занималась заря молодая,  
Предвещая солнечный день.

И в душе, тосковавшей по свету и ласке,  
Расплеснулся звенящего счастья поток.

1945 г.

# НА ЧЕТЫРЕХ ДОРОГАХ

Баллада

ВИКТОР УРАН

★

Четыре дороги связались в клубок:  
на север, на запад, на юг, на восток.

Четыре солдата сюда подойдут  
через каких-нибудь десять минут...

Я вам говорю, что окончился бой,  
что ветер в степи запеваёт отбой.

Четыре солдата выходят на шлях.  
Махоркой и потом каждый пропах.

Пылили и шаркали восемь сапог.  
Солдаты пришли на развилку дорог.

Присели. Повесили юги в кювет.  
Один вынимает расшитый кисет.

Он вынул кисет и задумался вдруг:  
— А знаете, хлопцы, мне надо на юг,

там в хате оставил я жинку свою,  
малиновки ждуг меня в пышном гаю...

Другой же, тяжелоплечий казах  
с веселой крупинкой в раскосых глазах,  
сказал: — Меня будет встречать весь  
аул! —

сказал и лицо на восток повернул.

И третий вступил: — Я на север пойду,  
от счастья рассыплется солнце на льду  
и будет, рыдая, меня обнимать,  
как белый песок поседевшая мать.

И только четвертый о чем-то молчал...  
О, парус бездомный, где твой причал?

О, ветер, бегущий в отеческий край,  
рыдай над солдатской судьбою, рыдай!

На запад смотрел он, где был молодым,  
на запад смотрел, где лишь пепел да  
дым,

на запад смотрел, где убита сестра,  
на запад смотрел... Ни кола, ни двора!

Тогда говорит ему первый солдат:

— Над гаем малиновки ночью гаадят,

в раскинутой песне, в толковом труде  
ты о своей позабудешь беде...

Другой говорит, поправляя усы:  
— У нас в Казахстане, товарищ,  
джаксы!

Гостю хозяйка скажет: «Садись», —  
и на стол поставит кумыс.

А третий сказал:  
— Мы подружим с тобой,  
по мускулам вижу, что ты китобой;

отныне у матери будет моей  
двое единственных сыновей!

Четвертый задумался и притих.  
Кого же он выберет из троих?

На юг, на восток и на север пути,  
но можно еще и на запад пойти.

На запад пойти? — Ни кола, ни двора!  
На запад пойти, где убита сестра?...

На запад пойти! Пусть и пепел и дым!  
На запад пойти!! Там он был  
молодым!!!

Лицо его напоминало зарю.

Сказал он:

— Солдаты! Благодарю!

Вы все хороши. Но не в этом суть.  
Разрешите на запад мне повернуть...

Пишите. И в гости ко мне — через год.  
Сады забурлят. Зацветет огород.

Бревенчатым тесом запахнет в избе.  
Я всех вас троих приглашаю к себе!

Четыре дороги связались в клубок:  
на север, на запад, на юг, на восток;

четыре солдата прощаются тут,  
друг другу они адреса раздают.

# НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

Повесть

Л. СЕЙФУЛЛИНА



## Первая глава

Валя и Зина стояли около здания райкома, с ужасом смотрели на отступавших. Второй день народ непрерывно уходил из осажденного города. Но такого страшного положения, как в последние часы, девушки раньше в мыслях себе не сумели бы представить. На их ответственности находились комсомольские билеты, карточки, различные протоколы, решения, важные для дальнейшей работы комсомола. Когда немцы завладели ближайшими подступами к городу, обком комсомола поручил Вале и Зине уничтожить ряд документов, а некоторые сохранить и доставить в новое место. Это поручение они выполнили. Теперь обе не знали, куда им идти.

Валя и Зина двинулись вслед за уходящими. Сумерки быстро сгущались в непогодливый вечер. Начал опять падать крупный снег. Из города, сзади, зарево сильного пожара освещало вязкую дорогу. А спереди надвигалась мокрая, холодная тьма. В эту зыбкую от падающего снега темноту двигались, уходили черные тени людей. Отставали престарелые. Спотыкались и падали дети. С мольбой, с проклятиями, с рыданьем поднимали их матери. Люди шли по дороге, и по обочинам ее, и совсем без дороги, прокладывая путаные тропки по рыхлому снегу, смешанному с землей. Зина забыла надеть каалоши. В открытых туфлях на высоких каблучках ей было трудно идти. Она сняла туфли, засунула их во внутренний карман своей коротенькой ватной жакетки, пошла в одних чулках. У Вали ботики были худые, в них набивался снег. Огрузили ноги. Валя схватила зинину руку. Обе боялись оторваться друг от друга, шли все время, крепко сцепивши руку с рукой. Снег перестал падать. Обозначалось чуть посветлевшее небо. Облака полегчали. И меж них, над землей повисли осветительные неприятельские ракеты. А вслед за ракетой низко-низко спустился над идущими по дороге и бездорожью неприятельский самолет. Над самой головой — каждому казалось, что именно над его головой — затрещал пулемет. Горячий сви-

нец падал в толпу, ранил и убивал. Кто полег живой, лицом прямо в грязь дороги, кто пополз, кто побежал, кто распластался, сраженный насмерть. Руки девушек расцепились сами собой. Обе кинулись плашмя на землю и лежали, выжидая, когда смокнет пулемет. Валя лежала долго. Ей казалось, что бесконечно валяется она на рыхлом снегу. Но все же конец пришел. Для живых — спасительный конец. Сладостное ощущение уцелевшей жизни. Для мертвых — окончательное успокоение в небытии. Немецкие летчики совершили злое дело и скрылись. Начался мутный, скупой, унылый рассвет. Валя поднялась со студеной и прязной земли. Дико озираясь вокруг, она позвала голосом упавшим, безнадежным:

— Зина!

Лицо Вали было залито слезами. Она не чувствовала их, хотя бессознательно водила по лицу руками в мокрых и грязных перчатках, вытирая эти слезы. Она перевела стесненное дыханье, крикнула настойчивой, протче:

— Зина! — и оглянулась вокруг.

Впереди, по дороге, в одиночку и реденькими кучками еще двигались люди. Около Вали, у самого тракта, валялась брошенная тачка с хорошо упакованными, тщательно привязанными вещами. Продаль, высоко вздымая ребра, подыкала упавшая лошадь в неснятом комуте. Люди лежали там и тут: мертвые, навеки замолкшие, и стонущие живые.

— Зина! — в третий раз, уже с отчаянием, воскликнула Валя и увидела подругу. Она лежала у придорожного куста, силалась приподняться, Валя подбежала к ней:

— Зиночка... Зина, тебя ранили? Да? Зина!

Превозмогая боль, Зина прерывисто ответила:

— Не знаю... Нет... Кажется, я сломала ногу. Очень больно... ни встать, ни повернуться...

Она застонала, опять вытянулась на земле, лицом — в скрещенные руки. Валя наклонилась над ней, осторожно взяла ее за плечи.

— Что же делать? Я не могу тебя бросить... Может быть, я донесу тебя на спи-

не до деревни. Вон, Лисичкино уже виднеется... Зина, дай попробую тебя поднять! — Подожди... Ох, не могу, не могу, о-ох! Иди одна, кто-нибудь подберет...

— А если — немцы?

— Нет, нет... Убей меня, Валя!

— Ну тебя! Чем я тебя убью? Говорит не знай чего! Вот я встала на коленки, уцепись мне за шею руками... Ну, терпи, терпи... Держись...

Сначала Вале тяжело показалось тащить на спине худенькую легкую Зину. Сразу не сумели обе приноровиться: одна нести, другая держаться так, чтобы не душить руками валину шею. Не Валя, а Зина первая попросила передышки. У ближнего леса Валя осторожно положила Зину на землю и, тяжело дыша, присела отдохнуть окло нее. Вдруг она увидела: по дороге идет войско. Рота, больше ли, может быть целый полк, Валя не знала, не рассмотрела, не сообразила. Много ли, мало ли бойцов, но это — войско, Красная Армия. Идут бойцы твердо и в полном порядке, неподвластные панике, неподвластные ужасу неприятельского вторжения. Значит, существует армия! Живет советская страна! Валя кинулась обратно, к дороге.

## Вторая глава

В сумерки старуха Захаровна оделась и открытым коридорчиком прошла на высокое крыльцо. Она долго всматривалась в даль по дороге. Не было видно желанного приближения. Захаровна тихонок вздохнула и опустилась на верхнюю ступеньку. Ей не хотелось возвращаться в пустую без мужа и детей избу. Недавно еще любила она часы временного одиночества в своем доме, в родном гнезде. Ей нравилось подумать в тишине, вспомнить прошлое над раскрытым старинным сундуком. Неторопливые мирные мысли тянулись одна за другой.

Вот выцветшая когда-то ярко-синяя лента. Еще девушкой Захаровна была, в косу ее влетала. Ох, и косища хороша у нее на спине тогда посколалась! Теперь таких волос, густых и длинных, не видать что-то. Да нынче не то, что девушки, а и замужние ходят стриженые. Если отрастит какая девчонка длинные волосы, расплетет на две тощенькие косенки по плечам, распушит их для видимости, но разве это косы? Что же, меняются времена! Иные песни, иная повадка. Обе дочки у Захаровны стрижены, на мужской лад причесаны. Отвергли сборчатые длинные юбки, какие Захаровна смолоду носила. Отвергли так же решительно, как сама Захаровна когда-то мамушкин сарафан. Тут же в сундуке куценкая, узенькая валина юбка, кофточка без ворота, без рукавов. Одежей тоже называют! Пол-одежи, четверть одежки... Ну, спят — не ее, не старухино дело. Дальше им жить, а родителям только дожидать. Теперь жизнь и устройство жизни новое. Делай, как советь велит, или, куда душа тянет. Только на распутство нет моего благословения.

Да, Валя не таковская! От разумных отца-матери.

И со снохой также всегда добром договаривались старики. Оттого дети к ним с любовью, с открытыми мыслями. Валенька и газетку объяснит понятными словами, из книжки прочтает доступное темной, неграмотной материнской голове. Конечно, о детях всегда забота гложет сердце. Как пошел Вале двадцатый год, не выдержала, спросила ее:

— Валенька, двадцатый тебе навдвинулся, замуж бы пора. Нет ли кого на примете?

Весело да звонко засмеялась Валя.

— Как найду жениха, сама к вам приведу. Пска не до мужа мне.

Да, о многом вспомнила Захаровна, перекладывая добро в сундуке. Вот и сарафан, сшитый еще матерью Захаровны, и давние пестрядиные мужские штаны. Не носит их Петрович и теперь, в старости. Новехонькие, ни разу не надеванные. Сгодятся на смертный час, хотя бы под испод.

От вещей, давно и бережно хранимых, от вызываемых ими видений былого она и всплакнет и усмехнется молодо и нежно. Ее жизнь проходит перед мысленными очами, как родная полноводная река, на берегах которой родилась Захаровна.

Много всякого бывало! Было детей девять человек, в живых только четверо осталось. Да и то четвертый жив ли, нет ли, еще погадать надо. С первого призыва из Красной Армии вернулся, женился да скоро пошел воевать с этими... как их? Не с этими белыми, с какими отец воевал, а с новыми: «белуфиннами». Тогда остался жив и невредим, а теперь два раза поражен. Мертвый ли, безрукий ли только и хилый, но живой, — как узнаешь. Письма не приходят. Немцы перепутали, позакрывали все пути, запутали почту, не жди скоро дорогого письма! Детей у сына Федора не вывелось. Невестка, не то гордая, не то нелюбящая, все в сторону живет, а сейчас надолго, может и навовсе к собственным родителям жить ушла. Старшая дочка, Маня, как и младшая, Валя, тоже не дома живет. В соседнем селе работает, а муж у ней без вести пропал. Внученок четырехлетний, Юрочка, больше с бабушкой живет, с Захаровной, чем с матерью. Сейчас гостит у матери. Хорошо ль ему там? Не обижен ли? Мане все некогда пристально за ним следить. Четвертый сынок, Витя, подросток еще, в третьем классе учится. Имена у младших тоже новомодные, хоть поп крестил, а на нынешнюю моду выбирал. Не Ваня, не Петя не Дуня, а Валя, Витя, внук — Юрочка. Полное имя валино долго Захаровна училась выговаривать. А теперь умеет правильно сказать полностью — Валентина. Эх, Валентина! Из-за тебя не сидит сегодня мать спокойно в тепле над сундуком, а забьет на крыльце, вглядываясь дальнорюкими глазами в лесок над деревней. Не появится ли на опушке родная доченька. Надо бы псывиться! Уж мочи нехватает тревогу от мужа и от соседей скрывать. Рыщет немец поблизости. Смутный слух прошел, что

валин город занял нечистый! Захаровне известно, что Валя немцев там ждать не останется. Ну, а всякая может прихлопнуть беда!

Долго сидела старая мать, в ожидании издрогла вся. Совсем стемнело. Сынишка Виля с конного двора прибежал. Конюху-отцу помогает. Не годится Петрович на сельскохозяйственную работу, а в колхозной конюшне исправно служит уже пятый год. Две премии заработал и много благодарности от товарищей. Там и ночует, никакой смены, ни одному сторожу не доверяет. Отговаривается от отдыха старой посливицей:

— Свой глаз — алмаз, чужой — стеклышко.

Сегодня пришел домой в бане помыться. Завтра старинный праздник, смоленский. Захаровна в канун жарко натопила баню. Дочку поджидала, для нее пару побольше нагнала. Помылась старик с Витей вместе, поужинали, опять ушли к лошадям. Старухе не спалось. Она и в баню не пошла от огорчения. Устало старое сердце стоскливой тревоги. Порой совсем замирало, вот-вот вовсе остановится. То вдруг начинало стучать часто и бешено, как у молодой после быстрого бега или пляса. Полежала Захаровна на своей кровати, нет покоя, изворочилась вся. С досады быстро поднялась старуха, снова зажгла свет, включила радио. В последних известиях не разобралась, даже не поняла, заняли немцы валин город или нет. Вот и проиграла музыка «Вставай, проклятым заклейменный». Нечего больше ждать. Полночь глухая. Как девушка лесом пойдет? Даже если с подружкой, так и двоим страшно. Особенно в нынешние дни лютой немецкой напасти. Захаровна вслух сердито проворчала сама на себя: «Уторкивайся, старая дура, спать. Нечего мотаться!» Нежданно — в ставню осторожный, вкрадчивый стук. Не валушкин. Валя, когда ночью в ставню запрыгивает, всегда всех соседей перебудит. Сколько раз сердилась!

Вышла Захаровна в сени, засов не вынула, через дверь удивленно и недовольно спросила:

— Кто? Чего кому от нас полночь надо?

А голос валин ответил, хоть и непривычно притаенный.

— Скорей открывай, мама.

С воли вошла, лицо полыхало румянцем, словно веселая, а как посидела, поужинала, задумалась, разговор оборвала. Щеки еще рдели от студеного ветра, но сквозь румянец бледность кой-где проступала. Ясно обозначились темные кольца вокруг запавших и утомленных глаз. Сильно похудела дочь. Вроде выше ростом стала. Длинные черные ресницы в разговоре все опускала. От них ложилась на юные щеки кроткая, печальная тень. Этот опущенный взор будил в материнском сердце вещь тоску. Выпытываний Валя сильно не любила, не терпит расспросов о себе! Сама все без утайки, с подробностями, о себе выложит, а до этого спрашивать, —

мать не смей. А как же не спросить, если совсем вся другая сегодня пришла, на себя не похожая. Иной разговор, совсем иной! То, бывало, торопится обо всем на свете рассказать. Прямо словами давится. А нынче говорит мало. Ни о чем и ни о ком не расспросила. Ни отца, ни братьев, ни старшую сестру с племянником в беседе даже не вспомняла.

Старуха недовольно откашлялась, спросила сдержанно:

— Что-то ты сегодня какая? Вроде не в себе, а?

Валя не вспыхнула и не закричала: «что за допрос». Ответила тихо и ласково:

— Устала я, мамушка. Сугроб в лесу, темнота, тропинки замело. Кружила, кружила вокруг деревьев, измучилась.

— Так ложись в постель скорей. Чего томишь себя, сидючи?

Валя отозвалась не сразу, сказала опять очень тихо:

— Утром надо мне уйти пораньше, чтоб меня люди не видели.

Захаровна рассердилась, хотела, было, прикрикнуть на нее: — Какой грех у тебя завелся, что людей стыдишься?

Да взглянула Вале прямо в лицо, встретила горячий, полный доверчивой дочерней нежности взгляд и осеклась. В горле у ней запершило. На глазах выступили умиленные слезы. Валя подошла, опустилась рядом с ней на скамью, обвила за пояс руками, прильнула лицом к высохшей материнской груди. Захаровна наклонилась, поцеловала дочь в голову, в щеку. Мгновение посидели в тесном объятии. Валя высвободилась не обидно, не спеша, поправила свои волосы и спросила:

— Баня, наверно, у нас топилась под праздник. Пойдем, мамушка, помоемся.

— Что ты, доченька! Баня-то не выстыла, да ведь час глухой, полночный.

Валя усмехнулась коротко, но светло. Будто фонарик потайной зажегся на минутку в ее больших серых глазах.

— А нам с тобой чем страшен этот час? Мы просвещенные, ни домовых, ни ведьмы-оборотня не боимся. Правда?

Мать отозвалась смущенно:

— Ну что ж, хоть и не боимся, а болтать про черное до рассвета не годится. Я век прожила по старой побаске, на вашу погудку объяснять не умею. Ну, коль пойдем. Материна молитва и тебя от всякой нечисти ублюдет.

— У меня, маманя, своя молитва, верней твоих. Ну пошла! Дай мне белие мое, что у тебя сохранилось...

«Маманей» и «мамушкой» дочь называла Захаровну лишь в раннем детстве. И вдруг теперь вспомнила. Ой, не перед радостью это, доченька дорогая!..

Мать и дочь мылись недолго, но весело. И в реке купаться, и в бане мыться, и попариться Валя любила с малолетства. Спать запросилась в постель к матери. Прижалась к ней под бочок и быстро заснула. Подремав около дочери часа полтора, Захаровна осторожно поднялась. С вечера у нее поставлено было к празднику тесто. Надо успеть печку истопить, лепе-

шек дочери на дорогу испечь. Еще затемно уйти из деревни хочет. Настойчиво об этом, уже засыпая, три раза повторила, просила побудить, если разоспитесь и не проснетесь ранним-рано сама. Только что затопила Захаровна печку, в избу вошел председатель колхоза. Поздоровался, поглядел пристально и сказал:

— Иди-ка, Захаровна, матушка, коров доить. Доярка Домна в сильном жару лежит, бредит, без памяти.

Захаровна смутилась. Никогда, ни единого раза ни от одной работы в колхозе не отказывалась. Куда бригадир ни пошлет — в плут ли, в борону, в коровник — отказа у нее не было. Не знала сейчас, что и сказать председателю. Очень хотелось дочку через лес провезти. По льду через реку ей уже светло будет идти, а в лесу темень, еще ночная глухога в ранний зимний рассветный час. Вдруг Валя точно кто в бок толкнул. Разом поднялась, села на кровати, закрываясь одеялом. Попросила сама:

— Дядя Никанор, отпустите маму проводить меня через лес до реки. Война, дядя Никанор. Не знаю, скоро ли еще мы с мамой увидимся, у меня работы много.

Никанор недовольно крикнул, но поспешно согласился:

— Кого-кого, а уж Захаровну прех по дочерней просьбе не освободить. Она в колхозе хорошо работает, и мы к ней с уважением. Пусть проводит. Пойду Митяжину Степаниду побужу. Бывайте благополучны, живы-здоровы. Пока, до свидания-ца.

Подал обеим на прощанье руку и ушел. Вале удивило, что не расспросил ее Никанор ни о боях в городе, ни о ней самой. У двери председатель еще раз оглянулся, бросил снова на Вале пристальный, но согретый сердечным дружелюбием взгляд.

«Неужели он что-нибудь слышал? От кого же? Надо, чтобы поменьше людей знало. Но маме обязательно надо сказать», — тревожно подумала Валя.

Когда шли они с матерью лесом, в предрассветном зимнем сумраке, обе разговаривали спокойно. Обо всем, что в голову приходило. Дочь просила передать привет родне и колхозным друзьям. Но на опушке леса Валя неожиданно резко оборвала этот разговор:

— Спешить надо. Я запаздываю, иди побыстрей.

До реки двигались молча и очень быстро. — Мама! На высоком снежном берегу Валя поцеловала мать долгим поцелуем, круто отвернувшись, торопливо начала спускаться на лед. Запущенная падающим мелким снегом Захаровна стояла на береговой высоте, сильно выпрямившись и неподвижно, как изваяние. «Мама!», — донеслось к ней снизу, и Валя взбежала обратно наверх. Девушка обвила мать за шею руками, притянула ее лицо близко к своему:

— Мама, — выговорила она взволнованно, прерывисто, — я ужоу в леса, к партизанам. Может быть мне очень трудно будет, и голодно, и холодно, и опасно до смерти. Но я все равно пойду А ты не скорби обо

мне, а порадуйся, что на честное дело иду.

Захаровна испугалась, но еще больше смутилась, спросила виноватым голосом:

— Доченька, а кто же это партизаны? Ты на меня не сердчай. Я темная, малограмотная. Ты, бывало, все мне разъясняла. Что же они делают? Чем занимаются?

Валя печально улыбнулась, еще раз припала к дорожному материнскому лицу, сказала сквозь сдержанные слезы:

— Ну после, после узнаешь. Честные люди. К нечестным я бы не пошла. Ты друт мне, родная моя мама, но больше о них я тебе ничего не расскажу. И дай ты мне крепкое обещание зря никого из чужих не расспрашивать. У отца и у Вити спроси, они должны знать. Но Вите не говори, что я с партизанами. Мальчик он еще, похвалится ненароком... Ну, прощай! Задержалась я, все никак оторваться от тебя не могу. Будь здорова, мама. Да! Если... если выйдет такое дело... мой труп к вам принесут или тебя к моему мертвому телу враги приведут... Так вот тогда... Мама, не признавай меня тогда за дочь! Прошу тебя, мама, не забудь других из-за меня, не лиши меня светлой памяти среди товарищей, отрекись тогда от меня. Слышишь, мама? Исполни обязательно этот наказ мой, не предай своей дочери. Слышишь? Исполнишь?

Губы задрожали у Захаровны. Сразу она не смогла выговорить ни одного слова, задрепетала всем телом и, наконец, через силу произнесла:

— Лучше бы ты мне этого не говорила, дочка...

По старым сморщенным щекам ее, по выцветшим губам заструили горькие, тихие слезы. И сквозь эти слезы мать шептала:

— Дочка, доченька. Все сделаю, все исполню... Но лучше не уходи, вернись со мной. Сердечушко ты мое на части рвешь, Выживу ли я, доченька? И мою жизнь ты в могилку тынешь.

— Живи, мама. Живи, родимая, я вернусь невредимой, а тебя — нет? Разве можно! Как же я-то без тебя? Я молоденькая, одинокая. Ожидай меня, мама, не умирай!

Они плакали на плече друг у друга, целовались, крепко прижимались лицом к лицу, смешивая свои слезы. Валя схватила в свои обе материнские руки, припала к ним на мгновение, повернулась и, уже не оглядываясь, сбежала вниз. Скоро на речном льду четко вырисовалась ее темная легкая фигура. Девушка так и скрылась из глаз матери, ни разу на нее не оглянувшись. Совсем не стало видно Вали, а мать еще долго смотрела ей вслед. Лицо ее было скорбно и уже надолго бесслезно. Она подумала: «Побоялась еще разок глянуть на меня. Разжалобиться над родимой матушкой, заробеть поопасалась. Доченька, ягодка моя, пичуженька! Неужто боле не свидимся? Половину моих остатних дней ты, доченька, с собой унесла. Но не бойся, не подведу, не выдам тебя врагу ни по скорби, ни по жалости. Выдую, все выдую».

Захаровна медленно повернулась спиной к безмолвной, закопанной в лед, мертвой сейчас реке. Шаги старухи были тверды, и на ходу она держалась прямо. Как ее дочь, она тоже шла на подвиг честной безбоязненной жизни.

### Третья глава

Колхозный скот угоняли на рассвете. С ним отправились муж Захаровны и младший сын Витя. Старуха оставалась. Не надо ей было ни собственного жилья, ни заветного сундука. Она ждала, не пригодятся ли родной кров и материнская помощь Ваае. Муж, с которым немало они пошатались тайком, понимал ее тоску, ее ожидание. Только потому, скрепя сердце, согласился оставить ее одну перед лицом беды. Личный живой инвентарь оставался во дворах колхозников. Строговы почти не спали ночь. Витя с отцом прирезали половину кур, гусей, уток, закололи поросенка. Захаровна обдывала птицу, чтоб накормить отъезжающих домашних завтраком и положить им снедь на дорогу. В предутренний час, хлопоча около печки, она вдруг остро вспомнила последнее валино прощание. И, опустив голову на шесток, беззвучно заплакала. Старик только было прилег на кровать. Поглядев на жену, он прокашлялся, встал и подошел к ней.

— Дарья, Дарья... — позвал он тихо, — я ведь верю, что все одно наши победят. Возвернется прежнее наше советское житье.

Жена, не поднимая головы, ответила глухо:

— Кабы я, Петрович, иначе мыслила, взяла бы вожжи да под сараем удавилась.

Она тяжело поднялась, вздохнула и пошла к шкафчику за посудой.

Позавтракали в молчании необычном, в скорбном, но ели досыта, истово. В их крестьянском быту нельзя было позволять печалам изнурять себя. Еще отец Захаровны говаривал:

— Лошадь не покорми, не повезет. Мужик с голодным брюхом пашни не подымет.

В любой час их трудового дня требовалась телесная сила, неустанная выносливость. Они потребляли хлеб насущный для того, чтобы силы были взрастить его.

Настал час расставанья. Захаровна сидела на скамье, опустив голову, скрестив на коленях жилистые руки. Петрович подошел к ней, раздумчиво погладил своей седой затылок, сказал дрогнувшим голосом:

— Ну прощаться пора, Дарья.

Захаровна поднялась, упала ему в ноги в земном поклоне. Лицо ее было сурово, спокойно.

— Прости, Христа ради, коли когда чем обидела...

— Ну что... — Петрович, часто моргая, передернув седоусым ртом, поднял ее за плечи. — Дураком или душой друг-другу, почитай, ни разу не обозвали, как поженились. А не то, чтобы что... ухватом или за

волосья, как другие. Спасибо, жена... за твой характер.

Они обнялись. Поглаживая ее спину, согнутую трудом и горем, старик застенчиво всхлипнул и сердито закашлялся. На грудь матери припал Витя. Губы мальчика тряслись, он плакал. Затряслись и худые плечи Захаровны. Она простонала:

— Меньшенький мой... последний.

Сердитым возгласом, подавляя свою душевную боль, крикнул Петрович:

— Ну, чего завела! Коли так, пусть при твоей юбке остается. Оставайся, Витька. Ну, ну... это я всердцах, не легко ведь и мне!

Через два дня Захаровна счищала снег с крылечка. К ней подошла горбатая старая девка Настасья, сестра Никанора, председателя колхоза.

— И на улке порядок блюдешь, неугомонная. Здравствуй-ко!

— Да ведь надо... Здравствуй, Настасьюшка. Снегу-то, вишь, чего понанесло!

— Ох, надо, только руки ни до чего стали неприлежные. А ты, как и встарь у тебя, хоть с улицы глянь, хоть внутри, изба — в чистоте, в лепоте.

Оглядевшись вокруг, Настасья вдруг нарочито громко попросила:

— Выручи, сделай милость. Об гвоздь юбку остатнюю расплосовала, а ниточки зашить нету.

За плетнем на соседнем дворе послышался злой бабий смешок. Захаровна удивленно обернулась. Опершись на плетень, стояла дородная, румяная Ульяна, соседка.

— То-то — ниточки, — пробасила она. — Покрепче спивайтесь, ответ вместе вам держать. Знаю я, за какой она к тебе ниточкой.

— Это какой же ответ? Перед кем виноватые мы? — строго спросила Захаровна.

— Да уж начальство найдется! И то дивн, третий день ни в тех ни в сех наше селенье. Ни по-советскому, ни по-немецкому.

— А тебе, что же, с немцами, снюхаться желательно? Тыфу! Пойдем, Настасья, в избу от греха.

Вслед им прозвучала наглая брань. Войдя в избу, Захаровна совсем без сил опустилась на кровать. Губы у нее посинели. Дрожащими руками она схватилась за грудь.

— Чисто голубь, затрепыхалось сучечушко. Не чаяла и в избу добратся. Аж пот прошиб... Ну, подлая, ну, врагиня!

— Что Ульяна от роду охальница — по всей, чать, волости известно. Изругалась-то как, батюшки! Чистой мужика.

— Не в ругани, не в ругани — самый стыд. А... немцев ждет, на их уповаеет. Подумай-ка, милая! Своя, русская!

— А я ж про што. Давно мы, кое-кто, приметили, что у ней к советской власти на устах медок, а в делах — ядок. С чёго ж я про нитки-то? Будто только по нужде зашла. А она сдогадалась, окаянная, что я с упреждением.

Глаза старухи ожили в гневной надежде. Сразу помолодело лицо. Она встала и

вздохнула вольней. Настасья посмотрела на нее с уважением, с доверием, сказала негромко:

— Нам с тобой, бабушка Дарья, спорить не придется. В одних мыслях. Я не Ульяна. Как уезжал Никанор, зайти к тебе называл. Упреди, говорит, чтоб Валентина не наведывалась больше, не прихлопнули бы ее тут. Говорок пошел: зачем ночью прибежала, куда из дому подалась. Подглядел, видать, кто-то, как она приходила. Да, чать, та же Ульяна.

Захаровна вздохнула и горестно развела руками.

— Как же я упрежу? Сама не знаю, где она и чего с ней. Может, уже...

Она не договорила и поникла головой. Потом выговорила с трудом:

— А этим, злымням, постарайся как-нибудь довести до ушей слушок, что я отрицаюся. Не была, мол, Валя, да и все! Мать, скажи, давно до нее не касательная. Сохранить себя обязалась я.

Наутро появились немцы.

Захаровна, как всегда, поднялась рано. Чуть помутнело от рассвета ночное, позимнему низкое, пухлое от снежных облаков небо. Ни во дворе, ни в избе делать было нечего. Зияли раскрытые двери пустого хлевушка для коровы. Молчал курятник. Даже собака Жучка убежала вслед за подводой Петровича. В избе хозяйка затопила печку. Чего варить, кого кормить? И вдруг подумалось Захаровне: «А, может, Валя к матушке родимой да и забегит... Надо пищу наготове держать, надо! Не сама дочка, дак случится вестник от нее...»

Старуха принесла из тайничка обделанную курицу, вымыла, положила ее в чугунок и поставила в печку варить. Двигалась она неспеша, чтобы подольше в работе были руки. За работой — сердцу легче. Глядя на огонь в печи, она задумалась. Не сразу дошел до нее с улицы необыкновенный шум. Заслышав его, подошла к окну, взгляделась сквозь проталинцы замерзшего стекла, но увидеть ничего не успела. Сзади, за ее спиной, наотмашь распахнулась входная дверь. Захаровна повернулась, сердце у нее застучало часто-часто и вдруг словно окаменело. Ни одежды иной, чем у нашего войска, не разглядела она, ни слова иностранного не сказали вошедшие, а почувствовала сразу: чужаки, неприятель. Их было двое. Один прошел за перегородку, в чистую горницу, второй остался на кухонной половине, где русская печь. Озираясь вокруг, оба и на хозяйку взглянули. Взгляд их был так равнодушен, будто перед ними не человек, а пустое место. Захаровна высоко приподняла побледневшее лицо. Горько вздрогнули ее губы, но старуха не заплакала. Медленно села на скамью у окна, поджала обе руки под грудь и стала следить недобрим взглядом за каждым движением немцев. Те деловито походили по всей избе, заглянули на печку и в печку, перемолвились о чем-то на своем языке. Потом один сорвал с кровати одеяло, забрал подушки и ушел. Второй вернулся к печке, внима-

тельно поглядел в ее жерло, в чугунок, постоял около огня и повернулся лицом к старухе. Она спокойно встретила взгляд его соловых глаз с белесыми ресницами. Немец показал ей пальцем на табуретку, стоявшую около скамьи. Захаровна поняла: велит подать, чтобы ему сестра около печки. Старуха с места не сдвинулась, рук не разжала и глаз не опустила. Немец выругался по-своему, злобно плюнул в сторону Захаровны, сам взял табурет и сел около печки, лицом к огню. Так они сидели довольно долго. Он — облокотившись локтями на шесток, повернувшись к Захаровне противно жирной спиной. Она — сзади него на скамье, выпрямив согбенную старую спину, со скрещенными на груди руками, с горящими глазами, устремленными в его тупой затылок. Потом немец встал, огляделся вокруг, снял с гвоздя чистый рушник, прихватил им куриную ногу, торчавшую в чугуне, и вынул курицу. Он обернул курицу полотенцем и ушел, не закрыв за собой двери. Захаровна не успела подняться, чтобы закрыть ее, когда холод ударил по зябким старым ногам. В избу вбежал третий чужеземец, маленький, вертлявый, черномазый. Должно быть ждал в сенях или во дворе, так быстро он появился перед старухой. Руками в больших русских рукавицах захватил чугунок с бульоном, вышел, также оставив дверь открытой. Закрывая ее, Захаровна дрожала не от страха, а от нестерпимой обиды. Она подумала: «Господи, как же это? На уже я, аль в своей избе, под своей крышей?»

И вдруг поняла: да, на улице, на разбойной улице. Не только ограбить, но и голову могут снять. И так себе, ни за что, ни про што, за здорово живешь! Ты — пустое место. Не подглядят — так не тронут. Но всякий час дрожи и помни: волосинки на голове нет собственной твоей. Если этим чужакам понадобится, все, до единого волоска, выдерут.

Немцы не остались в колхозе «Завет Ильича». Ограбили дворы и дома — и отбыли в недалекую деревню. Часу не прошло, как уехали они из колхоза, вбежала в избу Захаровны толстая Ульяна, соседка. В дверях, грохнувшись плашмя на порог, заголосила она воющим басом:

— Ни в уме не было, ни во снах не снилось экого лиха-злосчастия! Да отколь же наваяло такую напасть... Да и как же избудем, да и где заступу найдем...

Захаровна от неожиданности даже перекрестилась в испуге:

— Что ты, аль не совсем в уме сделалась? Встань, ну-ка, подымись, чего ты?

— Не вста-ану, не встану! Мордой своей бесстыжей землю боронить буду, дурью свою башку об-земь разобью!

Захаровна подошла к ней, склонилась, сляясь приподнять своими трясущимися руками плечи дородной Ульяны. Баба во-зила руками, лицом и грудью по полу, не переставая выть и стонать, Дарья рассердилась.

— Да уймешься ты или нет? Встань! Дай хоть дверь притворить. И то уж вы-

студили избу желанные твои начальники. Встань, говорю!

Ульяна тяжело поднялась, сама плотно притворила дверь и повернула к Захаровне залитое слезами лицо. Та всплеснула руками:

— Чтой-то с глазом-то у тебя? И щека левая под им — один синяк! Где тебя уго-раздило. Обо што ушиблась?

Взвывая медленней, тише, Ульяна горестно воскликнула:

— Ушиблась! Кабы сама, в сердце не отдавался бы ушиб такой обидой! Немец под глаз кулачком саланул! Я вся-то избитая... Порсали, пороли меня!

Она снова завывала басисто и глухо.

— А стыду, стыду... не избыть! Заголили юбки... да высекали.

Ульяна с ее трясущимися толстыми грудью и плечами, с растянутым в плаче большим ртом, была не только жалостна, но и смешна. Захаровна не засмеялась. Скорбно изогнулись ее обесцвеченные старостью брови. Секали советскую колхозницу, ее одиссельчанку, свою, русскую, секли чужаки, неприятель!

— Не плачь, Уляша. Иди сюда, к ручнойнику умойся. Нако-сь чистую утирку!

Захаровна достала из сундука чистое полотенце, подала его соседке. Ульяна послушно подошла к висящему жестяному умывальнику, умылась, села на скамью под окном и принялась рассказывать.

— Позабирали в избе и ложку, и поварешку, и шубу с гвоздя, из-под кровати овечью шерсть. А я все кланялась, терпела, привечала. Думала, за покорность да за ласку возвернут. Ну да скажи грех какой случился недуманный! В разговоре-то с ими, в ласковом, я и коснусь рукой своей до плеча ихнего начальника. Вроде как бы погладила. А он... ка-ак размахнется да мне под глаз кулаком. Загавкал чего-то по-своему. Не знаю слов ихних немецких, а поняла: не лезь, мол, поганая, ручищей своей. Я было говорком-говорком объяснять стала: с уважением, дескать, я, с ласкою. И опять здак руку протянула к начальнику. Он чего-то еще злей бормотнул, повалили меня его подручные на скамью, попржиали руки-ноги, заголили юбку да и отпоссовали. Моим же кнутом! Хороший ременный кнут сохранился в кладовушке у меня. Как же мне теперь в глаза своим глядеть после сраму такого? Прости ты меня. Христа ради, за вчерашнюю речь, гаушую...

— Ладно, ладно, — перебила ее Захаровна. — не в тех словах суть. Ты лучше прямо скажи, какой твой грех? Али докладывала чего немцам? Не навредила ты своим?

— Бабушка Дарья, не та собака страшна, что допреж лает... Не согрешила ни наветом, ни доносом я. Да и когда бы я успела?

— Эх, Ульяна, на защиту русского человека теперь много надо времени, а предать его — один раз моргнуть...

— Никак я теперь на это дело не буду согласная, никак! Раньше слушала, усмеялась: каки, мол, там еще фашисты? Лю-

ди как люди, да еще с образованием, заграничные, вежливые. А теперь я знаю до тонкости, почему их фашисты зовут.

— Объясняли про это.

— Объясняли да не в точности! Они «ваши» не выговаривают. Язык у их на то неприспособленный. Вместо «ваши», у них выходит «фаши». До «вашего» они — охотники. Себе все забирают, с того и зовут их «фашистами». Да ты подумай, обобрали меня всё дочиста, да меня же и высекали. С вилами встречу я их теперь, как объясятся!

— И дурной у тебя язык. Мелет прежде, чем обдумашь, чего сказать. Куда ты с вилами спроть орудия...

— Не завсегда они с орудием... И не все толпой ходят. Уж я случай найду для отместки!

— Не болтай ты лишних речей. Прикончат за такие слова, вот вся твоя и отместка. Иди-ко лучше, отлежись. Тело-то, чать, болит?

— Болит. Кожа на спине вся как есть иссечена, рубашка прилипает, шелохнуться больно.

— Пойдем к тебе, я примочку с собой захвачу. Есть у меня примочка целительная. А потом вернусь и сама полежу. Меня и не били, а я, как избитая, от сердца печали.

#### Четвертая глава

Сильная крутила метель. Казалось, снег вовсе не падал на землю, а стоял на пути серой пляшущей стеной. Эта живая сумасшедшая стена визжала, выла и шуршала с тихим шипеньем, будто предостерегая: ш-ш-ш... За ней слышался то разбойный посвист, то стон, то угрожающий вражеский призыв: рус, рус. Раза два такой окрик посылались девушкам, когда они ощупью пошли по льду. Чудилась и стрельба, глухая в мокром вьющем затмении. Но не было ни окриков, ни стрельбы. Нигде даже не маячила фигура часового. Все это лишь мерещилось разведчицам в мареве бурана. Девушки сами не понимали, как смогли доползти из города в такую пургу и сколько это заняло времени. Что сейчас: день или вечер. Берег нашли, но заплутались на улицах города. Заборы и дома неожиданно выросли перед самым лицом. В каждом дворе чудился враг. На углу одной улицы Зина схватила Валю за плечо, в ужасе прошептала:

— Мне кажется, мы в лоб немцу смотрим.

— Иди, иди! Нельзя пугаться, пропадем! — торопливо ответила Валя и совсем уже твердо прибавила: — Мы около вала. Теперь соображай, куда повернуть к твоей старухе.

Не встретив на улицах ни души, ни собаки, подошли девушки к домику Матрены Федотовны.

— Валя, а как же ты потом? Не найдешь!

— Найду. Я эту улицу знаю, все повороты знаю, теперь хоть наощупь найду. Узнать бы только, который час. — тоскливо добавила она. — Вот из-за этого все

могу провалить. Ну, рассуждать нечего. Жди меня у старухи.

— Валя, Валя, постой! Вдруг не увидимся.

— Ой, какая ты хныкалка. Иди. Иди, говорю тебе, во двор. Из-за тебя действительно в беду влопаемся.

— Иду, иду. Валя...

— Уходи!

И Валя скрылась за углом.

Для старухи заранее был приготовлен рассказ о том, почему в такую метель появились девушки в городе. По наряду, точно в срок, должен, дескать, зинин дядя доставить из Лисичкина в город немецкому начальству молоко и молочные продукты. Лошадь не дали, приказали сегодня все доставить на себе. Что подедаешь? Собрались зинин дядя, еще два таких же старика, взяли на подмогу Зину, а также подружку ее из соседнего двора, Полю Новикову, и везли на санках. Вышли до свету, а позднее — вот какая разыгралась погода. Ничего, дошли, продукты сдали, старики собрались в обратный путь, а девушек пожалели, порешили, чтобы в городе они приютились, пока не прекратится буран. Не пустит ли крестинька их с подружкой, с Полей Новиковой, к себе переночевать.

Все это поспешно, взволнованно изложила Зина старухе, впуславшей ее. Крестинька всплеснула руками:

— Господи батюшка, как не пустить в этукую напасть, страсти господни! Лиходейка я, что ли. Кот у меня третий день не является, — о нем, о дешевой скотинке, сердце болит с утра: где от непогоды укроется? А всякая напасть на земле к человеку злей, чем к зверю. Как же человека не жалеть? И ты садись, садись вот на сундук, садись! Я с тебя валенки-то стащу. Ноги без них скорей в тепле отойдут. Чулки шерстяные, с печки теплые, я тебе дам. Глянь, одежда твоя льдом подернута, вся заскорузла. А подружка твоя где же?

— Она придет. Мы так условились: она стариков проводит, из города на дорогу выведет и вернется. Вернется к тому дому, где мы продукты сдавали. Если меня там не будет, значит я у вас, значит вы разрешили ночевать. Тогда и она сюда придет. Она дом ваш знает. Я ей показывала, когда первый раз к вам приходила.

— Да на воле час не поздний еще. Найдет, коли около моего дома бывала.

— Да, а который час? — испуганно спросила Зина. — На улице как будто еще день, а у вас уже лампа зажжена.

— Да это я белым днем ставни позакрывала. Стекла-то в окнах все позалепляло и на наличники страсть снегу намело. Думаю, примерзнет, и ставни-то после не закроешь. Вот взяла да и закрылась, как ночью. Вон, гляди, на часы-то. Всего на второй час загодень перешло.

Старуха накормила Зину обедом, сытным, мясным. Зина долго отказывалась усиленно предлагая принесенную с собой снедь: хлеб, соленые сгурцы и сваренные вкрутую яйца.

— Я не с пустыми руками пришла. Как же можно! Да и еще вдвоем с подружкой. Покушайте нашего, крестинька! Вам и за ночлег спасибо.

— А я уберегла от вора-немца и баранинки, и говядинки, и свининки. Исхитрилась, вот я какая ловкая! Чайшком тоже сладким тебя побалую. Завалился где-то у меня и сахарок. Я — запасливая! Не отказывайся, не смей отказываться, не порочь хозяйку — осержусь! И не чужая ты мне. Хоть дальняя, да родня, одно родовое фамилие.

Зина подчинилась.

После обеда Матрена Федотовна ставила самовар, легко двигалась по избе, худенькая, ловкая, ласковая. Большая телесная усталость у Зины сменилась ощущеньем сладостного покоя, блаженного безмолвия. Висячая, небольшая семилинейная лампа с эмалированным белым кругом разливала вокруг неяркий свет. На окнах белые старенькие коленкорковые шторы с бледно-голубыми перехватами, пестрая занавеска, закрывающая шесток русской печи, самодельный коврик на сундуке, горшечки с геранью на подоконниках, небольшая икона в начищенной позолоченной ризе в переднем углу, большие подушки в цветных наволочках, разноцветное лоскутное одеяло на кровати, — все в избушке дышало древним, до сих пор неизвестным Зине уютom, засасывающим, сонным. Голва ее в дремоте сама собой клонилась вниз, слипались глаза. Приятный говорок Матрены Федотовны доносился до нее откуда-то издалека. Крестинька подошла к ней, ласково подняла за подбородок:

— Чего томишься, доченька? Ляжь, сохни чуток.

— А Валя... — бессмысленно проговорила Зина и разом встрепенулась, вскинула на старуху испуганный взгляд.

— Какая Валя? Подружка, что-ли? Вроде ты не так ее называла. Аль во сне что примстилось?

Зина улыбнулась виновато и насильственно.

— Ну да, приснилось, и даже не помню что... Подружку Полей зовут. Новикова Поля.

— Ну, Новикова или Старикова, все одно придет. Моего двора не мнует, коли вы с ней уговорились у меня ночевать. А Валями-то и мужичи кличут. Не женишок ли желанный пригрелся? Должно так, твое дело — девичье! Валентин али еще есть, Валерьян, городское имечко, благородное! Лезь-ка ты на печку поспи маленечко. А я посуду перемою, хлеб на сухари посоваю в печь сушить. Ложись, отдохни, прогейся еще на печке, встанешь веселая. А то совсем квелая, и в плечах еще дрожь. Прибежит подружка, я побужу.

Зина подумала:

— Действительно, надо хорошенько отдохнуть, а то собой не владею. Хорошо, что бабушка такая бесхитростная.

Крестинька уложила Зину на псчи, на мягкой стеганой подстилке. Зина толь-

ко легла, словно провалилась в небытие. Крепко, камнем, заснула.

Старуха прибралась, сладко зевнула, прикрутила в лампе огонь, сняла валенки и сама легла на кровать. Укладываясь поверх одеяла, прикрываясь шубейкой, она думала:

«А шут ее, само-то, знает, Зинка ли это? Лет двенадцать не видала. Дитем тогда еще девка была. Глазены-то вроде ее: черные, большие! А все строжее приглядеться надо, отколь и с каким духом девчонка. Господи-батюшка, не допусти до меня лиха, военной беды, напрасные смерти! С мужем в страхе, в покорстве жила, сколько беспокойствия натерпелась! Сам себе он смерть заработал, пассажирский поезд от крушенья спас, в герои попал. Ну а я не герой. Не в кого мне героем-то быть! Отец с матерью оба благополучно прожили, и мне того желается. Достатку, сытости да поболе пожить, вот чего мне только и надо. Чья сила сильней, того и верх, тому я и покорствую. На старости хоть бы велась пожить, а тут — война, снова-здорово! Ну и войите... герой! Ох-хо-хо, а за скном-то все лютует вьюга! Сердитая нынешняя зима. Ну, дровишек-то у меня позапасено... Все есть, только долгого веку пошли, милостивец-господи!..»

Старуха свернулась под шубой клубочком и сладко заснула.

Зина проснулась первая. Не сразу вспомнила, где она. Села на печке, беспокойно озираясь вокруг. Было душно в жарко нагояленной избе. Пахло керосином от привернутого фитиля. С противным бульканьем в горле всхрапывала на кровати старуха. Голова у Зины была тяжела. На сердце вдруг налегла тоска. Она вспомнила все, поспешно слезла с печки.

«Сколько времени? Наверно уже ночь, Вали все нет. Где она?»

Девушка спустилась на пол легко, без шума, но крестинька сразу проснулась. Несмотря на храп, чуток был ее старческий сон. Зина трепетно спросила:

— Который час? Шести еще нет?

— А ты припусти-ка огню, крестница, — ответила старуха осипшим от сна голосом, — поглядим на часы. Ишь ты... навоняла как лампа-то!

— Бабушка, крестинька, что же это такое? Четверть седьмого, а ее все нет... Я побегу, побегу за ней.

— Очумела ты, девушка. Куда побежишь в запретный час? Аль своя голова не мила? Умойся, опомнись! Давай чайку попьем. Самовар-то, чать, не вовсе заглох. Я много углей наложила. Еще раздую сейчас.

— Нет, нет, я не могу, — лихорадочно разыскивая свою одежду, металась по избе Зина. — Надо мне итти. Может быть, она стучала, мы уснули, не слышали. Что же это такое? Что ж такое...

— Да чего ты без ума сделалась, крестница? Ну, не пришла твоя Поля. Может еще где заночевала...

— Нет, нет, схватили ее... Схватили!

— Ну и схватили... Завтре отпустят,

коли за ней ничего нет. Лишних-то немцам тоже незачем набирать. Не из лесу, чать, она пришла. Свои деревенские, семейные, выручат.

— Не выручат! Ничего вы не понимаете, не выручат!

От страха за подругу, от жалости к Вале Зина совсем потеряла голову. Неверной рукой отыскивая рукав своего пальто, она бессвязно бормотала:

— Пойду... где-нибудь найду. Нельзя, чтоб ее схватили. Спасать надо...

— Да постой ты, полоумная... Кого спасать?

Зина уже кинулась к двери, но со двора в ставню кто-то негромко постучал. Зина остановилась, широко раскрыв испуганные глаза, прижав обе руки к сильно бьющемуся сердцу. Крестинька быстро пригнулась к окну, громко спросила:

— Ктой-то?

За двойными рамами, за ставней женский голос ответил что-то неразборчивое.

— Ну, вот видишь, пришла... А ты налясалась от страху. Подуй-ка в самовар, я пойду, влущу.

— Скорей, крестинька, скорей, милая! Ох, скорей откройте. Только она ли это?

— Боле некому... У меня подружек нет, да еще эдаких отчаянных. Промеж неприятеля ночью шныряет! Али, может, они ей приятели? — ворчала старуха, выходя в сени. Возвратилась она с Валей. Протолкнув ее вперед, с дребезжащим смешком, кинула Зине:

— На, получай свою Полю! Так, что ль, а тебя называю, девушка?

— Так, бабушка. Спасибо, что впустили. Ох, как у вас тепло. А я здорово назябалась!

— Почему опоздала? Седьмой час... Я так боялась.

Валя пристально и строго посмотрела на Зину.

— Только шесть, спешат у вас часы. Несколько минут у ворот попопталась, не сразу калитку в темноте нашла.

Торопливо раздеваясь, она вразумительно говорила Зине:

— А чего тебе особенно было бояться? Ну, переночевала бы я у немцев под охраной. Известно, что мы продукты из деревни доставили. Уж не сразу бы убили, все расспросили бы!

Крестинька воскищенно закивала головой.

— Так, так, правильная твоя речь. Вот — девушка разумная, не тебе чета, крестница. Она уж тут исплакалась по тебе...

— Да вовсе я не плакала, только беспокоилась... Ведь немцы... Шесть часов.

Валя сдвинула брови, сухо оборвала:

— Ну, и кончено. Бабушка, где можно одежду повесить?

— Да вон, рядом с зининым пальтом... Ах, она уж его стащила от печки. За тобой, вишь, собралась, разыскивать.

У Вали совсем потемнело лицо, но она не сказала ни слова. Старуха засуетилась около самовара.

— Сейчас, мигом раздую да еще угольков из чулана принесу. А вы пока поле-

зайте на печку. Крестница моя хорошо там прогрелась. Теперь ваш черед.

— Что это вы меня, как важно? Мне старшие все «ты» еще говорят.

— Ну ты, дак ты... Это я гляжу, что больно разумная да строгая. А с Зиной-то, чать, одних лет?

— Годом постарше, вот и учу ее уму-разуму, — засмеялась Валя. — А иногда и она меня. Правда, Зина?

Она подошла к подруге, заглянула в ее опечаленное лицо и припала головой к ее плечу.

— Ох, и назаяблась я, Зинка! Как проводила стариков, несколько поплутала в городе. Из-за метели. Не знаю, как они доберутся! Ох, не знаю.

На печку Валя не полезла до чаю. Надежда предложенную старухой теплую ватную кофту, ходила, согреваясь, по всей избе, постукивая время от времени валенком об валенок. Вышла и в сени, чтобы сбить снег со своего пальто, болтала со старухой непринужденно и оживленно. Глядя на нее, оживилась и Зина. Сели пить чай. От ужина Валя отказалась. Сослалась, как и Зина, на принесенные продукты, но и к ним не притронулась. На подробные распросы крестницы о семье, о деревне Валя отвечала обстоятельно и охотно. Но сама старуха болтала все меньше. Незаметно для обеих девушек все чаще пытливо вглядывалась в лицо новой гостьи. Недавнее смятение Зины не выходило у нее из головы. Оно так рознилось от невозможного спокойствия Вали, что для житейско опытной старухи было явно с ним несовместимым.

Крестница пощадилась из-за стола, покрестилась частым и мелким крестом, весело проговорила:

— Допивайте, девушки, чай. Зинушка пусть посуду перемоеет, в шкапчик составит. А ты, Поля, не спеша укладывайся. Устала, чать, по городу мотаться? На печке, что ль, обе ляжете? Или которая со мной на кровати?

— А может, вы сами на печке, а мы обе на кровати? Как вам лучше?

— Ну-к что же! Мои кости старые, теплу всегда рады. Кровь-то уж плохо греет, я все больше на печке ночую.

— Ну, вот и хорошо. Залезайте-ка на свою печку любезную, спокойной вам ночи. А мы с Зиной и посуду перемоем, и все приберем, и потихоньку уляжемся.

— Вот и спасибо вам, гости милые, помогите мне по приборке, словно доченьки или сношеньки. А я, как свекровь — госпожа или матушка желанная, без заботушки завалюсь спать.

Валя вздохнула, отозвалась тихим и нежным голосом:

— Желанная матушка позже всех ложится, раньше всех в дому встает.

— А ты же говорила, что без матери выросла? Откуда же знаешь?

Валя, опустив длинные ресницы, ответила печально:

— Своей не вижу, на чужих матерей нагляделась.

— Верно, Полянька, верно! Недаром ис-

стари говорится: нет милее дружка, чем родимая матушка. Дай-ка мне теплую кофту мою, ты вот на, большую шаль накинь. Мне в шали неспособно из сарая дров принести, в печку накидать, просушить до утра.

— Что ж вы днем-то? Как в темноте искать будете?

— С Зиной забеседовалась, забыла. А после обеда — заспалась дотемна. Да мне что темнота в моем дворике? Я его, как ладонь свою, знаю. Мигом принесу.

Старуха вышла, погромыкала засовом и хлопнула дверь в сених. Валя подошла к Зине, тихонько сказала:

— Ничего старушка, только ласкова чересчур. Не люблю я таких! Ты не слишком откровенничала с ней?

— Нет. В другом я прошляпила: за тебя слишком испугалась. Прямо, как с ума сошла! Голсу бы себе тетерь за это оторвала! Навыку мало у меня, Валя.

— Ну ничего, привыкнешь. Знаешь, в сених я все ошупала. В случае чего, в полной тьме выход быстро найду. А ты?

— И я найду. Ведь я не в первый раз. И не только наощупь, а днем все разглядела, запомнила.

— А спать мы ляжем не на кровати, а за печкой. Там меж печкой и стеной узкий закуток, но мы две, вплотную друг к дружке, уляжемся, не шибко толстые. И там же крышка от подпола. Она без кольца. Верно, косарем старуха ее открывает. Как ляжем спать, я ее приоткрою. В случае чего — туда юрнем. Кто не знает — не найдет, а кровать счечь близко к двери, прямо в глаза бросается всякому, кто входит. За печкой, особенно в подполе, не сразу обнаружат, одуматься нам время будет. И там, за печкой — скамья с ведрами. Мы ее выдвинем, и она вход за печку прикроет. Ты бабе пока ничего не говори, сначала на кровати уляжемся. А там, среди ночи, переберемся. Услышит, скажем, что жарко натоплено, оттого на пол перебрались. Или еще что-нибудь... придумаю! Чего это так долго она возится во дворе?

— Не упала ли там, в темноте? Шустрая, а ведь старенькая уж.

— Упала, так встанет. А вот не уползла ли куда со двора? Посмотреть бы надо. По дождем еще минут с десяток, потом я выгляну и в сени, и во двор.

Подождали. Зина накинула шаль на голсу и вышла в сени. Вернулась она быстро, со встревоженным лицом.

— Слушай, Валя, заперла старуха нас! Я дернула, снаружи звякнул замок.

— Да что ты говоришь! Зачем?

— Зине отвечать не пришлось: послышался стук отпираемой двери, шорох в сених, и в избу вошла крестница. В руках она держала большую, дымчато-серую, жирную, сейчас жалькую на вид кошку.

— Замерз, шельмец! Гляньте-ка, шерсть вся попримлила, обмерзла. И где пропала? За кошками, видать, гонялся, марту не дождавшись, Блаудник окаянный! И в руки не сразу дался, вроде одичал, третий день пропадает. Я с им и позамешкалась.

Ну, иди к блюдку своему, лопай, дурак! И не лакает, ишь ты, намерзся как!

— А зачем вы, крестненька, заперли нас? — спросила Зина.

— Подумала, покуда в сарайшке вожусь, не навернулся бы кто в избу, не завел бы распрссы, не нагутал бы вас. Святое дело, замок на двери: маленькая собачка не лаёт, не кусает, а в дом не пускает. Притти вроде некому. Немцы ночью боязливые, да еще в экую непогодь! А все опасасешься. — лихие дни! Партизанов, слышь, в городе ждут. А я их тоже боюсь.

— Чего же вам партизан бояться, крестненька? Они же наши, русские!

— Русские-то русские, а вот насчет того, что наши, — ты об этом вслух не говори, крестница! Чтобы после смертный ответ не держать.

— А вы смерти очень боитесь?

— А как же не бояться ее? Стара-стара, а пожить охота! Поглядеть, чем дело кончится, на белый свет еще полюбоваться, когда сердце успокоится. Боюсь я войны, не уважаю! Скорей бы кончилась.. Дровишки-то я покидала у двери, кота ловила. Да и ну их, пушай у крыльца лежат. На растопку хватит и тех, что в печку уж покладены. Не схота опять в темень соватся! Страшно нынче и в своем дворе. А вы чего приуныли, красавицы? Коли разгулялись, нейдет сон на ум, на глаза — давайте я вам на картах погадаю. Мастерица я на это дело!

Старуха достала из сундука пухлую, жирную колоду карт и села за стол. Девушки подсели к ней с двух сторон.

— Ну-ка, раскину-ка я сперва тебе, крестница, на бубнового на короля..

— Бабушка, а если бы пришли партизаны, вы что бы сделали? — прервала ее Валя.

— А чего сделаешь? Спряталась бы и вас бы с собой укрыла в сарайшке, аль на погребушке, в подполье, коли б удалось. А нет — пошлаклись бы мы все три во весь голос, может бы смиловались, не стали пытать допросами. Я допросов боюсь. Чего я знаю, старая? Правду Зина молвила: ведь русские!

— Ну, а если... немцы!

— Чего ты меня на сон грядущий пугаешь? От немцев бы тоже ухорониться сперва постарались, а там опять — наша хата с краю, ничего не знаем.

— А они не поверят..

— Ну с чего ты взялась меня лугать? Ну, скажи, по какой злобе? — Старуха сердито смешала карты и бросила колоду в сторону. — Или я тебя не приветила? Или в метель из своей избы выгнала? Встретила вон как Зину, как сродственницу, а ты чего навиваешь? Зачем сердце мое тревожишь?

Губы крестненьки задрожали, она закрыла лицо трясущимися руками, заплакала беспомощным, совсем детским, всхлипывающим голосом Валя сильно смутилась.

«Чего я, действительно, привязалась к старушонке. У ней ума-то осталось, как у дитяти», — подумала она. Обе девушки бро-

сились к старухе, принялись ее уговаривать, гладить по плечам, по голове, даже целовать. Их уговоры и ласки не сразу, но все-таки успокоили старуху. Она вытерла лицо полотенцем и снова развеселилась.

— Давайте, что ли, опять чай пить да в подкидные дураки сыграем. Ночь-то долга, а еще и вечер не весь кончился. Заперли нас немцы в темноту спозаранок, а мы им назло унывать не будем! Чего, право. Еще наплачемся, наскучаемся!

Зина весело согласилась. От смешного ребячьего плача старушки, от сменившего слезы незлобиво ее веселья у нее удивительно легко стало на душе. Чем-то мирным, очень далеким повеяло на нее от неожиданной семейной этой сценки. Валя ласково, но решительно отказалась.

— Я очень устала, спать лягу. И вот что, бабушка, примощусь я вот в этом закуточке за печкой. И свет в глаза от лампы не бьет, как на кровати, и тепло. А на печке жарко для меня. Не привыкла я на печке спать. А Зина со мной ли примостится на полу, на кровати ли устроится.. Как хочет! Можно скамейку с ведрами вот так подвинуть?

— Почему не можно. Я еще хозяйка в своей избе. Куда захочу свои ведра, туда и поставлю. Хоть в передний угол. Помогай, Зинуша, переставляй! А я самоварчик развеселю, чтоб запел, закипел. Да на-ко тебе, Поля, для постели.. У меня и кошомка вот нашлась, видишь. Я — запасливая.

Валя улеглась за печкой. Выждала, когда старуха отошла к столу, бесшумно открыла крышку подпола, снова легла, скоро и крепко заснула. Старуха с Зиной заигрались в карты допоздна. Проигрывая, крестненька очень сердилась, выиграв, громко ликовала. Зина сначала лишь посмеивалась в ответ на ее воркотню и победное ликование. Потом сама вошла в азарт: также сердилась и торжествовала. Старуха начала понемногу плутовать. Из-за одной передернутой крестненькой карты Зина рассердилась не на шутку. Обе горячо заспорили. Их громкий спор неожиданно прервал еще более громкий стук в избу снаружи. Сначала в окно с улицы, потом — во входную дверь со двора.

Зина помертвела в лице, выронила карты из рук. Старуха часто-часто заморгала округлившимися глазами, с усилием, хрипло произнесла:

— Господи! Свят-свят..

Стук повторился настойчивей, грозней. Зина поднялась со своего места. Старуха замахала на нее обеими руками, прошептала:

— Сиди-сиди! Не будем отпирать. Может, уйдут.

Зина, повернувшись лицом к двери, оперлась на стол сзади себя обеими ладонями, замерла в ожидании. В третий раз — угрожающе длительный стук. Старуха стремительно поднялась, точно сорвалась со скамьи, кинулась к двери с растерянным бормотаньем.

— Пойти открыть.. Пойти открыть.. Вышибут дверь, вышибут..

Зина осталась стоять у стола, как стояла. На нее словно столбняк нашел. В избу вошла сначала хозяйка, за ней — немецкий офицер и два солдата. Офицер был очень моложав, худощав, женоподобен. Густая щеточка коротко подстриженных рыжеватых усов казалась искусственной наклейкой над наивно пухлой верхней губой. Но стальной блеск его светлых глаз под рыжими ресницами свидетельствовал о жесткости, давней, тренированной, неутомимой. В голосе тенорового тембра порой звучали низкие ноты. Входя в избу, он загнулся о порог, выругался на родном языке и так же, по-немецки, обратился со строгим вопросом к старухе. Матрена Федотовна суетливо заметалась по избе, как мышь в мышеловке, потом кинулась в угол, прижалась к изголовью кровати. Будто хотела юркнуть, спрятаться за ее высокой спиной. Следя за всем происходящим широко раскрытыми глазами, Зина поймала взгляд крестницы, трусливый, подлый. Девушка в одно мгновение поняла все. Вторичный вопрос офицера, обращенный к старухе, подтвердил ее страшную догадку. Показывая пальцем на Зину, он спросил:

— Дизэ? Поляя — Валя?

Значение немецкого слова «дизэ» Зина знала. Еще в школе учила. «Поля», «Валя» — понятно. Старуха донесла, а предала Валою она, Зина, своей невольной обмолвкой, своим непростительным волнением из-за валиного опоздания. Зина страшно побледнела, рванулась к офицеру, крикнула дерзко и сильно:

— Я. Их бин и Валя, и Поля. А ты, старая тварь, ведьма-крестница, шкура продажная, попомнишь обо мне!

Она молниеносно подскочила к Матрене Федотовне, изо всей силы ударила ее кулаком между глаз, а ногой в нижнюю часть живота. Старуха взвизгнула коротким щенячьим взвизгом, ударила о край сундука и свалилась у кровати без дыхания, как неживая. От нее Зина с поднятыми кулаками кинулась на офицера. Тот успел ее схватить за руку, другую больно вывернул один из солдат. Но Зина долго билась в их руках, громко кричала, ловко изогнувшись, вцепилась зубами в щеку офицера. Второй солдат, высокий и ражий, ударил ее в ухо кулаком, тяжелым, как молот. Из уха хлынула кровь. Вторым ударом он выбил девушке зубы. В глазах у Зины потемнело, она зашаталась, но сильным напряжением воли сохранила равновесие тела и сознание. Связав Зине руки, ее повели из избы.

Дверь захлопнулась за ней. Во дворе под окнами послышались голоса. Солдат, уведивший Зину, перекинулся словами с немецкой охраной, оставшейся снаружи, и вернулся в избу один. Смолк разговор. С улицы снова доносилось лишь одно завыванье метели. Офицер, прижимая носовой платок к щеке, укушенной Зиной, брезгливо и сердито отдавал солдатам короткие приказания. Они общарили всю избу, сбросили с русской печки постель и одежду, заглянули во внутренность печи

и в закуток за ней: ни один из них не приметил плотно закрытой крышки подпола. Сбрасывая с кровати перину и подушки, солдат загнулся за расprostертую на полу старуху, выругался, оттолкнул ее подальше тяжелым сапогом. Старуха чуть слышно простонала. Ее слабый стон не вызвал у немцев ни участия, ни внимания. Закончив обыск, они ушли, захватив с собой съестное, обнаруженное в доме. Выходя, немцы сильно хлопнули дверь. От этого стука всякая лампа долго раскачивалась под потолком, разливая неверный, трещащий свет в замолкшем жилье. Равномерно, равнодушно тикали на стене дешевые часы-ходики. Вдруг сильней застонала старуха. И как бы в ответ на ее стон послышалась в избе живое движение человека. Осторожно приподнялась крышка подпола, над ней показалась голова и плечи Вали. Девушка прислушалась, осмотрелась вокруг широко раскрытыми испуганными глазами и вылезла из подпола. Она быстро оделась и, крадучись, вышла из избы в метельную тьму.

Старуха не видела, как вышла девушка, но услышала звук отпираемой и захлопнувшейся двери. Собрав все силы, она приподняла голову, позвала плачущим прерывистым голосом:

— Право... славные, не... дайте помереть без по...ка...яния.

Никто не отозвался. Только жирный, дымчато-серый кот спрыгнул с кровати, попробовал устроиться привычно, свернувшись клубочком в ногах старухи. Но на полу было холодно и жестко. Кот, недовольно выгнув спину дугой, степенно возвратился на мягкую постель.

## Пятая глава

В положенный час вставало солнце над землей. В свой срок горел закат. Нисходила на землю ночь и снова уступала место дню. Буранные дни сменялись ясными. Тогда самоцветами под солнцем сияли русские снега. И все это глаза Дарьи Захаровны видели, ее руки двигались, правильно делали привычную работу, ее тело требовало пищи. Со двора, с холоду отрадно было старому телу отогреться на жарко натопленной печке. Все, как всегда. Но Захаровне часто казалось, что это все видит и ощущает она во сне, а не в яви.

« Чисто вынули душу из меня, а смерти не приключилось, — думала она, — махает меня как живую, а сама я ни к чему вроде непричастная. Сколь же времени эдак можно жить? »

Немцы запретили название колхозное «Завет Ильича». Колхоз, по их приказу, стал именоваться по-старому: деревня Романовка. Немецкое командование обособилось километра за четыре от Романовки, близ железнодорожной станции. В Романовку прислали старосту и назначили двух полицейских в помощь ему. Полицейские большую часть времени околачивались при станции, около немцев. В Романовке только ночевали. Один — парень

по семнадцатому году, но по виду много старше, ражий, сильный дегина. Недоучка и мелкий вор с малолетства. У него и прозвище было: Егор — яичный вор, хоть имя его было не Егор, а Григорий. До войны он не раз убегал в город из колхоза без разрешения. Неизвестно, как там прожил, какими делами занимался, но в руки городской милиции ни разу не попал. Возвратившись, работал в колхозе лучше иного взрослого мужчины. Колхозное общество прощало ему самовольные отлучки из-за матери-вдовы, работящей и кроткой женщины, и за его собственный прибыльный для колхоза труд. Защитой Григорию были, главным образом, старики. Они утверждали, что и побег, и все мелкие его провинности из-за того, что не по возрасту он дюж.

— Сила играет в нем. Вырастет, в меру и в дело его сила войдет.

Другой был мужик, семейный, по характеру степенный, но сильно корыстолюбивый. На военную службу Якова Семухина никогда не брали — на правой руке средней и безымянный пальцы были у него от рождения культистые, об одном суставе. В работе и трехпалая рука, с двумя культиками на поддачу, служила ему хорошо. А левая действовала, как у прирожденного левши. Когда попадало ему в руки охотничье ружье, он и зайцев убивал, и по перу удачно охотничал. Родной отец, старик глубокий, сказал о нем однажды:

— Обе руки у Яшки отними — пупком заместо их научится орудовать, только деньги плати. Стяжатель страшный!

Оба эти полицейские, всяк по-своему бесстрашный и бессовестный, все же чувствовали себя теперь в родной деревне как-то не по себе, скучно и неловко. Никто не смел их укорять в глаза. Дерзким подросткам рты затыкали матери: то утрозой, то лаской, то мольбой, то потасовкой. И большинство жителей относилось к полицейским внешне приветливо, даже искательно. Все же и Якову и Григорию не хорошо дышалось в деревне. Оттого вертелись они целыми днями вне своих жилищ: либо в служебном помещении у старосты, либо поближе к немцам, на станции. Староста оказался человеком пожилым, по внешнему облику схожим с немцами. Вместе с молодой беременной женой прибыл он вслед за немцами неизвестно из каких мест. Никому в ближайшей округности не был он знаком. В его полное владение отдала немцы дом и двор Никанора Солodka, председателя колхоза «Завет Ильича». Никанор из деревни скрылся бесследно. Когда немецкие солдаты привезли имущество старосты в двух больших сундуках, никанорова жена в избе смотрела в окно во двор. Вдруг она выпрямилась во весь высокий свой рост, зашаталась и упала на пол спиной. Упала прямо, не подогнув коленей, словно дерево, подрубленное под корень умелой рукой. Сильно стукнул об пол ее затылок, и это был последний живой шум от нее. Настасья сперва подумала,

ла, что сноха просто сомлела от сердечного беспокойства. Это с ней приключалось раза два за нынешнюю зиму. Ничего, отдышится, встанет. Но молодая женщина не поднялась. Из родного жилища бабы-соседки вынесли ее ногами вперед, мертвую. Горбатой Настасье с племянниками староста дал позволение приспособить под жилье землянушку во дворе. Там летом, бывало, стряпали, а зимой держали новорожденных телят и агнят, когда вся эта большая крестьянская семья жила в сборе. Горбуня поклонилась старосте смиренно, в пояс, но сказала с недоброй усмешкой:

— Наши старики-родители в добрый час до войны в могилку убрались. Молодых из семьи разметала война на все концы света белого. На что же мне, вековухе убогой, оставаться здесь? При ком? При желанной снохе жила я, не обиженная в родном кутке. Хоть урод, да свой, не чужая девка горбатая, а сестрица родимая. Вам я ни к чему: ни в дому батрачка, ни во дворе — сторожевая собачка. Не держи ты меня здесь, немецкий староста!

Толстый лысоватый человек с бородкой нерусского вида, аккуратно подстриженной и так расчесанной, что на щеках сливалась она с пышными холеными усами, сердито, наставительно сказал:

— Староста я — русский, немцам только подчиненный. Подчинился по доброй воле, потому что я — человек разумный, не без царя в голове. Сами не сумели управиться, немцы нас уму-разуму научат. Смекай, глупая голова, и мой тебе совет, перед умными высоко голову не подымай! Иди куда хочешь, мне ты не нужна. Имущества ни малейшего я тебе не выделю. Не надейся и не проси.

— В чем есть, в том и уйдем, только выпусти!

— Никто не держит. Только, если недовольство возбуждать начнешь среди населения, я тебя живо приструню. Я — человек добрый, но непокорства не потерплю. Так и другим передай. Я из вас большевистский дух вытрясу! Будет, побаловались, пора и честь знать. Извольте крестьянствовать, как в Европе полагается.

Староста подтянул губы, надуд щетки, высоко приподнял брови, уставил свои пегие круглые глаза в потолок, словно там поискал, что еще сказать, но только шумно выдохнул воздух и крикнул фальшето:

— Убирайся вон!

Настасья взяла младшего мальчика на руки, шестилетний, старший, сам крепко ухватился за юбку горбуни, чтоб не отстать, и они ушли из своего дома, ни разу не оглянувшись на него. Час был уже не ранний, вечерний. Настасья пошла прямо к Захаровне — просить принять под свою кровлю ее, горбатую, слабосильную, и двух малых беспомощных детей. Войдя в избу, Настасья забыла, с чего хотела речь начать, сказала сразу ни с того, ни с сего:

— Я-то все чем-нибудь заработаю. Вязать, шить, постирать на людей хорошо

могу. А у малолеток, известно, никакого нету оправдания, — одни рты голодные! Прими уж с детьми... Так, без выгоды, по милосердию... Не выгоняй. Итти мне больше с ними некуда.

В сумерках неясно было видно лицо Захаровны. Не разберешь, сурово смотрит или с добротой. Голос ласково прозвучал. Но как-то глухо, безрадостно.

— Зачем лишний разговор, Настенька? Рада я вам. Я теперь одинокая. Будете мне заместо моей семьи. Садись, деток усади. Я к Ульяне схожу, не даст ли молочка сироткам. Засвети-ка огонек, вот свечей и спички.

Только Захаровна к дверям, а Ульяна сама в двери, у порога столкнулись. Чуть в избу вошла, замахала руками, зашептала возбужденным шопотом:

— Стойте, стойте, огню не вздувайте. Я вам сейчас по тайности расскажу... Видала я в окошко, что Настасья с детьми в твой дом вошла. Ну, думаю, этим сказать можно!.. От этих не будет вреда, с ими поделюся... Что я слышала, что я видала, ой, бабоньки милые, и прямо сейчас не опомнюся! Вас я не боюсь, вам все, все расскажу... А боле никому, и от вас чтобы дальше ни-ни! Боюсь. Пускай от кого другого, а от меня чтобы слыхом не слышали. Ой, что дается, милый-и..

Ульяна тяжело опустилась на скамью рядом с Настасьей, потянула за руку Захаровну, чтоб и та села возле нее. Ее шумное дыхание и взволнованный шопот испугали младшего ребенка. Припав головой к плечу Настасьи, он громко и горько заплакал. Вслед за ним испуганно всхлипнул и старший. Захаровна сердито прикрикнула на Ульяну.

— И шипит, и пыхтит, как неразумная! Детей только напугала. Иди ко мне, сынок, иди, Коленька, иди, гоженский мой, чего напугался?

Старшая привлекла к себе на колени старшего, нежно поглаживая по головке и по спине, приговаривая:

— Нет, нет, ничего нету страшного, голубеночек...

Ребенок затих под ее ласковой рукой и доверчиво положил голову на грудь старухи. Настасья успокоила младшего. Захаровна ворчала:

— Есть чего сказывать, сказала бы без лишнего присловья. А то и трясется, и мнется, и словом давится. Ты вот молока лучше дала бы сироткам... козую-то тебе оставили. А из рассказа твоего, кроме оху да вздоху, ничего не понять. Дашь молочка али пожадничашь?

Ульяна без обиды отмахнулась от Захаровны, как от мухи.

— Дам, погоди, не сбивай. Кабы ты видала то, что мне довелось увидеть... Эх, ты бы еще не так затряслась да завздыхала! Твоя-то родная доченька, Валюшка-то, вполне может в такуюжине беду попасть, какую я видала в Лисичкине.

У Захаровны вдруг ослабло все тело, ребенок на коленях показался очень тяжелым. Она бережно спустила его на пол и

прижала к себе левой рукой. Коля удивленно спросил:

— Бабушка Дарья, чего это у тебя в бочке шибко застучало?

— Ничего, сынок, пройдет. Я тоже напугалась. Уморишь ты меня нынче, Ульяна, своими недоговорками. Чего ты про Валю про мою? Чего?

Вдруг опомнившись, сказала сухо:

— А коль и плохое об Валентине чего узнала, меня теперь это некасаемо! Куда подалась, где чего делает, матери не сказалась, совету не спрашивала...

Последнее слово Захаровна выговорила с расстановкой, глухо. Однако же похоже и на стон и на гневный вздох. Ульяна поверила, что на дочь сильно сердита гордая старуха, всплеснула руками.

— Да ведь ты ей — родная мать, не мачеха, чего уж так сердитовать? А я нынче пожалела их... таких-то, комсомолок, как твоя Валя. Ведь в Лисичкине комсомолку повесили. Люди сказывали, что — комсомолка. Ой, и бесстрашная!

Захаровна вздрогнула, Настасья взмолилась:

— Ульяна, да ты Расскажи, чтоб нам понять. Какую девушку повесили? И ты сама видала?

— Видала. Своими глазами видала, эти ми вот ушами все слышала! Видала и как повесили, как допреж того все было — видала. Наш-то староста, я вам скажу, не страшный он. Принимает и деньгами, и мукой, и крупой, и яйцами. Только сунь, любое дело спроворит, попроси, только не с пустыми руками. А эдакие начальники не страшны. Он брюхом продастся, не душой. А брюхо-то всегда купить можно. Я притащила нашему старосте того-сего, кой-чего, — и дал он мне в пятницу пропуск в Лисичкино. До Лисичкина я — где пешком, где на попутную подводу подсадили, — но только ни муки, ни зерна, ни городской одежи там я не купила. А люди ввали, что все там есть, и все продажное. Захаровна попросила необычайно для нее кротко:

— Ульянушка, обним нам с Настасьей это ни к чему. Ты про какую девушку хотела рассказать?

Ульяна хлопнула себя рукой по колену.

— А я про кого же? Про нее, само главное — про нее! Собралась уж я в обратный путь, вдруг слышу-вижу в крайних дворах, что ближе к околице, народ чего-то сумятился. Я — скорей туда... И что же, милые: из двора во двор ходит девушка, вовсе молоденькая, не старше, чать, только-только семнадцатый пошел. Высоконькая, а телом совсем еще не взрослая, в плечиках узкая. Стужа на дворе, а на ней только есть теплого, что серенький платочек бумазеевый да грязная фуфаячка мышинного цвету. Платочек с головы на плечи скатился, под горлом узлом завязан, а голова неприкрытая. Волосики светлые, подстриженные, а не чесаные. На лоб нависли, на затылке взъерошены, не приглажены. Юбочка на ней короткая, полшерстяная, на боку разорванная, тело сквозит. Видно, рубашенку стащили с нее, когда

били ее. Видать, сильно девчонка избитая. Под левым глазом багровый синеяк, и ухо левое сильно распухшее. Правое — совсем иного вида, маленькое, аккуратное! Идет она, а ее, как ветром, качает. На одну ногу прихрамывает. Ступит шага три, остановится, оглянется вокруг, переможетя, опять пойдет. И вот, скажите вы, какое диво! Вся избитая, одежда на ней грязная, оборванная, через силу ногами дрыгает, а глядит на всех чисто царевна! Вот как в сказках про царевну сказывается. Светел взгляд, открыто глядит, смело! Словно всех правей эта девчонка бесстрашная, а мы все округ — в чем-то виноватые. И головку свою лохматую эдак высоко держит. Дескать, нет середь вас никого, кто бы чем устыдил меня аль испугал. Глазыньки у ней светлокارية, вроде даже веселые, а губы крепко сжатые. Словно ей стонать надо, а она не хочет. Впереди ее немец с ружьем, с таким же, как у наших полицейских. Сзади — такой же военный немец с оружием. А сбоку — третий, офицер с пистолетом, что ли, не разглядела я. Все на девушку дивовались. Заходят немцы с девушкой той в каждый дом, ни одного не минуя. И в каждом дому опрашивали, известна ли кому эта девушка, имя ее и фамилия. Кто уж там как отвечал, неведомо, а видать, вышла разноголосица. Околь четвертого аль пятого двора девонька совсем из сил выбилась. Пригнали ее, слышь, по зимней дороге пешком из города, не ближний свет. Да после побоев и всякого мучительства она — в изнурии. Тут дошла она до ворот, села прямо на снег, спиной прислонилась к загородке. И, чисто как мела, все лицо у ней стало белое. Немец ее кулачищем под бок. Она через силушку встала, опять пошла. Тут выбег ей навстречу старик Савельев, Гордей Семенович, никак твой знакомец, Захаровна.

— Ну, ну дальше сказывай, — нетерпеливо отозвалась Захаровна, — знаю Гордея, даже в свойстве наше семейство с ним. Да рассказывай, дальше-то сказывай!

— Ну, кричит Гордей, — не знай ложь, не знай правда, — а кричит немцам в лицо: эта девушка мне известная! Звать ее Поля Новикова. И проживала, сказывает, последнее время тут в моей семье, вместе с родной нашей племянницей. Девушка, было, к нему кинулась. Но ни словом со стариком перекинуться, ни обнять его, как она вроде стремилась, немцы Полянке не дозволили. Один солдат схватил ее за руку, рванул и увел в какую-то избу. Другой Гордея ухватил за шиворот, поворачивает его назад. А Гордей, старик крепкий, упирается. Офицер подмог, и отколь возьмись, с одного двора еще немец пятеро! Видно, спрятанные там, своего дела дожидались. Ну, скрутили руки Гордею, связали сзади за спиной, не то ремнем, не то веревкой. Народ по дворам сперва стоял, а, как связали гордеевы руки, ропот начался, рассердились люди, осмелели. Который просит, который с открытым гневом требует: отпустите стари-

ка. За что, как вору, связали руки? Старик уважаемый, вязать его не след!

Не отстояли мы, безоружные, ни старика, ни Поляньки! Чего сделаешь одним криком страждущим? Стрелять в толпу немцы начали. Одну женщину насмерть уложили, трёх поранили, да пожилого мужчину одного прикладом прикончили. Потом всем приказали по домам сидеть, на улицу не выглядывать. А через часа полтора времени скликнули всех из домов за деревню, на ближнюю полянку. Там уже виселица стоит, и мы круг нее, безмолвные. А на сердце у каждого — темная ночь! Впервой видим виселицу, а в последний ли?

— А, поняли, — вскочила вдруг со скамьи горбунья, — не захлестнет ли завтра петля и мою шею, вот что надо нам думать каждому! Чужие мы в своем дому, в судьбе своей не хозяева.

— Настасья, сиди! — Захаровна властно прижала плечо горбунии. — Ребенка опять напугаешь. Колька-то вон сам догадался, влез на кровать и заснул. Убаюкай младшего!

— Ох, и черства ты сердцем сделалась, бабка Дарья, — с укоризной сказала Ульяна. — Вот я про себя скажу, чего мне перед вами пыжиться... Знаете меня, как облупленную. С меня все, как с гуся вода. Пожалее кого полным сердцем, а час прошел, я об этом человеке и думать забуду. Своей выгодой займусь. Но и во мне душа не собачья, не кошачья, а человеческая! Вот хоть и сейчас, болтаю о том о сем в перескокку, а перед глазами все Полянька стоит... Прочитали нам приказ... Читал какой-то... шут его разбери, которой он нации! Говорить по-русски не шибко горазд. Но все-таки уразумели мы, чего немцы хотят. Кто признавал Полю знакомой своей, обязан немцам сообщить немедленно все, что знает о ней и о партизанах. А девушку, дескать, вздернут сейчас на виселицу, чтобы другим неповадно было утаивать сведения о грабителях и насильниках, об партизанах.

Стоим это мы тесно, вплотную друг к дружке. Кажному, вроде, страшно в собицу отделиться! Лицом к виселице стоим, спиной к деревне. Из-за наших спин Полю и вывели. Руки на спине связанные. Хромает вроде меньше. Аль уж так показалось, больно лицо было у нее светлос, когда на смерть шла. Как подвели к виселице, Поля обернулась к нам лицом и крикнула: «Я умираю хорошо!» Тут ей петлю набросили, а она еще успела крикнуть: «Умираю за родину. За Сталина». Голос у ней совсем ребяческий, звонкий. Так вот у меня в ушах и стоит: ох, я умираю хорошо! Об партизанах, слышь, пытали ее, били жестоко, а ничего не допытались. Вот какая крепкая! А ведь молоденькая, совсем еще дитячко. Шейка то-оненькая у нее...

Ульяна глубоко вздохнула и заплакала тихо. Настасья глухо рыдала, уткнувшись лицом в подушку, на кровати. Плакала и Захаровна, но лица ее не было видно другим. Она сидела поодаль от Ульяны, от-

вернувшись к окну. Слезы свои вытерла быстро концом головного платка, встала со скамьи, обратилась к Ульяне совсем спокойно:

— А ты про это про все поменьше рассказывай! От души тебе советую.

Ульяна обиделась.

— Ты за́все меня обрываешь! За что? Ругались когда, так ведь живые люди, бывает и поссориться. И зря ты думаешь, что у меня дырявый рот.

— Да ты не серчай. Я к тебе с доброй душой.

— То-то с доброй, за каждое слово съест готова! Ну и прощай. Не больно мне надо тебе навязываться. Боле не приду! Сиди, как сыч, одна. И то, кроме меня, никто глаз к тебе не кает. Никого не приветишь, не обласкаешь, все в себе живешь. Неаудимка стала, все от тебя отшатнулись, одна я старалась... Прощай!

— Да ты постой, постой. Куда ты? Не серчай, Ульянушка.

Захаровна вышла следом за ней, вернулась в избу не скоро. Настасья сперва плакала, лежа на кровати сколо спящих детей, а потом, незаметно, и ее самое успокоил глубокий сон. Проснулась горбунья только утром. Вскочила в какой-то странной тревоге, словно кто ее в бок толкнул. За последнее время она часто с таким ощущением просыпалась. Будто вот-вот должно что-то случиться. Не то новая беда стоит за порогом, не то неожиданная радость войдет. И сейчас она быстро повернулась, вскочила с кровати, огляделась вокруг немного диким взглядом, проборотала вслух:

— Откуда радости жать?

Захаровна подняла голову. Она сидела у окна, в очках, чинила какую-то старую одежку.

— Ты что, чисто с печи упала? — спросила она и указала на глиняный горшочек на столе. Молока Ульяна детишкам прислала.

Не дождавшись ответа, продолжала каким-то не своим голосом, очень смущенным:

— Не вовсе она плохая! Я об Ульяне прежде хуже думала. А может, и она получше в горьких-то наших испытаньях. Вроде не столь скупа стала. В речах ее тоже... давно не слышу прежнего похабства. Только все-таки нет в голове у ней батюшки-разума! Мелет много лишнего.

Настасья вяло отозвалась:

— Ну, нет! Ума ей не занимать-стать. В житейских делах умней нас с тобой рассудить умеет. А получшела сердцем аль нет, кто разберет? Чужая душа — потемки.

— Я вот — пожуела. Умна — не умна Ульяна, а правду она мне сегодня в лицо бросила, — сказала Захаровна дрогнувшим голосом. — Чего лукавить? Осердилась я за это на нее, а надо бы ей спасибо сказать. Шибко затворилась я в своей печали, а печаль у нас у всех одна, общая. Завязала я себе свет одной своей семьей. Не хорошо это, совестно в такие дни!

Горбунья всплеснула руками.

— Ну вот она и радость! Я прямо тебе скажу, Захаровна, я уж уйти от тебя думала. Куска не жалеешь, последним делишься и со мной и с детишками, а ходишь с каменным лицом по избе, и куску твоему не рад. С таким человеком без просвету сумрачным вместе жить тяжело! А мне и так не легко.

— Ну, что же, прости, я была совсем не в себе. Настя, послушай-ка, — девушка та не иначе, как Зинка, подружка валина. Она — эдакая тоненькая, и голос ребячий, и глаза светлокариые. И фуфаечка у ней такая была, цвету мышиного.

— Ну, таких фуфаечек сколько хочешь я видала...

— Не строй дуру из меня! Фуфаечка так, сбоку, вспомнилась. Сердцем чувствую. Зина это. Ульяна-то ее не видала у нас, не случилось как-то этого. А и у ней в голове чего-то брезжит. На Валю потому намек дала, что помнит; вместе с Валею бывали у нас подружки ее. Она потому нам и рассказала, думала еще чего про ту девушку разузнать.

Настасья спросила испуганно:

— А старосту не наладит она у тебя и про Валю и про подружек дспытываться?

— Не хочу худого об ней думать до времени, а готовой и к худому надо быть. За Ульяной-то я чего побежала? Не впервой резким словом обрываю эту бабу, никогда мириться не бегала. А сегодня вот эдак свое сердце в клеши стиснула, — Захаровна подняла крепко сжатый кулак, — а побежала перед ней винсватить-ся! Теперь у меня одна дума, как бы по этой ниточке к партизанам тропку найти. С партизанами дочка моя, аль ее уж нет нигде середь живых, я — мать. Не ей одной, не только своим детям, а всем этим девушкам, кои под пытками не сдаются, на смерть за свой народ идут без жалобы, я — мать. Так в сердце своем теперь я держу! Ты подумай, Настасьюшка, в самую свою пору цветущую чем они живут, доченьки мои милые!

Захаровна встала, сложила под грудью руки одна на другую, так с минуту стояла в глубокой задумчивости, поглощенная собственным внутренним волнением, опустив голову, крепко сжав бескровные старческие губы. Настасья под села поближе к старухе, облокотилась об стол. У нее сделалось покорное, печальное лицо. Она знала, о чем думает старуха. Горбунья и в юности, и без войны не были отпущены судьбой те радости, о которых думала Захаровна. И Захаровна, действительно, продолжала так, как догадалась Настасья.

— Чего успели для себя захватить? С милым не намыловались, семейного гнезда не наладили, не порезвились влады. Ученые да об своей работе старанье, — а потом головой в самую страсть военной беды. Меду мало выпили, а всякой горечи чашу полную! А тут — и в смерть столкнули их немецкие супостаты. Жалко мне их всех, жалею я их трудной родительской жалостью.

Она тяжело вздохнула, скова села рядом с Настасьей, понурился голосу.

— И холмика могильного над ними не сажено. Но все одно, знаю, расцветет на том месте, где закопали их, не польнь горькая и не трава душистая — расцветет память о них добрая и долгая! В народе песня об них сложится, сказка такая сложится, что много лет народ ею будет заслушиваться.

— Сказка и песня для других. Сами-то, в земле сырой, не услышат ни прославления, ни хуления. Им теперь ничего не надобно!

— Нет, милая, — Захаровна легонько стукнула ладонью по столу, — надобно. Из-за чего на смерть они шли? За то, чтоб мы раньше смерти в рабстве не изгнили! Железо и камень родят пламень, а не будь дерева, ему бы житья не было. Они — пламень, а мы — дерево. Гореть нам надо, а не сыреть в печали! Я так решила. Не дожидаться больше, под окошком сидючи. Нет вестей ни от Вали, ни от Никанора. Знать, обоих либо нет в живых, либо у них нет возможности с нами столкнуться. Самим надо шевелиться, народ против немцев сбивать. На сопротивление немцам найдутся согласные. Как ты думаешь, в Лисичкине звери живут, не люди? Как теперь кипит сердце у тамошних жителей!

— Туда без пропуск не добраться. Мы с тобой не Ульяна, у старосты на примете. Дуром тоже нельзя начинать.

— Остерегай старика не скакать в прысочку, глупая! Я на свете подольше твоего живу. А у старой лисы — тысяча одна увертка, из них надежней всех — в глаза охотнику не лезть. День пройдет, ночью к Пермякову леснику проберусь. Не зря он из сторожки не двинулся. Нам, Строговым, он — свойственник не только по семейному родству, а и по мыслям Советской власти верный, как и мы. А сноха его с дитем от старшего сына — красноармейца — проживает в Лисичкине.

### Шестая глава

В ту ночь не удалось Захаровне в лес уйти. Среди дня пришел в избу к ней полицейский Семухин Яков. Не глядя в лицо Настасье, сидевшей за столом с детьми, прямо перед дверью он искоса обшарил глазами всю избу. Старуха возилась у печи. Без всякого приветствия Семухин спросил:

— Не найдется ли, хозяйка, бутылки самогону?

Настасья всплеснула руками, засмеялась:

— Нашел у кого спрашивать! Строговы сроду не курили самогону. Али, как на нялся к немцам, все русские жители стали для тебя только на всякую пакость готовые?

Яков равнодушно отмахнулся от горбуны рукой.

— Сиди молчком, коль бог убил. Не у квартирантки, у самой хозяйки спрашивать.

Захаровна спокойно выпрямилась у шестка.

— Есть, сынок. Настя не знает, что у меня берется на случай простуды одна бутылка. Сами не варили, а к празднику купила. Присядь, принесу из кладовки.

Захватив ключи, старуха накинула на голову платок и быстро прибежала к Ульяне.

— Выручи, соседка, дай бутылку самогону. Я тебе шелковый валин платок отдам, ты льстилась из него.

— Само-огон? Да тебе на-што?

Захаровна поспешно рассказала, что полицейский просит. Она боится сказать, что нет у нее. Не поверит, обиду против нее затаит, а она кругом беззащитная, семья — без вести, заступиться за старую некому. Подавая бутылку, Ульяна усмехнулась.

— Боязлива стала, а то во как, бывало, заносила голову.

— Теперь не занесешь, — кротко отозвалась Захаровна, — буду жить в покорности.

Понизив голос, Ульяна сказала:

— И я тебе тоже советую. Дети мои, Васька с Таиской, на заре прибегли. Я думала, им у дедов на хуторе, от больших дорог в отдалении, безопасно будет, проживут, пока так ли, сля ли жизнь в порядок придет. А они, сказывают, ника-ак! Карательный отряд пришел. Близко — бор большой. Там партизанов ищут!

У Захаровны в избе между Яковым и Настасьей шел свой разговор. Горбунья спросила:

— Или у немцев водки нет, что самогон пьешь?

— У немцев много чего есть, да не про нашу честь! Пить нам не полагается, я для старосты. Ему захотелось самодельной выпить.

— Так и послал прямо к Захаровне?

— Так и послал к Захаровне, — нагло глядя в лицо Настасье, ответил Яков. — Приказал деньги заплатить. А вам, обем, где взять денег, если не продать чего?

— Так это он такой добрый до нас, об нас заботится.

— Ну да, шибко добрый к вам, — захотел полицейский. — Староста рассчитывал — старуха обидится, что ее за самогонщицу считают. Слышал, что нравная. Кабы заругалась, я бы ее к ответу сволок. А без причины трогать не велел. Он жителей раздражать не хочет. Он все делает по справедливости.

— О-ох, — только вздохнула Настасья и крепко стиснула зубы.

— А коль продаст безропотно, тогда велел самогонный аппарат искать. Курит самогон, значит лишний хлеб имеется.

— Да где же у ней аппарат... Ох ты, черная душа, да уж не принес ли ты его? Батюшки, не мытьем, так катаньем, ай-ай-ай...

Яков погрозил Настасье.

— А ты не ори! Пока не принес, а захочу, так принесу и докажу, что здесь нашел. Или под другое подо что подведу... по закону. Уважай начальство. У стар-

сты все побывали, каждый что-нибудь принес на поклон. А старуха и с пустыми руками не пришла поздравить с прибытием.

— Ты бы ей прямо так и указал. Ведь ты здешний, свой. Неужели тебе нас ни капли не жалко?

— Дурак я прямо говорить. Благодарю, что намек дал. И тебе я вовсе ничего не говорил, запомни. Принесла, бабушка? Что долго ходила? — спросил входившую в избу запыхавшуюся Дарью.

— Перебуровлено все в кладовушке, не сразу нашла. Получай, откушывай на здоровье. Нет, нет, не возьму денег. Примите за уважение.

— Не велено без денег. Не для себя покупай.

Яков положил деньги на стол.

— Ну так деньги себе возьми, от меня... заместо стаканчика в угощение. Бери, бери деньги, прошу возьми.

— Не берем при исполнении служебных обязанностей, — гордо отклонил ее руку Яков. — Да и не из-за чего тут... мараются. Захаровна поняла. Молча, нахмутив брови, достала из сундука и приложила к лежащим на столе своих две десятки. Яков сделал вид, что не заметил этого.

— Покажите теперь, где у вас аппарат, — сказал он спрого. — Где самогон варите.

И полицейский начал небрежные, обидные самой своей нарочитой бестолковостью поиски во дворе, в сенях и в избе. Правда, Яков не очень долго себя утруждал этой возней. Закончив, объявил:

— Пока не обнаружено, предупреждаю на дальнейшее время. Остерегитесь!

Захаровна тяжело перевела дыхание.

— Вы — житель местный. Вам хорошо известно, что я не самогонщица и не шинкарь. Прошу я вас, будьте милостивы, заберите деньги со стола.

Яков помялся, произнес задумчиво:

— Назад он не примет. Не наш брат, на что ему деньги? Даром всем обеспечен: власть!

Захаровна поклонилась в пояс.

— Возьмите себе... не по своей воле утруждались. Не отказывайтесь, сгодятся. Возьмите мне в удовольствие!

— Ну, разве что так...

Яков сгреб деньги в карман. Не прибавив ни слова благодарности, не попрощавшись, он ушел. От унижительной покорности, от противного ее душе притворства Захаровна почувствовала себя в конце измученной. У нее даже ноги тряслись и от внезапной слабости пот прошиб. Нехватило сил влезть на печку, прилегла на кровати, пролежала пластом до самого вечера. Вечеру они долго и горько с Настасьей перешептывались, хоть в избе кроме них никого не было. Даже детишки возились во дворе — у крыльца.

— Не думаю я, — говорила Захаровна, — чтоб они за мной надзор установили пристальный. Скорей всего, взятку вымогают, со всех ведь поборы берут! Ульяна правду молвила, что и немцам этот купленный народ не во всю душу служит. Главное, для своего брюха стараются. Но все одно

в лес итти пережогу день — другой. А дары отнести старосте придется. Не миновать горло куском заткнуть цепной собаке, чтоб не лаяла.

Старуха вынула из сундука льняного тонкого холста кусок и, держа его в руках, задумалась. Вспомнила, как перед войной намаяла и натрепала она льну больше всех в районе, как ее за это в городе на собраниях люди чествовали... Зачем так на свете водится, что самые светлые воспоминания порой становятся мучением для человека?

Вернулась домой Захаровна веселей, чем ушла. Старосты не оказалось налицо. Холст приняла его молоденькая жена. Как будто сама смутилась, покраснела, «спасибо» пробормотала, записала от кого, чтоб не забыть фамилии, отпустила без долгого разговора, без расспросов.

Ночью обоим женщинам не спалось. Обе уж и забыли, как бывало крепко спали после дневных трудов. Настя то и дело вставала с кровати: то воду пила, то садилась на сундук у изголовья, не зная зачем. Захаровна беспечно ворочалась на печке. Обе враз услышали, что у двери во двор легонько кто-то стукнул щеколдой. И, удивительно, ни у той, ни у другой даже мысли не мелькнуло, что недруг у двери возится. Сразу решили, пришел друг в ночи утешить их известием с близких. После сами дивились, почему так, после посещения полицейского и всего неприятного дня, не подумали о новом огорчении, а сразу доверились предчувствию радости. И откуда у старухи такое пророрство нашлось, что с печки прежде Настасья успела очутиться в сенях. Настасья слышала, как Захаровна, о чем-то тихо переговариваясь, отодвинула засов, снова засунула и чиркнула спичкой в сенях. В избу не одна вернулась и раздельным, внятным шопотом объяснила:

— Это — Васятка, Пермяковой снохи брательник-парнишка. Ну, ну, сказывай, сынок, не томи. Вот меж нами тут сядь.

У мальчишки шопот нет-нет, и срывался на громко произнесенное слово. Захаровна тогда, в испуге, быстро зажимала ему рот жесткой своей ладонью. Васятка крутил головой, продолжая рассказ.

— Немцы дознались, что наши лисичкинские жители после, как ту девушку повесили, стали очень партизанам сочувствовать. Мы обоз с продовольствием партизанам отправили. Обозу перехватить им не удалось! Вчерась только узнали мы, что доставлен в целисти по назначению. «Спасибо» передавали партизаны. Ох, мы и радовались! Но нашелся враг, донес немцам. Кто из наших раньше смикитил, успели в лес убежать, попрятались. Кто не смикитил, тех немцы увели за двадцать четыре километра от Лисичкина, в деревню Кобыкино. Лисичкино западали с двух концов. А в сарай в один загнали человек восемьдесят, которых считали вредными. Сарай заперли и подожгли. Ночью это было, как жгли да угоняли. Народ — кто плачет, кто в крик страшно кричит. Нам, в лесу-то, все было слышно. Мы — лесом, лесом, да-

ле да глубже, нашли своих! Только там нам не велели оставаться целым табором. В разных деревнях по квартирам теперь размещаются. Мне велено поместиться в Кобякине, у сватьев Селезневых. Но вперед тебе, бабушка, должен передать, что долго у тебя не велели задерживаться. Дочь твоя жива-здорова, шлет поклон тебе и просит, как возможно, постараться из своей деревни не уходить. Придет к тебе человек и скажет... Ты не думай, ни слова я не забыл, не перепутал. Твердо запомнил, как приказано. Скажет тот человек: щенок у матери лаять учится.

— Доченька, моя доченька! — Захаровна вскрикнула. — Приговорку мою вспомнила! Значит, и вправду жива. Ну да ты сказывай, сказывай, дальше-то сказывай!

— А им вот, этой тетеньке горбатой... Ох, не рассердитесь, это мне в примету сообщили, а я сгоряча...

— Милый ты мой, — погладила его по плечу Настасья, — отмету свою со дня рождения ношу, привыкла! Сказывай, родной, сказывай...

— Вам велели передать, что и дядя Никанор жив-здоров, что вы у Захаровны — знает, что жена скончалась — известно ему. Они там все, все теперь про нас узнали, хоть и далеко хоронятся в лесах. Просит вас побережь его детей, как были бы вы им родная мать! Я прямо сказал, разве откажется? Я сказал, чтоб они ни об чем, ни об чем не беспокоились! Я сказал: одна у нас надежда на партизан, пока придет Красная Армия...

— Ладно, ладно, сынок! Ты, видать, умный и добрый паренек. Спасибо тебе от нас обоих великое. Еще чего передавали нам?

— Больше ничего. Я сейчас обратно в бег! Я с вечера еще на вашем огороде под снег залег. Замерзнуть не боялся. Я — крепкий, вот уж и не зябло мне, сразу отогрелся. Я боялся, кто-то шумел у вас во дворе, искал чего-то. У меня прямо дыханье в горле застряло! Думаю, ну как на огороде ногами станет швырять! Снежок следы мои засыпал, а со спины я сугробом не достаточно прикрыт. Ну решил, живой не дамся. У меня ножик за пазухой. Это я сам догадался, взял. Мать и не видала.

— Напрасно, миленький, кинь его, кинь здесь! Попадешься, объяснишь, что семью ищешь, а ножик найдут, не видать тебе больше родной матери. Дай-ко.

— Да так и сдался бы, как теленок? Не хотел, пока порученья не выполню. Я бы его так пырнул... Хоть бы одному кишки выпустил.

— Что ты, дитяtko неразумное. И сметлив, и смел, а отвага еще ребячья, глупая. Чать, острастку давали тебе, чтобы на рожон не лезть?

— Давали, да это я, если бы порученья не выполнил...

— А того нет смекнуть, какую беду заместо помощи ты навлек бы на нас, коли бы тебя с ножом в нашем огороде сцапали? Трудно партизнам с нами связь держать. Ну да ладно, господь уберет, а тебе пусть в науку пойдет: тишком держись.

Бери не гневом, не силой, а хитростью, коли хочешь воевать, партизнам помогать. Я сама-то, старая, только вчера до этого умом дошла. Наша помощь должна быть хитрая. Чуть шагнул с недомыслием — партизнам вред.

— Я понял, бабушка, — вдруг вскрикнув, сказал мальчик, — не надо ножика. Я хитрить сумею, не охота было сразу, как теленок... Да я бы ведь только в крайнем, крайнем случае!

— Ну, вот и показал себя не хитрей теленка. Ничего, в грозе, в беде раньше сроку поймешь мудрость горькую. Такое детство пало вам на долю.

— Я побег, бабушка. Только ты не беспокойся. Уж выдать я ни за что не выдам. Оттого и послала меня, а не другого. Уж ты мне верь! Я побег.

— Постой. В котомке-то у тебя есть хлебушко?

— Кусочек остался.

— Я тебе целый каравай положу. Сказывают, немцы кой-где на хлеб зарятся, легче пропустят, коль хлеб отберут. Беги, с богом, сынок, охраняй он тебя от всякой беды.

Благополучно проводив мальчика за огород, Захаровна возвратилась в избу, тщательно заперла все запоры и сказала Настасье:

— Седина пришла, а ума не нашла. Чуть было я, не хуже мальчишки, в дерзкую храбрость не ударилась. Навредила бы, кабы к Пермякову, грехом, тропку показала. Терпенью нам нужно крепкое, Настенька, несокрушимое терпенье в тайной нашей войне!

Пришла весна. Окружный лес оделся молодой листвой. Крестьяне поднимали пашню, каждый на своей полосе, с великим трудом, за недостатком рабочих рук и земледельческих орудий. Захаровна с чужой семьей в долю вошла. Настасья не могла в поле быть помощницей, но Захаровна работала, как молодая, всем в деревне на-диво. И все ждала упорно, с несокрушимой верой ждала человека из лесу. Никто не приходил.

## Седьмая глава

В конце октября сорок первого года, когда немцы еще только упрощали вторжением в этот район, местные люди приготовили, на случай беды, партизанскую базу: жилье, продовольствие, винтовки и пулемет — один. Землянку сложили в лесу за болотом. На болоте был, под защитой кустов, твердый островок, удобный для засады и наблюдения за большой дорогой, пролежавшей у самой опушки леса. Позднее, когда враг захватил областной город, секретарь районного комитета коммунистической партии, Савва Петрович Крептюков, доставил на островок стекло и рамы из разбитого рабочего барака.

Во вместительной землянке с хорошо сложенной русской печью стало не только тепло и светло. Но до того времени, когда явилась возможность боевых вылазок,

двадцати трем человекам, сбившимся в землянке, каждый день за неделю казался. Некоторые вдруг ощутили возврат старых болезней: лихорадки, ревматизма, слабости сердца и легких. У всех оказалась тоска об оставленных семьях, о любимых. Во главе отряда встал Крептюков. Это был умный и справедливый начальник. Знал достоинства и недостатки каждого члена отряда, как свои собственные. С недостатками умел бороться, хорошие качества в себе и в других своевременно взбадривать. Ему было уже за тридцать. В черных кудрявых его волосах за последний год пробилась на висках ранняя седина. Но взгляд очень зорких серых глаз сохранился юношески живым и горячим. Только этот взгляд выдавал его личное нетерпение когда он сам из-за кустов смотрел на дорогу. Недели две лежала она глухая, безлюдная под белым снегом, не тронутым ногой человека. От времени до времени пролетали над ней немецкие самолеты. Наземные части неприятельского войска на ней еще не появлялись. Русские население передвигались по трудным и тайным тропам. Партизанская разведка тоже около двух недель не приносила данных для боевых выступлений. Все труднее становилось Крептюкову поддерживать бодрое настроение во всех людях отряда, чтобы ни один не сдал в первой боевой вылазке, если явится необходимость произвести ее внезапно. В своем большинстве отряд состоял из комсомольцев, ни в одном сражении непосредственного участия не принимавших, но по самому возрасту своему жадавших действия, горячих дел, героического подвига. Все они просились в разведку, но многие не годились еще для нее. И как раз эти особенно были томимы желанием немедленно напасть на врага, взорвать неприятельский поезд, поджечь немецкое воинское общежитие или хотя бы одного немца убить, «своего первого», как выразился девятнадцатилетний Ваня Пантюхин. Он же запальчиво крикнул однажды во время ужина:

— Что же, и завтра будем только жрать да спать в этой заколдованной норе?

— Что-о? — угрожающе спросил Крептюков.

— База не на месте, — понизив тон, угроюще ответил Ваня.

— Смотри, на месте ли ты... Имеешь ли ты право состоять в советском партизанском отряде! Делаю тебе первое предупреждение, отправлю тебя к... бабушке на печку, если на теоретических занятиях будешь зевать, как сегодня зевал!

— У меня бабушка померла, — насильственно улыбулся Ваня стараясь шуткой смягчить гнев Крептюкова. Но начальник сильно рассердился. Он стукнул кулаком по столу.

— Без зубоскальства! — крикнул он совсем бешеным голосом. Мертвая тишина воцарилась за столом. Часовой, дежуривший около самой землянки, испуганно заглянул в дверь. От этого Крептюкову стало неловко почти так же, как юноше, не

сдержавшему гневного раздражения. Он поднялся из-за стола, не доев своей порции каши, свернул завертку махорки, закурил с глубокой затяжкой. Это был единственный случай, когда начальник отряда вышел из себя от гнева. Но в ту же ночь Валя Строгова принесла известие, что есть возможность на рассвете отбить у немцев обоз с провиантом. В базе, на страже, оставили только троих пожилых мужчин. Один из них в ранней юности партизанил в гражданскую войну на Урале. Все остальные хлебнули опасности в первой и весьма нелегкой партизанской операции. Четверо были легко ранены, Пантюхина принесли на носилках с простреленной ногой. В отряде имелись медикаменты, в его людском составе находился фельдшер хирургического отделения районной больницы. Он оказал Ване нужную помощь. Лежать его оставили на базе. Тогда же Валя сняла с неприятельской машины аккумулятор, которого не доставало для установки в землянке радиоприемника. Так появилась в отряде рация и была установлена связь с партизанской бригадой.

Валю быстро оценили в отряде как хорошую разведчицу. Она ходила и с грузом листовок, и с ручными гранатами. Она обнаружила в городе гараж мотоцикла и общежитие немецких мотоциклистов. Вдвоем с Зиной они бросили зажигательные бомбы в гараж с мотоциклами и в общежитие. Некоторые мотоциклисты спаслись, но мотоциклы все сгорели.

Но из последней своей разведки, после ночлега у крестиньки Валя запоздала с возвращением. Крептюков догадался, что девушки попали в беду. Ответственность лежала на Строговой. Крептюков и сердился на нее и сильно жалел ее. На рассвете четвертого дня после ухода девушек он вышел из землянки к опушке леса и долго смотрел по тому направлению, откуда должны были появиться девушки. Вьюга затихала. Кругом было безлюдно и мертво. В облачном небе медленно пробивался свет унылого зимнего утра. Крептюков повернул обратно к землянке и шел медленно, низко опустив голову. Валя прибрела только ночью, чуть живая от усталости и мучительных душевных переживаний.

### Восьмая глава

В июне в густой туман, пробиралась Валя однажды на базу через лесную поляну. На расстоянии протянутой руки ничего нельзя было рассмотреть перед собой. И Вале вспомнилось детство. Таким далеким казалось оно теперь словно было все это не десять, а двадцать, тридцать лет назад. Убежали они — пять девчонок по девятому году, Валя — шестая, старшая, десятилетняя — убежали в лес по ягодам. Когда в лес бежали курился над землей туман, как дым негустой. А потом вдруг уплотнел, вырос. Едва различимы стали деревья, а кустов совсем не было. Девочки чуть не потеряли друг друга

в лесу. С плачем аукались, наконец сблизилась вместе плотной стайкой, начали к опушке выбираться. Ни одна не знает, в какую сторону двинуться! Знакомый лес вдруг сделался чужим, неизвестным. Сильно испугались девочки, даже плакать перестали. Вдруг донеслось до них щелканье пастушьего бича. Тогда Валя закричала изо всех сил:

— Щелкай, щелкай, деду-ушка Терентий, щелкай, милый-ый дедушка! Укажи дорогу.

И пастух зашелкал громко, часто, весело. Девочки обрадовались, страху как не бывало, со смехом прибежали на опушку, где Терентий скотину пас. Теперь нет ни мирного пастбища, ни щелканья нестрашного пастушьего бича. Другой бич гуляет сейчас по родным спускам и селеньям. Страшен милый с детства русский лес и в туман, и в ясный солнечный день. За любым кустом, может, смерть сторожит. Опушка и поляны особенно опасны. У опушки недоброй жизнью ожила дорога: с начала весны служит неприятелю. Когда в ясный день открытую поляну пересекаешь в одиночку, все чудится, что из-за деревьев возьмет тебя на мушку враг. А в таком тумане легко просто натолкнуться на неприятельский карательный отряд. В наступление идет Красная Армия. За боевые успехи ее немцы мстят народу в тылах. Около железной дороги на много километров повыверили все деревья. А над теми, кто в леса не ушел, творят страшную расправу. Над покорными и робкими особенно. Вале вспомнилось, что недавно партизанам пришлось не мало из добытого провианта отдать крестьянам, убежавшим в лес от немецкой расправы без всякого запаса пищи, почти без одежды. В чем были ночью, в том и убежали. А партизанам самим добывать питание стало чрезвычайно трудно из-за карательных немецких отрядов. На базе давно без соли обходятся, пятый день ни крошки хлеба нет, питаются ягодами, кореньями, грибами, сваренными без соли. Курьшички маются без табаку, мох и листья курят. Оттого и ноги у Вали сегодня как не свои, заставлять надо их быстрее передвигаться. А все же без малейшего ропота отряд уделил питание пострадавшим сельчанам. О необходимости помочь им Валя рассказала опряду. Натолкнулась она близ дороги на трех женщин. Одна из них, высокая костлявая старуха, была в рубаше с домотканной холщевой становиной. Поверх нее, на худой морщинистой шее висел медный крестик, на старом гайтане. Неожиданно увидев перед собой незнакомую девушку, старуха схватилась обеими руками за этот медный крестик, будто в испуге иной опоры не наша рука. Валя сумела женщин успокоить и подробно расспросить, что они делают здесь около леса. При ней была тогда крайшка хлеба. Она помогла. Валя сразу поняла, что женщины голодны, в лесу ищут пищи. Но подробности горького их бытия узнала уже после того, как старуха приняла от нее хлеб.

— Хлебушка не видим, дочка, много ден, — сказала старуха — И сейчас не сами съедим! Здесь все матеря. Каждая через какую хошь голодную тоску для дитяти кусок сбережет. А для себя мы тут падаля собираем.

Женщины объяснили Вале, что лежали здесь, под снегом, убитые лошади. Теперь снега сошли, обнаружили их трупы.

— Кое место в этой падали сохранилось без червей. Мясо, вроде как провяленое, можно съесть. Вот и собираем на вариво, — сурово сообщила старуха.

У Вали сердце сжала такая тоска, какой, кажется, никогда в жизни она еще не испытывала. На своей когда-то всем обильной земле люди падали собирают! Как же это произошло? И старуха рассказала как.

— Из нашей деревни в партизаны никто не ушел, и к нам ни разу они не наведывались. Видно, за то и наказал нас бог, что об настоящих наших заступниках не старались. Ну, а в Красной Армии находятся с каждого двора по-двое да по-трое. Сперва-то немцы, как разместились у нас, за красноармейцев из семьи не шибко допытывались. Разоряли нас всех, притесняли в постепенности. Ну, там кур перевели дочиста, поотымали, почитай, всю худобушку. На всю деревню в одном дворе коровенку оставили. Шибко тощая была, раскормить приказали хозяевам. Терпим, виду не показываем, что на Красную Армию надеждой живем. А тут — слушок прошел: надвигается, теснит немцев она. Обрадели мы, но опять — ни одно дите малое, ни одна баба из глупых глупая — не выдали немцам той радости!

— Одно ли злодейство совершили в нашей деревне враги! Потом зачали молодых к себе в Германию вербовать. Тут мы взбунтовались, исхитрились, семей несколько ночью убежали в чем есть. Корки хлеба, слышь, запасти, захватить не успели. Другим-то, говорят, партизаны помогают, а мы ни в тех, ни в сех — беглецы. Не можешь ли ты, девушка, навести на нас партизан? — обратилась она к Вале.

— Стой! — вдруг словно опомнилась старуха. — Хлеб дала, мы поддались, голодные. Не ящайка ли ты немецкая? За душу-у, — она двинулась на Валу, вытянув вперед свои костлявые руки. Другие две удержали старуху.

— Стой, стой, чего ты? Видать ведь человека, русская.

— Есть и такие... — медленно выговорила старуха. — Говори, которого села?

— Все равно из которого, бабушка! Верь мне, чем хочешь поклянусь, что немцы мне такие же враги, как вам, — ответила Валя. — Сама я дороги к партизанам не знаю, но через хороших людей сумею им про вас передать. Скажите, где вас найти?

Женщины сразу не ответили. Молча переглянулись друг с другом. Старуха, очевидно, вселила в них запоздалую боязливую осторожность. Но сама старуха, неожиданно для Вали, обратилась к ней совсем другим, просительным тоном:

— А ты Сталиным поклянись... Сказывают, которые русские хоть раз поклянутся Сталиным, тем у немцев никогда прощенья нет. Русским нельзя даже в обман Сталина имя в клятву давать!

— Ну, если в обман, — подхватила молодая, та, что поднимала с земли старуху, — партизаны не помилуют. Это тоже верно сказывают, за такую обманную клятву везде тебя партизаны достанут.

Валя улыбнулась широко и светло. Она торжественно, как на воинской присяге, подняла руку, сказала чуть дрогнувшим от внутреннего волнения голосом:

— Сталиным клянусь, не врагов, друзей приведу на помощь вам.

Три женщины сомкнулись кольцом вокруг Вали. Старуха тихо, почти шопотом, сообщила ей приметы вырытой ими пещеры в соседнем лесу. Валя знала это место, сама напомнила им о кривой приметной березе.

После этого одна из молодых спросила Валу голосом, полным доверия:

— Скажи, детка, неужели немцы небедимые?

— Быть этого не может, — страстно воскликнула вторая, — сроду не поверю, чтоб наши бойцы не отплатили им за всю нашу муку-мученическую. Как же тогда на свете людям жить? Скотом, зверьем тогда людям надо оборотиться.

— Отомстят и победят, — с ликующей уверенностью ответила им тогда Валя. И сейчас, бредя усталая сквозь густой туман через опасную поляну, девушка сразу взбодрилась, вспомнив об этом. Взор у ней просветлел. Она вновь, как и тогда, остро ощутила неперемнное существование счастья в человеческой жизни. Сквозь сырой, унылый, сомкнувшийся сейчас вокруг нее туман проглянет же солнце! Оно есть, оно не погасло. К этим страдающим женщинам, к ней самой, к милой мамушке, ко всему дорогому для Вали сообществу людей придет простое человеческое счастье — иметь право быть добрыми людьми. Красная Армия, валины товарищи-партизаны, сама она с ними, как маленький атом, в прах разобьют всякое человеконенавистничество, всякую несправедливость. Никогда не станут они ни скотом, ни зверьем, они станут счастливыми добрыми людьми.

Вдруг сзади хрустнул сучок под чьей-то ногой. Валя сразу опомнилась, повернулась назад, напряженно вглядываясь в туман.

— Что это я? Размечталась, нашла места время... Что это на меня нашло?.. Бежать не следует, нет... Выждать тоже не надо... Просто оглянулась и опять иду своей дорогой.

Валя, не ускоряя хода, двинулась вперед, но по спине холод прошел и во рту сразу пересохло.

— Будто нечаянно, в тумане, в лес пала... А мне надо, мне надо... на дорогу в село. Где же лес? Когда она кончится, эта поляна? Уж не сбилась ли я с пути? Опасности всегда надо посмотреть прямо в лицо, выяснить...

Девушка решительно повернулась и стала, выжидая. Да, темный силуэт человека совсем близко. Двигается осторожно...

— Видит меня, видит! — подумала.

И тут же оба разом негромко воскликнули:

— Валя!

— Ваня!

Это был Пантюхин. Он приблизился к девушке, подхватил ее под руку.

— Двигай, двигай быстрей! В лесу, в чаще, где-нибудь присядем. Понимаешь, из сил выбился!

— Как ты здесь очутился?

— Говорю тебе, петляя, как заяц. Как лиса увернулся.

— А, может, привел?

Ваня тихо, но самодовольно засмеялся:

— А раньше-то?

Это была жаргонная поговорка, вывезенная Ваней с его родины, из Чкаловской области. Если товарищи выражали опасение, что Ваня сделает что-нибудь не так, как того польза дела требует, он, прищурив глаза, вызывающе вопрошал:

— А раньше-то, то-есть раньше когда-нибудь, вы меня видели в дураках?

Так он сам объяснил в отряде свою поговорку.

Валя усмехнулась.

— Не знаю! Крептюкова надо спросить.

— Крептюков после моего ранения стал добрым ко мне... А сегодня будет мной во как доволен... На большой!

Валя отогнул большой палец.

— Ты еще скажи «с присыпкой», так он покажет тебе, как доволен. Терпеть не может этих словечек среди комсомольцев!

Оба засмеялись. Ваня прижался к девушке плечом и придержал ее за руку.

— Ну, домой пришли. В лесу! Давай немножко посидим вот под этими тремя соснами. Ноги нейдут.

— И у меня. Я как раз, когда шла, думала: какой у нас дом опасный.

— Другого нам пока не полагается. Спасибо этому: целы пока. Садись. Трудно пришлось!

— В отряде оба доложим. Спасибо, оба целы пока!

— А ты меня не передразнивай, я — робкий. Правда, Валя, сегодня ты вроде оживела, подобрела. А то — лютая была, подойти страшно и больно.

— Эх, Ваня, тяжело мне было и страшно. Прямо страшно. Не струсила, ты не подумай!

— Что, я тебя не знаю? Страдала из-за зинино провала.

— В том-то и дело, что зинин провал, он и мой. Сама не пригляделась хорошенько к проклятой этой «крестиньке». А Зина... ведь в ней детского было много! Крептюков мне доверился... Да и не это! Как подумаю, что Зины нет, вот и сейчас, ножом в сердце словно...

Валя тихо заплакала, уткнувшись лицом в плечо Вани. Он легонько, ласково провел рукой по ее вздрагивающей спине.

— Ну, что это ты... Сроду не видал, чтоб

ты плакала. Нам всем ведь было не легко на душе. То, что выдучить не смогли...

— Ох, как горько, Ваня, друга терять в нашей судьбе. А еще горше, если когда-нибудь хоть словом одним обидел его. А я Зину... не ценила. Не могу теперь вспомнить, сколько раз ей обидные вещи говорила!.. Зачем, зачем это я так делала?

— Ну ты же и любила ее. Ты о ней как родная мать заботилась...

— И знаешь, Ваничка, как узнала я об ее стойкости, и все подробности казни ее, мне так показалось, окаменело сердце во мне. Ничего и никого не жалко, даже родной матери... Она-то не делит с нами нашей судьбы! И от этих мыслей стало мне страшно. Думаю, уж никогда я больше не полюблю никого всей душой. Всем не верю и самой себе не верю, и жизнь передо мной теперь такая страшная, безлюдная. Нет больше никого своего для меня...

— Валя, а мы... а я?

— И показалось мне, что конец моей молодости... Нарочно на смерть буду лезть, все равно я — старая, душой старая... Ох, этого не расказать, какое было у меня зловещее... не знай как сказать... ну, полное отчаянье, просвету нет! И я сама не знаю, как сошло с меня это ожесточение... Ты подумай, мать родную вдруг не взлюбила. Даже страшно!

Валя не знала, что злобная страстность и кратковременность ее отчаяния, и все сегодняшние мысли, и то, что именно Ване захотелось ей открыть свою душу — все это была молодость, торжествующая и над войной и над всякой бедой, побеждающая тлеворную силу лихого для человеческой души времени. Ваня тоже не знал этого, но чувствовал он одинаково с молодой девушкой, и не умом, а сердцем хорошо понял Ваю. У него самого увлажнились глаза, он тяжело перевел дыхание и, нарочито крикнув, сказал не свойственным ему баритонном:

— Да, трудная у нас молодость. Ну, да ведь мы не хлюпки... Помнишь, это у кого-то из писателей, про каких-то старикашек. Не старикашки мы, а — сталинское поколение. Одним словом... не надо, Валя, слез!

— Я уже больше не плачу. Ты не сердись, что я перед тобой расхныкалась. Больше никому, никому не могла бы я сказать. Я ведь тебе... очень доверяю.

Ваня вдруг прижал ее к себе крепко, но бережно.

— Валя, а я ведь тебя... люблю. Ты не догадывалась? Эх, сколько я дум передумал о тебе.

Валя подняла голову. Взгляд одного нашего другой такой же взгляд, полный той чистой страстной нежности, какая бывает только в юности. Желанные губы были близко, но Ваня наклонялся к ним медленно, не сразу решился прильнуть своими губами. Поцелуй давался долго, у обоих захватало дыхание. Казалось невозможным его прервать. Валя первая опомнилась, тихонько оттолкнула юношу рукой в плечо, высвободилась из его объятий и встала. Щеки ее алели нежным румянцем,

глаза так сияли, будто, излучали счастье. Она сама это почувствовала, прикрыла их ладонью. Ваня поднялся смущенный, почти испуганный. Нерешительно и неловко притягивая Ваю за локти к себе, он спрашивал:

— Ты оскорбилась? Ты оскорбилась? Не надо! Я крепко люблю тебя... Люблю до смерти.

Валя прижалась головой к его плечу, засмеялась приглушенным смехом:

— Ну вот и объяснились. Я-то догадывалась... А неужели ты не догадался? Еще тогда... на той вечеринке в клубе... Помнишь?

— Тогда мне показалось, но ты ведь, Валя, красивая... Перед тобой всегда кто-нибудь из ребят на карауле... А я, Валя, гордый человек. Перед женщиной я не желаю унижаться.

Они шли между деревьями, тесно прижавшись друг к другу. Оба знали, что в землянку спешить им не надо. На базе только сторожевая охрана, все соберутся вместе лишь на утренней заре. Теперь же не поздний еще вечерний час. Они оба возвращались с дневной вылазки. Но разгуливать в лесу им было нельзя, и как ни тянуло их остаться подольше вместе, они ускорили шаг. Только еще одним поцелуем обменялись перед первым пунктом охраны землянки. И Ваня шопотом сказал девушке на ухо:

— Всю жизнь... Понимаешь, всю жизнь одну... милая!.. тебя буду любить.

В землянке они, повздыхав над скудной едой, разговорились о смерти. Как лучше умирать, если немцам попадешься: с ехидством, с насмешкой над немцами или с гордостью. Ваня уверял, что смерть с «ехидством» немцам печонку портит, а гордости они не понимают, потому что «скоты беспросветные». Валя настаивала, что гордость благороднее, а насмешки, хотя бы и злые, будто сближают нас с немцами.

— Определенно и твердо надо не обращать на них внимания, когда убивают. Только обязательно крикнуть надо за что умираем, чтобы слышали.

— Так это если при народе, правильно! А если в застенке?

— И в застенке — с гордостью и за что! Пусть запоминают!

Они спорили о том, как умирать, но никогда еще смерть не казалась им такой далекой и невозможной, как сегодня.

## Девятая глава

Жена старости искала прачку для своего тонкого немужичьего белья. Люди сказали, что во всей деревне, кроме старухи Строговой, никто не справится с такой стиркой. Старостиха послала за Дарьей. Захаровна взялась без всяких отговорок, выстирала, выгладила, а кое-что и подкрахмалила. Справилась так хорошо, как и в городе не всякая прачка сумеет. Она видела, как Валя стирала свои белые блузки и единственную нарядную «комбинацию» в кружевах. Платы за стирку стару-

ка не взяла. Отговорилась сдержанно-ласковым голосом.

— Не за что, какой тут труд! Можно сказать, всего и есть, что в руках подержала да сполоснула чуток! Белье господское, не наша дерюга заношенная, об то — все руки сотрешь, пока отстираешь! Если еще когда что понадобится, кликните, сделаю с охотой...

С тем и ушла. Дорогой сердито сплунула, и слюна своя показалась ей горькой. Влезла на старости лет в лисью шкуру! Сама Ульяна так подластиться, чать, не сумела бы. Ничего не поделаешь, надо. Почему надо, Захаровна точно не сказала бы. Но женский изворотливый ум или инстинкт подсказал гордой Захаровне такую шпоровку. Как стыдный грех, как тяжелый крест она ее приняла на себя, пробуя, нельзя ли этим горьким путем дойти до заветной цели: помочь своим. Старостица, конечно, знала, что ее белье стирать много трудней, чем крестьянское. То никаких грубых рук не боится, а это — чуть потянул без осторожности, так и порвал. Не зря другие бабы побоялись, не взяли, хоть иные из них так и лезли в глаза, чем бы услужить. Прекрасная прачка, к тому же — даровая. Жена старосты, несмотря на свою крайнюю молодость, была очень скупа.

— Подходящая друг к дружке подобралась парочка, не гляди, что муж староват, а жена еще, как младенец, вся розовая. Хозяин хапает, хозяйка — крепко бережет. Помирай при ней с голоду, не подаст заплесневелой корочки! Эх, господи, кому война — обнищанье, этим — богатая нажива, — завистливо сказала с них Ульяна.

— Утке — дело ни к чему, что мир утонул, — с глубоким вздохом отозвалась Горбунья.

На удивление обсем Захаровна рассердилась на них за этот разговор.

— Шибко пряткие вы на осуждение, — ворчала старуха. — В ихнее положение тоже надо войти. Худо ли, хорошо ли мы живем, а находимся зрель знакомого народу. Случись какая нуждишка, наперед знаешь — куда пойти кто не откажет помочь, по давнишней дружбе. Да и лихой сосед нам все-таки — свой брат. Ту ли, другую укоротку мы найдем спроть него и без подкupu. А они — чуждалание. Хоть, сказать, немецкая власть за них, сами они — начальники. Но у всякой власти свои пределы есть. Одного — кнутом, а другого ничем иным не покоришь, что рублем. И спроть не пойдет, и дела не сделает, коль не заплатишь. Надо им на эдаких наготове казну иметь, как вы рассуждаете, а?

Ульяна взглянула на Захаровну, широко раскрыв глаза.

— Вроде раньше не заступалась бы ты за такого начальника, который народ обкладывает да обкрадывает. Прямо диву даюсь! Не ты бы говорила, не я бы слушала.

Захаровна сама поняла, что персборщи-

ла в притворном своем заступничестве. Она с сердцем отшвырнула от стола табурет.

— От ваших сплетней да переплетней хоть у кого ум за разум зайдет. Чего без драки кулаками махать? Не мы старосту выбирали, сшибить его с власти не в силах мы! Чего ж разбирать, перебирать про него да еще и про жену его! Добродеея не поставят над нами, стало быть языком зря треплете, горе растравляете. Ну вас!

Старуха быстро вышла из избы, хлопнув дверью. Все на картошках, надо бы и ей пойти помогать. Тоскуют руки без работы. Но быть на народе не в силах она сейчас. Сама не зная зачем, сунулась старуха на погребницу. Вон, все в разор пошло! Лесничка в погребе расшаталась, ступать приходится сразу на третью ступеньку. Как оступишься, сильно расшибиться можно. Петрович когда-то радовался, что не поленился, вырыл погреб глубокий. Если не удосуживались льдом набить, и снегу на все лето хватало. Эту зиму не набивали ни льдом, ни снегом. Некому, да и не к чему. Старуха не велела Настасье при ее увечье в погреб спускаться. Когда случалось в том нужда, сама лазила. Но и самой трудно, нет уж былой ловкости, не молоденькая. Э, да пропади ты все пропадем! Старуха решительно повернулась, захватила тяпку и пошла на картошки. Но на улице, через окно, ее позвала старостица, попросила научить, как тесто затеять на русские слобные булочки. Захаровна пошла на зов. Тесто поставили, еще нашлась работа для Захаровны в старостином доме. Она задержалась там до вечера. А в ее дворе случилось несчастье именно из-за погреба. Настасью третий день трепала лихорадка. К вечеру отпустила, прошел в теле жар, пот прошиб, и сильно захотелось ей чего-нибудь соленого или кислого. Пока не стемнело, Настасья ршилась, несмотря на запрещение Захаровны, спуститься в погреб, достать квашеной капусты. Она помнила, что на первые две ступеньки наступать нельзя. Уцепившись руками за края погребницы, стала шарить ногой третью ступеньку. Как ни старалась, не нащупала даже кончиком ноги, а подтянуться вверх на ослабевших от лихорадки руках не смогла и упала в погреб, обрушившись всей тяжестью на левую руку, в кровь разбила лицо, сильно расшиблась. Горбунья не смогла даже громко крикнуть, только застонала протяжно и глухо. К счастью, стон ее услышал старший мальчик, племянник. Он увязался за теткой к погребу. Настасья строго приказала ему ждать у двери, в погребницу не входить. Он лег животом на порог, следил за тем, как Настасья спускалась. Когда руки ее внезапно исчезли, а вслед за тем послышался стон, похожий на жалобный вой, ребенок поднял страшный рев, в испуге приплясывая около погреба. Ульяна в своем дворе снимала с веревки сушившееся белье. Она опрометью кинулась на крик во двор Строговых. Одна вытащить Настасью, она не смогла, соседей никого не было дома.

С поля еще не возвращался народ. Ульяна кинулась к старосте. Она слышала, как старостица звала к себе Захаровну. Жена старости приняла в беде живейшее участие, приказала Гришке-полицейскому взять кого-нибудь себе на помощь, перенести Настасью из погреба в избу и послать повозку на станцию за русским доктором, служившим у немцев. Пока Настасью, потерявшую сознание, уложили в избу на кровать, приводили ее в чувство, как умели, приехал доктор. Иод, вату, марлю и бинты было строго запрещено расходовать на русских в несчастных случаях. Но доктор все это привез в своем чехмедачке. Он распорядился, чтоб Ульяна увела к себе плачущих детей. Сделать перевязку помогала ему одна Захаровна. Горбунья сильно расшиблась, а в левой руке оказались два перелома кости, к счастью, легких. Доктор заявил, что заберет ее с собой в больницу, пусть немножко полежит, отдохнет после перевязки. На ушибы наложил Захаровна свою целительную примочку. Настасья пришла в себя, тихонько стонала и плакала. Захаровна ласково приговаривала над ней сочувственные слова и тоже неслышно плакала. Доктор некоторое время пристально смотрел на них, потом вышел за перегородку, в кухонную половину и сердито позвал:

— Хозяйка!

Захаровна бросилась к нему. Доктор сам притворил за ней дверь в перегородке и улыбнулся, глядя прямо ей в лицо. Был он ростом невысокий, щупленький, видом sereneкий, неприметный. Но улыбка у него была прекрасная, открытая. От нее сразу похорощело незначительное лицо его с мягкими чертами. Он протянул руку Захаровне и раздельно, негромко прокричал:

— Щенок у матери лаять учится!

Захаровна так растерялась, что в его протянутую руку не вложила своей. Он сам взял ее правую руку обеими своими и, так придерживая, подвел к скамье, опустился рядом с ней.

— Все в горячке, мать! Не надо теряться прежде всего, никогда не надо теряться в нашем положении, Захаровна. Я должен был послезавтра найти повод повидаться, а судьба сегодня привела меня к вам. Успокойтесь, хорошенько слушайте, я не могу долго у вас задерживаться. Дочь здорова, вполне благополучна, шлет горячий привет. Лично появиться здесь для нее в настоящее время нет возможности. Она горячо любит и глубоко верит своей матери. Каким образом вышло, что вы в такой чести у старости: от него за доктором приехали?

— Ох, господин, не знаю, как вас звать, величать! А я сижу, чисто меня обухом по голове кто хратил! Тоже никак не возмущу в соблазнении. Извиняйте, я тоже спрошу: каким образом с такими словами.. с непонятными, сказать, словами, отнесся ты ко мне? Вы господин образованный у немцев на докторской службе. Стало быть, снх к вам с доверьем?.. Ничего я в толк не возьму по своей сарсоти..

Доктор тихонько засмеялся.

— Выходит, по одинаковой причине мы с вами добивались лестного доверия. Но беседовать нам долго нельзя. Общим нам доверие.. не весьма глубокое. Так вот: дочь верит вам, также и ее товарищи.

Он снова взял и крепко пожал морщинистую руку Захаровны.

— Так вот какое поручение.. Сегодня у нас понедельник? Я должен был увидаться с вами в среду, не позднее, чтобы вы приготовились к пятнице. Утром рано, в пятницу, трюль рассветает, чтобы можно было только разглядеть друг друга.. На утренней заре будьте у кривой березы за мостиком. Там в кустах трое будут ждать вас. Вам ничего не надо им говорить. Да там один будет в лицо известный вам, и он хорошо знает вас. Так они спросят у вас: «живности какой не продашь, бабушка?» А вы, что хотите, отвечайте. Важно, чтобы вы признали, что эти трое — те самые, с которыми вам договориться надо. Доктор быстро поднялся.

— Я пришлю вам разрешение навестить больную. Тогда, если вам от меня что-либо понадобится, найдем возможность несколькими словами обменяться тайно.. Да! Мне верьте! Вы осторожны, это очень хорошо. Но не впадайте в трусливую подозрительность. Заранее все предусмотреть, как войти в связь с населением, в данном случае с вашей деревней, в настоящее время нет возможности. Вот надо бы вас предупредить, что именно я заведу с вами разговор, — не было возможности. Тем и трудная борьба наша, что всегда есть риск. Это не значит, чтобы вы всегда доверяли, когда явятся к вам по непредусмотренным обстоятельствам, по случайности. вот как я. Ну, тут вам пусть может ваша чуткость и житейский опыт! Это трудно молодому, а старому..

— Тертому калачу, как сказывается, — вставила, просветлев лицом, Захаровна.

— Да, да, вот именно.. такому легче разобратся. Будьте здоровы! Соберите пострадавшую, сейчас пришлю за ней. Разрешение навестить завтра пришлю.

Он еще раз улыбнулся своей хорошей улыбкой, крепко пожал руку Захаровне, ослепел зорко через окна улицу и двор и ушел. Чуть помедлив, Захаровна вышла следом за ним, во дворе, через плетень, поклжала Ульяну. Та сейчас же высунулась из окна своей избы. Значит, в своем доме находилась. Ее доглядчивости больше всего опасалась Захаровна. Ульяна отозвалась раздраженно:

— Ладилась помочь, да чуть новой беды не накомутала вам. Ребятешки-то неслухи! Набалсвали вы их. В охотку с ними забавиться вам, вековуша да бабушка без сарских внучат! Забирай от меня их поскорей, пожалуйста. Развяжи руки!

— Чего ты взбеленилась? — войдя к Ульяне в дом, спросила Захаровна. — Что уж правда, мы не люди стали, что никому не жалко нас? Чать, не больно умолилась, чутко присмотрела за ребятами.

— Чуток! С чужими детьми водиться, сдиг миг наживешь не спасибо, а горькую обиду. Самовар поставила, думала, доктор

чайку, может, потребует. Тебе от Настасьи некогда, а у меня думка была: я спроворю, чайком угощу да насчет своих ног посоветуюсь. Тяжелые стали, жилы шибко набрякли в них. Слышь ты, самовар скипел, пар во-сю, а Ванятка взял да крант отвернул! И как не обварился, как успела я подхватить мальчишку... Да, а как ты доктора-то одного в избе кинула аль он послал зачем?

— Господин доктор ушел...

— У-ушел? Куда же это? Как же я проморгала! Ой-да, с Ванькой занялась, свое дело упустила, а ты... «чуток!» Уехал?

— Нет, по деревне пошел, вроде к старосте. Настасью велел в больницу собрать. Ну пошли домой, мои милые. Пойдем бесчастные! Все-ем-то вы поме-еха. Никто вам не рад без родимой матушки. Сиротинки мои, голубятки без гнезда!

Приласкав детей, Захаровна одного взяла на руки, другой привычно ухватился за ее юбку.

— Стой-ка, ты, стой! Сказываешь, к старосте?

— Вроде туда в направлении. А верно не знаю. Не станет мне докладываться, куда идет.

— Добегу-ка и я до старосты. Попытаюсь там добиться совету от доктора. Выходите скорей, я избу замкну.

Не легче ли в тюрьме сидеть, скованным болезнью на одре лежать, чем поднадзорным и бесправным на вольном свете жить? Вон, вот он, лесок, близко, куда надо зыгаться к знакомой кривой березе на утренней зорьке в пятницу. Рукой подать! А как добраться до него без вреда не только для себя, а и для тех, кто таится там? Ведь по своей земле ходишь, словно конь, стреноженный путами!

Целые сутки после разговора с доктором Захаровна жила такой напряженной внутренней жизнью, в мире своих мыслей, чувств, моральных требований своего человеческого существа, что весь внешний мир вещей, действий, обыденного общения с людьми казался ей нереальным. Она по привычке правильно делала все, что требовалось в тот или другой момент ее теперешнего бытового уклада, но все это делала как во сне. Как будто она видела себя в своих действиях со стороны и только подтверждала: да, да, так надо, теперь вот это сделать. Под предлогом, что ей часто приходится уходить из дому на поденщину к старосте или к соседям на-помочь, а малые дети, пока Настасья в больнице, остаются в ее избе по целым дням одни-одинешеньки, старуха упростила одну добродушную многодетную женщину взять на несколько дней никаноровых детей в свою семью.

— Тебе уж заодно, как наседке с цыплятами, с ними короводиться. От своих податься нельзя со двора, а эти промеж твоих будут. Своим подзатыльник, и этим отвесишь для порядку. Своих приласкаешь, пожалеешь и сирот из милости. А хлебушка, пшеница, лучка и картошки для них я дам. На пищу для них не будет твоего расходу, только поблуди за малыми деньков

пять, бога ради, не откажи в такой милости!

— Да уж так! Мы друг за дружку, бог за всех, — певуче согласилась женщина. — А прокорм принеси. Рада бы душой и это уделить, но нет возможности, своим в обрез.

Захаровна привела детей, принесла и обещанное питание для них.

Жене старосты кто-то сказал, что в ее положении хорошо пить козье молоко. За козой дело не стало, а хлопотливый уход за ней как-то все не налаживался. Старостихе казалось, что работницы худо пасут козу, мало дает молока. Прямо не приказывала, а раза два закидывала намеки, не поможет ли Строгова и в этом деле, не возьмет ли на себя заботу об их козе. До сих пор Захаровне удавалось такие намеки отводить безнаказанно, поспешив с каким-либо иным угождением. Теперь Строгова сама предложила старостихе:

— Доверьте-ка вашу козу мне. Катькой, что ли вы ее кличете? Скучно глядит она, правда ваша, Мария Казимировна!

Они условились, что Захаровна ежедневно будет гонять козу за село, на вольный корм, в определенные часы во дворе выдаивать, прикармливать, одним словом, основной уход, на некоторое время, возьмет на себя.

— Самая сласть для них — листочки с кустов. Вот кабы в лес гонять, а то до реки — тут огороды, за ими кусты все чахлые, с другого концу — поле вспаханное, — говорила Захаровна.

Старостиха вышивала ворот и рукавички у детской распашонки, готовила приданое ожидаемому ребенку. Лицо у нее было задумчивое, нежное, все пронизанное добрым светом. Услышав слова старухи, она подняла голову от работы и замурилась.

— А, что же, в лес? Разве это вам трудно будет? По-моему не так далеко.

— Какая даль, коль в ближний брод али по мосту, кой теперь через речку навели, а вплавь ведь с такой животной не сунешься...

— Зачем же вплавь, когда мост есть?

— И мост, и брод... — голос у Захаровны пресекался вдруг, — козе вашей можно, а на меня — запрещение. Не разрешается русскому населению. Объявлено: стрелять станут часовые...

— Зачем же стрелять, если вы все объясните?

— Не умею по-немецкому, чего там на-объясню я? В меня пальнут, зацепить могут и животную.

— Распоряжение мы, конечно, сегодня же отдадим. Ну что? Я вам говорю, не пальнут. Вот не думала, что вы такая трусиха. Во время войны надо привыкать и к настоящей опасности, а вы...

— Сколь не привыкай, а все умрешь в первый раз. Оно и боязно человеку, чтоб не зря! Ну-к что ж, стало быть, завтра погону в лес.

В словах крестьянки, во внезапно дрогнувшем ее голосе, что-то показалось не-

приятным старостихе. Она пристально вглядывалась в лицо Захаровны. Но старуха стояла, покорно склонив голову, и в лице ее было одно выражение: тупого согласия на все, что прикажут ей. Старостиха презрительно подумала:

«И эту женщину здесь считают умным и гордым человеком. Действительно, тупой народ!»

Уговорившись, как спозаранок брать козу со двора, не попрвожив хозяев, Захаровна низко поклонилась и ушла. В четверг Захаровна вышла к мосту перед самым восходом солнца, на хорошем свете, и погнала козу прямо через мост. Двое немецких часовых стояли по обоим его концам. Распоряжение, повидимому, было дано, ее пропустили без особых вопросов. Только один из часовых, вставляя в немецкую речь ломаные русские слова, помогаая речи жестами, достаточно вразумительно велел ей в следующий раз на мосту с козой не путаться, а перегонять по мелкому месту в некотором отдалении от моста, но на виду у часовых.

И в пятницу, гораздо раньше, чем накануне, подошла старуха с козой к броду. Противоположный берег был еще весь окутан предрачевенной мглой. Но, и не видя его, старуха знала, где какой куст стоит, где юные березки, недавно в рост вошли, где старый дуб помолодел в окружении собственных отпрысков, дубков молодых, где верба, где ольха, где ветлы над водой, где яркая рябина дозреет к зиме. Все здесь — свое, много лет известное во всех своих ежегодных изменениях. На берегу Захаровна помедлила, поправила привязанную за спиной небольшую котомку и придержав козу левой рукой за веревочный ошейник, правой перекрестилась на восток, потом захватила ею подол одежды, обнажив ноги до колен, и ступила в воду, потянув за собой упиравшуюся и заблывшую козу. Слева призрачным темным видением обозначился мост и солдаты на нем. Дальновзорким старческим взглядом Захаровна разглядела, что на мосту сменялся караул. Оттуда стали в нее вглядываться только тогда, когда слышали плеск воды от ее движения и плачущее бляение козы. Один было крикнул сердито:

— Э, рус, халь!

Но другой, разрешительно и размашисто махнув рукой над перилами моста, прокричал какую-то длинную немецкую фразу, после чего пятеро немцев, находившихся на мосту, громко захохотали. У старой женщины сразу набрякли скулы, в нитку стяннулся крепко стиснутый рот. Такая старая ненависть полоснула по сердцу, что Захаровна с трудом перевела вздох. О, как терпеть, как дотерпеть, слыша явно издевательскую иноземную речь и здоровенный хохот неприятельских солдат, как злая нечисть хохочущих здесь, на речке родной, воды которой с малолетства поили, обмывали, покоили на струях своих во время купанья в летний зной здешний истари строговский рзд, теперь — запретной для потомков его?

— Всей речки нехватит, — думала старуха, — чтобы отмыть с них кровь, ими прелитую! Пропитались той кровью до самого черного сердца своего, а у них и душки нет про то! Знай, хохочут без жалости, без стыду! Была б птицей-орлицей, взвилась бы, вкопталась хоть одному в морду хохочущую... Да стой ты, проклятая, тянет как, чуть не уронила меня! Здесь, что ль, в кустах, к речке поближе, привязать назолушко это? Возись, как крепостная, с барской козой на старости лет, людям на смех да и на позор! Стой! Пока развидняет, огляжусь в лесу, а там и к месту... Ох, может ее саму повидать... доченьку. Сказывал доктор, одна-то личность — знакомая...

Крепко привязав козу к дереву меж молодых кустов, Захаровна перевесила котомку со спины на плечо и углубилась в лес.

— Ранний час, а воздух шибко тепел, парной. Дождь будет. Пойду-ка я прямо к мосту.

И только подошла, навстречу, близко-близко от нее поднялся из-под защиты кустов молодой высокий черноглазый паренек в старой серенькой кепке, в зеленой выцветшей сатиновой рубашке, заправленной в поношенные серые штаны. Поднялся и снова спрятался в кусты. Похоже, кто-то другой дернул его за пояс, чтобы не вылезал вперед. Меньше минуты видела старуха милое лицо этого паренька, но почему-то сразу оно запомнилось ей с основным своим выражением жизнерадостности в глазах и в очертании крупного рта с темным пушком над верхней губой. С лаской запомнилось! Иль уж это после придувалось, что весь облик паренька ей сразу, как родной, в сердце вошел? Тут же вслед за ним поднялся другой, рыженький, с неяркими веснушками, знакомый Петька Соколов, брательник снохи Пермьяковых. Протягивая руку, шепромко, но радостно сказал он:

— Здравствуй, бабушка Дарья, как жи... — Спыхватившись, пробормотал скороговоркой:

— Живности какой не продашь, бабушка? — Проговорив это, не ждал ответа Захаровны, быстро дальше заговорил.

— Я к речке подползал, видал, как ты в брод переходила. И вот, бабушка, еще темно: вроде ты и вроде не ты! И кофту эту твою сколько раз видал и платок повязанный, как всегда у тебя. Но смутила меня коза! Если, думаю, нам гонит, так что же она сдурела, что ль? Уж простите, вот как неужайтельно подумал про вас. Ведь блеет, вниманье привлекает. Еще бы поросенка визжащего!.. Где же та коза? Как же это — на мосту охрана, а коза блеет со всем старанием...

— Он и нас этой козой смутил, — проговорил, подходя и протягивая старухе руку, первый, ладный паренек.

— Верно. Ну сердитесь — не сердитесь, сами понимаете, — подхватил третий, тоже незнакомый юноша, — надо тихо, а тут — блеет. Еще не знай, кто хуже: поросянок живой или...

Захаровна пожимала им руки и улыбалась, и слезы у ней лились и лились из глаз. Так сразу размякло настрадавшееся в ожесточении сердце, так внезапно душа отдохнула в забытом уже чувстве умиления, что долго не могла она остановить поток этих счастливых облегчающих слез. Она, всю жизнь скупая на слезу, высокая сдержанная старуха, стояла перед ними, присутствовавшими, ставши, как будто ниже ростом, с расплывшейся жалобной улыбкой и залитым слезами лицом, измученная, старенькая мать! Стараясь совладать со своими дрожащими губами, она еле выговорила им всем в ответ:

— Это коза не простая, заговоренная... Нету, нету-ка, я ее далеко привязала, сюда не наведет... А заместо поросенка салца свиного... да вот еще солонинки хорошей, крепкой... уберегла... уберегла, захватила для вас, голубятки мои. Покушайте, сыночки, родные вы мои, подзакусите, дорогие!

Она принялась поспешно развязывать котомку, но руки плохо повиновались ей. Петя Соколов освободил ее от котомки, придерживая за локоть, провел через кусты в ложбинку под древним дуплистым дубом. Принесенной провизии юноши обрадовались, они были голодны, пять суток в разведке. Что взяла с базы, все подьели, хоть и сэкономили еду, но на базе снова — скудны запасы. Может быть товарищи за время их отсутствия раздобылись провиантом. Надеждой на это подавляли они свой голод, а вот неожиданно здесь подкрепились. Они ели и говорили. Старуха, придерживая рукой сильно колотившееся сердце, сидела около них, напряженно слушала, стараясь не выронить из памяти ни одного слова. Незнакомые два юноши назвали ей свои имена. Паренек, которого Захаровна первым увидела, был Ваня Пантюхин. С ним у нее произошел особый, глубоко взволновавший обоих, хоть и короткий разговор. Вся беседа, из осторожности, недолга была. Условились, чтобы Захаровна слушала ночью: не раздастся ли взрыв. Должен в эту ночь с шоссе на дороге по проселочной, через мост, пройти на железнодорожную станцию немецкий эшелон. Ну, а им надо постараться, чтобы он через мост не прошел. Им, вот этим троиц, задание — мост! До него и после него — работа для других. Надо, чтобы этой другой работы не понадобилось или было облегчено нападение на хвост эшелона. Всего этого юноши Дарье не рассказывали. Они просто объяснили ей, что если будет взрыв, ей надо выжидать нового сообщения. Если взрыва почему-либо не произойдет, пусть опять пригонит свою козу в лес, но связанного от них найдет уж не здесь, а правей за Сысоевской мочежиной. Если никого там не найдет, пусть не дожидается, уходит. Если же ее не пропустят в лес, пусть к вечеру появится у огородов над рекой и помаячит там подольше таким образом, чтоб ее смогли увидеть из лесу, с другого берега.

— Если вас там увидим, значит, наша

связь с вами не обнаружена, а дальше мы сможем на вас, бабушка Дарья, рассчитывать, — сказал Петя Соколов. — Уж придумайте что-нибудь, по какому бы случаю платье поцветастей надеть.

— Так завтра — праздник, Петры и Павлы, — вдруг вспомнила Захаровна, — я на себя и платок большой, цветастый, ради празднику накинута.

— Ну, пускай помогут вам и нам Петры и Павлы, — засмеялся Пантюхин, — Соколов, знакомец ваш, кстати, Петр. Значит, его именины отпразднуете!

Но добавил другим, сухим, серьезным голосом:

— А лучше, чтоб не пришлось вам на именины одеваться. Пожелайте нам успеха на сегодня в ночь!

— А как же это взрыв, голубчики? Самы-то вы не... взорветесь с им?

Ваня ласково обхватил ее рукой за плечи.

— Не взорвемся и не попадемся, мать, мы — умные! А как бы ни было, не даром пропадем. Что Вале передать от вас, Дарья Захаровна?

— А что ж, ее-то... в скорости, так не повидаю я?

— Вскорости никак нельзя, — ответил Пантюхин, как отрезал. Лицо его стало печальным и строгим, словно сразу постарело.

— Ника-ак, — медленно повторила мать и заглянула Пантюхину прямо в глаза твердым взглядом. — Ну так передай, Ваня, дочке моей, что теперь я совсем в одних мыслях с ней. И хоть не с вами вместе в лесу, а все одно с вами вместе. Тоже партизанка, так я число сама себя. И не корю ее, что спрадаю за судьбу ее. Кабы не это страдание, я бы и на свет от стыда за себя глядеть не могла! И кабы Валя теперь, при мне, терпела издевки немецкие, хоть и от смерти в безопасности, все одно радости не было бы в сердце моем, а может, и любви такой к своей доченьке у меня бы не было! Об других-то детях своих я, вроде, прямо забыла. А с ней у нас судьба связана... Одной поручкой связана — не давать немцам у нас царевать. А смерть — и мне, старой, и ей, молодой, все одно предназначена. В нынешней нашей судьбе приходится без боязни, строго с ней встретиться.

— На то вы обе и Строгови, — силясь улыбнуться, проговорил взволнованный Ваня. — Все передам, все понимаю! Время вам уходить. С товарищами прощайтесь, а я с вами пройду... несколько шагов.

Старуха сбинула обоих юношей, они крепко расцеловали ее морщинистые щеки. И сба быстро скрылись за деревьями. Ваня и шагу не шалнул дальше с ней, а просто притянул за руку поближе к дереву, чтобы и головы их были скрыты ветвями. Снизу их заслоняли кусты. Юноша торопился вслед за товарищами, но сразу не нашел слов, какие непременно хотелось ему сказать валиной матери. Он сильно тосковал в разлуке с любимой девушкой. В разлуке — первой после объяснения, длительной и может быть, веч

ной. Увидев валину старую мать, он живей почувствовал, что на свете Валя есть, что недавно еще он целовал ее, существующую, невредимую, и что оба в тот миг верили, что невозможно, чтобы они еще не встретились, не изжили полностью своего молодого любовного соединения. Прежняя жизнерадостность лшль при встрече с Захаровной осветила его лицо. До этого вид его мрачен был. Даже в опасности разведки близ моста он то и дело возвращался мыслью все к одному: зачем встретились, зачем полюбили друг друга, не изведая даже упсительного полного сближения? Зачем на свете живут другие девушки, если ему не суждено больше увидеть одну свою любимую? Хорошо еще раз услышать ее имя из близких, родных Вале уст. Не мог он всего этого сказать Захаровне, да еще в считанные мгновения: надо спешить, не отстать от товарищей. Ему сильно захотелось курить, он беспомощно искал в кармане.

— Чего, милоск? Чего хотел сказать?

— Спички потерял.

— Спички? Ай нет у вас. Горе какое, у меня завсегда в кармане, а нынче не захватила. Завтра обязательно захвачу.

— Завтра... Вот что, мамаша. Я не просто так называю вас... Валя — моя невеста. Мы крепко любим друг друга.

— Милый сын. гожий ты мой, не зря сердце мне подсказало! Она так и обещалась: сама мужа выберу, сама к вам приведу.

— И привела... Приведет! Вместе с ней приедем к вам! Обязательно...

— Да, сыночек дорогой... И названный, а сейчас мне ближе роженного!

— Так вот и будет, вместе явимся! Прощайте. Дайте я поцелую ваши руки материнские, и за Валоу и за себя!.. До свидания! Вместе явимся...

Захаровна не успела опомниться, как юноши вдруг не стало видно за деревьями. А сквозь ветви этих деревьев уж пробилась первые лучи всходящего солнца. Вставал день, трудный день ожидания опасной ночи.

Шел дождь, к вечеру все прояснилось, но, по луне, вновь заходили облака.

И в трудную эту ночь нежданное, давно не ощущаемое душевное спокойствие вдруг снизошло на старуху. Она чутко прислушивалась и со двора и в избе. Взрыва не было, и смятения вокруг никакого не чувствовалось. Занялась серенький, непогожий, но ветровой, бездождный рассвет. Захаровна, собираясь итти за козой, не забыла и две коробки спичек, весь ее запас, положить в карман, и спокойно перебраться в мыслях все о вчерашнем разговоре, о том, что надо сегодня, при свидании с Ваней—ей думалось, что встретит ее именно Ваня, ей хотелось этого — спросить, рассказать, не забыла она и новый узелок с провизией взять с собой в лес... На дворе у старосты тоже никто и ничем ей не помешал. Взяла на веревку козу и пошла вчерашней дорогой через брод. Сегодня с моста даже не окликнули,

а когда сама старуха нерешительно приостановилась, уже войдя с козой в воду, резкий фальцет из часовых прокричал:

— Не стойте! Можьяна, пошел!

Козу старуха привязала спокойно, тшательно, а потом вдруг, всполохом, охватила ее тревога, и сквозз чашу она пробралась поспешно, почти бегом. За Сычевской мочежиной ждал ее не Ваня, а Петя Соколов. Парень был бледен и как будто даже исхудал за одну ночь.

— Беда, бабушка! — сразу начал он, — взрывчатку заложили, все удачно, как заказ, ждем времени поджечь, а на мосту — слышим печальный русский разговор. Не тот эшелон, понимаешь. наших гонят, пленных! Вроде кнут свистит, немец на кого-то русскими словами ругается, и среди наших — задушенный русский говор, отрывочный: то «больно», то «куда же это нас, куда». И женщина заплакала, громко вскрикнула: «Душегубы! Изверги!» Ну как же своих взорвать? И конвой не велик. А все же троиш не отбить! Ванька Пантохин порывался, мы удержали, прямо скрутить его пришло! А продвигались они долго, все какая-то сумятица у вехода на мост была. Ну, тут и светать стало, нельзя дожидаться, чтоб хоть пустой мост взорвать. Уже совсем светло стало, а русских все еще гнали на мост, у немцев какая-то произошла бестолковщина, мешкали с перегоном. Чуть не на полном свету мы чудом ноги унесли! Ванька еще сопротивлялся. Из-за него могли, как куропаток, всех троиш в кустах пристрелить!

— Как же теперь?

— А что же теперь. Кабы кто из жителей шнур подпалил. Нам не подобраться днем. Взрывчатка со стороны села на берегу заложена, в ту сторону глубже мост вдвигается. Кабы с этого боку, мы бы дождались в кустах! А там, знаешь, для людей никакого прикрытия, на свету! Один кустик и есть, где заложено, поджечь не успеешь, не доползешь по открытому месту. Это надо прямо подойти! А часовые чужому человеку разве дадут подойти?

— Ну так оно и сделаем, что прлмо. Я же вот могу! Меня с козой допустят до самого того кустика. Я же знаю его! Ну да некогда рассказывать! Знаю, все вижу, как сделать, знаю! Ты только мне объясни, найду я там чего поджечь.

— Да это ж проще простого — шнур поджечь. Но только, бабушка Дарья, ведь, это на смерть вас посылают...

— Петька! Говори скорей! Все одно, дулом шарить стану, зря пропаду!

Еще солнце не взошло, Захаровна погнала козу из лесу обратно в деревню. Переходя брод, увидела она, что оба часовых сошлись вместе закурить на одном конце моста, на том, что к лесу... А тот, что к селу, более длинный, остался без надзора в эти минуты. Страстное волевое напряжение помогло старухе Строговой. Она не знала, когда отпустила козу, каким образом быстро по броду дошла до куста, но все это проделала быстро и ловко. Козу, видимо, отпустила бережно. Та не заблел-

ла, весело устремилась к близким огородам. Дарья быстро нащупала шнур и подожгла раньше, чем немцы кончили местную раскурку и обратили внимание на противоположный берег. Отбежать только не успела, как ее Петя учил. Старуху отбросило далеко от куста взрывной волной. Она лишилась сознания. Мост был взорван. От этого взрыва пострадал и староста. Дом Никанора находился ближе других к мосту. От сотрясения в нем обрушились кровля и потолок. И старосту и жену его вытащили живыми, но у жены приключились преждевременные роды, и она умерла, не родившись. Когда Захаровна пришла в себя, ее принялись допрашивать. Но не добились ни слова в ответ. Она просто молчала, как глухая, сложивши под грудью руки крестом и глядя суровыми глазами поверх голов допросчиков. Лицо ее с обозначившимися на нем твердыми скулами от крепко сжатого рта оставалось неподвижным, словно каменное, хоть ее и прикладами ударяли, и трясли за плечи, стараясь заставить произнести хоть одно слово. И такая непоколебимая твердость выражалась на этом старческом лице, худом и темном, как икона старого письма, что второго допроса ей делать не стали.

На расстрел вывели Захаровну за село, на то самое место, где начинался взорванный мост. Улик против Захаровны не было, кроме того, что одну ее нашли оглушенной близ места взрыва. Но молодой полицейский Гришка, во хмелю, сам не зная как, в лес попал и там заснул недалеко от дерева, к которому Захаровна привязала козу. Он проснулся, когда старуха ее привязывала, но не выследил, куда убежала Строгова. Сразу же очухался от пьяной одури. А когда совсем опомнился, страшно испугался, что ночь проспал в лесу, где на него могли партизаны набрести. Поэтому он, с запоздалым ужасом, опрометью кинулся в деревню, забыв, наяву ли, во сне ли, примерещилась ему старуха Строгова, привязывавшая козу и быстро исчезнувшая в лесной чаще. Когда Захаровну, оглушенную, люди домой несли, Гришка ясно вспомнил все. Он доложил, что гонялся за старухой по лесу, потерял ее в чащобе, а она тем временем к мосту пробралась, и взрыв, не иначе, как ее рук дело, потому что дочь у нее коммунистка и неизвестно где скрывается. Где же больше, как не с партизанами в лесу? Самому Гришке донос не в пользу оказался, а во вред. Его забрали в гестапо за то, что сведения о дочери не сообщил своевременно и старуху Строгову не задержал в лесу. Захаровну поставили спиной к реке. Как и при казни Зины, народу не препятствовали устрашаться видом смерти, которая грозит всем непокорным русским жителям. Увидев перед собой тесно

сбившуюся толпу, в которой не все были ей недругами, Захаровна вдруг про Зину все вспомнила. Хотела крикнуть, за что умирает, в тех же словах, какие Зина крикнула, но забыла вдруг те дорогие, глубоко ее самое взволновавшие зинины слова, а все же успела сказать свои:

— Коли я, старая, не боюсь спроть вас, а молодые-то...

Раздался первый залп, старуха зашаталась, но не упала от первых попавших в нее пуль.

От второго залпа упала. Холодеющими устами, уже неслышно для всех, но еще для многих внятно выговорила:

— Не перестреляете всего народу... ча-шего.

Валя тяжело, долго изживала страшное известие о расстреле матери. Она говорила не раз Пантюхину, когда встретились они в своем областном городе после освобождения его от немцев:

— Вот мы вместе! Сейчас на отдых отправляют нас. Месяц или больше не разлучат нас, мужа и жену, опасности, новые бои. Это ли не самое счастливое время для меня? Да, самое счастливое, лучше не было, да и не знаю, может ли лучше быть. А как вспомню про маму, что не узнала она, как я счастлива, так и заболит, заболит у меня сердце. Ох, как тяжело, когда мать умрет без ласки твоей, без успокоения за тебя...

— А ты думаешь, сладко было бы ей, когда б она знать могла, что ты тоской по ней отравляешься...

Валя закрыла ему рот рукой.

— Молчи, молчи, это ты, как мужчина, из эгоизма, что тебе отравляю... Нет, нет, молчи!

Валя крепко поцеловала мужа.

— Я не буду больше... Ты прав, нам еще разлука предстоит... и жизнь всякая, не только счастливая. И ее бы огорчило, что я из-за нее теперь страдаю. Ах, милая, старенькая, седенькая партизанка моя! Ма-мушка незабвенная! Нет, Ваня, я люблю тебя, и жить буду с тобой. Но... не понять тебе моей дочерней тоски. Ты — мужчина. И ты думаешь, достаточно, что я стану только вспоминать...

— У всех матерей удел такой. И тебя твои дети будут только вспоминать...

— Ну, как не стыдно! Я о смерти, а ты...

— А я — о жизни. Ну вытри слезы, взгляни на меня!

— Гляжу, милый, гляжу! — Валя счастливо улыбнулась ему.

Пробыли они вместе не месяц, а целых три. Потом Пантюхин уехал на фронт, в ряды регулярной Красной Армии. Валя осталась в тылу. Ей пришлось готовиться самой стать матерью. И это помогло ей не забыть своей мучительной тоски по матери, но легче, здоровей пронести ее через собственную свою материнскую жизнь.

# СТИХОТВОРЕНИЯ

Н. УШАКОВ



## БЕРЕЗЫ В МАРТЕ

Невнятный день над льдинками  
и голубая тень  
под черными косынками  
берез в неясный день.

К какой далекой гавани,  
как вдовы рыбаков,  
куда они,  
куда они  
бредут вдоль облаков?

Их смутное дыхание  
постичь я не могу.  
Под черепицей здание  
на сизом берегу.

Над шляпкою,  
над мызюю

невнятный сизый свет.  
Какое море сизое,  
а моря-то и нет.

Лишь сизый день над льдинками,  
лишь тень на берегу  
под черными косынками  
берез в седом снегу.

Невнятные, неясные  
бредут они во сне,  
со мною несогласные  
закрыли небо мне.

А голова все кружится,  
и грустно мне всерьез  
от траурного кружева  
вдыхающих берез.



## ЕЩЕ ВЕСНА

Весна, весна! —  
Как деньги тают!  
Как умножаются долги!  
Какие ночи наступают,  
хотя они и коротки!

Какое небо голубое  
глядит на задние дворы!  
Как, кисти завернув в обои,  
ждут приглашенья маляры!

Какие в заводской нарядной  
рабочих слышны голоса!  
Как блещут женщины нарядной  
опять расцветшие глаза!

Как все цвета равновелики  
в своем сиянье!  
И старик  
над сказками Кота Мурлыки  
в изнеможении поник.

Сегодня все, что в нем молчало,  
всплеснулось,  
как девятый вал,  
все  
пережил бы он сначала,  
что некогда  
переживал.



## РОМАНС

Слышу издали голос твой слабый...  
Марсианка,  
отдай его мне. —  
Может быть, мы в эфире хотя бы  
на короткой споемся волне.

Колокольчиков звон беспечальных  
пусть звенит  
меж тобою и мной,

словно сотни колец обручальных,  
ставших струнами арфы одной.  
Как естественна ты, как чудесно  
не желаешь понять,  
что одну  
я повсюду ловлю,  
повсеместно,  
постоянно,  
твою тишину.



## ПАТЕФОН

Привычный путь игла свершает.  
Пластинка —  
больше ничего,  
но голос по миру блуждает,  
он ищет тела своего.

Певица спит в могиле тесной  
под сенью траурных ракии,

а голос старины прелестной  
по кругу черному скользит,  
центростремительною силой  
под сень  
плакучих ив зовет. —  
Как будто этот голос милый  
над черным мрамором поет.



## ЕЩЕ ОСЕНЬ

Паучок летит на паутинке,  
шевелимой воздухом едва.  
Будто на переводной картинке  
синего синее  
синева.

Мир раскрашен чересчур уж резко.  
Как на сцене,  
мир аляповат.  
Вымыты и вытерты до блеска,  
все деревья в золоте стоят.  
Вся природа в золотом и синем  
весь сезон,  
как и в любом году,  
гибнет,  
подражая героиням,  
у всего театра на виду.

Смотрите, что за синева!  
смотрите —  
какая осень!  
Что за благодать!  
Бедняга Фауст  
грустит о Маргарите,  
и денег нет,  
чтоб чорта принанять.

Так в ноябре,  
в один из светлых дней,  
последний лист  
дрожит  
в сплошной лазури,  
а ветки все —  
как мачты кораблей,  
без парусов,  
готовых к встрече бури.



Elegi monumentum...

Семена крылатые и зерна,  
свежие осенние утра:  
благодетельна и благотворна,  
близится  
моей зимы пора.

Ни печалей,  
ни дурных насмешек —  
сине-ледяная высота.

Вот опять летит сухой орешек  
на парящей плоскости листа.

Освежающее утро ясно,  
ночь ушла.

Рассеялся туман.

Я, ей-богу, прожил не напрасно:  
памятник мне — горсть живых семян.

# ЛЕНИНГРАДСКИЕ СТИХИ

МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ



## ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН

Здесь пулковский пролег меридиан,  
Обсерватория вот здесь стояла —  
Спокойное гнездо науки тихой.  
Со звездами, как с близкими друзьями.  
Беседовал ученый, не спеша.

Теперь — пустырь. Как будто ничего  
И не было. Трава, песок да щебень.

Непрошенных мы обратили вспять,  
Загнали в землю черную проклятых,  
Чтоб можно было вновь глядеть нам  
в небо, —

Но жгут нам, жгут развалины сердца...  
Что ж, небывалой силы телескопы  
Мы здесь поставим! Пусть ясней чем  
прежде.  
Светила тайны тайные откроют

Ученым нашим, — но печаль и гнев  
Сжимают горло... —

И приходит гордость  
И говорит: меридианом этим  
Измерено геройство ленинградцев  
И вставших на защиту Ленинграда;  
Черты заветной не превозмогли  
Пришельцев ноги, что весь мир  
топтали!

Край умерщвленный — памятник живой  
Живым героям и героям мертвым,  
Бесстрашия бессмертный монумент!

Так пусть об этом знает шар земной,  
И пусть об этом людям и народам,  
Всю землю опоясав, словно лента,  
Которая пылает нашей славой, —  
Расскажет пулковский меридиан.

## МЕДНЫЙ ВСАДНИК

Где Пушкин и Мицкевич, в плащ один  
Запахнутые дружески, среди ночи  
Стояли в мокрой петербургской мгле  
И говорили те слова, каких  
История для нас не сохранила,  
Где друг Жуковского и друг Брюллова,  
Батрак-художник — честный наш Тарас  
Сидел не раз в раздумье невеселом, —  
Он высится, столетий властелин,  
На вздыбленном над бездною коне,  
Простерший гордо руку над Невою,  
Он, Медный всадник, всемогущий Петр.

Дар Фальконета, Пушкина виденье,  
Немеркнущая гордость Петербурга,  
Как вырос он в прекрасный Ленинград!  
Когда сюда рванулась буря вражья,  
Сметая и уничтожая все,  
Что создавал народный пот и гений, —

Тебя — в труде, в сраженьях —  
ленинградцы  
Бессонною работой окружили.  
От глаз недобрых, бомб и от снарядов  
Они тебя запрятали надежно,  
Укрыли, словно мать дитя родное  
От лихорадок и напастей разных,  
От ветра злого и злодейских взглядов.  
Ты, Медный всадник, что привык над  
миром  
Владычить — бурей окаменелый,  
Был схоронен в немой подземной тьме,  
И слушал ты, как над тобой

скрестились  
В смертельном поединке две стихии,  
Как гром гремит и свищет дождь  
свинцовый.  
Теперь погожие вернулись дни —  
И ты возник в их ласковом сиянье,

Как символ силы, гордости, красы.  
Негрозная позеленела бронза,  
Но те же линии простерты строго,  
И взлет, как прежде, и покой тот самый  
Чаруют взоры. А вокруг идет  
Работа. Плотник саардамский взял  
Топор искусный, чтобы вновь отстроить  
Свой город... Нет! Ведь это ленинградка

Возводит, носит камень и известку,  
Малярничает, починает окна,  
Чтоб город Ленина над миром встал  
В сиянье роскоши невыразимой,  
И дети ленинградские, чьи щечки  
Тень бледная покинуть не успела,  
Пред Всадником попрежнему резвятся,  
Как воробьи...

Бессмертен Ленинград!

*С украинского перевел МАРК ШЕХТЕР*

## СТИХИ

### В. ПОЛТОРАЦКИЙ

★

#### У КОСТРА

День догорел. Чернобородый всадник  
Спустился тихо по тропинке с гор.  
Косая тень легла на виноградник,  
Мы разожгли на берегу костер.

И, подложив под головы шинели,  
Упали на колючую траву.  
Над нами звезды мирно зеленели  
И море было рядом, наяву.

Мы долго шли. В ненастье, без дороги,  
Без отдыха мотала нас война.

Еще гудят натруженные ноги,  
А душу обнимает тишина.

Костер горит, и мы его не прячем,  
И, чорт возьми, не строим блиндажей.  
Все по-другому, все теперь иначе,  
Нам даже воздух кажется свежей.

Не жалуясь, не злобствуя, не споря,  
У огонька, в спокойной тишине  
Поговорим о музыке, о море,  
О звездах... и, пожалуй, о войне.

★

Как странно — сразу за углом  
Увидеть желтый пух акаций,  
Издаেকে узнать свой дом,  
Но подойти и растеряться:  
— Ведь я уже не здесь живу!

И все-таки, как наяву,  
Зеленым детством, летним днем  
Пахнёт в лицо из сада прямо  
И мальвы встанут за плетнем,  
А на крылечко выйдет мама.  
— Как мы не виделись давно!..

Но детство, детство, вот оно —  
Замшелый сруб, журавль горбатый,  
Тропинки чуть приметный след, —  
Колодец наш. Да ведь когда-то  
И я бегу, — совсем юнец, —  
Чтоб заглянуть в глаза колодца  
И горькой мыслью уколиться.  
— Я постарел. Я сам отец.  
И дома моего здесь нет,  
И детства зарастает след...

# АНГЕЛЫ МИРА

Роман\*

АННА АНТОНОВСКАЯ И БОРИС ЧЕРНЫЙ



## Глава 40

По окольной дороге, вившейся среди деревьев тхемали, скакал отряд немецких жандармов и полуэскадрон КДА.

Веселость не покидала Вурцбахера: он сам приятно поработал и молодчики его действовали на славу! Этот комиссар селения Коди был просто смешон. Он грозил! Хо-хо! Еще забавнее оказалось в Асуретах — там богатства крестьян едва уместились в фургонах. Долго будут строптивные черти залечивать синяки. Катринфельдцы, слава богу, остались довольны. Вернул им Тиглера он, обер-лейтенант, в благодарность за полученные от философа золотые часы. Молотьба дала шестьсот пудов пшеницы. А с каким наслаждением Тиглер, походивший на спущенную с цепи овчарку, помчался с колонистами в Серван!

В Самшвилде какой-то Оваким Осипов осмелился кричать, что немцы — грабители... Интересно знать, продолжат ли скот возмущаться на том свете?.. «Превосходно! — скажет фон Гросс, — вам удалось спровоцировать бунт туземцев как нельзя лучше!» И, скрывая удовольствие, подчеркнет в рапорте чистую прибыль — деньги, провиант, оружие!

Обер-лейтенант придержал коня. Как было условлено, перед въездом в деревню у мостика его ждал князь Илларион. Он подскакал к обер-лейтенанту, и они, оживленно беседуя, свернули на широкую тропу. Вурцбахер, помахивая хлыстом, обещал привести в полную покорность бунтовщиков; пусть его сиятельство не беспокоится.

Зазвонил колокол. Деревня встрепенулась. Навстречу князю сбегались крестьяне.

Мать Шахро вынесла на подносе хлеб, соль и кувшин с вином и поклонилась до земли:

— Спасибо, благородный владетель, за добро. Пусть твой приход будет счастьем для деревни. Думала, и Шахро с тобой приедет!

Илларион подозвал адъютанта:

— Распорядитесь, поручик, согнать бунтовщиков! — и, прищпорив коня, поскакал за Вурцбахером.

Гоглик скривил губы и нерешительно сказал столпившимся крестьянам:

— Поздравляю! Князь оказывает вам большую честь, просит пожаловать в усадьбу, — и, взмахнув нагайкой, пустился догонять отряд.

Столпившись на дороге, крестьяне обсуждали: итти или нет? Натэлла отговаривала. Чего ждать хорошего от князя Амилахвари?

Судили, спорили, но в конце концов послушались мельника:

— Если бы князь один пожаловал, посмотрели бы на него, как на солому. А он зачем-то немцев с оружием притащил. Может, нарочно хочет, чтобы мы не пришли?

С широкой веранды, выступавшей во двор, челядь смотрела на стекавшихся крестьян. Старый повар в белом колпаке, качая головой, прицокивал. Он сетовал на народ, который бога забыл и чорта не вспоминает.

И на самом деле, крестьяне вели себя довольно непочтительно. Они громко выражали нелестное мнение о князе, княгине и даже об их предках. Пастух Павле предложил разойтись и заиграл на свирели воинственный напев. Князь Илларион понял: дальше заставлять ждать опасно, и важно вышел на веранду. Закатав рукава черкески, он величественно поднял руку:

\* Часть вторая. Первую часть см. «Новый мир» №№ 10 и 11—12 за 1945 г.

— Опомнитесь! Что вы понимаете в апельсинах?! Сколько знаменитых людей должны вас уговаривать? От главы республики сам эмиссар Коста к вам приезжал! Личный друг Керенского! А теперь против кого подняли голос? Против всеильного немецкого генерала!

Дед Гиви развел руками:

— Князь, пусть двенадцать немецких генералов придут, все равно с голого штанов не снимут... Ты требуешь хлебные подати,—старик стал загибать пальцы, — за семнадцатый год, за восемнадцатый, а немец совсем подобрел, хочет взять и за девятнадцатый, который еще не наступил.

Какой-то пожилой крестьянин в заплатанной чохе протиснулся вперед и не то насмешливо, не то недоумевая, проговорил:

— Твой немец совсем с ума сошел, хочет кушать хлеб, который я, может быть, и не посею.

— А вы чего же хотите? — князь ударил нагайкой по перилам. — Чтобы немцы вас даром охраняли?

Дед Гиви, как бы пораженный неожиданной вестью, снял шапку и перекрестился:

— Уважаемый владетель, царский чиновник меня охранял, ай спасибо! Меншевицкий эмиссар приезжал, говорил, меня охраняет. Ай, еще раз спасибо! Теперь ты говоришь, немецкий генерал тоже меня охраняет... Зачем на одного бедного старика столько охраны!

Крестьяне загоготали. На веранду вышел Вурцбахер, багровые пятна расползались по его щекам.

Грознее зашумели крестьяне. Вперед выступил дед Гиви:

— Князь, пока батони-парламент не скажет, где твоя земля, а где наша, хлеб расти не будет.

Крестьяне повернулись к воротам и, возбужденно переговариваясь, разошлись.

— Ефрейтор! — выкрикнул Вурцбахер, — оцепить деревню! Обезоружить туземцев! Действовать по инструкции номер три!

— Отлично! — воодушевился Илларион, — весь народ возмутил этот деревенский Сократ! Пусть ефрейтор начнет прогулку с его дома, мои люди укажут. А вас прошу к столу, дамы ждут, — и гостеприимно распахнул стеклянную дверь.

Затрубила труба. Послышалась отрывистая немецкая команда. Жандармы направились в деревню, ворвались в дом деда Гиви. Зазвенела посуда, загремела незатейливая утварь, взлетали подушки. Подзадориваемые окриками вахмистра, солдаты прикладами ломали убогую мебель, выбивали стекла и на ходу запикивали в рот куски сыра. Покончив с домом, немцы бросились в погреб. Обшаривая углы, они натолкнулись на кувшин с вином. Тут же его опорожнили. Вино ударило в голову, и тогда с воинственными угрозами они понеслись в буйволятник. Разбросав сено и не найдя в нем оружия, солдаты в бессильной злобе растоптали корм. Молодчик Эрих Вольф из Катринфельда, надрывая глотку, рычал по-грузински:

— Сдать оружие! Меня-то вы не проведете. Сдать! Иначе, как свиней, пережем!

Сброшенный с высокого кукурузника мешок грузно бухнулся и треснул по швам. Посыпались листовки. «Прокламации!», — догадался вахмистр и чиркнул спичкой. В желто-синих языках закружились листки: «Декрет Ленина о земле».

Длиннокосяя Русико, гневно передернув плечами, рванулась к вахмистру. Натэлла схватила ее за руку, с силой притянув к себе, шепнула:

— Стой! Мужчины еще не добрались до леса, они спасают оружие. Наше дело сдержать здесь немцев как можно дольше.

Обшарив пристройки, огород, сад и не найдя оружия, вахмистр, вскинув револьвер, ринулся к длинному строению. На красной доске белела надпись: «Общественный амбар».

Ветер раскачивал тусклые фонари. Низко нависали грозовые тучи, точно кипя в огромном котле, и Шахро мерещилось, будто они наваливаются на казарму. Подгоняемый конвоирами, избитый, обвязанный грязной реанью, брел он через двор. Сейчас снова швырнул он в лицо начальнику караула: рубите палашами, маймуны! Жгите! Все равно сами будете чистить свой немецкий пужник!

Втолкнули Шахро в конюшню, захлопнули дверь. В полумгле тихо заржал конь. Шахро невольно улынулся, потрепал шелковистую гриву друга и тяжело опустился на ящик. Как случилось,

что не к Ладо Абуладзе повернул он сердце, а к князю? Как?!

Из памяти выплыл серый скучный день. Восточная Пруссия. Штабной автомобиль догонял генерала хана Нахичеванского. Но не успел свернуть к речке Алле, откуда-то вынырнули немцы. К мосту подоспели кавалергарды, а с ними Шахро. Видит, в автомобиле князь Илларион качнулся, лицо побелело. Подскакал под обстрелом, вытащил князя, усадил на своего коня и, придерживая в седле, рванулся обратно. А пули осами жужжат над мохнатой папахой. «Гей, гей!», — ударила в плечо острая боль, липкая теплота потекла в рукав. Пригнулся к луке седла, прикрывая князя. Горячий свинец полоснул щеку... «Гей, гей», — слабеющая рука вот-вот выпустит поводья, пришпорил коня и пронесся за валуны. Наконец Инстербург! Штаб первой армии Рененкампа. Проскакал улицу одну, другую, осадил коня перед гостиницей «Черный Орел». Словно парное молоко, льется с потолка электричество, повывскакивали из-за стола офицеры, зашумели. Внес он раненого князя на балкон и сквозь мутный туман видит: какой-то веселый полковник удивленно звякнул ложечкой и сказал странное, а врезалось на всю жизнь: «Пишется каучук, а выговаривается резина!..»

Очнулся и не понимает: окна в снегу или мелом замазаны? А князь Илларион с левой рукой на перевязи согнулся над койкой: «вот, Шахро, сам великий князь Дмитрий Павлович...» Поднял глаза, а перед ним невысокий офицер улыбается: «молодец, солдат, заслужил Георгия! За спасение командира!»

Вот тут крест, спрятан от немцев под изодранной рубашкой.

Князь скоро выздоровел. Да и он, Шахро, тоже стал поправляться. Собирался в часть, а тут вдруг стрельба поднялась... Фронт прорван... Заметались раненые... На дороге пылают санитарные двуколки... Немцы вломились в госпиталь. Князь сдернул с Шахро папаху, нахлобучил на себя, вскочил в офицерский «фиат» и умчался... Едкая гарь горящих медикаментов загнала Шахро в мертвецкую. Во мраке повизгивают крысы, где-то хлопает вода. Обвязал лицо марлей и вырвался на окраину. Много ночей лесом полз по-пластунски, а днем залегал в кустах... пока не доб-

рался до каких-то притаенных дымок. Подполз ближе, видит — русские походные кухни. Повар бранит каптенармуса за плохую крупу.

И снова окопы, снова война. О бегстве князя старался не думать. Даже оправдывал: плен не духан, никто не хочет попасть... А что такое плен, Шахро знает по Загану...

Тяжелые годы остались позади... Грузия! Но почему дома он опять в плену у немцев? Почему снова, как раб, следовал по пятам за князем? Угодливо тащил господское монпансье?

Теперь многое он понял. С детства внушали, что крестьянин обязан повиноваться князю, как старшему брату. Но какой же брат ему князь Амилахвари?

Даже рыжий унтер, и тот над Шахро издевается: «перестань смешить князя письменной болтовней. Благодарение богу, твой господин позаботился о тебе: сиди на цепи, пока на деревьях листья не пожелтеют!» Забыл собачий князь, кто спас его! Молодец Шахро Кахиани — георгиевский кавалер! Жди, скоро тебя голодом прикончат!

К самому горлу подкатывала тошнота, мучила. Шахро рванулся к тугому мешку, схватил зерно, поперхнулся, в бешенстве ударил мешок сапогом. Шумно посыпался ячмень, заблестел в тусклых лучах фонаря. В глазах зарябило красным, синим, желтым. «Монпансье!», — вскрикнул Шахро. — «По прокаженным немцам пли!» Забарабанил в дверь:

«Соловей, соловей пташечка,  
Канареечка жалобно поет...»

Дверь распахнулась, в черном провале вырос часовой. Из-под могильного колапака оскаленная пасть хрипло изрекала проклятия... Шахро отшатнулся. Прокаженный! Полундра! Пли!.. Пли!.. Где он, Шахро?! Нет, Грузия... Это сон!.. Шум реки... тяжелый конский бег... Стоны, вопли... Ворвались в Мемель... Но почему из патронного ящика посыпалось монпансье?! Драгунский офицер вздыбил скакуна, ожег взглядом георгиевский крест на груди Шахро и взвился над лестницей... Где город?! Только над золотым кренделем искры мечутся. Рухнула крыша, стена, высоко над площадью кровать на ножке повисла. Дым, огонь... Уже выбили немцев на Кенигсбергскую косу. вот уже гонят пленных... И вдруг, как из огромной печи, выскочи-

ла безобразная маска, одна, другая, третья... Кони заржали тревожно, пронзительно... Лавиной накатывались черные капюшоны с звенящими колокольчиками. «Полундра! Прокаженные!», — взревел обезумевший матрос, выронил винтовку... Хрипели кони, дрогнули солдаты... «Стой! Куда?!, — опять офицер вздыбил коня: — По прокаженным пли!! Пачками... пли!!». И с саблей наголо пролетел вперед... Оглушительный залп... В дыму маячил смеющийся череп с зеленым огнем в впадинах глаз... Шахро почувствовал, что холодеет, прирастает к земле... И в немецком лазарете на потолке долго кружились в сумасшедшем танце прокаженные, ласково звенели на капюшонах колокольчики... Плен!.. Заган!.. Тифлис!.. Снова плен?! Собачьи дети!! — Шахро вскочил, могучая сила проснулась в нем, он буйно встряхнул головой и вызывающе зашел:

«Раз! Два! Горе не беда,  
Соловей пташечка...»

Звякнул засов. Вбежал часовой, в ярости стукнул Шахро прикладом в грудь. Шахро изогнулся, вырвал карабин и нанес удар. Нелепо растопырив руки, часовой рухнул наземь. Шахро вмиг сорвал подсумки, перекинул через плечо карабин, вывел коня и промчался через двор в темноту.

Где-то позади раздробили тишину выстрелы. «Эгей-гей!», — гикнул Шахро. Конь перемахнул через забор и, высекая искры из булыжной мостовой, поскакал по заснувшему городу.

Бесновались свистки милицейских, остервенело лаяли собаки. Но только ветер развевал конскую гриву да солдатская песня встречала рассвет.

## Глава 41

После ливня над курганом клубились туманы. Всю ночь деревня тревожно прислушивалась к рокочущим потокам и гулу падающих с гор камней.

Крестьяне бесшумно разошлись по домам. Дед Гиви промок до нитки, но был возбужден и по-юношески задорен. Он чувствовал: наступает праздничное время борьбы. Оружие спасено, и ружья будут заряжены. Долго ждать сигнала не придется. Дед с удовольствием затянулся трубочкой, просушивая у мангала полосатые носки. Рассказ о столкновении

у амбара еще больше развеселил деда. Оброненный немцами карабин он подарил старшей невестке, уверяя, что добыча принадлежит ей по праву, и если хорошенько начистить ствол и повесить на стенку, то карабин вполне заметит разбитое зеркало. А бескозырку с немецкой кокардой посоветовал надеть на пугало в огороде, на страх воронам.

Но сыновья не разделяли его праздничного настроения и беспокойно поглядывали на подбитый глаз старшей невестки, на изодранные платья женщин, на детей, тревожно метавшихся во сне, на разоренный очаг.

— А кто верит, что немцы совсем отказались от амбара? — сказал Гиви. — Недаром говорится: повадилась лиса за курами ходить, там ей и голову сложить.

Натэлла тоже плохо спала этой ночью. «Ну, а дальше что? Завтра немцы заберут зерно и обрекут на голод деревню. Против пулеметов бессмысленно махать руками. А к оружию раньше времени прибегать нельзя».

Под утро, однако, все понемногу угомонились и заснули.

И вдруг в дремотную тишину врзался вопль:

— На по-о-о-мощь! На поо-моо-щь! Со... се... ди!..

Крестьяне вмиг очутились за воротами.

— Где? Кто кричал?

— С кургана!

— Васо кричал! С кургана!

На кургане хозяйничали немцы. Отряд Вурцбахера, расставив посты, рубил кукурузу. Солдаты торопливо бросали ее на двуколки и фургоны. Курган становился похожим на стриженую овцу. Наверху прогуливался Вурцбахер, дымя сигареткой.

Дед Гиви и сельчане бросились к фургонам, крича, что их обществу поручена охрана урожая, что это земля солдата Шахро, что кукуруза выращена его грудами. Народ прибывал и прибывал с криками, проклятиями.

Вурцбахер выплюнул сигаретку:

— Молчать! Кукуруза принадлежит немецкому генералу и будет взята до последнего зерна! Немедленно разойтись! А иначе... — и выразительно постучал по револьверу.

Но народ угрожающе надвигался на курган. Молодчики из катринфельдско-

гс отряда вскинули карабины и дали залп. Крестьяне шарахнулись в сторону, двое упали: седой дед и веселый пастух Васо. «Вай-ме! Вай ме-е!..», — завопили обезумевшие женщины. На немцев посыпались камни. Свистнули кнуты, и немецкие фургоны, доверху нагруженные кукурузой, понеслись к дороге.

Вурцбахер под охраной колонистов направился к коляске. Но перед ним выросла плотная стена людей. Вурцбахер до крови кусал губы; у этих негодяев, предупреждал князь, наверное, запрятано оружие. Разбойники подпалят усадьбу вместе с генеральской кукурузой и укокошат не только светлейшую, но и самого Вурцбахера. Надо просить фон Унгерна направить сюда вторую роту регулярных егерей, — колонисты хорошие парни, но еще мало обстреляны. Генеральскую добычу он должен доставить в Тифлис, иначе, к радости плута Тиглера, фон Гросс окончательно взбесится.

А дед Гиви, дерзко стал перед коляской:

— Грузинская земля видела много врагов, но они из века в век получали достойное угощение.

Вурцбахер хотел разрядить в грубияна револьвер, но внезапно дед сжал его плечо и обнажил кинжал. Вурцбахер юркнул в коляску и пригнулся. Кони пснеслись. Дед Гиви метнул вслед кинжал. Лезвие скользнуло по щеке Вурцбахера. Он прильнул к кузову, беспорядочно стреляя из револьвера. Кони мчались по дороге, обгоняя фургоны с кукурузой. Пыль столбом вздымалась за подпрыгивающими колесами.

Деда уже трудно было удержать. Подняв упавший на дорогу кинжал, он понесся к усадьбе, увлекая за собой толпу. Закрытые ворота остановили крестьян, потрясающих кинжалами и топорами.

Напрасно Гоглик умолял князя не показываться «черни». Илларион имел опыт. К тому же древняя стена вокруг усадьбы выдержала не одну осаду. По каменным ступенькам он поднялся на башенку над воротами. Внизу по одну сторону стены, как волны, бушевали разъяренные крестьяне, по другую — метался Гоглик с побелевшими губами:

— Умоляю, спуститесь! Бедная княгиня Саломэ! Чорт возьми этих немцев, удрали, когда не надо!

Увидев Иллариона, толпа взревела еще дружнее.

Князь, придав лицу скорбное выражение, поднял руку.

— Что за шум? Что случилось, добрые соседи?

— Ничего не случилось, добрый сосед, груши в лесу поспели, — насмешливо ответил князю дед Гиви.

Илларион наблюдал, как слуги подтягивали к воротам бревна и торопливо заряжали ружья. Командовал ими повар, с ножом в руке и в фартуке похожий на мясника. Илларион выдохнул колючки дыма и облокотился на барьер:

— С чем пожаловали?

— Ты зачем, щедрый барин, чужую кукурузу даришь?

— Что-о?! Кто дарит? — крикнул Илларион с напускным возмущением. — Безмозглый осел! Что ты понимаешь в апельсинах!.. Проклятые немцы хотели разграбить не только амбар, но и всю деревню! Кто вас спас? Я! Кукурузой их отвлек и вот за это спасибо получаю?

— Почему своей не отвлек? — выкрикнула Натэлла. — Не верьте, люди! Лжет ищачий сын! Нарочно Шакро в тюрьму бросил, чтобы украсть кукурузу!.. Привел немецких шакалов, потому что сам шакал! Люди, а ну напомним его сиятельству декрет Ленина о земле! Покажем, как мы умеем оборонять честь! Разбивай! — и первая бросилась на ворота.

Крестьяне с проклятиями навалились на дубовые бревна.

Князь изумленно посмотрел на осатаневшую Натэлла и рванулся в дом. Гоглик в полумгле набрасывал на двери и ставни засовы и щелкал ключами. Князь бешено вертел ручку телефона:

— Тифлис! Тифлис! Алло! Дайте штаб! Скорей! Министерство! Чорт возьми! Алло! Алло! — И вдруг отшвырнул трубку. — Мы погибли. Разбойники перерезали провод.

Искаженное лицо Иллариона не понравилось Гоглику, он с жаром зарядил двухстволку и властно протянул ее князю:

— Ваше сиятельство, отступите пока в подвал, я скоро вернусь! — и, ощутив неимоверный прилив сил, юркнул в дверь.

Едва живая Манана дрожала в автомобиле. Чемоданы Глафира уложила тотчас же, как только в усадьбе показался Вурцбахер. «Береженого бог бережет», — приговаривала камеристка, бросая ~~вещи~~

в саквояж. Манана согласилась: от огня подальше. И радовалась, что предусмотрительная Глафира задержала автомобиль, присланный за ними фон Гроссом. Опустив густую вуалетку, княжна вздрагивала при каждом гневном возгласе, но выехать не решалась, пока не появился Гоглик и не приказал шоферу завести мотор.

Слуги на миг распахнули ворота, автомобиль пронзительно завыл и выкатился из усадьбы, наезжая на крестьян. Повар подхватил большое бревно и, натужившись, подпер им створки захлопнувшихся ворот. Дворня князя приготовилась к долгой осаде.

Пастух Павле и старый пчеловод Ило подкатили под колеса автомобиля камни. Шофер упрашивал, умолял. Он-то тут не при чем. Его в Тифлисе ждет жена. Он всех приглашает к себе на сациви. Но толпа шумела, теснее окружая машину.

Холодные мурашки забегали по спине Мананы, она вдруг вспомнила Марию-Антуанетту и, испуганная, припала к Гоглику. Поправив кобуру, адъютант воинственно выскочил на подножку:

— Друзья, светлейшая здесь—гостья. Захотела — приехала, захотела — уехала. Не стоит нервничать! Разве она была к вам невежлива?!

— Как и вы все, дворянская шайка!

— Это я-то — дворянская шайка? Мой отец имел двух баранов и то полосатых.

Крестьяне загоготали.

— Ошибаешься! Отец твой только одного имел. И этот баран сейчас повернет обратно с автомобилем в усадьбу.

Гоглик изумленно таращил на Натэлла глаза. Молодежь совсем развеселилась. Валико в шутку стрельнул из берданки вверх. Манана истерически завопила.

— Отпустите, ну их к ангелам! — сказала Русико.

Гоглик благодарно козырнул девушке:

— Клянусь, я только провожу и сейчас же обратно.

Женщины зароптали, требуя отпустить красивую княжну. Манана перчаткой жалобно вытирала слезы. Одна только Натэлла кричала, что волков бьют в берлоге, а не пускают кусаться на свободе. Но ее никто не слушал. Дед Гиви махнул рукой, толпа расступилась, и автомобиль вынесся на шоссе.

Дед Гиви уже остыл, он понимал, что

без оружия нельзя взять усадьбу. Да и во-время вспомнил строжайший наказ Ладо — не начинать восстания раньше срока.

Огорченная Натэлла, скрепя сердце, с ним согласилась. Надо ждать сигнала. Но следует немедленно послать в Тифлис старшего Хундадзе, пусть подробно расскажет о случившемся и настаивает на присылке дополнительного оружия и опытного командира. Не сегодня-завтра нагрянут немецкие карательные отряды.

Оставив у ворот заставу с двумя берданками, крестьяне разошлись по домам.

Это утро Шакро провел в лесу, скрываясь в густых кустарниках, неподалеку от шоссе. Мимо него, охраняемый немцами, прошел обоз из фургонов, нагруженных кукурузой. Шакро почуял неладное и выбрался на высокое плато. Отсюда он увидел солнечную ложину и утопающую в садах деревню. Там Натэлла. В синей дымке возвышался курган, где зрела его кукуруза. Шакро пристал на стременах и гикнул.

Он нагнал вехал на курган и осадил коня. На оголенных склонах торчали кукурузные колышки, тянулись следы сапог. На миг Шакро замер, провел по глазам ладонью: так вот чьей кукурузой был нагружен немецкий обоз!

Он тяжело поплелся по кургану. Конь покорно брел за ним. Под ногой что-то захрустело. Шакро поднял початок, бережно снял нежные листочки и вдруг с силой сжал. Словно слезы, одна за другой на землю попадали зерна.

Первым, кого он увидел в деревне, был дед Гиви. Старик внимательно осмотрел его лицо, посиневшее от кровоподтеков, и добродушно покачал головой:

— Э, дорогой, поехал за керосином, а привез фонари! — Потом виновато погладил гриву коня: — Шакро, что делать, твою кукурузу князь Илларион немцам подарил!

Вокруг них быстро собрались крестьяне, радостно встречающие Шакро. Из толпы ласково улыбнулась Натэлла. Но Шакро отвернулся от нее:

— О чем думаете?! Сидите тут, с князем возитесь! О керосине беспокоитесь, кукурузе. А не видите, что с нашей родиной немцы сделали! Если вы мужчины — за оружие!

— В чем дело, Шакро? Уехал меньшевиком, приехал умным. Об оружии не

беспокойся! Найдем! Только вот командира нет... А конь у тебя как раз подходящий! — и дед Гиви хитро подмигнул Натэлле.

## Глава 42

Гоглик наслаждался ласкающей надписью:

«Тифлис—Батум»

Он суетился, перекаладывал коробки, швырнул в сетку букет, поправил на диване чехол, метнулся в коридор, где сунул проводнику в карман смятые боны, умоляя оберегать княжну; боже сохрани, чтобы где-нибудь не осталась на станциях.

С ужасом вспоминал Гоглик путь от деревенского кладбища до тифлисского вокзала. Это вовсе не походило на увеселительное катание с очаровательной дамой. Княжна то и дело, от толчков, подпрыгивала, отдавливая Гоглику начищенные сапоги, судорожно цеплялась за китель, стонала, требуя свернуть в лес, укрыться в дупле или в камнях. В результате вся рука Гоглика в синяках. Вот, пусть Датико полюбуется.

В городе Гоглик предложил залететь к фон Гроссу проститься: неудобно, еще обидится. Но княжна гневно топнула ногой по сапогу Гоглика: пусть сам Людендорф позеленеет от обиды. С нее довольно воздушных замков над Курой! А если ей непременно суждено быть принцессой, то лучше она будет принцессой устриц или никелированных кроватей. Спокойнее и комфортабельнее. За этим она и едет в Америку.

— Заташили в адово пекло, аспиды египетские! — подхватила Глафира. — Тут тебе и принц немецкий, и трон грузинский, и родство с бардадымом-кайзером, и мощна с золотом, а на деле яичница без яиц! Только и знаешь, прости господи, что в чемоданы иконы запихивать... Нет, уж лучше пусть княжна испробует банан в Нью-Йорке, чем кукурузу в Тифлисе.

Поезд умчался, виляя зеленым хвостом вагонов! Адьютант был счастлив, он неожиданно для себя обнял дежурного по станции и приволок его к буфетной стойке. Велел откупорить замороженную бутылку «Эра» и заставил дежурного и буфетчика чокнуться с ним за свое освобождение из райского исправительного дома.

— Понимаешь, — кричал он, — кавказский пленник на свободе! Датико, где ты?

И помчался через зал к ожидающему его автомобилю.

Увы! Датико дома не оказалось... Гоглик понесся к Саломэ сообщить об осаде усадьбы. Но и княгини дома не было. Наверно, у своего мавра, сообразил Гоглик и полетел к фон Гроссу.

Через минуту Гоглик несся по Головинскому. Сегодня в «Аноне» новое кабарэ и все общество: депутаты, министры, начальники, офицеры, ангелы мира и прочие черти — все там.

Ярко разрисованный сводчатый зал был опутан серпантинном. В воздухе качались разноцветные шары. Огромная афиша кричала:

— «Синяя жаба» — песенки Вертинского. Векальер! — «Быть карасю на удочке». Мировая знаменитость, феноменальный шедевр: таинственный человек аквариума, египтянин Али!!! Песенки Изы Кремер...

— А где же Датико? — взъерошенный Гоглик, не дочитав афишу, бросился в зал. На него зашикали.

Первым бросился Гоглику в глаза Коста, пьющий за искусство свободной Грузии, которое перекликается с искусством французских площадей времен мадам Рекамье!

Гоглик не дослушал тоста. С объятиями к нему спешил Датико. После первых восторгов встречи заказали шампанское.

— Датика, что вы тут знаете об эпохе?! В сравнении с усадьбой Бастилия ноль!..

— Усадьба?! Бастилия?! Гоглик, если бы не я, князь Илларион тют-тют!

— Слушай, Датико, мировое событие! Усадьба Иллариона трещит, как жареный каштан!

— Что?! Трещит?! Какое мировое событие?! Шутишь? Я там свои новые галифе оставил...

Над столиком, занятым фон Гроссом и Саломэ, изогнулся метрдотель с карточкой, переведенной на немецкий. Невозмутимо ознакомившись с меню, фон Гросс вынул вечное перо и старательно подчеркнул:

Холодная свинина. Поросенок под хреном. Шашлык из свинины «Седло». Свинина на вертеле. Свиной окорок с горшком. Свинина по-немецки с гарни-

ром. Свиной бифштекс. Свиные отбивные котлеты. Свинина под соусом Рейн.

Генерал не слушал драматического пришептывания с эстрады Векальера:

...«Ваши пальцы пахнут ладаном»...

Он подозвал Гефтена и многозначительно согнул карточку:

— Вот где тысяча пятьсот центнеров свинины, не отправленной в Берлин! Герр майор, посмотрите на зал: бездельники превосходно могут питаться зеленью! Теперь я понимаю, почему нам не додали трех тысяч центнеров зерна, тысячи восьмисот центнеров сахара. Дефицитные продукты пошли на торты с кремом, их подают всем без ограничения.

...«Ничего теперь не надо вам»...

— Надо принять срочные меры! — раздраженно процедил генерал. — Дайте понять министрам, что немецкий генерал...

...«Поведет вас в светлый рай»...

Наконец Гоглик вспомнил о Саломэ, подлетел и, склонившись, скороговоркой выпалил:

— Княгиня, спасайте князя! Взбунтовавшаяся чернь осадила усадьбу!

Вскрикнув, Саломэ поникла головой к золотому жгуту погона, фон Гросс отодвинулся, грозно оглядел зал:

— Довольно идилий! Когда бессильны доводы — убеждают пушки... — И, подав Саломэ руку, вышел из кабарэ.

Гоглик и Датико застали княгиню дома. Саломэ поздравила друзей с боевым поручением: им надлежит тотчас взять первый эскадрон, — она обо всем договорилась с военным министром, — и отправиться в усадьбу.

Адъютанты обомлели. Воинственные намерения Саломэ не входили в их расчеты. Они решили держаться Головинского проспекта и Ортачальских садов, где всегда можно получить цоцхали — живую рыбу и натуральное кахетинское. Но угроза в случае послушания снять с них аксельбанты всполошила офицеров.

— Княгиня, разве мы о себе думаем? — взмолился Гоглик. — Клянемся сравнять с землей взбесившуюся деревню! Но в опасности драгоценная жизнь князя! Что мы без него? Ноль! Нет, два ноля! По одному на каждого!

— Разве вы не знаете, что бунтующие пейзажи не похожи на карамель, — добавил Датико. — Не успеет эскадрон вплыть в деревню, как чумазные подпалят усадьбу и заживо обжарят князя...

— Тогда поезжайте без солдат! Князь должен знать, что его супруга умеет влиять на Германию... Фон Гросс не только спасет усадьбу, но заставит разбойников возместить убытки.

— Чем, княгиня? У них, кроме жен и собак, ничего не осталось, — поправил кобуру Гоглик. — Стоит ли нас...

— Отправляйтесь и не портите мне нервы...

Через час адъютанты оседлали лучших жеребцов и поплелись замедленным аллюром, но, как нарочно, деревня резвым галопом неслась им навстречу.

Гоглик приподнялся на стременах, разыскал ориентир: дымовую трубу усадьбы, и предложил свернуть в лес на короткий отдых. Не успели они пересечь прогалину, как из зарослей выскочили деревенские парни и схватили шарахнувшихся жеребцов под уздцы.

Офицеры стали наперебой объяснять: они везут поклон от княгини и наказ удовлетворить требования крестьян: вернуть часть кукурузой, а часть деньгами.

Парни изумились: ишь как подобрела княгиня! Но так и быть, не мешает и храбрым вестникам отдохнуть в чулане сельского управления.

У Гоглика, как всегда в опасный момент, пробудилась энергия:

— От нашего отдыха вам ни жарко, ни холодно не будет. Где дед Гиви? Мы должны сделать важное сообщение.

Конвоируемые парнями, державшими берданки наготове, офицеры направились через огороды. Войдя в дом, Гоглик первым долгом осведомился о здоровье Русико.

— Эх, тыква без семечек! С кем хитришь? Говори прямо — зачем сюда приехал? — сказал укоризненно дед Гиви.

— Умоляю, не выдавайте нас, мы решили предупредить деревенское общество о большой неприятности. У немецкого офицера заживает щека, и он поклялся княгине Саломэ сравнять вас с землей. И лавочник Хинтебидзе тоже победителем сюда собирается въехать.

— Выходит, вы спешили обрадовать князя вестью о скорой помощи? — спросила Натэлла.

— Спешили?! Как черепаха! — искренно вскрикнул Датико. — Ты хорошо знаешь ядовитую Саломэ... На аксельбантах грозила нас повесить. Решили сообщить раньше вам, а потом трусливому князю.

— Стоит ли нас задерживать? — добавил Гоглик. — Еще с Особым отрядом неприятности наживете. Джугели тоже терпкая груша и эмиссар не жареный гусь.

Дед добродушно дернул аксельбанты Гоглика:

— Эх, по вашим головам веревка плачет! — и велел преподнести молокососам по кувшину парного молока, а их жеребцам — по торбе свежего сена. — И пусть скачут к скучающему владелью...

В деревне никто не узнавал Шахро, так изменился он: больше не смеялся, смуглые скулы обострились, суровость заменила простодушие. С утра до ночи он озабоченно готовил повстанцев, разоружил местный меньшевистский отряд «Народной Гвардии», а начальника выгнал из деревни. Он собрал парней от шестнадцати лет, разделил по росту и по силе, роздал спрятанное оружие и стал обучать стрельбе. Сельчане отдали лучших коней. Шахро посадил на них отчаянных всадников, командирами поставил опытных кавалеристов, разбросал тайные дозоры. Под его присмотром возводились завалы и укрепления. Затем отправил с курчавым Валико письмо в Тквибули, предлагая углекопам бросить бесцельный труд, снова взять винтовки и гнать с грузинской земли немецких гримл и собственных обманщиков.

Шахро решил подготовить достойную встречу ангелам мира. Натэлла напомнила о приказе бюро восстать одновременно, по сигналу. Она даже требовала выпустить князя Иллариона — может быть, такая мера успокоит немцев иосоотрядчиков.

Но Шахро хорошо знал теперь не только Вурцбахера, но и Амилахвари, и не сомневался в том, что они из кожи вылезут, лишь бы отомстить. Пока еще не поздно, отправить в горные деревни всех женщин и детей. Хорошо бы и Натэлле выехать в Тифлис!..

В ответ девушка только переметнула косу с одного плеча на другое.

Шахро замолчал на полуслове.

Выйдя из депо, Ладо спукался по Вокзальной улице. Он только что вернулся из очередного рейса в Потти. По всей линии идут разговоры о неслыханной наглости немцев. Возмущение нарастает, не сегодня-завтра восстание вспыхнет стихийно. Нужно бурную реку ввести в русло. Шахро—молодчина, сам себя освободил. Жаль, что никакие доводы деда Гиви и Натэлле не помогают, он не желает ждать и яростно рвется в битву. Да и понятно: ненависть к оккупантам так сильна, что простодушному парню трудно удержать себя. Необходимо повидаться с Аратовым, точно выяснить обстановку. «Легион святого Георгия», вероятно, заскучал без сигнала.

— Якорь на суше!

Перед Ладо, точно из-под земли, вырос высокий плечистый кондуктор.

— Матрос! — обрадованный Ладо встряхнул большую загорелую руку, — когда прибыл, дорогой товарищ?

Вавилов оглянулся. Ладо кивнул на духанчик «Корова Пиросмани», и они спустились под темноватые своды. Между сдвинутыми столиками носился мальчишка с подрумяненным шашлыкком на шампурах. В глиняных чашах дымилось чанахи, желтело гоми, а в граненых стаканчиках искрилось холодное вино.

И это вино, перелитое из кахетинских кувшинов, и пятнистая форель, дышащая горячим паром, и потрясающий примитив фресок Пиросмани притягивали сюда поэтов и художников. Чудесным очарованием веяло от живописи Пиросмани. Казалось, настоящее красное вино плескалось в граненом стаканчике, а надломленный чурек и свисающая с тарелки душистая зелень только что поднесены со стойки духана нарисованным кутилам. В их небрежных позах и сочном смехе отражалось веселье карачогели, расплескавших на два столетия солнечную радость жизни.

Ладо пробрался с матросом в дальний угол. Мальчишка притащил им гоми, чанахи, зелень и вино в узкогорлом кувшине. Ладо жадно стал расспрашивать о Шаумяне, о комиссаре Третьей бригады, о многом, что волновало его в Баку. Матрос пододвинул табурет и приглушил голос...

Вдруг Ладо резко обернулся и поморщился.

— ...Вы способны довести поэта до ужасов кошмара. Я утверждаю гениальность рифмы богини любви и рока: Астарта и Карта!

— Окончательное безумие! Геометрический скелет! Настоящий поэт влюблен в плоть земли — Травиату! Но он же, отвергая закоптелую баню с пауками, стремится к танцующей звезде. Итак: любовь Солнца к Вечности—Авиатор! И душа Мира, вечная женственность — Травиата!...

Мальчишка, шаркая чувяками, подлетел к темной нише, где бушевали два поэта, поставил перед бледным символистом полный кувшин с вином и унес пустой.

Матрос еще ниже склонился к Ладю:

— ...С неделю назад пришвартовал я к товар:шу Степану нарочным от Сталина. Ну, в Баку муссаватисты и прочая эсерия кипит, как смола в котле. Ввалился с пристани в зал, а там один кукарекует: «Где у вас силы?!» Тут Шаумян хватил его за гребень: «Есть у нас силы, и мы их используем». А с места правый эсерик тявкает: «Есть?! Укажите где?!» Шаумян потеревил шевелюру и отвечает: «Конечно, не среди болтливых мещан и трусливых обывателей, а в недрах революционного пролетариата, матросов и красноармейцев». Эсерик же забубнил свое...

— ...Вы оскорбляете мой слух! Авиатор и Травиата, это не рифма! Она выскочила у вас из головы.

Символист с профилем эллина вскочил и бросился к выходу. Другой поэт, пунцовый от негодования, швырнул на столик боны и устремился вдогонку:

— Субъективизм!..

— ...«Слова! Слова! Укажите ясно, где вы оружие выцарапаете для обороны города?!» Роба у эсерика, понимаешь, стала наглой, — продолжал Вавилов, шумно отодвинув кувшин. — Ну, тут я не стерпел, вылез на полубак: не об обороне, говорю, калякать, а о вселенском наступлении. Не отдадим Баку иноземным акулам! А кто во мраке сомнения пребывает, пусть шпарит сейчас на товарную пристань и полюбуется, как железная братва выгружает транспорты! И под восклицания я повернулся на сто восемьдесят к Степану и плавно отдаю рапорт: в Саратове грузится для Баку

триста вагонов военного снаряжения, да на волжских пристанях орудия, винтовки, двадцать миллионов патронов. Лично со мной прибыл боевой отряд Петрова: конницы — эскадрон, шестиорудийная батарея, команда разведчиков да бронев-автомобили!.. Тут и поднялась буря: «Что?! Да как?! Да кто прислал?!» А я как громыхну: «Кто прислал?! Из Царицына — Сталин! Снять отряд с фронта дело не легкое, но для Сталина Баку, как моряку море...»

— Аллаверды! — поднял стакан за соседним столиком певец Ваню Сараджишвили.

Машинист и матрос одновременно чокнулись с певцом, весело блеснувшим черными глазами.

Духанчик опустел. Взобравшись на высокий табурет, какой-то человек в грузинской рубашке стал водить кистью.

— Эх, пропащая душа, чуть не забыл, — спохватился матрос, — тебе Ксюша шлет поклон. Ты что краснешь? Она, брат, наша волжанка, из города Самары. Крепкая девица! У нее отец на Краснова братву повел. А яблочко от яблони вот так, недалеко катится, — и схватив с тарелки яблоко, матрос подкатил его к Ладю.

И тотчас из-под кисти на стене вынырнуло алое яблоко, готовое покатиться по нарисованному столу.

Ладю изумленно оглядел странного художника и, расплачиваясь с духанщиком, спросил:

— Кто такой?

— Ба! Почему не знаешь? Мой Пиромани, я его кормлю, он меня украшает...

Уже выйдя из духанчика, Ладю вдруг заинтересованно принялся разглядывать татуированную руку матроса:

— А у тебя что за картинки?

— Память о Сингапуре. Там я юнгой закинул якорь в сердце смуглянки. Веселые денки под кормой прошумели... А теперь — к бою! Я к тебе ведь от Шаумяна.

— Пакет?!

Матрос в ответ выразительно хлопнул по сапогу.

— Понимаю. Остановишься у Канчавели на Черкезовской, а ночью встретимся. Пароль: Нико Абуладзе.

## Глава 43

Всю неделю Петр Александрович был в приподнятом настроении. Собирались у генерала Добронравова, в его особняке. Говорили громко, выражали сокровенные мысли, не боясь быть услышанными. Самые деятельные генералы Плющик-Плющевский, Аратов и Закутовский уже в десять утра трезвонили в подъезд. К двенадцати появлялись серобородый Окунь, поджарый Утинский и выцветший Черномордик. Из младших офицерских чинов допускался только ротмистр Аратов, как человек, весьма полезный своими связями с германской квартирой. Секретарствовал неизменно Черехахин.

Своим правом присутствовать на собраниях ротмистр пользовался без большой охоты, иронически относясь к белой горячке генералов. Прибывший от Деникина гвардии полковник Бабиев тоже не внушал ему симпатии: в языке его отсутствовала буква «р».

Но генералам миссия Бабиева казалась чрезвычайно важной.

— Добховольческая ахмия, сфохмихованная из гохсти хабхецов, — начал Бабиев, играя георгиевским темляком, — пхославленная Ледовым походом, сейчас усиленная казачьими пополнениями и господами офицехами, стекающимися со всех концов беспхедельной хусской земли, хкепка духом и сильна пхезхением к хкаскому вхагу.

После патетического начала Бабиев изложил цель своего приезда. Ввиду быстрого развития военных событий на Кавказе и стремления разнородных сил к захвату бакинской нефти главнокомандующий генерал-лейтенант Деникин предлагает генералам перейти к оперативным действиям. Его высокопревосходительство достиг единства взглядов с английским генералом Пулем, прибывшим в Екатеринодар во главе миссии. И теперь доблестным генералам, находящимся в Тифлисе, предлагается важная роль. Высоко ценя их опыт в руководстве конницей, главнокомандующий соизволил поручить господам генералам формирование Кавказского офицерского корпуса. Сей корпус предназначен в помощь генералу Денстервилю, который ныне во главе группы английских войск укрепляет позиции в северной Персии. Формирование должно проводиться

строго секретно от германского командования на Кавказе и правительства Грузии, продавшегося германцам и беспрепятственно пропускающего в Азербайджан регулярные части турецкой армии. Офицеры, зачисленные в корпус, должны незаметно, предпочтительно спешными эскадронами, пробраться в район станции Белясувар, и в момент генерального наступления немцев на Ленкорань ударить по правому флангу германо-турецких войск. Генерал Денстервиль, поставленный в известность о формировании офицерского корпуса, своевременно подготовит в районе станции Кочах-Кенд соответствующий конский состав, и в дальнейшем офицерский корпус, при очищении Кавказа от всех вражеских сил, разрешит обширные оперативно-кавалерийские задачи.

Бабиев покровительственно оглядел собеседников:

— Хад случаю сообщить о взаимодействии с Денстехвилем: в хезиденцию генехала, в пехсидский гоход Хамадан, пхибыли специально выбханные и назначенные из Англии хусские офицехы. Большинство этих офицехов из гвахдейских полков и многие из гвахдейской кавалехии. Главногокомандующий глубоко вехит, что пхиятые им мехы пхинесут хеальные плоды.

Именно в этот момент ротмистр Аратов закончил рисунок пером. На листке блок-нота Бабиев выглядел котом в сапогах, из-под доломана серебрился хвост лисицы, а вместо носа розовел пятачок.

Генералы воспрянули духом, они снова почувствовали себя на командных высотах... Говорили долго, взволнованно, не замечая томительных летних дней, и возвращались за полночь к своим генеральшам совсем размякшими.

Петр Александрович гордился, что все его предложения принимались собранием почти без возражений. С особым вниманием генералы прослушали его практические советы, почерпнутые им из действий русской конницы на левом берегу Вислы в августе четырнадцатого года. Ему почти удалось стать во главе генеральской инициативной группы, и вдруг — Сергей... Когда речь зашла о том, откуда взять средства для формирования корпуса, — вернее, ядра, так как на тайную регистрацию явилось только триста девятнадцать офицеров и пять земгусаров, — ротмистр Аратов непри-

лично усомнился в возможности разрешения денежной проблемы.

Генералы в смущении уставились на **Бабиева**. Гвардии полковник подкрутил усы, кашлянул и приступил к длинной тираде...

— Позвольте! — оборвал ротмистр красноречие Бабиева, — у меня тоже есть кое-какие соображения, быть может они покажутся вам интересными. У вас список трехсот двадцати четырех, это же живые души. Надо же понять, что двухглавый орел упорхнул из России, возврата к старому нет. Вы, отцы армии, подумайте лучше о трагедии рядового офицера, поставленного сейчас в положение затравленного зверя. Укажите выход из тупика, не принуждайте сынов России таскать каштаны из огня для иностранцев. Молодость и клинки на алтарь отечества!

— Господин хотмистр, не забывайте, что мать наша Хоссия благословила на путь хатный добховольческую ахмию. И хусскому офицеру не к лицу митинговать и хассуждать, под каким соусом вести войну с хкасным пхотивником. Вы должны беспехекословно выполнить пхиказ...

— Чей? — спросил Аратов.

— Главкомандующего!

— А кем назначен его превосходительство?

— Главкомандующим!

— Сергей! — умоляюще выкрикнул Петр Александрович.

— По вековому положению главкомандующий назначается царем всея Руси.

— Но если временно его императорское величество... — укоризненно покачав головой, начал Добронравов...

Но Аратов без стеснения оборвал:

— Итак, у нас сейчас смутное время, так сказать, рецидив. В таком положении каждый сам себе гренадер. А ежели вы блюдете интересы национального возрождения великой, единой, неделимой России, то старайтесь, чтобы ближайшее будущее не принесло вам горькие разочарования.

— Сереженька, сколько вам лет, голубчик? Давненько я не поздравлял вас с днем ангела, — добродушно сказал Добронравов, набивая трубку пряным английским табаком.

— Не так уж много, Владимир Владимирович, поэтому я и понимаю, что самое

страшное для офицера — потеря сердца и утрата патриотизма.

Бабиев все больше раздражался, у него нервно подергивались губы.

В хамаданской ставке Денстервиль принял русских офицеров дружески. Они выполняют весьма полезную работу переводчиков при заградительных пикетах. Многие работают по снабжению. А капитана Брея, русского офицера, англичанина по национальности, генерал даже назначил своим личным адъютантом. Артиллерийские офицеры и частично интендантские, как, например, Степанов и Гурлянд, направлены Денстервилем в Ленкоранский уезд для подготовки военных операций. Им придан взвод английских разведчиков.

— Как видите, господа генехалы, все пходумано.

— Тэк-с, — сказал Аратов, — а почему вы, господин полковник, не рассказали о мытарствах в Персии офицеров гвардейской кавалерии? О страшных переходах по пустыням, которые им пришлось проделать пешком. А для какого беса? Чтобы стать переводчиками у дорожных застав?

Петр Александрович, виновато поглядывая на генералов, нерешительно кашлянул:

— Ведь это только начало, Сергей. К чему такое неверие? Ведь Денстервиль обещал...

— Что? — насмешливо спросил Аратов.

— Как что?! — возмутился Закутовский. — Когда речь идет о том, чтобы иметь хорошо подобранных офицеров и солдат, Денстервиль денег не жалеет.

— Вы думаете? — рассмеялся Аратов. — А вот письмо командующего русской армией в Персии — Баратова, переснятое немецким разведчиком. Баратов держался другого мнения.

И ротмистр прочитал:

«... вот здесь, на земле, перед вами лежит мертвое тело. Чье оно? Это тело России. Разве у вас нет для нее слез сострадания? Разве вы можете забыть, что этот друг спас вас и всех союзников в первый год войны? И если мы пали, проявив сострадание, то неужели вы ставите ни во что наш прежний героизм? Перед вами лежит неомытое, не преданное земле мертвое тело вашего друга... Неужели вы хотите сказать, что не собираетесь оплатить даже расходов по погребению»

нию? Тот выкуп расписок, который я прошу у вашего правительства, это есть не более, как спасение вашего покойного друга от могилы нищего».

— Вас, конечно, интересует ответ на мольбу? — продолжал Аратов. — Извольте. Сэр ответил, что он не курица, несущая золотые яйца...

Домой возвращались Аратовы вместе. Всю дорогу молчали. Петр Александрович был подавлен. Он понимал, что жестокие доводы сына неопровержимы, но предложения Бабиева были слишком соблазнительны, и казалось невозможным сразу отказаться от них.

Сергей Петрович с состраданием поглядывал на отца. Особенно жалки были его повисшие бакенбарды.

Ладо с нетерпением ждали в бакалейной лавочке.

— Да, друзья, — веско проговорил он, — наконец от Шаумяна получена директива.

— Расскажи, как в Баку? Что пишут? Принялись за муссаватистов или все еще цацкаются? — торопил его Дзагания.

— Муссаватисты тоже разводит пары. В Елисаветполе зашевелился хан Хойский. Уже набрал головорезов в помощь Нури-паше. Матрос рассказывает — косматые папахи, черные фески, красные штаны — от такого войска в глазах пестрит. И все же товарищ Шаумян выбил их из Аджикабула; летели с попутным ветром до самого Кюрдамира. Тут-то хан Хойский и завопил, бросился к Нури-паше: без подкреплений нам не одолеть бакинцев!

— Ничего, красные штаны на песке — удобная мишень! — сказал Чикаберидзе.

— Нури-паше пришлось оттягивать из Дагестана регулярные турецкие части и бросать их на бакинский фронт, — продолжал Ладо. — А Шаумян тем временем занял Хачмас и Кубу. По приказу бакинского Совнаркома, Кази Магомед захватил Дербент, а Коммунистический конный полк Тимошина разбил под Аркасом главные силы банд Чермоева. Товарищ Степан считает, что немцы так легко не откажутся от Дагестана и в ближайшее время предпримут срочные меры. С одной стороны, они, очевидно, усилят турок на бакинской линии фронта, а с другой — будут прорываться по Военно-Грузинской на Владикавказ. По-

«Новый мир».

этому чрезвычайный комиссар предписывает нам начать действовать.

— Значит, Ладо, пора собирать отряды? — спросил Канчавели.

— Спешно. Место сбора, как назначили — Цилкани. В этом селении все свои люди. Горийский отряд ты, Канчавели, расположишь в районе станции Ксанка для отпора оккупантам с запада. Тебе поможет Чичинадзе с частью таквибульцев. А ты, Чикаберидзе, с кахетинским отрядом залажешь на перевале, чтобы не допускать врага в Арагское ущелье. Но самое сложное дело предстоит тебе, Дзагания. Ротмистр Аратов уже проинспектировал четыре сотни Конной бригады — так называемой гвардии меньшевиков. Как только они выйдут на усмирение ночью, к ним присоединятся десять наших товарищей, обезоружат офицеров и переоденутся в их форму. Ты жди их у древней башни Нацхори и утром, надев офицерский мундир, поведешь все четыре сотни с военной музыкой на Душет. Шакро Кахиани тоже сколотил себе неплохой отряд, — надо только обуздать его порывы и точно указать ему время, где и как действовать. Дальнейшие указания получите завтра, а сейчас тороплюсь, посылаю шифрованное донесение Шаумяну.

— Заверь его, что мы выполним задания бакинских комиссаров, — торжественно начал Канчавели. — и...

— И, — перебил Дзагания, — покатаем немцев по Военно-Грузинской на их собственных лафетах.

— Чуть не забыл! Последнюю партию ручных пулеметов не трогайте. Пусть здесь в лавочке останется, для железнодорожников...

Вавилов уже ждал у калитки. Ладо прикрикнул на визжавшего Казбека и ключом открыл дверь. Говорили долго, до рассвета. На тот случай, если придется уничтожить пакет, Ладо пересказал его содержание.

— А ты не тревожь себя. Я нарочный особый, царицынский, — успокаивал его матрос, следя, как на конверте растекался сургуч.

— Скоро будешь в Царицыне?

— Не знаю, как обернутся дела на бакинской вышке. Туман то рассеивается, то сгущается, товарищ Степан приказал мне занять капитанский мостик на канонерке «Ардаган». Может понадобится

артиллерийским гребнем прочесать немцев на подступах к Баку. А ты касательно поддержки свое слово крепко помнишь? — спросил матрос, закивая пакет за подкладку сапога. — Ну, теперь разве что с ногой оторвут.

Ладо вынул из книги зеленый конверт.

— Будь другом... и это письмо...

Бавилов вскинул глаза на смущенного Ладо:

— Ладно уж, передам точно! По адресу...

#### Глава 44

— Вот ты всегда так! — негодовала Марго, нервно обмахиваясь газетой. — Работаете на ослов и министров! В лицо тебе все: Коста! Дорогой! Какой самбродок! Какой талант! А за спиной лягают, завидуют твоей славе, успеху. Сегодня у длинноносой Машико за ложку сахара новость выторговала. Оказывается, утром фон Гросс шепнул по радиотелеграфу генерал-рейхсканцлеру: желательно подарить руководящим личностям Грузии немецкие ордена. Не забыл, сосисник, даже о главаре монархистов Спиридоне. А где ты?! — Марго швырнула газету в корзинку. — Тебя, как помёт, обошли!

Коста сжал губы. Сероватые глаза его сузились, упитанный затылок побагровел. Он дернул ящик, выхватил папку с донесениями о зверствах немцев.

— Я этим ангелочкам покажу третью Марну!..

В просторном кабинете, уставленном бронзовыми мортирами и конными фигурами, бушевали генералы, командиры частей, начальники уездных отрядов «Народной Гвардии».

Военный министр, раздраженно прикрыв ладонью ухо, ревел в телефон:

— Если правительство не желает распада армии, то...

— Пушек и пулеметов! — задыхаясь, подсказывал начальник генерального штаба.

— Бунтующие деревни разлагают солдат! Массовое дезертирство! Это вам понятно?! — горячился генерал-майор, помощник военного министра, надвигаясь на министра внутренних дел.

— Вот ваши союзнички! — ворвался Коста, потрясая папкой. — Грузинская демократия оказалась слишком доверчивой! Майская неделя Тьерра, залившая пролетарской кровью Париж, бледне-

ет перед прусским разгулом в Грузии! — Коста раскрыл папку, вывадил на стол документы. — Вот неумолимые факты! Какой-то германский офицер разбил все селение Коди, глумился над женщинами. А вот вам погром в селении Асуреты. А вот вопиющее безобразие:

«Немецкий отряд, прибыв в селение Сарван, требует в трехчасовой срок уплатить 150 000 рублей в пользу немецких колонистов, грозя в противном случае поджечь все селение. Население отсутствует. Покорнейше прошу защиты от насилия.

Сельский комиссар Ахмед Бадалоглы».

— Сто пятьдесят тысяч, а?! И все в карман ожиревшим немецким колонистам! Наш государственный бюджет не отказался бы от такой суммы! А вот тридцать пять тысяч рублей контрибуции, наложенной немцами на селение Мухрань! Я, как национальный эмиссар, требую защиты грузинских граждан от физических издевательств! Я не позволю оскорблять грузин!

Министр внутренних дел иронически смотрел на Коста.

— Мы не хуже тебя, дорогой, разбираемся в создавшемся положении. — сказал министр, швыряя на стол свою папку. — Вот! Полюбуйся:

«В Горийском уезде весьма и весьма беспокойно. В Осетии назревают крупные события и со дня на день можно ожидать выступления вооруженных масс. В Тианетском уезде волнения разрастаются и принимают угрожающие размеры».

— Говорят, что в Тифлиском уезде сравнительно сносно, — сказал министр иностранных дел, — но попадающиеся временами в прессе известия о беспорядках в Манглиском и Белоключинском районах лично мне не дают успокоения.

— А мне дают?! — рассердился начальник генерального штаба. — В Кутаисской губернии...

Перебивая друг друга, министры атаковали ошеломленного Коста.

Военный министр в сердцах звякнул шашкой о пол:

— Но мрачнее всего картина в угольных районах. Например, в рудниках общества «Нахшира». Здесь вооруженные кем-то — «кем-то» секрет полишинеля! — вступили в бой с моими войсками, пришлось пустить в ход артиллерию!

Коста выхватил еще один документ и ударил им по папке, как козырным тузом:

— Все бледнеет перед убийством по приказу германского офицера самшвидского комиссара Овакима Осипова. О чем думает «Народная Гвардия»?

Дверь распахнулась. На пороге оставался мрачный Джугели.

— Благодарю! — буркнул он, усаживаясь рядом с эмиссаром. — Должен вас обрадовать, — воаги революции и народа восстали! Через Накеральский перевал метят на Кутаис, а в Тифлис уже фалопируют по Военно-Грузинской дороге! Величайшая опасность! Душэетский уезд первый наострил длинные уши. Нашелся новый Александр Македонский — Шахро Кахиани! О подвигах этого хулигана мне донес Хинтебидзе, начальник отряда. Я уже предложил издать приказ о полной мобилизации «Народной Гвардии».

Эмиссар Коста незаметно подсунул документы под сукно и, сам не узнавая своего голоса, забасил:

— Некультурность и темнота ополчаются против культуры, контрреволюция грозит раздавить революцию. Душет и Тионеты, Осетия и Лечхум — это то же самое, что Вандея!

— Но нет худа без добра, — вдруг оживился министр внутренних дел. — Вчера вечером фон Гросс заверил меня, что намерен окончательно разрешить спор между европейским демократизмом и азиатским анархизмом.

— Слава богу, — наконец-то ему надоело быть ангелом мира! — воскликнул Коста.

Вошел начальник охраны и, выразительно кашлянув, громко возвестил об экстренном совещании. Во дворец уже прибыл фон Гросс с чинами германской делегации. Глава республики просит всех в Желтый зал.

Ротмистра Аратова беспокоило, что уже два дня, как Курц переселился в гостиницу «Ориант», рядом с номером полковника Бабиева. Неужели немецкая разведка нащупала английский кекс? Это могло угрожать и генералу Аратову. Одно успокаивало: из особнячка Добронравова на Давидовской ни одно слово не могло достичь обезьяньих ушей Курца. Но Аратов ошибался...

Лет пятнадцать служила Феклуша у Добронравовых. Была она толста, рябовата, курноса. Эти качества особенно ценились генеральшей, ибо они отпугивали даже неприхотливых пожарных. И Феклуша примирилась со своей бабьей долей: пекла кулебяку и неподражаемо мариновала виноград.

Но произошло непонятное. Она очаровала господина в люстриновом костюме. Знакомство состоялось у фруктового лотка. Господин купил два фунта японской сливы и угостил Феклушу. По дороге к Давидовскому подъему он успел сравнить ее со сдобным кренделем и пригласил вечером откусать у него чайку.

Дважды в неделю Феклуша стала отпрашиваться в церковь. И от всех скрыла, что ее возлюбленный — немец. Да и сам соблазнитель настаивал на полной тайне их свиданий. Феклуше льстило его внимание к семье генерала Добронравова. На искусные расспросы отвечала охотно обо всем ею слышанном и виденном.

И сейчас господин в люстриновом костюме знал не только о миссии гвардии полковника Бабиева, но и о споре ротмистра Аратова со старыми генералами.

После столкновения с Бабиевым ротмистр перестал посещать общество «Возрождение России». И необычайно удивился, когда неделю спустя отец попросил его занести в «Ориант» секретный пакет Бабиеву. Сам генерал выбыл из строя, припадок подагры приковал его к креслу, а пакет содержал донесение о формировании конно-офицерского корпуса и фамилии завербованных офицеров. Конечно, можно поручить тайный пакет Черепяхину, это было бы проще, но Петр Александрович хотел показать Бабиеву, что хотя ротмистр и чудит, но он во всем согласен с генералом Аратовым и в нужный момент выполнит любое поручение инициаторов «Возрождения России». Но главное, в отцовском сердце таилась надежда, а вдруг наедине Бабиев договорится с Сереженькой.

Ротмистр хотел отказаться, но Петр Александрович настойчиво упрасивал. Взяв пакет, ротмистр пошел к себе. Он переоделся в штатский костюм, купленный по совету фон Гросса на всякий непредвиденный случай.

В гостинице Аратов бесшумно проскользнул в коридор, не замеченный де-

журным по третьему этажу. Полотняная дорожка приглушала шаги. У зеленых узорчатых стекол Аратов остановился, взглянув на смежные двери двух номеров.

На тихий стук Бабиев не ответил. Удивленный ротмистр, приоткрыв незапертую дверь, вошел в темную переднюю. На вешалке висел офицерский плащ и фуражка.

Аратов постучал пальцем во внутреннюю дверь: «Спит, навехно, пхохвост». Заглянул в замочную скважину и увидел безжизненно висевшую руку. Быстро прикрыв дверь, выходящую в коридор, он тем же ключом открыл дверь, ведущую в номер. И сразу подался назад. Хотел выйти, поднять тревогу. Но вдруг услышал за стеной шуршание и приглушенные голоса. На цыпочках подошел к Бабиеву. Свесясь с кресла, полковник неестественно сжимал пальцами вечное перо. На посиневшем лице лежал свет электрической лампочки. Спокойно белел на столе лист бумаги. Под двуглавым орлом обрывалась строка: «Ваше превосходительство...»

«Яд или пуля?», — думал Аратов, внимательно осматривая Бабиева. На затылке полковника он заметил темное пятнышко и на белоснежном воротничке капельку крови.

На противоположной стене рядом с портьерой висела шашка с георгиевским темляком. Осторожно отодвинув портьеру, Аратов осмотрел дверь и прильнул к ней ухом. Из соседнего номера слышалось бормотание. Напрягая слух, Аратов расслышал немецкие слова: «... А генеральскую прислугу?» — «Прикончить тоже сегодня... Посадишь ее в кресло рядом с Бабиевым...» Затем в соседнем номере задвигали стульями. «Уходят!» Аратов бросился в переднюю. Быстро повернул ключ, нащупал револьвер, чуть приоткрыв дверь, стал следить.

Из смежных дверей вышел Вурцбахер, его провожал Курц. Отрывисто разговаривая, они прошли по коридору.

Ротмистр, прижимаясь к стене, скользнул в номер Курца. Внизу рявкнул автомобильный гудок. Ротмистр стоял за портьерой, скрывавшей балкон.

Курц вернулся в номер, спокойно снял пиджак, надел клеенчатые нарукавники, открыл чемоданчик, натянул резиновые перчатки, достал шприц и втянул в него из ампулы коричневую жидкость. Прове-

рил на свет и удовлетворенно положил шприц на поднос. Потом достал из эмалированной фотографической ванночки колоду промасленных карт и разложил их на столе.

В зеркале отражался странный пасьянс. Аратов сосредоточенно наблюдал, как выстраивались масти. Дама треф упала в середину квадрата. Курц словно впивался в карты и что-то быстро записывал на листе бумаги.

Вдруг ужас расширил его тусклые глаза. В зеркале отражался неподвижно стоящий офицер.

— Что надо, дьявол? — прохрипел Курц и потянулся к шприцу.

Но Аратов ловко его опередил и с любопытством стал разглядывать в шприце жидкость.

В течение многих лет Курц молниеносно вонзал эту иглу в свои жертвы. С темным пятнышком на затылке они мгновенно костенели. И сейчас от одной мысли, что темное пятнышко обожжет его затылок, он почувствовал, как острый холод разлился по жилам. Хотел крикнуть, подняться, но его сознание вмиг оледенело, и он грузно склонился на ручку кресла.

— Тэк-с! — сказал Аратов. — Больше всего палач боится своей виселицы. Ангелочка хватил паралич. Удачно. Одной прокаженной сволочью осталось на божьем свете меньше и одной пулей в револьвере больше.

Опустив шприц с ядом на поднос, Аратов собрал карты, сунул их в карман вместе с листом бумаги и осмотрел комнату: на круглой вешалке аккуратно висел выглаженный люстриновый костюм. Пошарив в карманах, Аратов нашел ключ и, открыв им смежную дверь, прошел в номер Бабиева.

«Бумаги Бабиева искать бесполезно! — решил ротмистр. — Их унес Вурцбахер. Но что предпринять? Позвонить в Особый отряд? Немцы легко докажут, что это он, Аратов, укошил и Бабиева и Курца принесенным ядом. Остается одно... Он подошел к столу и под строкой «Ваше превосходительство» дописал левой рукой:

«Меня убил ядом в затылок немецкий шпион Курц».

Приоткрыв дверь, прислушался, переждал, пока смолкнут шаги, и незаметно выскользнул в коридор.

По проспекту, облитому мертвенным лунным светом, медленно шел Аратов.

Из-за угла выбежала Феклуша и испуганно метнулась к витрине кафе. Ротмистр усмехнулся и прошел дальше. У Храма Славы он задержал шаги. Старинные медные пушки выжидательно застыли с поднятыми дулами.

### Глава 45

Чувство мести сжигало Вурцбахера. Он похудел, еще больше пожелтел и нигде не появлялся, даже на генеральских завтраках, слегка озадачивая этим фон Гросса. Приходил Вурцбахер по служебным делам к Курцу, и то крадучись по ночам. Оживил обер-лейтенанта только приезд Бабиева. О, эти Денстервили, они думают, Баку — новое логово для британского льва, но Вурцбахер покажет, что купаться в нефти будет немецкий ягуар. Интересно, какие похороны устроят русские офицеры английскому агенту, скоростно отправленному на тот свет вербовать мертвые души.

Бумаги Бабиева вручил ему Курц вчера вечером. Теперь остается только ознакомиться с ними генерала и получить, наконец, погоны капитана.

Вурцбахер приосанился, поправил воротничок, манжеты — как раз сегодня он надел свежие, с запонками Тиглера — и, придав своему лицу почтительное выражение, вошел в особняк.

Он сразу заметил молнии в глазах генерала. Видно, не спроста его вызвали вместе с Унгерном и Гефтенном. Опять немилость? Чорт возьми, эти бароны забывают, что он командует армией бактерий!

Вурцбахер вынул пакет с бумагами Бабиева и начал излагать содержание.

— Позор! — резко оборвал фон Гросс. — Ваши победы приносят слишком много неприятностей. Один избитый учитель спустил с цепи всю местную прессу! Допустим, в каком-то Гори напечатали о нашем зверстве, но каким образом мертвец ухитрился разболтать имя убийцы! Почему Курц не догадался написать, кто прикончил Бабиева? Пора приобрести эластичность. Можно и даже нужно избивать врагов, но окровавленный хлыст следует прятать. Можно и даже нужно убивать, но нельзя оставлять перо в руке мертвеца! И не следует заставлять господ министров беспокоить

меня телефонными звонками. Недопустимо! Следствие! Газетные крикуны! Визг деникинцев! Злорадство коммунистов! Скандал! Ни на грамм ловкости! Курц идиот! Фон Унгерн, возьмите бумаги Бабиева, разберитесь, стоят ли они таких волнений. А ваша щека, Вурцбахер? На что она похожа? Офицер германской империи допустил клеймо на своем профиле?!

Ошеломленный убийством Курца, обер-лейтенант пролепетал:

— Ваше превосходительство, я уже имел честь докладывать, что позор с моей щеки я смою морем крови!

— Не надо преувеличивать! — отрезал фон Гросс.

Прибыв во дворец, генерал сразу перешел в наступление:

— Не находите ли вы, господин министр-президент, двусмысленным приезд в Тифлис полковника Бабиева? Что у него за дела с Курцем? Это взаимное отравление — глупый трюк, отнимающий у меня и у вас драгоценное время. Но я вынужден принять меры! Германская делегация не может допустить, чтобы на ее репутацию падала хотя бы малейшая тень.

— Господин генерал, мы пресечем любые кривотолки в печати. Драма в «Орианте» останется сюжетом для американских картин. Но зверское убийство представителя белой армии не политично. Деникин может принять это к сердцу ближе, чем нам бы хотелось. На нас уже сыплются упреки. Вот документ от генерала Деникина, врученный мне злополучным Бабиевым, — и вынув из папки лист с двуглавым орлом, прочитал фразы, наиболее для себя выгодные:

«... Добровольческая армия никаких поползновений на самостоятельность Грузии не делает и признает ее в полной мере, и пусть знает она, что с этой стороны она вполне обеспечена. Дела внутренней вашей политики, направление вашей ориентации нас не касается»...

Он пропустил несколько невыгодных фраз и снова прочел:

«... А между тем я откровенно должен сказать, что мы, русские, в Грузии нашли такое выражение враждебности, которого вовсе не ожидали, и что, главное, в этих гонениях принимает участие не масса, не народ, а сами правящие круги...»

— Как видите, господин генерал, в этом щекотливом вопросе нам следует проявить предельную осторожность.

Фон Гросс сделал вид, что вполне разделяет его мысли:

— Я готов пойти на уступки, господин министр-президент. Предположим, вы захотите способствовать генералу Деникину в разгроме красных на северном Кавказе. Идя вам навстречу, я отправлю немецкие войска в Дарьяльское ущелье, поставив перед ними задачу взять Владикавказ. Разумеется, во избежание разговоров о нашем вмешательстве во внутренние дела Грузинской республики, вы придадите немецкому авангарду четыре-пять грузинских сотен, желательно из опытных солдат царской службы.

Фон Гросс, конечно, скрыл, что привлечь кавалеристов из бригады полковника Амилахвари ему посоветовал Аратов. «Авангардная схватка будет особенно кровопролитной, — убеждал ротмистр, — грузины-конники знакомы с боями в горных условиях и, приняв на себя первый удар, безусловно сократят потери в немецких рядах».

— Господин генерал, ваша политическая осторожность предопределяет успех. Мы с вами бьем сейчас в одну точку.

— Превосходно, нельзя отделять власть от нефти. Итак, случай в «Орианте» будем считать исчерпанным, — этими словами фон Гросс заключил свой разговор с главой республики.

Пренебрегая советами ротмистра не подымать бесцельной шумихи, инициаторы «Возрождения России» решили протестовать против убийства Бабиева, требовать следствия, огласки, судебного процесса... Графиня N, остановившаяся в «Орианте», неоднократно видела немецкого офицера, выходящего из номера Курца.

Глава республики отказал в приеме белой делегации. Но Окунь и Плющик-Плющевский пригрозили самолично расправиться с убийцами. Эксцессы не были желательны. Поэтому генералов принял министр внутренних дел.

Он был обаятелен и вкрадчиво пытался убедить их, что невозможно наложить запрет на взаимное желание субъектов уничтожать друг друга.

Но уловки министра не обескуражили генералов. Плющик-Плющевский даже вспыхнул.

— Умирая, Бабиев все же сумел четко начертать имя своего убийцы. Где же тут взаимное желание?

— Что же, по-вашему, унтер-офицерская вдова сама себя высекла! — заявил Окунь, высовывая вперед свою козлиную бородку. — Чуть! Беллетристика! Курца прихлопнул немецкий обер.

— И хорошо придумал, — поддержал Плющик-Плющевский, — незачем оставлять улики налицо. Но они есть! Есть, господин министр! Все документы, касающиеся наших добровольческих дел, выкрадены у Бабиева и исчезли бесследно.

— Значит, у вас были тайные дела? — обрадовался министр.

— Мы добивались только справедливости! — вступился генерал Аратов. — Документы его высокопревосходительства Деникина, раскрывающие связь с генералом Денстервилем, весьма кстати немцам.

— Я очень рад, — сухо сказал министр, — что вам известны намерения Денстервиля. Но мы не желаем ссориться с Германией из-за двух трупов.

— А сколько же трупов вам для этого нужно?

— Я не могу позволить вам, генерал Окунь, подобных выражений! Грузия всегда была гостеприимна. Этой священной традиции и мы, меньшевики, придерживаемся. Но если гость становится назойливым, извините!.. — Министр многозначительно развел руками. — Мы вынуждены...

— Так, значит, нас вы считаете гостями? Рановато! Нет, мы здесь по праву! Русское оружие убергло вас от полного уничтожения беспокойными соседями! Мы ухлопали на Кавказе такие суммы, которые вам трудно представить. А сколько русского имущества оказалось здесь во время войны? — горячо заговорил Добронравов.

— А склады продовольствия! Автомобильные парки! Все это создавалось трудами великорусского мужика! — кричал Окунь.

— А железные дороги?! Разве каждая верста их не наша — русская? — подержал Плющик-Плющевский.

— Даже дворец, в котором вы нас принимаете, как назойливых гостей, построен нами, русскими... И даже портфель министра дала вам русская революция!

Петр Александрович с ужасом почувствовал, что повторяет кощунственные слова сына. Но горечь обиды, оскорбленного самолюбия Рвалася из наболевшего сердца. Петр Александрович еще что-то говорил о национальной гордости, о России единой, неделимой, о конечной победе русского оружия... Но увидев перепуганные лица своих друзей, оборвал на полуслове, вскочил и почти выбежал из кабинета.

Тяжелое молчание давило всех, даже министра.—«А чорт их знает! Еще договорятся с англичанами!»

— Господин министр, мы не спорить пришли, — сказал Плющик-Плющевский примирительно.—Мы привыкли к дисциплине. Но и вам невыгодно давать поблажки немцам да еще подкармливать их. Сегодня пруссаки русских полковников травят, а завтра последний сухарь сгрызут. А еще через день, чего доброго, вас оберут до нитки.

— Я понимаю ваше возмущение, — сказал примиренно министр, — но и вы, господа генералы, должны понять меня. В наше время маневренная политика играет первенствующую роль, — он пытливо оглядел собеседников.—Надеюсь, вы не разделяете взглядов генерала Аратова? Чувствуется, что он в Москву собирается. Счастливый путь! Мы не забываем, даже помочь прогонными можем.

Генералы переглянулись. Окунь приосанился:

— Не думаю, господин министр, ведь его сын в большом почете у немцев.

— Не будем ссориться. Что делать? Время тяжелое. Не стоит мутить океан из-за двух мертвецов. Мученику Бабиеву царство небесное, а что Курцу — вам не все ли равно? Сейчас люди тысячами, как мухи, гибнут. Революция! Надо удержаться на обломках корабля... Кстати, может быть, у вас личные ко мне просьбы? Рад служить!

Генералы воспрянули духом. Просьбы! Личные! Им всем хотелось попросить поддержки. Но они стеснялись друг друга. А вдруг Деникин победит? Стоит ли унижать монархическое знамя? Но у некоторых уже и продавать скоро будет нечего.

«Не все такие ловкачи, как Добродраво», — с досадой подумал Окунь. Колебался и Плющик-Плющевский: что-то еще цеплялось за погоны, за офицер-

скую честь. И он позавидовал Закутовскому, не пожелавшему принять участие в «битве русских с кабардинцами».

Наконец Плющик-Плющевский нерешительно сказал:

— Пожалуй, вы правы, не стоит раздражать немцев. И... если вам нужны военные специалисты, мы рады быть полезными.

— Господа генералы, не столько нам, сколько самому Деникину. Мой совет всем патриотам не терять времени и помочь уничтожить красных. Одна из наших задач установить дружбу с белой Кубанью. Нам нужен хлеб, а им офицерские кадры. Поэтому мы окажем вам широкое содействие для отправки всех желающих офицеров в ставку Деникина. Ради торжества свободы мы не поскупимся на подъемные.

Министр встал, давая понять, что прием окончен. Генералы уныло вышли на улицу. Страдала гордость. Окунь сердито буркнул:

— Ну, если победит Деникин, мы из этих министров такие бараньи отбивные сделаем, что даже немцы ахнут.

## Глава 46

Фон Гросс недовольно пыхтел сигарой, окутывая густым дымом карту Дагестана. Нури-паша и Назим-бей нарушили план немецкого командования и оттянули на бакинский фронт части Юсуф Изет-паши из Южного Дагестана. Князь Тарковский своевременно очистил от красных Самурский и Кюринский округ, но остался без турецких подкреплений, и если сейчас ему не помочь извне — красные снова овладеют важнейшими опорными пунктами. В Батайске создана бронированная немецкая застава. На побережье Тамани высадился немецкий десант. 58-й Берлинский полк, переправившись из Керчи, поддержал белое казачество и выбил красных из станиц Таманской, Фонталовской, Ахтанизовской, Титаровской и Стеблиевской. Основные силы красных северо-кавказских войск отступают к Армавиру. Стремительный удар немецких частей из Грузии даст возможность не только захватить Владикавказ и этим обеспечить быстрое продвижение в Дагестан, но и нанести красным решительный удар в направлении Прохладная—Армавир — Тихорецкая. Соединение с таманской и

ростовской группами немецких войск и решительные действия против красного Царицына безусловно отвлекут внимание московских комиссаров от Закавказья и создадут благоприятные условия для прорыва Наступательного корюса на Баку.

Можно уже отдать приказ о выступлении; горная артиллерия докомплектовывается мулами и будет готова через три дня. Но нет провианта, предметов снаряжения. Части прибыли в Грузию в потрепанном состоянии — нет палаток, седел, нехватает шинелей, нет сапог, приспособленных к горным условиям. Разве пригрозить новыми реквизициями?

Генерал вопросительно взглянул на Гефтена.

Но майор категорически запротестовал. Им все обшарено, остались мелочи: неприкосновенный запас для правительственных банкетов. Частные торговцы стали подозрительно несговорчивы, подвозят к городу только зелень и мятые абрикосы.

Фон Гросс оборвал неуместные излияния: надо найти провиант, нельзя отодвигать срок выступления ни на один час.

Гефтену казалось, что деловая беседа продлится до второго пришествия. Время завтракать, а сухой Унгерн тянет свой доклад, как томми резиновую жвачку. Благодарение богу: адъютант доложил о просьбе Вурцбахера принять его.

Попав снова в немилость после убийства Курца, обер-лейтенант стремился «большим делом» заработать у генерала капитанский чин. Он зачастил к дядюшке Морицу уже не только на воскресные обеды, но и на будничные, обещая личную награду за розыск интендантских сокровищ, которые тщательно ищет и толстяк Гефтен. И вот этому Морицу, содравшему огромный задаток, удалось обнаружить склад почти рядом с Новым Тифлисом. Мужлан ночью выследил министерский «фиат», проשמыгнувший на мнимый конский завод пустым, а выскользнувший оттуда с солидным грузом.

Когда Вурцбахера, наконец, вызвали, он, как бы не замечая ледяного приема, стал докладывать о своем открытии. Он не поспешил на описание трудностей, преодоленных им в течение одного месяца. И в результате он счастлив сообщить

о находке богатого интендантского склада.

Вурцбахер наслаждался удивлением генерала и сконфуженным видом, как ему казалось, Гефтена и Унгерна. Он доказал чванливым баронам, что такое начальник службы «S» Вурцбахер! Он превзошел даже Тиглера, у которого снова провал. В бакалейной лавчонке заганских питомцев во время обыска особотрядчики обнаружили лишь фотографию кайзера на яхте «Гогенцоллерн». Это было очень смешно.

— Я всегда знал, как поступать с хунзузами Кавказа, — заторопился Вурцбахер, — и счел вполне справедливым подкупить министерского чиновника и заполучить счетную книгу, которую прятал у себя в спальне плутоватый министр. О, теперь я могу сказать: склад под шифром О/А расположен в районе Дидубе и заgrimирован под конский завод! Над центральным входом, окованным железом, торчит медальон с лошадиными мордами, но под невинным зданием сооружены трехъярусные подвалы, наполненные имуществом бывшей русской армии, оперировавшей на кавказском фронте. Осмеливаюсь думать, ваше превосходительство, — упивался своим триумфом Вурцбахер, — все наличие склада в полном порядке, и мы сможем не только снарядить нашу армию на Кавказе, но и направить не один маршрут в распоряжение рейхсканцлера.

Фон Гросс с предельным удовольствием шелкнул сигарной машинкой и пододвинул к удачнику курительный прибор. Германия, гордись своими сынами! Они, как ягуары, куда ни придут, везде внушают трепет и страх!

Он смотрел на Вурцбахера, который распадался перед ним на бесконечную вереницу дефилирующих лейтенантов, ассессоров, корпорантов, студентов, юнкеров... С моноклями, в белых перчатках с крагами, в венгерках с «бранденбургками», в лакированных ботфортах, цилиндрах и уланских касках, в шарфах и с бриллиантками на перстнях, с усами, намазанными брильянтином, и выхолонными бачками, в дуэльных шрамах и рубцах, сжимающие эспадроны и придерживающие палаши, — надменные и непоколебимые, они гордо несли знамя великой Германии.

— Превосходно! Нахожу результат вашей деятельности государственно важ-

ным. Поздравляю с удачей и считаю долгом представить вас к чину капитана и ордену Железного креста.

Вурцбахер побледнел, потом кровь волной плеснула ему в лицо. Он знал — надо что-то сказать торжественное, высоко патриотическое, но чувствовал, что язык ворочается во рту, как булыжник.

Генерал проникновенно продолжал:

— Господа офицеры. Все предельно законно. Россия пребывала с нами в состоянии войны, а Грузия — в состоянии дружбы, поэтому она не признала Брест-Литовского договора и, следовательно, никакого права на русское имущество не имеет. Это беспринципно—присваивает богатство чужого государства.

Гефтен учтиво добавил:

— Ваше превосходительство как всегда точны.

Фон Гросс милостиво указал на ящик с сигарами:

— Курите, герр майор, крепкие. Я поручаю вам принять в свое ведение бывший конский завод. В помощь назначаю ротмистра Аратова. Такое доверие—поощрительная награда за его последнюю информацию. Оказывается, некоторые из меньшевистских политиков не совсем довольны нами, ищут новых покровителей и уже заигрывают с англичанами, обращаясь, как они формулируют, к гуманным чувствам британского правительства. Эти ценные сведения как нельзя кстати: они помогут нам при сердечной беседе с меньшевиками о раскопках русских древностей на «конском заводе». Разработайте планомерную разгрузку О/А, подготовьте дополнительные товарные составы для отправки излишков в Германию.

Вурцбахер обомлел: очередное свинство! Ведь склад нашел он! А Гефтен способен сожрать даже английские седла. Впрочем, надо признать, что чин капитана и Железный крест, умеряют горечь обманутых надежд.

— Вам понятна срочность операций? — уточнял генерал обязанности Гефтена. — Заставьте ротмистра работать круглые сутки. Я счел нужным подарить ему изящную табакерку, наполненную кокаином. Советую вам, фон Гефтен, придерживаться моей системы. Важно, чтобы германизация склада совершилась в кратчайший срок.

Ровно в три фон Гросс принял военного министра и эмиссара Коста на ка-

менной веранде, затененной белыми шторами.

С непроницаемым лицом, монотонно, генерал в короткой речи указал на недопустимое в международной практике присвоение грузинским министерством русского снаряжения и провианта:

— Заметьте, господа, мы, ангелы, не любим, когда нам наступают на крылья... Трофеи принадлежат победителю!

Неумолимый вывод генерала, как залп, оглушил эмиссара и министра. Встревоженные политики изысканно заверили генерала, что они, увы! не осведомлены о мифическом конском складе, но претензии его превосходительства настолько справедливы, что созданная смешанная комиссия сумеет распутать это несложное происшествие.

Генерал удовлетворенно кивнул головой: он даст трехдневный срок для всех необходимых формальностей, но считает разумным сегодня же расставить опытных жокеев с карабинами вокруг «конского завода».

Едва влетев к себе в кабинет, Коста вызвал Марго:

— Гони авто за Аратовым! Не найдет дома, пусть ищет по всем духанам.

Вскоре несколько удивленный Аратов слушал бесконечные ссылки на французскую революцию.

— Чем же я могу быть полезен?

— Вы? — возмутился Коста.—Всем! Кто благословил монархический заговор—это для вас, конечно, не тайна. Вы же подготовляли грузинских офицеров!..

— К правительственному смотру.

— Меня не интересует официальная сторона.

— А, собственно, зачем вам «Христос воскрес»? Заговор помер.

— А я жив и должен доказать причастность фон Гросса к заговору.

— А это зачем?

— Заставить его превосходительство в виде вознаграждения за причиненные неприятности отказаться от грабежа интендантского имущества.

— Ах, пардон! Немецкие друзья-приятели и вдруг грабеж.

— Я реальный политик! — повысил голос Коста. — За помощь в разоблачении компании фонгроссмейстеров — двадцать пять косых! Мало?! Тогда вашу любимую цифру—тридцать. Ну?.. Пятьдесят!

— Дешево же вы цените ваше благополучие.

— Стэ!

— Тэк-с. А на складе барахла миллиончика на три золотом.

— Сколько же вы хотите?

— За немцев или за барахло?

— Гургом.

— Ничего! Такой склад не пойдет вам на лад.

— Почему?

— На ладан дышите.

— Прошу... прошу без намеков. Мы увеличиваем кадровую армию и исходили при разработке смет из двухгодичного запаса.

— Но все это русское.

— Чепуха! Нам не до шуток. Мы не из тех плакатных меньшевиков, которые размахивают фетровыми шляпами. У нас государство, и мы сумеем защитить свои границы.

— От кого?

— Что за вопрос? От большевиков, конечно! Вы же монархист, вам это должно быть приятнее ста тысяч косых.

— Значит, русским добром русских же бить? Благородно!

— Большевики не нация! Удивляюсь, почему вы, господин Аратов, не хотите нам посодествовать. Ведь немцы и вам не могут нравиться.

— Куш неподходящий.

— Назовите сами сумму.

— Не сумму, а условие, — нахмурился Аратов, — хорошо, я помогу вам документально разоблачить немецкую авантюру, за это склад вы передадите нам, настоящим хозяевам, русским.

— Белогвардейцам?

— Я говорю — русским!

— Большевикам?

— Я говорю — русским!

— Вскрытие монархических корней нам нужно для сохранения имущества, а если вам отдать, то смешно ссориться с немцами.

— Вот оно что?! А я думал, вам идейно претит монархия.

— А вам что претит?

— Беспринципность.

— Что?! — Коста вскочил, отодвинул Робеспьера, — я не позволю оскорблять грузин!

— А-а... вот это другой разговор. А оскорблять русских дозвоительно? Что

ж, и я вижу, как «на холмы Грузии легла ночная тень». Это ваша тень, господа эмиссары!

Коста, поджав губы, безмолвно смотрел на Аратова. — «Жаль, этому негодню покровительствует фон Гросс!»

— Давайте в открытую. Вы лицемерно прикрываетесь плащом французской революции, а я уверен, и от императора брали бы на-чаек. Итак, с Керенским вы два раза затракали, о чем прожужжали на весь мир, с «министром-президентом» обедали три раза и, как шут гороховый, здорово спекулируете высочайшим вниманием, терроризируя робких обывателей.

— Предлагаю замолчать, господин Аратов! И вообще разговор наш окончен.

— Нет, не окончен! И вы дослушаете! Не я оскорбляю грузин, с которыми на Карпатах бок-о-бок бросался в атаки на общего врага. Я оплакивал Багратион-Мухранского, павшего смертью героя! А вы что в это время делали? Заботились о счастье Грузии? А сейчас о чем грезите? Об особнячке! Автомобильчике! Почтительных поклонах в театрах! Банкетах с высокопоставленными гостями! Эх, вы! Я знаю замечательных грузин, непримиримых воинов за идеалы. Но вы к ним никакого отношения не имеете!

Эмиссар вдруг расхохотался, налил из графина воды:

— Ну, оратор, выпейте! Наверное, горло пересохло? Кстати, вы знакомы с Джугели? Он давно присматривается к вашей плодотворной деятельности. А теперь откровенность за откровенность. Да, красноречивый ротмистр, ваша Россия в плену у большевистских фанатиков, и если вы такой ярый патриот, почему вы не у Денкина, а отсиживаетесь в моей Грузии под крылом «ангелов мира»?

— Мы с вами, яснотельможный эмиссар, служим одному хозяину. Только вы входите к барину через парадный подъезд, а я через черный ход. Вы получаете власть, деньжата...

— А вы? Вы?! Вы что от немцев получаете?!

Аратов спокойно вынул из кармана табакерку, подаренную ему фон Гроссом и, щелкнув по крышке, протянул Коста:

— Вот это! Кскаинчик! Не угодно ли понюхать?..

## Глава 47

На верхнем плато Давидовской горы, словно сорвавшись с крюков карусели, разбросались, похожие на игрушечные, духанчики, балаганчики, беседки. Звуки зурны, возгласы кутил, смех и хмельная перебранка сливались в густой праздничный гул.

В беседке, увитой лозами дикого винограда, горланили поэты. Медведь, протянув лапы, требовал от жизни свою долю наслаждения. Он скашивал глаза, рычал просительно и угрожающе. Мимо него прохаживались девицы с буйными кавалерами. Скользили веселые тележки с мороженым.

Под чахлым деревцом Натэлла и Ладو запивали красным вином ломтики сыра. Подошел медведь и настойчиво заурчал. Ладо протянул ему бутылку лимонада. Мохнатый зверь засунул в пасть горлышко и стал жадно глотать. Опустошив до последней капли, прищуренным глазом заглянул в бутылку и с сстервенением запустил ею в пыльную сирень.

Слабая улыбка осветила лицо Натэллы. Ладо обрадовался, он с трудом увлек сестру в пестрый шум воскресной толпы. Не годятся в девятнадцать лет складки раздумья у сдвинутых бровей...

— ...Венский психиатр Зигмунд Фрейд разгадал ваши противоестественные ассонансы в «Анализе истеричной Доры». Истоки вашего спасения в рифме: авиатор и психиатр!

— Метафизический идиотизм!

— Читайте, что я дал вам пощечину!

— Что?! Кто дал моему другу пощечину?! — загремел рослый поэт в широкополой шляпе, похожий на гидальго, и, размахнувшись, опустил ладонь на бледную щеку, обрамленную черной бородой.

Зазвенели бутылки, стаканы. Из беседки полетели табуреты, шляпы, трости. За ними вынеслись взъерошенные поэты. Дралась все, не разбирая кто с кем.

Ладо подхватил Натэлла и метнулся с ней к обходной тропинке. Со всех сторон к беседке сбегались гуляки, кинто, какие-то яркие девицы, подобрал юбки. Радостно ревел медведь, гоняясь за катящимися бутылками. И сквозь свист, возгласы и гул долетал вопль:

— Вызываю!.. На дуэль!... К барьеру!..

Облокотившись на парапет, Натэлла и Ладо залюбовались разметавшимся в

котловине Тифлисом. Невидимая рука натягивала над городом золотисто-лилово-синий навес. Стальная Кура обрезала неровные берега. Она яростно ниспадала, казалось, из той дали, где возвышался над каменным хаосом заснеженный башлык Казбека.

— Я повешусь, если вы не примете вызов!..

Ладо прислушался и недоуменно пожал плечами:

— Меньшевики не могут привлечь людей к созидательной работе, и поэтому каждый развлекается как может... Сейчас в деревне созревают инжир, орехи... Скоро храмовый праздник в Алевском монастыре. Хорошо бы подвести на арбе вино в кувшинах, вино в корзинах, чурчхелы. Пусть народ веселится.

Натэлла вспыхнула. Нет! Напрасно Ладо уговаривает. Она хочет мстить, а не наслаждаться пением монахов. Ее путь на Северный Кавказ с конницей Дзагания на соединение с терскими частями Серго Орджоникидзе.

Ладо погладил шелковые косы сестры и указал на город:

— С тех пор как существует мир, существует борьба. Грузинский народ, защищая свою страну, оставил истории не мало славных страниц. Однажды сельджуки обрушили на Тифлис двести тысяч ятаганов и копий. На клич царя Давида Возобновителя слетелись шестьдесят тысяч храбрецов. Умереть или победить! Сорок тысяч трупов оставили сельджуки на отрогах гор и берегах реки, а тридцать тысяч попали в плен. Наши прадеды восемь дней преследовали врагов и отбросили их за крепостные стены Ани.

Горные террасы уходили на северо-восток. Там в неясных очертаниях терялась равнина. Натэлла, прижавшись к плечу брата, взволнованно слушала оасказ о великой битве у стен Мартконского монастыря.

Потом долго молчали. Легкий ветерок теребил листья сирени; где-то за дремлыми кустами замирала шарманка. Вверх по мгlistому шоссе взлетали горящие фонари автомобилей. Высокая луна серебрила руины крепости, и Натэлле чудились силуэты витязей, по гребням гор устремляющихся сквозь клубящиеся облака навстречу врагам.

— Вот, сестра, в те века Грузия, замкнутая горами, вела неравный бой. Гор-

дая любовь к родной земле воспламеняла грузин. Но теперь другая эпоха. Мало одной отваги, мало тонкой дипломатии, нужно высшее качество — предвидение. Большевики владеют им. Вот почему наш долг теперь сразить самого опасного врага, мечтающего не только покорить нас, но и навсегда убить смех. Решается историческая судьба Грузии. Что для немца наша страна? Проходной двор, по которому пылят его железные сапоги. Каждый удар по тевтонам — удар за новую Грузию, за ее завтрашний день. Мы не в одиночестве — с нами великий русский народ. Даже царизм не смог разобщить нас, пусть не рассчитывают на сеянье вражды и меньшевики.

Натэлла слушала, затаив дыхание. В лунном свете лицо Ладо казалось еще строже. Вдруг она порывисто схватила его руку и сильно жала:

— Когда я должна ехать?

— Завтра...

В клетке дремал попугай, бормоча арабские ругательства. За стеклянной дверцей футляра мерно стучал маятник. На круглом столике в рамке стоял портрет генерала Аратова в парадной драгунской форме. Пахло старой мебелью, анисовыми каплями и гвоздикой.

Сергей Петрович молча пил коньяк, закуривал папироску за папироской и тут же бросал.

Раньше он хотел оттянуть тяжелый час... Военный министр требовал формальной передачи имущества. Но он не согласился и настаивал на проверке наличия склада по ведомостям. Фон Гросс и Унгерн одобрили его действия, но приказали ускорить производство дела. Сейчас нужно торопиться. Начинается разбойничий дележ добра кавказской армии. Большевики остервенели. У Джугели вырывают лакомый кусок. Его агенты ходят по пятам за ротмистром Аратовым. Полезный душевный разговор был с эмиссаром Коста. Все ясно — полковник Бабиев плюс ротмистр Аратов это не так плохо. Пришибут на территории смецкой делегации и выторгуют за молчание пару русских сапог.

Но он, Аратов, тоже все продумал, взвесил и убедил Гефтена не доверять местным лицемерам, способным на всякие подвохи, и настоял на тщательной охране «конского завода». Слишком подозрительна уступчивость господина

Джугели. И раз его превосходительство фон Гросс соизволил поручить ротмистру Аратову принять русское имущество, то он считает своим долгом показать, что такое русский офицер.

Еще неделю тому назад он воспретил ездить по улицам, прилегающим к складу. Затем на месяц выселил жильцов из близлежащих домов: не исключена возможность, что именно в этих берлогах могут укрыться злоумышленники. Но и этого было мало мнительному драгуну, как прозвал его Гефтен. У главного входа в склад он поставил пулемет. Ночью выходил проверять посты, иногда брал немецких солдат и обходил с ними ярусы. Немцы чертыхались, избегали ночью попадаться ему на глаза. «Как кот, вынюхивает мышей», — слышал он брюзжание караульного фельдфебеля, который сам, в каске с серым коленкоровым чехлом, напоминал крысу.

Вчера был серьезный разговор с Петром Александровичем. Ротмистр убеждал отца бросить авантюрные планы. Деникин — химера. Лучше думать о том, как создать государственную армию, которая станет на защиту границ России. Надо помнить наказ Петра Великого: «Потом трудов моих создал я вас, без вас государству, как телу без души, жить невозможно». А разве есть почетнее дело для истого патриота, чем помочь родине снова высоко поднять священное знамя чести? Да, не с мелкой рыбешкой, вроде Окуня, надо объединяться, и не с киселем Добронравовым, и не с хлюпиком Плющином, а передать будущему русскому воинству свои знания, свой боевой опыт.

— Стало быть, Сергей Петрович, поучать меня вздумали? О «завтра» волнуется? А мы еще сегодня не кончили борьбу. Кстати вспомнили о Петре, кажется, он, с вашего позволения, разбил короля шведов, Двенадцатого Карла, а ведь тот был мастак в военном искусстве. А ротмистр Аратов «бац!» — и нет больше императорской армии. Так?!

— Так, отец! Было и слабло. А сейчас со многих генералов не мешает содрать погоны. Пропойцы! Возят в воинских поездах шансонеток. Кабаки на колесах! Разве таким отстоять Россию?

Петр Александрович возмущенно посмотрел на сына, застегнул форменные пуговицы на кителе цвета хаки, провел ладонью по седым бровям и опустил

на потертый пуф, вытянув слегка кривые ноги старого кавалериста:

— А каким?! Может, совдеповцам?! Комиссарам в красных визитках?

— Каждый россиянин обязан отстаивать Россию от раздробления и раздела. А большевики под Псковом и Нарвой хороший отпор дали немцам, разинувшим свои акульки пасти на Россию. Судя по этим операциям, я думаю, большевики и впредь будут бить врагов России и в хвост и в гриву. А белая армия, как ни тяжело сознаться, так и норовит юркнуть под заморский френч.

Генерал с ужасом разглядывал сына: «Служит у немцев! Кем? До сих пор непонятно! Неужели с большевиками связался? Шатается по кабакам! Поучает меня, сорок лет верой и правдой прослужившего батюшке-царю и матушке-России».

Петр Александрович выпрямился:

— Нет-с! Сему не бывать! Сейчас наша честь собирается на Кубани, на Дону. Высокая миссия «Возрождения России» — довести императорскую армию до седых стен Кремля, услышать медный язык его святынь. Другого пути у русского офицера нет!

В полумгле заворочался попугай: «абр бар аба ба»... Ротмистр побарабанил по клетке:

— Правильно, голубчик. Абракадабра! — и вдруг подошел к отцу, сел рядом и ласково, как в детстве, стал гладить погон:

— Эх, батюшка, надо смотреть правде прямо в глаза. Армию составляет народ, а народ за вами не пойдет. Уже не пошел.

Генерал опустил голову на грудь. Тихо стучал маятник.

Голос ротмистра дрогнул:

— Отец, прошу верить, я остался монархистом и солдатом. Но против меня поднялся народ. В таком случае или нужно стать под новые знамена, или погибнуть с честью во имя России!

— Сереженька, ты что задумал?!

— Настоять, чтобы генерал Аратов занялся военной педагогией, хотя бы в железнодорожных мастерских. Я переговорю с одним, фамилия его Абуладзе. Он поможет устроиться.

Ротмистр вынул полученные от Тиглера деньги и расписку, передал отцу, прибавив, что больше пяти месяцев нем-

цы здесь не удержатся, а следовательно, и Тиглер.

Петр Александрович изумленно смотрел на богатство, дающее ему возможность безбедно прожить годы. А если послушаться Сереженьки и... нет, к этому надо привыкнуть. Генерал обнял и трижды поцеловал сына.

Вспоминая вчерашний разговор, Аратов удовлетворенно думал: «Отец, если не сейчас, через полгода пойдет к Абуладзе... Стариков я обеспечил, а следовательно, могу распоряжаться собой по своему усмотрению».

Аратов налил полный бокал и залпом выпил.

Вошла Олимпия Степановна в старенькой шелковой шали. За нею семенили в поблекших бантах болонки. Она посмотрела на сына, вздохнула:

— Что же ты, Сереженька, целый день пьешь, не закусывая? Может, приказать напечь блинчиков или пирожков?

— Какие теперь пирожки? Надо беречь деньги. А, впрочем...

Аратов высыпал из портмоне последние немецкие марки и пфенниги и, словно не замечая радости генеральши, поцеловал седую голову матери и поспешно вышел.

В голубом зное висят натянутые лучи. Горячие булжники, как стадо овец, прижались друг к другу. Где-то вдали плывет ленивый звон.

В подвальчике сыро и темно. Ладо размножает сводки из районов, где гуляют карательные немецкие отряды.

Завтра гражданская панихида на могиле Нико Абуладзе. Сотни рабочих придут почтить его память. Вместо речей товарищи по бюро прочитают рабочим сводки о неслыханных злодеяниях оккупантов.

Ладо вынимает из кассы шрифт, составляет, как бойцов. И на бумаге вырастают слова гнева и мести. Нет, не будет успокоения в сердцах рабочих, пока хоть один враг остается на грузинской земле.

В этих сводках карающая рука почерпнет неопровержимую силу обличения.

Ладо поворачивает ручку станка. Поток бегут сероватые листки, образуя высокие кипы...

Притаилась усадьба Амхлахвари. Вокруг зубчатых стен повстанцы навалили щепень, колючий кустарник. Усадьбу

стерегли день и ночь. У въезда в деревню — баррикады, завалы. Бочки, бревна, камни, перевернутые арбы... У дороги в лесах — засады. Ладо прислал не только сводки, но и оружие. Оно роздано всем, даже пятнадцатилетним мальчикам. Винтовки взяли и Натэлла, и Русико, и много других девушек, обученных стрельбе фронтовиками. Удалось увезти и спрятать зерно. Угнали скот.

Уже два раза окликал босоногий мальчик командира повстанческого отряда. Шахро очнулся от тяжелых дум и пошел к деду Гиви. В этот дом его влекли не только дела. Там Натэлла. Но именно с ней он почти не разговаривал. Сердце этой девушки не мячик, а, скорее, птица. Оно летит высоко под солнцем, приманить его можно только чем-нибудь значительным. А что такое Шахро Кахиани? Что сделал он в своей жизни? Ничего! И потому не смеет рассчитывать на счастье. Он избегал Натэллы, но в то же время стремился к ней, томясь и отгоняя от себя несбыточную мечту.

— Вот, ишачий сын, гонцов прислал!

Шахро невольно усмехнулся. Видно, адъютанты не особенно охотно взяли на себя поручение князя Иллариона убедить повстанцев в его ангельских намерениях.

— Выходит, что его благородие хочет свободно выехать в Тифлис, по дороге снять у Мцхета немецкие посты, заменить их повстанцами, а самому задержаться в казармах шайку Вурцбахера?

— Вот, вот, дорогой Шахро, — обрадовался Датико, — он так нам и сказал: я помчусь в Тифлис и не допущу к моим добрым односельчанам немецкие каски.

— А вы, честные офицеры, верите этому? — Шахро пристально смотрел на растерявшихся адъютантов.

— А что, если с князя взять слово в присутствии священника? — предложил Гоглик.

— Замбк существует для честных людей, — дед Гиви выбил из трубочки застрявший пепел. — Придет человек, увидит замбк, огорчится — хозяина дома нет, уйдет. А вот придет — обрадуется: хозяина нет дома...

— Можно, конечно, князя и выпустить, только оставить заложников, — медленно проговорил Шахро.

— Даже троих. — обрадовался Датико: — старую княгиню, повара и управляющего.

— Нет, зачем так много, довольно вас двоих.

— Нас?! При чем тут мы? Мы соблюдаем строгий нейтралитет.

— И потом нам тоже надо быть в Тифлисе! — вскрикнул Гоглик.

— Нет, не придется: мы выпустим князя, а если он обманет, мы вас повесим вот на том дубе, что стоит на пригорке.

Адъютанты побледили. «Этого еще не доставало», — подумал Гоглик.

— Знаешь, Шахро, лучше задержи князя. Человек он впечатлительный, вдруг возьмет да и забудет про нас.

— Нет, я уже решил. Для вашего удобства будете жить пока в подвале моего дома.

— Мне все равно, но Гоглик!.. Висеть на дубе не доставит ему удовольствия. Прямо скажу, князь не исполнит своего слова.

— Даже больше, немцы непременно придут, — добавил Гоглик.

— А вы откуда знаете? — равнодушно спросил Шахро.

— Духанщик сказал.

— Духанщик?! Что он, святой?!

— Хорош святой! Он в пустой винной бочке вывез сына управляющего в Тифлис. А сын оказался не дурак. Остался там, конечно, не в бочке. Но прислал большое письмо с духанщиком.

— От кого письмо? Что вы выдумываете? — вскрикнула Натэлла.

— Датико, слышишь? Это мы выдумываем! Не только письмо князю от Вурцбахера, но пять винтовок для духана, чтобы палить повстанцам в спины из засады...

— И две гранаты привез, — поспешно перебил Датико. — Когда немцы будут входить в деревню и поднимется суматоха, сын духанщика бросит гранату в Кахиани. — это в тебя, Шахро. Об этом злодеянии мы с Гогликом все равно решили предупредить вас.

— Гранаты спрятаны в подвале между бурдюками... Мне по секрету сообщила дочь духанщика... Та, у которой брови блестят, как смола. И вообще советуем быть осторожными...

— Особенно в лесу около моста. Там для вас вырыта волчья яма...

— Сын лавочника проследил, куда вы спрятали зерно и другие злаки...

— Подожди, Датико, я расскажу...

— Вот что, — Шахро задумчиво посмотрел на адъютантов, — передайте

князю, пусть немного потерпит. Скоро его освободят немцы. А вам советую, когда придут ишачьи дети, держаться подальше от усадьбы. Лучше прогуливайте коней за курганом, там все равно нет кукурузы

— Это ты, Шакро, хорошо придумал. Нам давно хотелось посмотреть Медвежий водопад!

— Еще бы не хорошо! Я постоянно твержу Гоглику: о чем мы думаем? На бочке с порохом сидим...

Ночью дом духанщика был оцеплен повстанцами. Между бурдюками нашли две гранаты и пять винтовок. Духанщика с сыном до утра заперли в подвале дома Шакро. Лавочника не удалось арестовать — он скрылся.

На колокольне ударил колокол. Медное гудение взбудоражило деревню. Сбежавшиеся крестьяне увидели посреди площади деда Гиви, двух стариков, старого пчеловода Ило, пастуха Павле, Шакро и Натэлла. Они сидели за столом, строгие и молчаливые, а перед Натэлла лежала бумага и карандаш. Крестьяне смолкли, охваченные чувством уважения и ожиданием необычайного.

Бывшие фронтовики ввели в круг духанщика, связанного по рукам, и его сына.

Всю жизнь крестьяне ощущали на себе тяжелую руку этого раздувшегося от вина и богатства человека. А сейчас он стоит жалкий перед народным судом.

Первым обвинял Шакро. Его всегда звучный голос казался сейчас глухим:

— Настал час беспощадной борьбы с похитителями земли и воды! Кто они? Спросите, на чьей крови стоит их духан? Кто наполнил их кувшины богатством, а комнаты весельем? И чем хотели отблагодарить? Предательством! Предать нас немцам, залившим кровью наши деревни!

На площади не умолкал сдавленный гул.

— Собачьи дети!

— Прав Шакро, убить их надо!

Сжав кулаки, крестьяне рвались к духанщикам, готовые растерзать их.

Духанщики бормотали о неблагодарности народа: «Столько лет вы пользовались нашей дружбой и заботой». Они грозили, умоляли, потом стали предлагать выкуп.

Натэлла стукнула по столу кулаком:

— Здесь не торгуют совестью! Не

время возиться с изменниками! Немцы идут! Мечь врагам!

Дед Гиви вынул из-за пазухи огромные серебряные часы с двумя крышками. Раскрыл, положил на стол. Только пять минут он может дать народу на то, чтобы принять решение.

Вопли духанщиков разлетелись по площади. Духанщики молили о пощаде. Крестьяне настаивали на суровой расправе, но избегали страшного слова «смерть!». Его сказал Шакро. И повторил дед Гиви: «Смерть!»

Многие, особенно женщины, разбежались. «Смерть!», — произнес старый пчеловод Ило. Стрелка приближалась к пятой минуте. Пастух Павле ударил свирелью по столу: «Смерть!» Натэлла побледнела, до боли закусил губу. Шакро смотрел на девушку холодно, выжидательно. Она вспомнила слова брата: «Шакро ребенок, но он может быть страшен». Она поднялась и твердо сказала: «Согласна».

Шакро спокойно повернулся:

— Валико, дай винтовку.

И взяв протянутую винтовку, щелкнул затвором и вложил два патрона...

Уже издали женщины слышали, как Шакро сам себе скомандовал: «По врагам народа — пли!»

Раздались два выстрела.

Фон Гросс приказал Гансу стяннуть с себя сапоги и облачился в полосатую пижаму.

Оказывается, на каменной веранде, защищенной от солнца хорошо политыми фикусами и лимонными деревьями, весьма неплохо. Особенно, если опуститься в плетеное кресло и полуприкрыть веки. Ганс бесшумно поставил на низкий столик поднос с сифоном и сигары. И фон Гросс, следя за солнечным лучом, пронизывающим голубоватый дымок, счел полезным поразмыслить о вчерашнем банкете в Новом клубе в честь приезда Халил-паши. Распорядитель торжества господин эмиссар хвастливо выставил весь хрусталь Воронцова-Дашкова. Зал пестрел мундирами и орденами германцев, австро-венгров, болгар и турок.

Княгиня Саломэ сияла. Ей, наконец, удалось надеть платье статс-дамы, сшитое к коронации светлейшей Мананы. В черных волосах сверкала фамильная диадема. Нитка жемчуга обвила шею. Ха-

лил-паша не сводил с княгини восхищенных глаз. Видно, турок чувствовал себя на редкость хорошо после совещаний в немецкой квартире. Он, фон Гросс, согласился с его оперативным планом и установил точный срок подхода частей Наступательного корпуса в Кюрдамирский район, с выделением ударной группы северо-западнее селения Каримарьян для разгрома совместно с турками на левом фланге бакинских банд.

Генерал солидно рассмеялся и вдруг, сердито кашлянув, беспокойно оглядел веранду. Но он был один. Нагнетив из сифона сельтерской, не спеша, смакуя, выпил.

Превосходно! В центре внимания был фон Гросс, и все же... министр-президент произнес приветственную речь на французском языке, а мог бы на немецком. Одно ценно, он еще раз догадался подчеркнуть: «Когда пришлось менять ориентацию, то Грузия избрала германскую, как наиболее обещающую светлую будущность».

Ради империи немецкий генерал может стать и космополитом. От имени четырех делегаций он ответил также по-французски: «Ангелы мира подавили в Грузии силы ада, известные в научных словарях под названием — анархия. И теперь надеются, что не только официальные круги, но и весь народ проникнется к Германии чувством дружбы...»

Венгры пили в меру, а турки? Генерал, наконец, понял причину своего неудовольствия. Почему грузины, еще не ответив на банкет в честь кайзера, чувствуют Халила? Значит, интрига против Германии? Неужели Аратов прав? Повидимому, грузины пытаются заигрывать с Антантой. Но фон Гросс не позволит Денстервилю дойти Кавказ. Вот почему возник тост «за Халил-пашу, который всегда встречает в Берлине радужный прием. А теперь особенно сближает падишаха и кайзера совместная борьба с красной гидрой, захватившей Баку».

Раздался восторженный рев. Княгиня Саломэ из-за страусовых перьев веера улыбалась ему. И вдруг по-обезьяньи цепко схватил бокал эмиссар Коста. Венгерский атташе беспокойно вытянул шею. Но эмиссар уже закончил патетический тост: «Совместно пролитая кровь при подавлении восстания еще сильнее скрепит дружбу немцев и грузин!» Изгибаясь над

вазой с желтыми розами, эмиссар льстил сановнику блистательной Порты, желая успеха на поле брани достойным союзникам рыцарей европейского величия.

Халил-паша благосклонно приложил руку ко лбу и сердцу. И тут он, фон Гросс, понял: пора нанести удар. Он огласил ответную речь кайзера Гинденбургу по случаю тридцатилетнего юбилея восшествия на престол:

«Его императорское величество Вильгельм II соизволили сказать: в этой войне дело идет о двух мировоззрениях — прусско-германском, которое желает поддерживать право, свободу и честь, и англосакском, означающем поклонение деньгам. Дело идет о победе германского мировоззрения».

Зазвенели над столом бокалы.

Немцы, грузины и турки торжественно выпили за дружбу и обменялись умиленными взглядами.

Да, сн, фон Гросс, удовлетворен! Но слишком много раскаленных течений столкнулось в тесном тифлисском котле! — Генерал встал, переставил кресло под тень лимонного дерева и улыбнулся своему отражению в зеркальном стекле двери. Ему захотелось дружески поговорить с самим собой:

— Итак, генерал, не находите ли вы, что первый этап моей деятельности на Кавказе весьма плодотворен? Я не могу упрекнуть себя ни в мягкости, ни в близорукости. Все завершается по намеченному в Берлине плану.

— Но, дорогой генерал, есть досадные нюансы...

— Да, да, вы говорите о доносе начальника службы «S»: Тиглер якобы тайно готовится к бегству в Германию.

— Да, да! Что весьма подозрительно. Не хочет ли он использовать огни рейхстага?

— Не беспокойтесь, генерал, я сумею задержать его здесь. Фридрихштрассе еще может обойтись без тиглеров. Пусть он лучше гуляет по лужам крови на Военно-Грузинской дороге. Хуже со светлейшей Мананой.

— Н-да!.. — в стекле отразилась недовольная гримаса, — вам придется искать нового кандидата. Какой-то американский устрицман прислал фрейлен в Константинополь адвоката с белой яхтой и долларами.

— Ну что ж, княжна не Вавилонская башня — ее можно заменить другой кук-

лой. Итак, генерал, вы больше не назовете мне ни одного промаха.

— Назову, — назидательно поднялся указательный палец, — а глупая история...

— С пленением князя Амилахвари? Вы, пожалуй, правы... Надо срочно водворить великодушного рогоносца в семейное лоно. А бессмысленная деревня подлежит уничтожению. Но вы сегодня удивительно желчны, генерал, и постарались испортить мне отдых! — фон Гросс раздраженно поднялся с кресла и покинул веранду.

### Глава 48

После мутного дождя из расщелин выползают змеи погреть вечно холодную кожу. Так расплзлись немецкие каратели, опустошая и губя все живое. Прусский хлыст взвился над грузинской землей. Покраснели края неба от зловещих отсветов. Тело в золе под разбитым счагом неуемное горе.

К Душету подползал Тиглер, волоча за собой егерей и катринфельдский отряд...

В тихое утро крестьянки собирали в садах румяные яблоки. И вдруг на неоседланном коне промчался Валико.

— Немцы идут!

И снова набат медным гудением наполнил улочки. В саду, возле церковки, Шахро уговаривал оставшихся крестьян не подвергать себя опасности и, нагрузив арбы, последовать за уехавшими. Здесь будут только вооруженные повстанцы. Разве не читала Натэлла, как обошлись немцы с другими деревнями?

Крестьяне возражали: немцы ищут хлеб, скот, уголь, марганец. Здесь ничего не найдут, покричат, пошумят и уйдут. А зачем дом бросать? Могут растащить даже изгородь.

И арбы, опустив дышла, продолжали оставаться во дворах, а буйволы мирно пожевывали саман...

Потеря привычной утвари, вещей, с трудом приобретенных, казалась крестьянам страшнее самых ужасных сводок. Особенно упорствовали зажиточные. Шопотом переговаривались: если лодка качается, надо сесть посередине. Князь Илларион знает, кого стоит придушить, — конечно, если он победит. А если победит Шахро, нас не тронет. Мы народку никакого зла не сделали...

Немало хлопот доставил и дед Гиви. Пришлось пуститься на хитрость. «Нуж-

но возглавить защиту пещеры, где спрятан хлеб». Только таким путем удалось выдворить упрянца из деревни.

Прискакал второй дозорный. Он сообщил: немцы и особоотрядчики разбили лагерь у речки. Очевидно, ночью бояться выступать, а на рассвете ждите — собаки пожалуют.

Шахро разделил отряд и выслал конные звенья на заранее выбранные для засады позиции. А сам с ядром остался охранять деревню.

Едва побелел край неба, как отдаленный звук трубы разорвал тишину. Шли немцы, и по тому, как осторожно двигалась серо-зеленая колонна, повстанцы догадывались об их полной осведомленности. Рядом с Вурцбахером гарцовал в щегольском френче Хинтебидзе — начальник летучего эскадрона Особого отряда. Внезапно из-под моста раздался залп, скосивший нескольких егерей. Артиллерийские упряжки метнулись под откос, пулеметные расчеты, выполняя приказ спешившегося Вурцбахера. «перекрестным огнем прощупать лес!», выдвинулись вперед.

Устроенная ловушка не надолго задержала немцев, они предусмотрительно обошли опасную ложину, над которой повстанцы собрали для обвала огромные камни. Но у ручейка, где каратели совсем не ожидали нападения, вдруг прогремел выстрел, и Хинтебидзе повалился с коня.

Из зарослей испуганно выпорхнул дикий голубь. Натэлла закинула карабин за плечо и обежала лужайку, красную от маков. Она радовалась, отвязывая нетерпеливого скакуна, своей удаче, ибо не сомневалась, что этому жандарму, любимчику Джугели, сбежавший лавочник рассказал о действиях повстанцев.

Пересекая балку, она натянула поводья и прислушалась: ружейные залпы тонули в артиллерийском грохоте. Высоко над лесом пронесся черный снаряд, тяжело охнул вдали и взметнул землю и дым. «Завал разбит! Неравная борьба была ожесточенной, но короткой...» — мучительно подумала Натэлла и свернула в овраг...

Немцы ворвались через кладбище и оцепили деревню. И снова мрачно загудел церковный колокол.

Но повстанцы уже обогнули курган, где еще было так тихо, что слышалось

стрекотанье кузнечика. А по отрогам, засыхая, болезненно съезжались пожелтевшие кукурузные стебли.

Ярость кружила голову Шакро, он вцепился в луку седла и потемневшими глазами следил за немцами, устанавливающими на верхушке кургана орудие. Он резко обернулся на шорах и увидел рядом с собою Натэлла. Его поразило сходство девушки с Ладо, у которого в минуты опасности так же сурово смыкались брови и нетерпеливо вздрагивали пальцы.

Надрывался колокол. Егеря и особотрядчики согнали на площадь оставшихся крестьян. Ошиблись даже самые зажиточные. Для князя Иллариона, стоящего на паперти рядом с Вурцбахером, все крестьяне были одинаково ненавистны. Обер-лейтенант, ударяя по сабле стэкком, требовал выдачи повстанцев.

— Все ушли в горы?! Я говорю, не все! Агуны! — он топал ногами и грозил беспощадной расправой.

Он сожалел, что деревня принадлежит князю Иллариону, будущему гофмейстеру принца Рупрехта. Нельзя же подвергать опасности княжеский скот и птичник, иначе полезные препараты «S» на много лет оставили бы память о визите Вурцбахера. Но можно и без бацилл рассчитаться за распоротую щеку, и он то грозил, то обещал за выдачу деда Гиви не трогать деревни.

Крестьяне переглянулись, образовали круг, переплелись руками и, запев старинную грузинскую песню, пошли воинственным хороводом «Перхули».

Опешив, смотрел на бесстрашных крестьян Вурцбахер, покосился на князя, нервно теребившего эфес шашки. Солдаты тупо глазели на странную пляску «туземцев», но любопытство быстро сменилось озлоблением. Они, тысяча дьяволов, продавали поход, предвкушая сладость вина и девчонок, а тут пришлось сражаться.

Все грознее звучала песня, шире расходилась круг. Неожиданно шорник Таричан юркнул за церковный выступ, незаметно скользнул в сад и пополз к густому орешнику. Он знал, где найти повстанцев.

— Э-хэ! — гневно выкрикивали крестьяне.

Илларион, не выдержав, сбегал с паперти и стал избивать их шашкой плашмя.

— Прекратить, собачьи дети!

— Э-хэ! — в неистовой пляске неслись крестьяне.

Женщины рьяно били в бубны, оглушая площадь. А у далекого родника Натэлла, едва дослушав шорника, хлестнула коня и, припав к гриве, помчалась галопом сквозь солнце и ветер.

Подскакав к горной пещере, она крикнула филином. И тотчас вышел дед Гиви, дымя трубочкой.

— Дед, дорогой, уходи дальше в глубь гор! Соседи просят!

— Почему?

— Немецкий офицер требует выдать тебя. Иначе, угрожает он, каждый десятый будет повешен, а деревню потопит в огне. Друзья боятся, из страха не проговорился бы кто...

Дед Гиви вывел из пещеры серого коня, заботливо подтянул подпруги и проворно вскочил в седло:

— Э, молодец девушка! Спасибо, вовремя предупредила. Скажи Шакро — в длинном ящике лежат обоймы для маузеров, а патроны в виноградной корзине...

На церковной площади слышалась немецкая команда. Проследив за егерями, окружившими крестьян, Вурцбахер вскинул стэк.

— Я спрашиваю в последний раз, где старик?!

Солдаты взяли за ручки пулеметов. Вдох вырвался из груди женщин; судорожно прижимая детей, они невольно подались к изгороди. Но тут послышался торопливый конский топот, и дед Гиви на взмыленном коне ворвался в круг.

Спрыгнув, он подошел к Вурцбахеру, сорвал с себя старый кинжал и бросил наземь:

— Смотрю я на тебя, немец, — человек ты или зверь? Мне мсти, почему женщин мучаешь? Детей? Убивай! Смеюсь я над твоей ржавой душой!

Сладостное спокойствие охватило Вурцбахера. Он не спеша поднял револьвер и начал медленно целиться. Крестьяне рванулись вперед, но тогда замелькали приклады, отгоняя прочь безоружных. А Вурцбахер все целился, прищурился левый глаз, и, хрипло крякнув, спустил курок.

Дед качнулся, поправил рубашку около сердца и насмешливо выдохнул струю дыма. Вурцбахер затрясся и разрядил в него всю обойму.

Словно в глубоком сне прильнул к земле дед Гиви. С проклятиями крестьяне было ринулись на Вурцбахера, но он укрылся за спины солдат, истощно крича:

— Файер! Файер! Файер!

Затрещал пулемет. Толпа ахнула и побежала от страшной площади.

Егеря подскочили к деду Гиви, их манили выпавшие большие часы, и тут же отпрянули: из судорожно разжавшихся пальцев деда выскользнула дымящаяся трубочка.

Князь беспокойно поглядывал по сторонам: куда девались адъютанты? Уже не укокошили ли воробушков разбойники? Он проглянул ефрейтору список, и немцы, сопровождаемые челядью князя, зашагали по деревне. Вскоре над домами деда Гиви, Шакро и других повстанцев нависло багровое пламя и густой дым пополз над поникшими садами.

Вурцбахер приказал: «Оцепить деревню! Не выпускать ни одной свиньи!» После обеда он на этой площади, где расстреляли проданных князю кабатчиков, начнет военно-полевой суд по германским законам.

Усадьба ликовала. Где-то горланили солдаты: «Слава тебе в победном венце!» В саду, под развесистым дубом, стол, покрытый белоснежной скатертью, сгибался от обильных яств. Потонув в соусе, выставил розовую ножку поросенок. Сыр плакал соленой слезой. Распростертый барашек покорно склонил обжаренную голову. А слуги все тащили и тащили новые яства...

По склону кургана между кукурузными стеблями попластунки полз Шакро. К этой земле он стремился из далекого плена, здесь думал найти мирный труд и счастье. Но немецкие звери не оставляют в покое человека. Они уже рыщут по всей Грузии. За смерть—смерть! За кровь — кровь! Война продолжается.

В прозрачном воздухе показалось дуло орудия. Баварцы стояли на карауле. За Шакро бесшумно взбирались Валико и несколько повстанцев. Вот уже совсем близко, уже слышен разговор врагов.

Сверкнули клинки — и орудийная прислуга повалилась около лафета. Повстанцы быстро повернули тяжелое дуло на усадьбу.

Ориентир — высокая дымовая труба, желтеющая над деревьями. И прицел

точно высчитан Шакро: недаром был он артиллеристом!

Слуги поставили на стол солидное блюдо с кукурузой. Пар обволакивал пухлые зерна. Князь Илларион любезно пояснял:

— Это — «Конский зуб», именно тот сорт, который вы изволили собрать на кургане. А теперь уподобимся эпикурейцам и, как говорят, попируем на просторе. Не стоит волновать свои души. Плюньте на бунтовщиков, что они понимают в апельсинах?! Прошу отведать традиционное грузинское блюдо!

Внезапно яростный свист пронесся над садом. В разные стороны метнулись встревоженные птицы. Усадьба содрогнулась от грохота. В клубах дыма исчез стол с яствами. Князь и имперский офицер замертво повалились на клумбу.

Гоглик поднял голову:

— Не кажется ли тебе, Датико, что уже обкуривают усадьбу?

Датико прислушался. За лесной тишью отдаленно стрекотал пулемет. Колочие кусты с блестящей черной ежевикой служили надежным укрытием. Адъютантам было уютно под кряжистым грабом. На разостланной салфетке лежало утиное крылышко. Гоглик раскупорил бутылку:

— Я всегда говорил: в подобных случаях приятнее всего обедать в лесу.

Датико сочувственно чокнулся, смакуя искристое «Саэро», и растянулся на траве:

— Как хочешь, Гоглик, но пока немцы не уйдут из деревни, я тебя туда не пущу.

— А я тебя! — Гоглик вытер лоб и запустил жолудем в невоспитанную птичку...

Егеря сомкнули кольцо вокруг кургана. Но на вершине в лужах крови валялись лишь солдаты. Орудие со сбитым замком уткнулось в землю.

Фельдфебель, осатанев, повел егерей бегом к реке, где слышалось оглушительное гиканье.

Но повстанцы уже ворвались в усадьбу и вмиг разбросали стог сена. Шакро швырнул пылающий факел. Загорелась веранда, зазвенели стекла, и к темнеющему небу вскинулся огненный букет. В страхе бежала челядь. Из виноград-

ной беседки доносились вопли старой княгини. Перескочив через горящую изгородь, повстанцы прорвали немецкую цепь и устремились к горному лесу.

Им вслед забил пулемет. Дождем посыпались листья. Над дальним отрогом промелькнули кони, и отряд исчез за гребнем...

К вечеру на мрачные развалины деревни прилег седой пепел. Чернели закоптелые с провалившимися стенами дома. Едкая гарь ползла по садам, а по обгорелым пням еще скользили гибкие шипящие огненные змейки.

### Глава 49

Смерть Вурцбахера окончательно вывела из равновесия фон Гросса: что?! Его лучших офицеров, как вальдшнепов, подстреливают туземцы?! Открытая революция?!

Фон Гросс снова совещался с министрами, с обер-офицерами. В оперативном отделе разрабатывалось принятое им решение. Он вызвал Аратова и приказал ротмистру с зарей лично проследить выступление в поход четырехсот добротных кавалеристов, а не тех младенцев, еще сосущих молочный уstav, которых, весьма вероятно, захочет подсунуть военный министр. Затем со склада Ф/А завтра же должно быть выдано баварским горно-егерским частям полное обмундирование, провиант, конская амуниция, предметы военного снаряжения и неприкосновенный запас. Считать некогда! Германское интендантство в конце концов не отвечает за точность подсчета...

Аратов тщательно побрился, надел алые чихчиры с позументами, выутюженный белый китель, пристегнул к лакированным сапогам шпоры и вышел из дома.

Пепельный туман плыл над верхушками деревьев. Чирикнул воробушек и робко умолк... По пустынным улицам одиноко тащился запоздалый извозчик...

В казармах царило необычайное оживление. Солдаты держали под уздцы коней, нетерпеливо стучавших копытами. Офицеры в походной форме обступили военного министра и эмиссара, прибывших на проводы.

Аратов молча с ними поздоровался. Его лицо не выражало ничего, кроме желания быть невыразительным. Министр

сказал прочувствованную речь о долге грузин-солдат перед независимой республикой. Напутствуя их примерами из французской революции, эмиссар Коста убеждал не щадить себя во имя свободы, равенства и братства. Последним говорил Аратов:

— Кавалеристы, вы не в первый раз идете в бой! Вы знаете, что такое война и кто вам враг. Вы вернулись на родину и снова взяли в руки оружие, а это значит ваш враг еще жив. Сражайтесь за свою честь! За отечество, за любимые высоты и широкие степи, за виноград и рожь, за жаркое солнце! Рубите беспощадно врага, несущего вам рабство и позор! Понятно?!

— Понятно, ваше благородие! — загремел на весь плац Мэитури.

Аратов махнул рукой:

— С богом! По ко-ням! Музыка вперед! Трубите «Молитву Шамиля»!

— При чем тут «Молитва Шамиля»?! — эмиссар приподнялся на носках и замахал панамой. — Играть Марсельезу! — и возмущенно зашептался с министром и офицерами.

Сотни рысью выезжали из ворот. Аратов сурово держал руку под козырек. Игнали трубы, под конскими копытами кружилась пыльная выюжка.

Вскоре Аратов на сером скакуне подъехал к Николаевскому кресту. И тотчас же, словно из-под земли, вырос Дзаганя, лучи отражались на его офицерских погонах и эфесе драгунской шашки. Аратов спешил, пылливо оглядел «кашигана» и строго спросил:

— А шпоры?

— Не нашел подходящих, господин ротмистр.

Аратов быстро отстегнул свои:

— Бери! И чтоб в Дарьяльском ущелье звенел малиновый звон!

— Слушаюсь, господин ротмистр!

— Потом... дай честное слово, что офицеры четырех сотен будут отпущены без изъяна.

— Слушаюсь, господин ротмистр. Только боюсь, с Эристовым будет возня, горячий.

— Эристов обезврежен! В его нагане холостые патроны... Ну, давай по-солдатски... — И они троекратно расцеловались.

Дзаганя вскочил на коня Аратова. Гулко простучали по мосту подковы. За псворотом мелькнул светлый чепрак.

Аратов опустился у подножья креста, снял фуражку и провел ладонью по лбу. Так он сидел долго, не замечая ни удивленных взглядов аробщиков, ни палящего солнца. Потом встал и медленно побрел по улицам.

На Воронцовском мосту, облокотясь на перила, он долго смотрел на убегающую воду, на лениво вращающиеся колеса мельниц. Все было обычно, буднично: подъезжали подводы, скидывали мешки, ругались возчики. К Пескам причалил груженный плот. У берега по горло в воде лежали буйволы, равнодушно жуя жвачку. С отлога тачка сбрасывала мусор. Двое мальчишек на отмели удили рыбу. Кто-то рядом читал газету: «... дуэль состоялась на Каджорском шоссе, «Астарта и Карта! Авиатор и Травиата!» — иступленно кричали дуэлянты. Бурлюкающий футурист и лаконичный акменст — секунданты — развели противников на дистанцию в тридцать шагов. Шляпа оскорбителя лежала посередине на камне, в нее выстрелил оскорбленный. Затем состоялось примирение поэтов в кафе «Красная Сова...» — читающий расхотался, ему вторил сочный бас.

Жизнь шла своим чередом. Аратов вынул табакерку, повертел, щелкнул по крышке. Белые пылинки рассыпались в воздухе. Табакерка мелькнула над водой...

Ротмистр застал Ладо проделывающим упражнение с гирями. Под окном на грядках желтели листья, глубокие морщины разбегались по земле. Машинист вскинул вопрошающие глаза и тревожно отвел их.

На пороге, положив морду на лапы, лежал Казбек. Некоторое время Аратов смотрел на его вздымающиеся ребра, потом открыл шкаф, достал кусок хлеба и бросил. Пес поднялся, понюхал, отлежал подальше, вяло махнул хвостом и снова лег.

— Понимаю, голодовка в знак протеста против немецкого террора. Ну, брат, кавалеристы махнули в поход. По-оа и нам.

Ладо и сам понимал: настает решительный час, но в голосе Аратова он почувствовал какую-то тревогу, и ему стало жаль этого странного офицера, чужого и вместе с тем чем-то близкого:

— Господин ротмистр, вы сегодня не такой, как всегда.

— Э, чепуха! Не обо мне сейчас речь. Я хочу сообщить нечто важное. Известно ли тебе что-нибудь о лимонно-формалиновых чернилах? — Аратов набросил на дверь крючок, плотно задвинул занавески, вынул из бокового кармана колоду просаленных карт и разложил по местам — дама трэф упала в середине квадрата. Он протянул озадаченному Ладо увеличительное стекло и направил на пасьянс свет полевого фонаря.

— Эти карты прошли через мою лабораторию. Полюбуйся, чем занимаются сукины дети!

Сквозь лупу Ладо стал напряженно вчитываться в немецкие строки, проступающие через тонкий слой сала.

«... Бактерийные препараты следуют с Наступательным корпусом. Подготовьте № 909. Предварительная задача — обработка Бакинского тыла способами: «S», «E» и «B». При подходе корпуса к станции Кюрдамир в Черном городе — «B», ограниченный пожар. Взрыв промыслов. «Олеонафт». Создание общей паники. Пауль Видеман. Район действия — порт. Способ «E» — уничтожение взрывом судов Каспийской военной флотилии. Эксакордитом — разрушение здания бакинского Совнаркома. Ждите сигнала из Кюрдамира, радиосифр — «Ангелы мира». До сигнала 6.22, инструкция 41.19, обработку не начинать. К.»

Ладо почувствовал, как ледяная глыба подкатывается к его сердцу. На миг померещилось, что адская машина уже пущена в ход. Все гибнет, уничтожается. Он содрогнулся, стараясь овладеть собой.

— Смотри сюда, Абуладзе. Видишь подпись «K». Это главный информатор, а по-русски попросту шпион. Курц, прибывший из Берлина. Ты, кажется, его знавал. Впрочем, можешь поздравить меня и себя кстати, птичка уже вознеслась в рай. Но адский заговор против Баку разработан. Действие его начнется с момента прибытия немцев в Кюрдамир. Стало быть...

— Немецкий Наступательный корпус не должен дойти до этой станции, — глухо произнес Ладо.

— Успокойся, Абуладзе, такие дела требуют хладнокровия. Возьми выпей!

Ладо крепко пожал руку Аратову:

— Господин ротмистр, больше чем когда-либо мне сейчас не безразлична ваша судьба...

— А мне судьба склада О/А. Ты только подумай, эти отбросы убеждены, что русский офицер так пал, что своими руками снарядит их бандитов на грабеж России...

— Что вы затеваете?

— Фокус.

Аратов вынул из портсигара папиросу и стал шарить по карманам, отыскивая спички.

— Где твоя сестра?

— В деревне.

— Любит кого-нибудь?

— Кажется, любит.

— Светлая девушка.

Ладо высек из зажигалки огонь. Аратов прикурил и стал разглядывать устройство зажигалки:

— Реальный огонь.

— Если нравится, господин ротмистр — по грузинскому обычаю, возьмите.

— Спасибо, — ротмистр сунул зажигалку в боковой карман. — Услуга за услугу: может, скоро, может, через год к тебе придет мой отец... Так ты... исполни его просьбу, я за него ручаюсь! — Аратов отстегнул браслет и снял часы. — Возьми на память. Ну, не поминай лицом. Прощай!

И, протянув руку удивленному Ладо, порывисто вышел.

Сурово сомкнув губы, Ладо сидел у окна. Потом тяжело поднялся, отстегнул ворот, взяв лейку, вышел. Он тщательно полил огородик, подрезал засохшие листья, подвязал склонившиеся стебли. Казбек удивленно посмотрел на близкого человека, вильнул хвостом и ласково залаял. Жизнь шла своим чередом...

Аратов остановился у входа и стал внимательно разглядывать в медальоне конские головы с алебастровыми гривами. Его окликнул фон Гефтен.

Майор был недоволен. — Ему надоело томиться в этом затхлом ящике. Но, слава богу, завтра утром все это кончится: уже сорок транспортных машин прислал штаб баварских егерей, четыре состава поданы к погрузочным платформам и он, майор, лично подогнал еще пятьдесят пульманов. О, Берлин будет доволен! Трофей — это сюрприз войны!

Пожелав Аратову спокойного дежурства, Гефтен отдал приказание шоферу.

Ротмистр козырнул и, по обыкновению, пошел вокруг здания, проверяя посты. Последнее его дежурство. Завтра с рассветом начнется погрузка. Но сейчас надо быть особенно бдительным. Он поощрительно преподнес солдатам, охраняющим вход № 1, по чайному стакану доброго коньяка. Затем, проверив электросвет и сигнализацию, вошел в склад.

С необычайной деловитостью Аратов осматривал ящики, мешки, боченки, кипы. Особое его внимание привлекла двадцативедерная бочка с надписью: сахарный песок. Гефтена очень радовал объем бочки, похожей на толстую немку, раздобревшую на кренделях. Но Аратову бочка показалась подозрительной, и в удобный момент он просверлил крышку. Так и есть — порох. Вероятно, в суматохе, очищая хранилища карской крепости, солдаты перепутали бочки. Или, желая скрыть дефицитные боеприпасы, провезли их под видом сахара. Обнаруженный порох казался Аратову ниспосланным свыше...

На дежурство Аратов обычно приезжал с большим пакетом, полным пирожков, напитков и снедью. Иногда ротмистр проявлял удивительную снисходительность к немецким часовым. Раздавая бутерброды или коньяк, он шептал: «По секрету от устава». А иногда рано захлопывал двери, и разводящий караула бурчал: «Бьюсь об заклад, сегодня бешеный русак все проглотил один!»

В последние дни, раскупорив коньяк и разложив закуску, Аратов с тремя бутылками, обернутыми бумагой, направлялся в нижний ярус, глубоко засовывая бутылки в рулоны сукна и под кожаными кипами протягивал шнур. Он вынимал из кармана коробочки и раскладывал их между тесно сдвинутыми ящиками. Неизменно фон Гефтен заставлял его бодрым, веселым, с опустошенной бутылкой:

— Хотите, майор, «Три звездочки»?

Уходить Аратов не торопился: необходимо поскорей закончить составление актов. Он охотно оставался ждать Гефтена, который ровно в три отправлялся в ресторан. Сам он только к пяти часам покидал склад. Зная привычку майора хорошенько вздремнуть после хорошего бифштекса или куска телятины, Аратов перевез в склад кушетку и несколько порнографических книжек. Особенно увлекали майора «Приключения кавале-

ра Фоблаза» с откровенными иллюстрациями.

Сегодня Аратов ничего не привез для майора, но не забыл о часовых... Стоя возле бочки с порохом, ротмистр, растегнув кобуру, проверил курок браунинга, вынул зажигалку и долго рассматривал ее, как будто видел впервые.

Скоро осень! Хорошо пронестись теперь на сером скакуне через багряную лошину. А может, все к чорту? А самому уйти к ним? Не малодушничай, Аратов. Что превыше всего для русского офицера? Честь!..

Аратов высек огонь и поднес зажигалку к шнуру...

Выпитый коньяк томил часовых, хотелось пить и спать. Они стояли, прислонившись к стене, вздрагивая и выпрямляясь, когда проходил разводящий.

За горой чуть порозовело. Откуда-то пстянуло дымком... Сильнее... Гуще... Часовой у входа встрепенулся, вглядываясь в предрассветную муть. Другой часовой отскочил от стены. Из-под железной крыши склада выбивались тонкие завитки серого дыма. Узенькие окна слабо багровели. Может быть, от зари?

— Пожар! — крикнул разводящий.

Миг — во всех концах склада задрезжали электрические звонки: «аларм!». Начальник караула, ругаясь, сел на мотоцикл. Солдаты рванулись к телефонам. У ворот «конного двора» загудел дежурный колокол.

А густой удушливый дым уже валил сквозь все отдушины, сквозь щели в окнах, из-под щита с тремя конскими головами. Склад походил на огромную русскую баню, которая топилась «по-черному» — без трубы. С треском лопнуло оконное стекло, из отверстия высунулся красный язык и жадно облизнул кирпичную стену.

Размахивая факелами, примчалась на взмыленных конях пожарная команда. Люди в медных касках, с резиновыми шлангами в руках, металсь, разыскивая водяную колонку. Немецкие саперы атаковали ворота склада, стуча топорами по крепким дубовым доскам.

На автомобиле примчались Гефтен, Унгерн. Стоя на гоночной машине, подлетел начальник Особого отряда. В шуме и грохоте, не слыша друг друга, толкались егеря, конные жандармы.

Дым разрастался, в черных гигантских клубах извивалась тонкая пряха огня. Наконец дверь рухнула. Рыжий унтер, выхватив револьвер, с проклятиями ринулся вперед, увлекая жандармов.

— Назад! Немецкое барахло! — выкрикнул Аратов.

Тра-та-та-та-та!.. заколотил пулемет. Жандармы отпрянули.

— Сахарку?! Пальтишко?! Трофеи?! Тра-та-та-та!

Разводящий, взмахнув руками, провалился в дым.

Забаррикадовавшись тюками, ящиками, рулонами сукна, кипами кож, Аратов не давал немцам приблизиться. Пожарные, направив, наконец, брандспойты, бегом тащили лестницы. Из черной пасти ворот вылетела граната и ударила в пожарный насос. Машина лязгнула и накренилась.

Гефтен выхватил маузер и разрядил его в бурлящий дым. Солдаты, то отскакивая, то насадея, разрозненно защелкали затворами и открыли стрельбу.

Длинная пулеметная очередь, как ремень, хлестала немцев, отбрасывая их от ворот.

Сквозь грохот разлетающихся кирпичей, шипенье горящих сукон, слышался отрывистый, уже задыхающийся голос:

— Дранг-нах-Остен?!.. Накось, выкуси!..

Глухой подземный гул потряс здание. В черно-багровой клубящейся туче, кувыркаясь, взлетели ящики, балки, кирпичи.

Все бросились врассыпную, падали на землю и снова бежали. Вскачь унеслись обезумевшие кони. Сжимая в ярости кулаки, метнулся в переулочк начальник Особого отряда. Фон Унгерн, зажав уши, лежал у забора. С искаженным от ужаса лицом Гефтен колотил в спину шофера, хотя машина и без того неслась на полном газе.

Гигантский костер в неистовом клокотании подымался высоко над домами. Багрово-оранжевое пламя освещало бурлящее людьми Дидубе.

Взошло бледное солнце. На месте интендантского хранилища лежала груда обугленных балок, скорчившегося железа. Из раскаленных каменных стверстий струился едкий дым...

## Глава 50

Грозно высились горы. Сумрачная свежесть подымалась из Аргунского ущелья. Скалы, поросшие столетними деревьями, острями пробивались сквозь густую зелень. Вырванные бурей огромные дубы лежали, поднявши вверх сплетенье корневищ. И над ними, склоняясь, орешники сгущали тень. Широкие перевязи плюща, перекидываясь по сучьям, висели гирляндами. Просачиваясь сквозь мхи, падала со скал холодная голубая вода.

Среди обнаженных камней возвышался Алевский монастырь. К нему по крутой тропе, пересекаемой ущельем Седлово́й горы, вереницей двигались всадники, скрипели арбы, украшенные зелеными ветками и полевыми цветами, пробивались пешеходы.

Раньше всех подъехал к монастырю Валико. Вместе с парнями он разгрузил арбу, ставя в ряд огромные кувшины и ящики, которые завалил хурджинами<sup>1</sup>.

Уже вспыхивали костры, в медных котлах нагревалась вода, блеяли овцы, и с негодующими криками взлетали встревоженные коршуны. Шумно располагались вокруг каменных стен крестьяне, прибывающие из окружающих деревень на храмовой праздник. Женщины растилали цветные паласы, мужчины обменивались новостями. Но не звучала зурна, не били бубны: ни место, ни время не располагали к веселью.

Ждали из Душета повстанцев. Натэлла, стоя на скалистом выступе, озабоченно всматривалась в даль. Из храма доносилось пение монахов. Сквозь темный свод дверей мерцали в каменных подсвечниках высокие свечи.

К монастырю приближалась снизу толпа. Женщины с распущенными волосами тащили испуганно кричащих детей.

Священник вышел из храма. Сбивчиво, сквозь причитания, женщины рассказывали о том, как в Читатурах немцы, требуя выдачи зачинщиков, многих убили, и как молодая Дарико сошла с ума — хотела вырвать мужа у солдат, а когда застрелили его, сама бросилась в пропасть. В Зугдиди немцы рубили плодовые деревья, чтобы достать фрукты. Та-скали за волосы женщин, срывали платья, били. «Народогвардейцы» помогали бросать награбленное в машины.

стреляли в скот. А в Цхинвали какой-то немец, не офицер, похожий на скорпиона, схватил высокого повстанца, велел связать ему руки проволокой — и откуда он узнал, что это Гегечкори?! Долго его мучили, избивали, потом скорпион выхватил у кого-то шашку и полосонул ей командира.

Рыдая, женщины поведали о пережитом, мрачно слушали мужчины.

Священник поднял руки к небу:

— О, господи, помилуй и защити нас! — и вдруг гневно воскликнул. — Кто отомстит?

— Уже отомстили!

Толпа обернулась. Из мглы выступали кони, на них сидели суровые всадники. Позади Шахро и Дзагания темной сичевой отсвечивали дула винтовок.

Дзагания, стоя на седле, рассказал, как его четыре сотни, обезоружив офицеров, прорвались к селению Натахтари и разбили в отчаянном восьмичасовом бою правительственный отряд полковника Пурцеладзе, посланного на разоружение деревни Цилкани. Повстанцы захватили пушки, семь пулеметов, боевые припасы, провиант и двести пятьдесят пленных.

Толпа взволнованно загудела.

— Э-хэ, Натэлла! — крикнул Дзагания. — Что тебе прислал в кувшинах Ладоз? Угощай!

Натэлла схватила турий рог, зачерпнула им из кувшина, Шахро подставил папаху.

— Кто еще хочет угостить немцев свинцовым вином?

— Скажи, кто не хочет?! — крикнул седой старик, протягивая войлочную шапочку.

За ним потянулись молодые и старые. Натэлла щедро наполняла рог, кричала: «Будь невредим!» и опрокидывала в шапки патроны. Священник стоял на паперти и каждый рог осенял крестом. И словно из глубины скал раздалось:

Цангала гогона да,

И народ звонко подхватил:

Ой да гогона!..<sup>1</sup>

Вспыхнули факелы. Суетились женщины, запахло пряным мясом, пенились чаши...

<sup>1</sup> Хурджини — переметная сума.

<sup>1</sup> Гогона — девушка.

Тиглер торопился. Ему удалось вырваться из рук «озверелых туземцев». Он жаждал крови, но... только не своей. Грузины сопротивляются?! Воздух насыщен грозой. Смерть Вурцбахера, предостерегающий полет к дьяволу князя Амилахвари и наглое самоубийство Аратова предвещали зловещий исход.

... Вурцбахер изводил его во сне подозрительными намеками. А днем?! Разве днем у Тиглера есть покой? Он не может показаться на улице. Два человека преследуют его по пятам... Это не призраки. Для этого они слишком реальны. Оставаться в Тифлисе — более чем легкомысленно! Скифы всегда отличались хорошим зрением... Квартирную плату вперед и только за пять месяцев?! Наполеону понадобилось сто дней, чтобы сломать себе голову. Тиглеру довольно двадцати, чтобы основаться в Берлине. А гросс-генерал пусть лечится от слепоты бакинской нефтью.

Тиглер раскалил на примусе паяльник и принялся тщательно запаивать банки, наклеивая на них пестрые овощные этикетки.

Нет, он раздумал плавать в азиатском болоте. Что такое Грузия? Нагромождение камней, солнца и туземцев. Ему нужен индустриальный ландшафт. Ему нужна Германия! Баку? Путь в Индию? Но раньше, чем завоевать нефтяные вышки, надо завоевать рейхстаг... В Германии запахло бурей... Слышатся подземные толчки, надо спешить, опаздывают только глупцы. Завтрашний день — это день великого торжества Тиглера. Недаром он равнодушно прошел мимо своей молодости, он знал — будущее за ним. В серых глубинах Берлина запомнились его шаги, из его мыслей выплавляется металл для мощных срудий. Грядущее в его воле, он возвращается в Германию, как заблудившаяся судьба немцев... Именно ему, Тиглеру, принадлежит право прогрохотать на триумфальной колеснице по аллее побед...

И Тиглер торопился. Он не считал нужным известить фон Гросса о своем неожиданном решении покинуть Тифлис. Что такое фон Гросс? Пешка в крупной игре. Генерал стал для него прочитанной газетой.

В глубокой тайне Тиглер вел торг с эмиссаром. И не в учреждении, а на дому, за плотно закрытыми дверьми. Все надо предусмотреть, от точности зависит

успех. Богатство — это власть! Самые возвышенные идеи без власти — ноль! Богатство будет следовать за ним, как покорный раб...

Торг длился недолго. За визу, наряд на товарные вагоны для вывоза сокровищ и фрахт грузового парохода «Иллюзия», уже наполненного керосином, господин эмиссар взял грабительскую плату — дом на Саперной. Но философу некогда было размышлять. Все это мелочи, пусть досадные, но исчезающие в пучинах великих событий.

Провожал его только один Коста, конечно, не из дружеских побуждений. Эмиссару хотелось воочию убедиться, что Тиглер навсегда покинул Грузию и что он, эмиссар, теперь полновластный хозяин дома на Саперной. Естественно, дом ему нужен не только как приятная собственность. Он решил выйти на дорогу большой политики, и так же, как и Тиглер, думал, что богатство и помпезность будут способствовать осуществлению его грандиозных планов. События в Душетском уезде, измена четырех сотен отъявленных санкюлотов, большевистские идеи, проникающие в сознание даже рабочих-меньшевиков, натолкнули его на заманчивый проект.

Для эмиссара наступили дни напряженного труда. Он приходил в департамент ровно в десять и погружался в работу. Часы приема были сокращены. Благоговение охватило все отделы и перешло даже Марго.

«Необходимость подобного государственного мероприятия, — писал эмиссар, — диктуется отношением к независимой республике отсталого крестьянства. Грузинский крестьянин приходит в иступление особенно от двух обязательств: налогов и мобилизации, то есть, не хочет поддерживать республику и парламент ни карманом, ни кровью. Французские крестьяне поступали точно так же, как сейчас поступают в Душетском уезде повстанцы. На какие же силы мы можем опираться в борьбе с отсталым реакционным крестьянством? Ответ один: на крупные государственные поместья, возглавляемые проверенными демократами. Этот переход земли — наилучшее обеспечение революционных завоеваний».

Соблазняя парламент радужными возможностями пополнения республиканских доходов и владений, расцветших

на основе немецкой агротехники, Коста, разумеется, не упомянул о Ликани. Великокняжеский дворец в Боржоме пригласился ему еще во время увещания крестьян. Боржомское ущелье Коста поспешил зачислить в свой приход. Он уже проектировал таможенную рогатку на реке для взыскания пошлин с крестьян за лесосплав, эксплуатацию нового дачного района на высоте 2800 футов вблизи минеральных источников, химическую проработку древесины...

Блестящие проекты кружили эмиссару голову. Он разбогател. Но что деньги?! Он жаждет блеска, славы. В собственном гараже уже стоят черный лакированный и желтый матовый автомобили, он уже заказал себе два фрака и смокинг. Дальновидный эмиссар чувствовал себя взметенным на недостижимую высоту. Завтра он обязательно получит портфель первого военного эмиссара. Республика поручит ему руководство разгромом восставшего Душета. Все идет исторически закономерно. Так возникают диктаторы. Вот Бонапарт... Да, необходимы адъютанты. Шикарные Гоглик и Датико свободны... А Саломэ? Тоже свободна! Чем он, чорт возьми, хуже фон Гросса?! Марго ему окончательно приелась, пусть дымит у министра труда! Надо действовать. И эмиссар спешно послал курьера за офицерами...

Вначале Гоглик и Датико, оставшись без князя Иллариона, не на шутку растерялись. Что предпринять? Вернуться в полк? Являться ровно в девять и по нескольку месяцев не получать жалованья? Нет, лучше смерть!

— Конечно, мнимая, — добавил Гоглик.

После краткого обмена мнениями они решили оставить на берегу Куры два мундира и ринуться... в Америку. Неужели у светлейшей Мананы не найдется для них пары никелированных кроватей? Адъютанты нужны не только князьям, но и миллионерам.

Но судьба решила иначе. Неожиданно эмиссар Коста предложил им адъютантствовать при его персоне. Поручики, предвкушая продолжение беззаботной жизни, вычистили обреченные на гибель мундиры и поспешили в министерство. Через час они уже сопровождали новое начальство на заседание парламента.

В своей речи Коста сослался на Великую французскую революцию, создав-

шую только семь министерств. А что происходит в независимой Грузии? Она, увы! стала наследницей царской бюрократии и обзавелась десятком министерствами, которые тяжким бременем навалились на республику.

Эмиссар победил. Глава республики утвердил пять министерств и вручил Коста два портфеля, назначив его своим представителем в военном департаменте...

### Глава 51

Сквозь шумящую, опаленную зноем листву, взвилось красное облако. Таким казался на солнечном ветру флаг, водруженный на железнодорожной станции Чичинадзе. Он никак не мог отдышаться, неужели черная пыль тквибульского угля больше не застилает прозрачное небо? Наверно, друзья тоже ощущают его радость, недаром они бились, как ястреб со змеей.

Чичинадзе прислушался к привольному гулу Мцхета. Отовсюду стекались повстанцы. Конское ржание и звон оружия сливались с глухим рокотом Куры. Улыбаясь, Чичинадзе зашагал на площадь.

Там, под столетним орехом, Чхония, привычно вкладывая патроны в обоймы, приказывал усилить заставы отбитым у меньшевиков оружием. Повстанцы вскакивали на запыленных коней и мчались в разные стороны.

Принаряженные женщины Мцхета разносили на подносах кислое молоко и горячее чады. Девушки, краснея от шутки, исподлобья разглядывали молодых повстанцев, щеголявших новыми карбинами. А самая стройная, звеня браслетами, поднесла красавцу Чичинадзе плетенку с иссиня-черными бархатистыми сливами.

В воинственно-праздничный гул площади врзались громкие крики: «Где Чхония?! Чичинадзе?!» Это кричали кахетинские парни, размахивая нагайками. Завидя начальников, они осадил коней у ореха:

— Чикаберидзе велел сказать: джугелевцы хурмой покатались с Гортискарского перевала! Сейчас там, как у нас на сердце, весело!

Повстанцы тесно обступили гонцов, радуясь вместе с ними хорошим известиям.

Чичинадзе задумчиво смотрел на обветренных, загорелых повстанцев. Что-то Дзагания запаздывает. Обещал прискочить в полдень... Теплушки уже подготовлены, надо передвинуть боеприпасы в сторону Авчал... Он зорко вглядывался в потемневшие лица бойцов. Ни страха, ни сомнений. Эти пройдут до конца.

По мосту зацокал серый скакун: примчался Дзагания.

В прохладной комнате с кирпичным полом, обильно политым водой, собрался военно-революционный штаб. Дзагания сообщил о новом успехе повстанцев. Канчавели удалось в Гори поднять 4-й Грузинский полк. Восставшие солдаты заняли несколько городских учреждений. Офицеры-дворянчики и храбрые меньшевистские «гвардейцы» разбежались. Канчавели с двумя ротами благопслучно занял станцию Ксанка. Теперь захват Тифлиса зависит от стремительных действий Мзитури. Как только ему удастся разоружить пограничную заставу в Дарьяльском ущелье, соединиться с Терской армией Орджоникидзе и тем обеспечить тыл, — повстанческие части, сосредоточенные во Мцхете, стремительно двинутся на Тифлис.

В окно ветром ворвался буйный шум. Казалось, площадь сотрясалась от подземных толчков. Дзагания, Чичинадзе, Чхония и другие командиры, выхватив револьверы, бросились из комнаты. Они увидели, как Валико силился перекричать ревушую площадь. Его конь тонул в бушевавшей толпе. Воздух был черен от подбрасываемых шапок.

— Э-хэ, Дзагания, новость! — выкрикнул, наконец, Валико. — В Душете уже шумит крестьянский сход. Со всех деревень нахлынули повстанцы. Провозгласили в уезде советскую власть! Вашá! Шакро Кахиани больше всех шумит, велел передать: Мзитури взял Казбек, обезоружил меньшевиков в Дарьяле. Захватил пятьсот ружей, шесть бомбометов, двести револьверов, два пулемета! Вашá!

— Вашá...а ...а ...а, — гремело по площади.

Дзагания что-то страстно выкрикивал, но его зычный голос казался шопотом. Валико залпом выпил поднесенное ему молоко, высоко подкинул глиняную чашку, выхватил револьвер и выстрелил. От чашки полетели осколки. И в

водворившейся на миг тишине Дзагания удалось поздравить народ с великим событием и восстановленной дружбой ущелий Терека и Арагвы...

Ко дворцу пронесся автомобиль, проскакала конвойная сотня. Щупальцы немецких прожекторов шарили по Куре, полевые заставы в Дигоми задерживали плоты. На холмах Сабуртало рыли траншеи, колючая проволока сползала к Военно-Грузинской дороге. К позициям подкатывались гаубицы.

На вокзал врывались обыватели с чемоданами, тюками, корзинами. Куда спастись?! В Батум? Но во Мцхете повстанцы задерживают поезда! В Закаталы? Там бунтуют войска, называют повстанцев братьями. В Баку? Большевики! В деревни? Там все с ножами в зубах!.. Обратно в Тифлис!..

Глава республики произнес в Национальном совете негодующую речь:

— История девятнадцатого столетия вертелась вокруг земельного вопроса. Вопрос этот вырыл могилу старой Грузии, он же собирается теперь похоронить молодую Грузию... Падение Грузии в то время было падением феодалов. Ради такой Грузии народ не пролил крови. Сегодня падение Грузии будет падением демократии... Теперь крайне необходима твердая принудительная власть. Одной Национальной гвардии, недостаточно... Тут раздаются голоса: «Нам нужна армия!» Кто же против этого? Вы думаете, что если правительство социалистическое, то оно должно осуществить социализм? Это взгляд большевиков. Мы же думаем иначе... Германские войска стоят недалеко. Надо действовать, а не ораторствовать.

— Надо действовать! — кричал Джугели. — Все мы распустились, болтаем об экономических затруднениях и совершенно не представляем себе того ада, в котором гибнет рабочий класс. Свою личную жизнь мы объявляем частным делом и запираемся крепко, чтобы никто не видел многочисленных безобразий нашего личного благополучия!

Джугели бросил взгляд на Коета и, выхватив газету «Сакартвело», потряс ею, как обвинительным актом.

— Вот до чего мы дожили! Наше великодушье принимают за слабость и уже пишут, не стесняясь: «Сегодня у нас господствует полная дезорганизация, ца-

рит полный политический развал. Та партия, которая взяла на себя наследство старого правительства, не оправдала надежд. Она не смогла дать народу политического режима, воздвигнутого на равенстве и свободе личности. В этом именно ее главная ошибка, которую она выкупит лишь своей политической смертью». Я этим негодям покажу политическую смерть!.. — закончил Джугели, разрывая пополам газету.

Между тем, пожар в стране разразился. Кровавопролитные бои с повстанцами расшатывали власть, как здание, построенное на песке. Суетились в замешательстве министры. «Повстанцы лезут уже на Тифлис! Кто снабжает их оружием?! Власть правительства трещит! Надо действовать!..»

«Довольно уговоров! Республика в опасности!», — и Коста бросился к фон Гроссу...

Большевистское бюро стремилось ввести восстание в русло организованных действий. Ладо Абуладзе сутками не заглядывал в дидубийский домик. Он направлял в повстанческий штаб связистов. Захват Мцхета пресек путь немецким эшелонам на Батум и Поти. Ладо вооружал железнодорожников, не забывал видеться и с рыжим унтером, которому вместе с табаком и сладостями приносил жалобы на восставших. Рыжий унтер его успокаивал и таинственно намекал, что скоро герр машинисту будет дано важное поручение.

Ладо знал, на что намекает унтер, и еще решительнее требовал принять срочные меры. Но обнаружилось разногласие. Некоторые в бюро соглашались с тем, что Терское правительство не может по дипломатическим соображениям открыто объявить войну меньшевистской Грузии. Другие поддерживали Ладо и считали, что краевой комитет во Владикавказе должен энергично повлиять на Терское правительство и оказать душетским повстанцам помощь живой силой, военными припасами и продовольствием. Но всех объединяло беспокойство за судьбы восстания, которое вспыхнуло стихийно, нарушив приказ дожидаться сигнала. Кахетия еще не поднялась, было спокойно в Кутаисе, в отдельных районах Имеретии, Карталинии и Гурии.

— Если даже придется временно отступить, — говорил Ладо, — все равно

карта немцев, а значит и меньшевиков, бита. При любом исходе восстание сыграет огромную роль в освобождении Грузии. Необходимо всемерно укрепить Терско-Душетский фронт. В конечном же итоге судьба грузинского народа, как и русского, решается не только на Северном Кавказе, но и в Царицыне, и в Москве.

Уничтожение склада О/А несколько спутало планы немецкого командования. Захват же повстанцами не только Дарьяла, но и Военно-Грузинской дороги в районе, примыкающем к Тифлису, вынуждал фон Гросса отложить операции против Владикавказа и направить главный удар против «туземных разбойников».

Фон Гросс и тут остался верен своей тактике. Он вовсе не намерен посылать немецкие войска в пекло: это не карательная экспедиция, это бои в горных условиях, это риск, который должен быть оправдан. Пусть министр-президент примет на себя первый удар. А когда красные и желтые взаимно уморят друг друга, можно будет поддержать порохом независимых друзей. Вот почему генерал рассеянно слушал эмиссара Коста.

Но глава республики внимательно слушал военного министра. И полки 1-го Грузинского корпуса двинулись по Военно-Грузинской дороге.

Восстание уже охватывало Юго-Осетию и Тионеты. «Народная Гвардия» громыкала оружием. Джугели на походный китель надел два маузера.

— Опасность велика! — выкрикивал он перед сомкнутым строем гвардейцев. — Повстанцы жонглируют левыми лозунгами, морочат население, что борются за рабочих и крестьян, но для вас очевидно, что восстанием руководят темные силы. Победа повстанцев будет победой контрреволюции. А что последует за этим? Гибель революции и конец независимости нашей страны. Не для того, чтобы создать у нас рай, продвигаются к нам терские большевики. В этот грозный час я, Валико Джугели, спрашиваю: кто должен отстранить эту страшную опасность? Вы! Славные народогвардейцы! Верные сыны меньшевистской партии! Вы должны разгромить нагрянувшего врага.

На штыках затрепетали флажки. Сверкнула сталь клинков...

## Глава 52

В это утро фон Гросса раздражало все: и медлительность Ганса, и толстоватый нос Карла, и кофе с избытком сливок, и даже гавана.

Ночью в час ноль ноль он еще не спал, включил верхний свет, принял бром. «Хаос!» В десять пятнадцать он еще не вставал. Ломило в висках. «Бред!» Он принудил себя подняться, поупражнялся в ударах бокса по кожаному мячу и застегнул мундир на все пуговицы. Но заголовки берлинских газет продолжали до боли рябить в глазах. Германскую прессу мало радовала речь Ллойд-Джорджа:

«... Подобные условия есть условия победителя побежденному...», — негодовал «Берлин Пост».

«... Оценивая речь Ллойд-Джорджа, как первое конкретное предложение со стороны Британии, мы считаем, что мир за счет союзников Германии и возврат германских колоний взамен упрочения положения великих держав в Азии неприемлем...», — вторил «Вильнише Цейтунг».

Фон Гросс отбросил газеты, нервно поставил на них пепельницу. Что за безвкусица?! Бронзовый Нептун ласкает хвостатую Нимфу!.. А эти настойчивые звонки княгини Саломэ! Генерал не считал нужным подходить к телефону. Она, видите ли, хочет присутствовать с ним в Спортивном обществе на конкурсе мужской красоты! Обожаемый кайзер любит повторять: «Что хочет женщина — хочет бог», но он, фон Гросс, предпочитает желания дьявола, непреклонного и трезвого, как железо... «С социалистами можно воевать лишь пушками и штыками». Это Бисмарк мог сказать и про лицемерных англичан. Они смеют щебетать о мире, думая только о том, как бы поскорее проглотить морскую соперницу — великую Германию...

А газетные столбцы назойливо лезут в глаза:

«... Президент Вильсон написал Ллойд-Джорджу от своего имени и от имени американского правительства, что всецело присоединяется к его речи...»

Но за всех немцев —

«... баварский король в своей речи заявил, что мы должны бороться,

пока противник не согласится на наши условия: условия противника неприемлемы, и мы не уступим ни пяди земли...»

А в общем болтовней о мире противник вуалирует сосредоточивание резервов. А что мурлыкает о конце войны канцлер?

«... несмотря на блестящий успех нашего оружия, со стороны наших противников еще не было проявлено ни пожеланий, ни готовности ответственных кругов заключить мир...»

Фон Гросс указательным пальцем постукал по лбу канцлера на газетном фото: «Герр фон Кюльман, не будьте наивны: вы не услышите подобных пожеланий. Вы любите цитировать Мольтке Старшего, но прозорливый фельдмаршал указывал, что будущая европейская война может продлиться и семь и тридцать лет. Вы возразите: для империи невысказано долго? Этого срока, господин рейхсканцлер, достаточно лишь для одного хорошего заглавия по истории. Германский генералитет неизбежно разделяет идеи Людендорфа. Мы готовы провести тридцать семь войн, но достичь священных целей. Британцы любят ослеплять солнцем Индии и Африки, но как бы ярко солнце ни сияло, закат неминуем!..»

Генерал вновь углубился в газеты:

«... предложения Людендорфа весьма категоричны и ясны. Он настаивает на широком развитии военных операций...»

Ни одна жилка не дрогнула на лице фон Гросса. Сжатые губы и холодные глаза не выдавали внутренней тревоги. Но за газетными полосами, как за занавесом, он видел бесконечные транспорты с американскими войсками, пересекающие Атлантический океан. Вот они подходят к европейскому матерiku под конвоем новейших кораблей со звездными флагами... Если сейчас не использовать вялость стратегии англо-французов, отсутствие у них единства действий... — и вдруг почему-то стал с интересом следить за вертящимся вентилятором — и не перейти к «наступлению именем мира», то будет поздно принудить Антанту к капитуляции... В сухих пальцах воинственно зашуршали газетные листы «Берлинер Фольк», «Лок», «Фоссиш»:

«... Германцы желают удержать за собой все польские промышлен-

ные области, оставив Австрии только землевладельческие округа...»

Генерал с силой сжал разрезальный нож: «У австрийцев надо содрать даже кобарды с касок! Превосходные союзники! Потерпев поражение на реке Пьяве, зайцами побежали от итальянских войск. Потеряли боеспособность! Дезертиры Габсбургов наводнили тыл. Германии одной, лицом к лицу, приходится встретиться с враждебным миром.»

Резко повернулся и задвинул портьеру: «Нужна мне эта синьва на склоне неба! Разве черная грозовая туча не нависла над потрясенной землей, от берегов Атлантики до горных массивов Кавказа?»

На пороге почтительно замер адъютант, вопросительно наблюдая за генералом. Но фон Гросс не выдает своей усталости, его лицо — лицо Германии, оно непроницаемо!

Генерал полуприкрыл глаза: «Спасение немцев в Людендорфе. Это теперь яснее, чем в марте при великой битве под Амьеном. Но сейчас первый генерал-квартирмейстер уже не утверждает, как в сентябре 1916 года: «Лучшим оружием против танков являются нервы, мужественная дисциплина и храбрость». — В приказе, полученном из верховной ставки, Людендорф подчеркивает угрозу накопления английских танковых корпусов между реками Анкром и Авром. Необходим мощный контрудар, — считает он, — с целью разобщить французов и англичан до подхода американцев и расправиться с ними порознь. Укрепленный фронт противника вынуждал Людендорфа подчинить стратегию тактике. Кое-кто из молодых генералов, так сообщает фон Кнобельсдорф, осмеливается критиковать «стратегию истощения», утверждая, что «тяжкие удары» не достигают стратегической цели... Бред! Ученик Шлиффена Людендорф совершенно правильно не ставит перед войсками далекой стратегической цели до прорыва укрепленного фронта. В позиционной войне он предпочитает раньше внезапность и прорыв.

«... В прорыве дело идет прежде всего о том, чтобы быстро выигрывать территорию продвижением вперед. И только после того можно сделать второй шаг, стратегическое использование успеха... Тактические условия являются решающими как

в прорыве, так и во всякой другой операции».

Фон Гросс удовлетворенно подчеркнул синим карандашом высказывание Людендорфа, спрятал «Берлинер Фольк» в отдельную папку и закурил гавану, показавшуюся ему необычайно вкусной. Он вскрыл объемистый пакет, углубился в изучение секретного предписания... неожиданно для себя сухо засмеялся: «Итак, вся техника германской армии готова к прыжку на запад? Но верховная ставка ждет от фон Гросса потоков бензина? Срочно выехавший на Кавказ дежурный офицер полковник Плессен везет инструкции и будет знакомить фон Гросса с обстановкой на фронте и в Германии? Очень хорошо!

Генерал раздраженно вложил предписание в конверт, потянулся за новой сигарой, швырнул ее обратно в ящик, отрывисто забарабанил по полированной крышке и вдруг грозно выкрикнул:

— Германия превыше всего! — обернулся, но адъютанта на пороге уже не было.

С постамента доброжелательно улыбнулся своему генералу бронзовый кайзер... Сигнальной ракетой ослепило воспоминание: Дворцовый павильон «Зеленая шляпа»! Навсегда в сердце остались проникновенные слова кайзера: «Наша высокая обязанность способствовать развитию Грузии... И что же теперь застанет здесь предстатель императорской квартиры? Восстание! Хаос! Губительное разложение страны! Меньшевики грезят в социалистическом рае на земле, но они бессильные марионетки! Настал час двинуть немецкую армию. До прибытия Плессена все должно быть с бунтовщиками покончено. Дорога на Баку открытой! Нет, Людендорф не раскается в своем выборе; на арену Кавказа решительно выступает генерал фон Гросс!

Он повелительно нажал кнопку звонка. Засуетился адъютант. Ганс и Карл спешили подать высокую фуражку и перчатки. В передней, смотрясь в зеркало и пристегивая палаш, повеселел и мысленно стал напевать баварскую песенку:

Стар мой наряд, стара моя честь,  
Молодо сердце, остро оружие...

Звеня шпорами, прошел через палисадник к «мерседесу»...

И вскоре он уже пожимал руку господину «министр-президенту»...

На утро, словно расплескивая знойную синь, взлетели германские аэропланы «гаубе». Загрохотала, по мостовой горно-баварская артиллерия. Немецкие офицеры вошли в бронемашинны...

Прозрачные облака цеплялись за лесистые вершины; дымилось ущелье и где-то звонко перекликались голубые дрозды. По обожженному склону сбегал ручей. Вдали развалины башен зубцами прорезали высокое небо, к которому ползла каменная тропа.

Пока батареи занимали огневые позиции, Джугели, следуя примеру римских цезарей, занемывал на екрижальях военного дневника свои «великие» деяния: «В пять часов отырвали мы из четырнадцати орудий ураганный огонь по Бебрис-Цихе...»

Бои разгорелись на Гортискарском перевале, в долине Арагвы на подступах к Мцхету. Несмотря на ярость вражеской артиллерии, Дзаганиа, Чичинадзе и Чикаберидзе держали в своих руках командные высоты, а когда отдельные группы джугелевцев прорывались вперед, повстанцы скашивали их жестоким огнем. Но душетское крестьянство, вооруженное только топорами, кинжалами и лопатами, ждало рукопашной схватки.

— Людей не жалеть! — приказал Джугели полковнику Кониашвили.

К вечеру Мцхет был занят регулярной кавалерией.

А ночью Шахро Кахиани бесшумно провел свой отряд по Старо-Горийской дороге и внезапно обрушился на левый фланг врага. В синей густоте безлунной ночи заскрежетали клинки. Рубились тяжело, молча. Джугелевцы не выдержали натиска, подались на железнодорожную насыпь и в беспорядке поскакали по шпалам.

Шахро взобрался на крышу станции. И снова сквозь шумящую, опаленную зноем листву взвилось красное полотнище.

Прогудел ликующий час. Но внезапно из-за вершины, расколовшей небо, вынырнули уродливые «гаубе» и закружились над Мцхетом. Красивая крестьянка приподняла черноглазого мальчугана: ей казалось — по голубому паласу катятся черные арбузы. Но посыпались

бомбы. Взыбилась земля. Заметались языки огня, где-то за холмом пророкотала сигнальная труба. По шоссе неслась галопом горно-баварская батарея. Бронемашинны, вращая пулеметными башнями, остановились на Помпейском мосту. Запахло кровью и гарью. Раненые повстанцы подползали к откосу и бросались в Куру...

Шахро клинком махнул на горы! отступить!

На склонах Мцхери бухали немецкие гаубицы. Крестьянка, прижимая к груди мальчугана, бросилась за камни древней башни Нацхори. Грохот наполнял зеленое ущелье. Изумленно она смотрела на кричащего сына; она уже ничего не слышала...

Корреспондент «Эртобы» винул из ушей ватку и положил блок-нот на деревянную кобуру. Слушая Джугели, клыстом сбивающего пыль с сапог, он торопливо записывал:

«Вообще — пехота, кавалерия и артиллерия действовали согласованно, и можно вполне надеяться, что враг уже побежден. На фронте введена смертная казнь для изменников грузинской демократической республики и для всех мародеров».

По скалистым тропам взбирались арбы на крутизны. В ущельях клубился дым. Крестьяне укрывались в орлиных гнездах. Казалось, гигантская пылающая бурка покрыла душетскую землю.

«Я со спокойной душой и с чистой совестью смотрю на пепелище и клубы дыма... И я совершенно спокоен... Горят огни... Дома горят... А огни горят и горят!.. Горят всюду... Горят и горят... Зловещие огни! Какая-то страшная, жестокая, феерическая красота... И озираясь на эти ночные, яркие огни, я начинаю понимать Нерона и великий пожар Рима...»

Джугели погрыз ногти и на обложке дневника написал: «Тяжелый крест». Он вышел сквозь пробоину в обугленной стене, окинул холодным взглядом почерневший виноградник. В печальной тишине никли сморщенные гроздья.

Натэлла оглянулась, прислушалась к отдаленному топоту и еще сильнее хлестнула коня, Тревожно поправила переметную сумку, где лежали ящички с мелинитом.

День казался бесконечным. По дорогам и тропам рыскали сторожевые пикеты немцев и джугелевцев. Пришлось сворачивать в лощины, прятаться в оврагах, скрываться в балках... Только бы не опоздать! При мысли об этом Натэлла холодела и взмахивала нагайкой. Под копытами мелькала дорога... Отлетал за повороты кустарник, изгибались высыхающие русла ручьев. Вершины тонули в тумане...

Сквозь прорези угловых башен струился яркий свет. Древняя крепость вновь укрывала за зубчатыми стенами воинов. Оседланные кони, отгоняя хвостами мух, выщипывали траву, пробивающуюся сквозь камни.

Послышался цокот копыт. Из-за орешника вынесся конь, Шахро рванулся навстречу.

— Скорей! Скорей! — торопила Натэлла, срывая переметные сумки и перекладывая их на коня Шахро.

Разговор был недолгий. Трижды прокричал ястреб. Повстанцы вскочили на коней. Они спешили к Душетис-Цхали на соединение с Дзаганя, Чикаберидзе и Канчавели.

— Первые двадцать останьтесь со мной! Прикроем отход! — скомандовал Шахро. — Натэлла и Валико, спрячьтесь с конями в Большой башне. Вечером проберетесь в Карталинскую долину.

Повстанцы вынеслись на дорогу. Шахро шагнул к Натэлле:

— На семнадцатом перегоне?

— Да.

— Крик ястреба?

— Да.

— Два паровозных свистка?

— Да.

— Отряд выполнит. Передашь?

— Да.

— Будешь моей женой?..

Шахро взлетел на седло, придерживая сумки, и гикнул. За ним последовали двадцать всадников.

С Базалетского перевала рысью спустилась конница. Впереди колонны скакали Джугели, полковник фон Гоцфельд, полковник Кониашвили и капитан Пурцеладзе. Рядом развивались знамена меньшевиков и Гогенцоллернов.

Фон Гоцфельд привычно приподымался в седле, крепко держа в руке поводья. Вчера, провожая ударную штурмовую часть, он коротко сказал:

— Баварцы! Мы на суше и на море непобедимы! От затопленных областей Фландрии и до самых Вогезов надвигается на Францию немецкая фаланга. Принесем же великой империи победу и на Востоке. Дранг-нах-Остен!

### Глава 53

Фон Унгерн распахнул дверь. Сноп света лег на темные плиты тротуара. Он вошел слегка удивленный. У подъезда стоял усиленный караул, а в вестибюле озабоченно распоряжались два дежурных офицера.

«Что за съезд?» — подумал фон Унгерн, окинув взглядом вешалку, и протянул вестовому белые перчатки и фуражку.

По лестнице поднимались офицеры всех родов оружия, со знаками отличия на серо-зеленых кителях. Обмениваясь на ходу фразами и приподняв палаши в лакированных ножнах, они входили в главный зал, где уже находились строевые офицеры немецкого гарнизона.

Фон Унгерн взглянул на часы: два сорок пять ночи. Сегодня он заснул в приятных грезах. Лоэнгрин! Только Вагнер мог так гениально изобразить звуками драматизм и поэзию немецкой души. Призывы скрипок росли, ширились. Смычки становились воздушными. Их мелодичные всплески баюкали челн, влекомый лебедем. И лебединый рыцарь плыл к острову своих мечтаний. Но вдруг в романтическую мелодию врываются назойливые колокольчики... В ушах звенит сухой баритон старшего адъютанта: «Генерал предлагает немедленно явиться в особняк делегации»...

На площадке к нему подлетел растерянный фон Гефтен. Туго перетянутый походным поясом, в серых бриджах майор сразу потерял свой беспечный бюргерский вид.

— Как, вы ничего не знаете?

И торопливо стал излагать новости. Он уже успел побывать в Оперативном отделе и кое-что разнюхал. Вызов связан с внезапным прибытием из Спа — ставки верховного командования — младшего Плессена, дежурного офицера генерального штаба. В чем дело, наверняка сказать трудно. Но поговаривают всякое: будто бы западный фронт трещит по всем швам. Хороша пресса: вопит на всех перекрестках, что «резервы

маршала Фоса: истощены германским наступлением». Но томми и в ус не дуют, весело напевая «Долог путь до Типперери». Нет предела и наглости Вильсона. Безбожно лгут, будто он питается одними овощами. Этот адвокат безусловно жрет кровавые бифштексы. Иначе он не посмел бы соперничать своим цилиндром с короной Гогенцоллернов. Но младший Плессен заверял начальника Оперативного отдела, что Людендорф как никогда близок к победе. И если бы не проклятые социалисты...

В зале появлялись все новые группы офицеров. Звенели шпоры, палаши. Удивление сменялось тревогой. Во всех углах шептались, выжидательно поглядывая на снующего адъютанта.

Фон Унгерн и фон Гёфтен подошли к старшим офицерам военной комиссии Эган фон Кригеру и фон Ниду, которые, хмурясь, слушали офицера связи, прибывшего вместе с Плессеном. Говорил он отрывисто, неприятно подмигивая.

— Фронт центральных держав в Албании прорван. Верховная квартира сознательно уходит в тень. Пусть рейхстаг расхлебывает эту кашу. Четыре года мы несли бремя германской политики. Нам, наконец, надоело созерцать четырехугольное пасторско-квакерское лицо американского президента...

А в кабинете фон Гросса происходил откровенный разговор. Полковник Плессен, закулив сигару, продолжал надтреснутым голосом: «На линии между Амьеном и Сен-Кантеном сосредоточивается английская стальная саранча, готовая ринуться на Рейн. Вместе с тем положение внутри Германии, надо сказать прямо, не менее тяжелое. Берлинский губернатор докладывал Гинденбургу о напряженном настроении столицы. Не надежны даже ютербогские батареи и гвардейские егеря. Немецкие мешане пять о разорении, голоде, гриппе, о бесчисленных жертвах на дьявольских фронтах. Они впадают в моральную прострацию, и необходим военный успех — «колоссаль!» — чтобы вновь повергнуть среднего немца в его обычное верноподданническое состояние. Верховное командование считает возможным одержать именно сейчас победу, равную победе при Каннах, — Плессен круто повернул огромный глобус, который медленно закружился в дымных клубах, и карандашом указал на зеленое пятно южнее

Амьена, — Людендорф уже нащупал слабый участок на фронте, целя удар по стыку англо-французов, — нервно подкрутив русые усы, он провел по глобусу линию к Баку, — но без бензина не может двинуть ни одного танка, ни одного «таубе». Бензин — кровь современных войн. Приказ начальника генерального штаба: любой ценой захватить Баку! Распахнуть ворота в Иран, Индию! Это даст возможность опрокинуть англичан в Ламанш, французов — в Бискайский залив. Навсегда будут сокрушены коварные планы «держав согласия».

Фон Гросс внимательно посмотрел на усталые веки Плессена, на желтый отсвет щек и пододвинул ящик с сигарами:

— Весьма рад, что секретная почта из Спа мною правильно понята. Занимаясь бескровным проникновением в Грузию, я ни на миг не забывал: Дранг-нах-Остен! Операции против Северного Кавказа затормозились, жаль! Но подготовка штурма Баку закончена. Турки, как я и рассчитывал, завязали авангардные бои с армией Шаумяна. Приказ будет выполнен.

Плессен стянул пенсне с острого носа, протер замшей запотевшие стекла и вдруг понизил голос:

— Генерал, я должен со всей откровенностью сделать признание: ваша оперативность может способствовать благополучному исходу кампании. Его величество изволил лично прибыть в Спа. Под высоким наблюдением, в гостинице «Британик», разработан генеральный план наступления на Восток. — Плессен вынул из массивного портфеля синий пакет с пятью печатями. — Ознакомьтесь, господин генерал, здесь точные инструкции. А это, — он торжественно открыл футляр, — мне поручено приколоть к вашему славному мундиру орден Фридриха Великого «За заслугу».

Фон Гросс, озаренный восторгом, выпрямился. Он прижал к груди уже надетый орден. «О, кайзер не ошибся в нем, он все сметет на пути германской армии к Баку. А затем... если не удастся по Военно-Грузинской дороге, огнем и мечом пройдет на Северный Кавказ по берегу Каспийского моря!» В своем волнении он даже не заметил другие футляры, разложенные на зеленом сукне.

К подъезду особняка все еще подкатывали военные автомобили. В зал беспорядочно входили новые офицеры, в густом

серо-голубом дыме, окутывающем люстру, их лица казались окаменевшими. Офицеры перебрасывались отрывистыми фразами о наступающем реванше за поражение на Сомме весной 1917 года.

Но у камина адъютант Плессена высокий саксонец с будто срезанным затылком мрачно описывал фон Унгерну поражение под Лиллем войск принца Рупрехта:

— Всем происходящим, господин полковник, мы обязаны бывшему канцлеру Бетманну. — его хроническому недомыслию. Пока Вильсон бряцал нотами, Бетманн все больше терял мужество, столь необходимое для эффективной подводной войны. Адмирал Тирпиц с горечью напоминал мне, что в феврале шестнадцатого года наши подводные лодки могли чувствовать себя среди неприятельских кораблей, как волки в стаде овец, между тем, как позже им приходилось вступать в правильный бой. Простая работа разрушения превратилась в опасную борьбу, стоившую больших потерь.

— Мягкотелые дипломаты типа Бетманна не воспринимают свойств современной войны: решительности, жестокости и цинического удушения противника, — сухо произнес фон Унгерн. — Но есть ли еще возможность заблокировать Англию?

— Безусловно. Для этого немецкие подводные лодки должны действовать, как «УБ-64», торпедировавшая на днях новый английский пароход «Юстиция», шедший в центре каравана под охраной многочисленных миноносцев.

— Вот видите, господин капитан, рок покровительствует нам. Я был свидетелем, как в обычном берлинском дворе бродячий «человек-оркестр» бил в барабан и медные тарелки. К нему подошел щуцман и строго сказал: «Не играйте, здесь умирует бывший королевский исполнитель». Звеня колокольчиками на каске, «человек-оркестр» возразил: «Но он мне сам сказал, что он еще раз хочет услышать парадный марш». Немец не признает смерти, он предпочитает расквартировать ее в чужих казармах, поэтому сам он жив в течение двух тысяч лет. Мы еще покажем противнику зубы и подыдем кружки с добрым мюнхенским на берегах Темзы и Ганга.

Поглощенный беседой фон Унгерн не сразу увидел, как в оперативный отдел через зал проходил Плессен. Офицеры,

вытягиваясь перед представителем ставки, провожали его вопросительными взглядами...

Знакомый кабинет казался чужим. Уже более часа фон Унгерн, брезгливо кривя губы, слушал генерала.

— ... Весьма понятно ваше смущение, господин полковник, барон фон Унгерн, любящий наслаждаться оперой «Мейстерзингеры» или «Загадочными натурами» Шпильгагена, ценителя золотой середины между молотом и наковальней, и вдруг начальник службы «S». Но таковы инструкции верховного командования, привезенные мне Плессеном, и вам предстоит ударить мечом по мечу. С Вурцбахером покончили. Курц убит. Для вас не тайна, что эта операция могла быть проведена только большевиками. Их разведка оказалась весьма умелой. И вот в самый напряженный момент мы лишились талантливого руководителя «S». Но враги и на этот раз ошибутся. Вы стоите десяти Вурцбахеров и Курцев. Я вам коротко обрисовал состояние Германии. И, как ни сложно соединить командование Наступательным корпусом с диверсионной службой, но...

— Германия превыше всего! — фон Унгерн поднялся и щелкнул каблуками. — Я готов! — вынув монокль, он бросил его в корзинку.

Фон Гросс открыл футляр, полученный от Плессена, достал орден «Черного Орла» и величественно прицепил к кителью приятно пораженного офицера:

— Поздравляю вас, барон, с императорской наградой!..

Кружились фарфоровые дамы и кавалеры. Приближаясь к циферблату, нависшему над ними белой громадой времени, они грациозно приседали. Слово брошенный меч, стрелка вонзилась в цифру четыре.

Но офицеры, столпившиеся у камина, не обращали внимания на жеманные фигурки. Загаив дыхание, офицеры слушали фон Гросса. Им казалось, что от его металлического голоса исходит гремучая сила ордена «Фридриха Великого».

Фон Гефтен несколько рассеянно внимал грозному напутствию. В три пятнадцать он тоже был приглашен в кабинет, и фон Гросс прикрепил к его груди Железный крест 1-ой степени. Он тут же получил высокое назначение: начальника полевого штаба. В Азербайджане, по приказу фон Унгерна, он на семьдесят

два часа должен принять командование Наступательным корпусом и способствовать проникновению в Баку сводной группы «S».

Из бронзовой рамы на железных ангелов германского мира повелительно взирал кайзер. Фон Гросс торжественно сказал:

— Император впереди всех в Пруссии! Пруссия впереди всех в Германии, Германия впереди всех в мире! Нигде еще монархия не была настолько национальной, как в Германии. И сейчас Германия вручает вам знамя Бранденбурга и повелевает водрузить символ немецкого государства на вышках Баку. Для достижения цели мы призваны напрячь все силы. Баку — выход на восток, шаг к конечной победе! Баку должен стать и станет немецким. В данном вопросе мы не намерены считаться ни с союзными державами, ни с нейтральными аистами. Фридрих Великий, — генерал вновь ощутил сладость, льющуюся от ордена к сердцу, — оставил немцам мудрую заповедь: «Если вам нравится чужая провинция и вы имеете достаточные силы, занимайте ее немедленно. Как только вы это сделаете, вы всегда найдете достаточное количество юристов, которые докажут, что вы имели право на занятую территорию...»

Два дня Ладо был охвачен невыносимой тревогой. В германской военной комиссии решался вопрос, кто поведет первый поезд особого назначения.

Фон Унгерн предпочитал машиниста немца, но фон Гейфен решительно протестовал: присланный из Берлина машинист только теоретически изучал закавказскую магистраль, а на практике чуть не устроил уже два крушения. Не отставал от майора и рыжий унтер. Он почтительно докладывал фон Унгерну о преданности Абуладзе, порвавшего не только со своей семьей, но и с Грузией. Он уже неоднократно испытан на чрезвычайно важных составах, отправляемых в Батум и Потти. Кочегар Рейтер превосходного мнения о герр машинисте. Жандармы, несмотря на непрерывное наблюдение, не заметили за ним ничего предосудительного.

И вот машинист Абуладзе на площадке паровоза № 111 спокойно наблюдает за погрузкой. Но скольких душевных сил стоит это кажущееся спокойствие:

Натэлла, настойчиво домогалась, чтобы сложнейшее задание было поручено ей. Она до сих пор не вернулась. Сообщение с Душетом прервано. Рыжий унтер хвастает: птички Джугели здорово потрепаны, но выручили ягуары фон Гоцфельда. Наверное, они уже шекочут девчонок Пассанаура...

Ночь таила в себе необъяснимое беспокойство. Мохнатая, ощупью ползла прозрачные облака. В котловине вспыхивали и потухали зарницы. Срываясь, падали за темные склоны гор большие искрометные звезды. Встревоженное небо казалось пустыней, разметавшей искристый песок.

Паровоз глухо ворчал, изредка выбрасывая из трубы дымок. Точно по железной мостовой протучали конские копыта. Не Натэлла ли?! Ладо очнулся. Кочегар молотком стучал по колесу, проверяя крепость обода. Но вот он бросил молоток в сумку и стал сосредоточенно протирать кулисный механизм. Ладо вновь прислушался, — с площади доносился неясный шум подъезжающих к военной платформе транспортов.

На углах улиц, прилегающих к вокзалу, патрульные солдаты в стальных шлемах, зорко глядявались в прохожих и красноречиво преграждали путь карабинами.

Четко, по разработанному фон Унгерном плану, грузился расплывающийся в полумгле эшелон. Слышались отрывистые команды и приглушенные свистки.

Солдаты химической службы подносили к вагонам снаряженные ящики. Бегающие лучи электрофонариков освещали на продолговатых крышках «Зеленый крест», «Желтый крест», «Синий крест»... По деревянным сходням артиллеристы вкатывали в теплушки орудия, устанавливались бронемашинны. В вагон-телеграф вносили аппаратуру. Между буферами мигало оранжевое пятно фонаря. Рыжий унтер самолично проверял сцепку. Выстукивались колеса и оси, осматривались тормозы. В пульман, окруженный полевыми жандармами, по указанию Цугмайера, колонисты, достойные ученики Курца, осторожно вносили небольшие ящики с бактериальными препаратами «S». Фон Унгерн лично следил за правильностью погрузки.

На перроне выстроились немецкие части. Солдаты в полной походной форме,

офицеры в белых пробковых шлемах с металлическими наконечниками. Фон Гефтен нетерпеливо поглядывал на лестницу входа. Наконец, послышался тихий звон шпор. Из мрака выступили фигуры. Фон Гефтен круто повернулся и командовал:

— Смирно! Равнение на середину! На караул!

Солдаты вскинули винтовки и застыли.

Фон Гросс и Плессен, приняв от майора рапорт, в сопровождении штабных офицеров и членов германской делегации, прошли вдоль шеренг. Зашелестели знамена, но барабаны молчали: их отрывистая дробь оглушит уже покоренный Баку.

Сказав несколько напутственных слов, фон Гросс махнул перчаткой и крикнул:

— Дранг-нах-Остен!

Солдаты бросились к теплушкам, офицеры — к классным вагонам. Последними вошли рыжий унтер — в жандармский пульман, Унгерн и Гефтен — в штаб-вагон.

Коротко свистнул паровоз, вспыхнул белый рефлектор фонаря, будто циклоп приоткрыл ослепительный глаз.

Светало. Эшелон медленно двинулся на Баку.

Кружилась серая степная пыль. Повстанцы еще ночью должны были проскочить Согут-Булах. Семнадцатый перегон! Как медленно уползают версты! Лишь бы выдержали кони, лишь бы волчьи пикеты не напали на след. Отдаленно пронесся свист. Нет, это не паровозный сигнал. Где-то за кустарником рассыпался конский цокот, послышались голоса всадников. Шакро прищпорил коня, круто свернул в лощину. Повстанцы поскакали по отвесному обрыву, пронеслись через ручей, разбрызгивая воду, и исчезли в орешнике.

Повстанцы удивлялись, вспоминая Заган. Военнопленный Шакро Кахиани! Он был, пожалуй, самым доверчивым и простодушным. А сейчас — откуда такая сила ненависти? Откуда такая власть над людьми? За ним все повстанцы пойдут, не спрашивая куда. Шакро Кахиани знает их путь.

Всадники, минув заболоченное русло, неслись лавиной, принимая пожелтевшую траву. Объятые гневом, гикая и шелкая негайками, мчались они за Шакро...

Побледнела последняя звезда. Ладосжал ручку регулятора. Паровоз сердито заурчал, рванул и, словно нехотя, потащил длинный состав.

Розовеющие облака падали на вершины Малого Кавказа. Курчавые кустарники до берегам Куры, высохшая на островках галька, буйволы, лежащие в болотцах, и пастбище на дальних отлгах начинали летний безмятежный день.

Еще ночью немецкие саперы выступили из старинной крепости Решид-кале, вблизи азербайджанской границы, где был расположен на лето их батальон. Глава республики ухватился за предложение фон Гросса продолжить Мариинский канал и углубить его ветвь Кичик-Кясык для питания водой новых пяти тысяч десятин. Фон Гросс полностью использовал оросительные возможности. В шесть часов утра саперы ждали на станции Караязы первый эшелон Наступательного корпуса.

Пока шла погрузка их техники, вагон-телеграф был соединен проводом с линией, а машинист и кочегар, отцепив паровоз, наполнили его водой и еще раз произвели тщательный осмотр.

Гефтену показалось, что Абуладзе слишком медлителен. Рейтер, кочегар, напротив высказывал рыжему унтеру свое восхищение высокой осторожностью машиниста.

Приказав выставить около штаб-вагона часовых, фон Унгерн опустил белые шторы и включил мощные вентиляторы. Разложенная на столе карта бакинского нефтепромышленного района была уже вся исчерчена квадратиками и стрелками.

Прислушиваясь к зычному голосу рыжего унтера, кого-то разносившего на платформе, Унгерн провел платком по влажному лицу и, казалось, вместе с капельками пота стер и улыбку. И уже сухо обратился к командирам авангардных частей, созданным им:

— Герр полковник, вы расположите ваши дальнобойные орудия на крайнем правом фланге, вот здесь, — Унгерн провел на карте черту, — где скалистые утесы подходят к морю, западнее Биби-Эйбата.

Полковник Менгельбир, вытянув из тугого воротника короткую шею, низко наклонился над картой, оценивая позиции:

— Превосходно. В случае приближе-

ния английских кораблей, я сумею вести хороший обстрел.

Унгерн синим карандашом вывел над утесами два квадрата.

— Здесь станут горные стрелки и ландверный батальон второго эшелона. А вы, полковник Шметау, должны занять линию островов между мысами Пута и Шахова Коса: Нарген, Вульф, Песчаный. Морскую линию: Шахова Коса—Мыс Шоудан — мыс Сарыкая-баши приказываю занять вам, майор Грюнерт.

Высокий, плечистый майор, подняв водянистые глаза, проговорил необычайно тонким голоском, несообразным с его ростом и плечами:

— Очень хорошо. Мои королевско-баварские батареи сумеют прикрыть Баку с севера.

— Позиции центра на ровной местности, — продолжал чертить Унгерн, — западнее станции Баладжары и до возвышенности Бинагады займут саксонцы, приданные им бронев автомобили, седьмая эскадрилья «таубе» и части кавалерийской бригады, следующие в третьем эшелоне. Левый фланг позиций здесь между Грязным вулканом и северным берегом займете вы, обер-лейтенант Паприц, с егерями четвертой пехотной бригады.

Паприц наморщил низкий лоб и опустил указательный палец на голубой кружок:

— Герр полковник, что представляет собой это озеро?

— Масазырь-гель совершенно непреодолимое препятствие. Впрочем, вам не будет угрожать контратака бакинской армии. Мы ее полностью опрокинем в море.

Резко прогудел паровозный гудок, и поезд тяжело тронулся. Фон Гефтен грузно опустился на стул, шумно дыша.

— Герр майор, вам надлежит разместить главный штаб корпуса.

— План мною уже разработан. В гостинице «Метрополь» за обед дерут по сумасшедшему курсу. Но мы их заставим не портить рыбу, а подавать ее под приличными соусами и по прейскуранту довоенного времени. Для армейских штабов будет использована гостиница «Европа» и солидные здания на Набережной. Талоны на комнаты господ офицеры могут уже получить у квартирмейстера.

Фон Унгерн бросил на Гефтена насмешливый взгляд:

— Благодарю, майор. В рыбном вопросе я и на берегах Ганга буду рассчитывать на вас, — и повернулся к полному капитану, — химические снаряды вы поместите в складах общества «Кавказ и Меркурий», в западной части порта.

Поезд с трудом набирал скорость. Горы таяли в сине-желтой дымке. Густые фаланги саранчи выбирались на насыпь и, точно боясь отстать, цеплялись за вагоны.

Полковник Менгельбир поинтересовался, как долго придется пробыть в Баку.

— Подготовив операционную базу и учредив в Баку немецкую администрацию, — обрадовал офицеров фон Унгерн, — Наступательный корпус подтянет все силы и немедленно двинется через Дагестан на соединение с ростовской группой и на Иран на соединение с фон Пахеном. Через порт Красноводск мы проникнем в Среднюю Азию. Оперативные линии для индийской кампании разработаны, и имперский план Людендорфа будет выполнен.

Вошел дежурный телеграфист и молча положил перед Унгерном ленточки с оперативной сводкой, принятой в Караязях из штаба Назим-бея. Быстро просмотрев текст, Унгерн сообщил офицерам, что турки перешли в наступление по всему трехмильному фронту и уже четвертый день ведут бои за станцию Кюрдамир. У селения Карамарьян на левом фланге достигнут превосходный результат: сегодня к шести часам обозначился обход второй бригады бакинских войск в районе южнее железной дороги.

Сводка привела фон Унгерна в хорошее настроение. Он отпустил офицеров, которые поспешили в салон-вагон, и вызвал Цугмайера.

Гефтен воспользовался случаем и угостил офицеров обильным завтраком. Вскоре они, продумывая ходы, методично бросали на овальный столик карты. Солнце накаляло крышу вагона. Гефтен подсел к вентилятору и, расстегнув ворот, продолжал держать банк. Перед ним росла гряда кредиток. После каждой удачной талии майор с наслаждением съедал бутерброд, запивал его ромом и отстегивал на кителе еще одну пуговицу.

Полковник Менгельбир с гримасой

пододвинул фон Гефтену последнюю пачку марок:

— Ва-банк! — и проиграл.

— Продолжайте, полковник, — фыркнул Гефтен, — в Баку расплатитесь черным золотом! А когда у вас останется одна лишь марка, советую последовать примеру Тома Богестона, — единственного англичанина, которого я уважаю. С гастрономическими целями он изъездил всю Европу, не миновал, как и мы с вами, России. В Мексике, Китае и Канаде он оплачивал агентов, присылавших ему лакомые куски. Он с достоинством проел до крошки свое миллионное состояние и, оставшись с шиллингом в кармане, купил себе бекаса, зажарил по всем правилам кулинарного искусства, дал желудку два часа на приятное пищеварение и, насладившись в последний раз, пошел и утопился.

Гефтен запихнул в рот ломоть сыра и, подмигивая хохочущим офицерам, растегнул нижнюю пуговицу.

— Герр майор, вы больше ничего не собираетесь растегивать? — усмехнулась Паприц.

— Я не выношу двух вещей: жары и культуры.

— От культуры, великий гастроном, вы себя навсегда застраховали, — успокоительно произнес Грюнерт.

Под хохот офицеров, проигравшийся Менгельбир достал из чемодана шампанское. Оно было тепловатое, но Гефтен этого не заметил, чокнулся, выпил залпом и открыл окно. Вместе со зноем всрвался луч радужной пыли. Гефтен, словно уставший бык, вдохнул жаркий воздух. Он оглядел дремлющие в прозрачной дали горы и долинки, и по его лицу расплзлась самодовольная улыбка...

Беседа с Цугмайером велась вполголоса. Еще задолго до выезда частей Наступательного корпуса, Цугмайеру удалось связаться с колонистами Еленендорфа, расположенного вблизи Елисаветполя. Они уже ожидают в районе Уджары с фургонами, нагруженными мукой для голодающих рабочих Балаханы. В мешок, отмеченный черным крестом, Цугмайер вложит адскую машину замедленного действия. Фон Унгерн переоденется колонистом, а для Цугмайера и четверых верных еленендорфцев имеются поношенные гимнастерки и фуражки. В этом маскарадном наряде можно вполне

сойти за русских солдат-большевиков, вернувшихся с Кавказского фронта в деревню Ивановка. Конечно, они с готовностью будут рассказывать, как убедили колонистов продать хлеб и как, пренебрегая опасностью, с представителем Еленендорфа, провезли через Шемаху подарок нефтяникам. Помогая разгружать второй фургон, фон Унгерн сам перетасит в расположение рабочих казарм «Братьев Нобель» отмеченный мешок, а Цугмайер прикроет своим мешком приличную порцию кордита. Ровно через пять часов произойдет взрыв, который раскрошит поселок Балаханы. В возникшей панике надо распространить слух № 1: взрыв — преследование бакинских комиссаров, под напором турок бегущих из Баку и уничтожающих нефтяные промысла. Одновременно Цугмайер, с фальшивым паспортом, проникнет в здание Совнаркома и оставит под каким-нибудь диваном или шкафом коробочку № 9 с эксакордитным препаратом. Ровно через пять часов, то-есть как раз в разгар служебного дня, произойдет взрыв. Возможно, в здании погибнет и Шаумян, что еще больше усилит панику. К этому моменту на фронте турецкие части будут основательно потрепаны, и Наступательный корпус победоносно ворвется в Баку.

В вагоне-телеграфе аппарат четко выстукивал тире и точки. Дежурный потянулся к термосу и едва успел отпить глоток кофе, как его глаза испуганно впились в ленту. Он тревожно нажал кнопку сигнального звонка. И почти тотчас же вбежал фон Унгерн.

Он посмотрел на телеграфиста и бросился к аппарату, который продолжал отстукивать точки и тире.

Назим-бей сообщил:

«...Южнее железной дороги обход бакинских войск сорван. Подтянув резервы, комиссар Корганов перешел в контр-наступление. Турецкие части сбиты и сброшены. По данным разведки Нурипаши, Шаумян осведомлен о вступлении в действие Наступательного корпуса. Очевидно, желая опередить немецкое командование и вести борьбу с турками, и немцами порознь, большевики перешли в наступление на правом фланге с целью овладеть городом Геокчай. Одновременно с фронтальным наступлением главных сил, обходный отряд комиссара Солнцева, зайдя в тыл турецким войскам,

бомбардирует Геокчай. Необходимо немедленное вступление частей Наступательного корпуса в бой. Фронт напряжен. Бакинские войска угрожают взятием Елисаветполя...»

Лицо Унгерн покрылось красными пятнами, и он стал удивительно похож на Вурцбахера. Сейчас спасти положение может только стремительный удар. Ворваться в Кюрдамир, расчленив бакинскую армию и... пустить в ход службу «S». И только тут Унгерн заметил, что поезд снова стоит около земляной платформы. Галдят высыпавшие из вагонов солдаты. Оказывается, рыжий унтер и трое жандармов раздают саксонцам от имени генерала фон Гросса в виде поощрения по пятнадцати сигар.

Эшелон два часа простоял на станции Бююк-Кясик. Машинист исправлял инжектор. Гефтен, проклиная духоту, пошел к паровозу.

— Недосмотр депо! — сердился Абуладзе. — Вот что революция делает с паровозами!

Гефтен смягчился и даже не запротестовал, когда Ладо приказал кочегару смазать подшипники. Стоя на площадке вагон-телеграфа, фон Унгерн угрожающе крикнул:

— Герр майор, эшелон должен прибыть в Карабуджах на два часа раньше срока.

Гефтен уставился на непривычно разъяренного полковника и быстро отозвал в сторону рыжего унтера:

— Выбейте из паровоза предельный ход! — прорычал Гефтен.

Унтер стремительно взобрался на паровозную площадку. Вскоре заскрипели тормоза, и поезд снова тронулся.

Миновав унылую станцию, паровоз стал буксовать. Рыжий унтер вплотную подошел к Ладо:

— Герр машинист, вы сегодня едете не быстрее черепахи, но я, Карл Фрост, хорошо помню, что это ваш любимый маршрут.

Ладо, не выпуская ручку ходового рычага, высунулся из кабины, быстро осмотрел путь, дернул шнур, паровоз два раза свистнул, но ястреб в ответ не кричал... «Опоздали!»

— К сожалению, герр унтер, паровоз использует лишь весьма небольшую часть развиваемой в нем теплоты. Вы спросите, а куда идет большая часть? Я могу вам подробно объяснить: на на-

гревание стенок двигателя идет меньшая, а большая, к сожалению, бесполезно тратится в воздухе.

Рыжий унтер подозрительно слушал машиниста. Россия не только страна мрака и грязи, но и тайны. Здесь и камни опасны, если они за спиной. Так умно сказал ему обер-лейтенант Вурцбахер, который в этой дьявольской стране так и не ухитрился стать капитаном. Внезапно припомнился Аратов, и унтер пришел в ярость:

— Чорт возьми! Приберегите вашу теплоту для вашей фрау! А мне нужен...

— Но состав слишком перегружен...

— Мне нужен полный ход!

— Опасно, мы подходим к семнадцатому перегону. После двадцатого можно наверстать. Герр унтер, взгляните на профиль.

Ладо, едва скрывая беспокойство, высунулся в окошко и еще сильнее дернул шнур. Паровоз два раза пронзительно свистнул, но ястреб в ответ не кричал... «Опоздали!»

Ужасное сомнение все больше охватывало Карла Фроста, он ведь ручался за машиниста... Но фон Унгерн тоже ручался за Аратова... Чорт возьми, Абуладзе проверен!.. Но почему так вздрагивают его пальцы?! Глупости! Следует только припугнуть!

— Нужен полный ход сейчас! Вы уже просрочили два часа. После двадцатого, хо! Мы, немцы, ничего не хотим откладывать на после! — Расстегнув кобуру, унтер выхватил револьвер.

Удивленный странным поведением шефа, Рейтер поспешно взялся за лопату. В топку полетели куски сверкающего угля. Рыжий унтер грубо протер стекло манометра и, багровея, надвинулся на Ладо:

— Мне нужно не шесть, а пятнадцать атмосфер! На полный ход! Ну?!

Ладо невозмутимо пожал плечами: он привык к осторожности. Но если герр унтер настаивает...

Карл Фрост, как вепрь, уставился на манометр:

— Только двенадцать?! — он направил револьвер на Ладо. — Вы не машинист, а горшечник! Но я тебе напомню Заган, выбью из тебя полный ход!

Ладо, не ответив, повернулся к рычагу. Глубокая морщина сдвинула брови: «А ястреб все не кричит: опоздали! Сколько усилий, сколько напрасных

жертв! Напрасных?! Нет! В его воле не допустить оккупантов в Баку. И он не допустит. Шаумян! Доставил ли матрос пакет? На случай... нет, никаких случайностей! Опоздали! Но не все еще потеряно. Он, машинист, свою жизнь превратит в дополнительную силу тяги. Ладо Абуладзе, твой паровоз должен лететь под откос!»

Ладо решительно повернул рычаг. Унтер, смахивая пот со лба, угрюмо наблюдал за машинистом. Кочегар, откинув лопату, схватил карабин.

Паровоз освобожденным зверем рванулся вперед. И в этот напряженный миг обостренный слух Ладо уловил совсем рядом, под мостками, крик ястреба. Ладо встрепенулся и неожиданно боковым ударом сбросил кочегара с площадки.

Унтер выстрелил, но Ладо пригнулся. Его покрытое угольной пылью лицо стало страшным. Он с такой силой стиснул волосатые руки Карла Фроста, что тот застонал. Оброненный револьвер гулко стукнулся о лопату. Ладо метнулся к подножке, намереваясь соскочить вниз.

Но рыжий унтер обеими руками вцепился в него, и в смертельной схватке они покатались по железному полу паровозной будки.

Паровоз мчался, извергая клубы огненного дыма, подбрасывая на раскаленной площадке двух врагов. Изодранные, барахтающиеся, ударяющиеся то об дверцу топки, то об углы решетки, они крепко обнялись и не в силах были разъединиться. Они знали: один из них должен погибнуть.

А под насыпью уже залегли цепью повстанцы и, тревожа степь, беспрестанно переключались ястребами.

Унтер ухватился за поручни и ногой ударил Ладо в грудь. Звериный хрип услышал Ладо, уродливые пальцы вонзились в его горло. Сквозь кровавую пелену он увидел, как подскочила насыпь и тяжелой тучей обрушилась на паровоз. И тотчас из-под колес вылетели красные птицы и рассыпались искрами. Неистово застучали поршни, а Ладо почувствовал откуда-то издалека свой собственный голос: «Дранг-нах-Остен, не выйдет, товарищ Степан!..»

И словно морская свежесть вернула ему силы. Он рванулся и нанес рыжему унтеру отчаянный удар кулаком.

Выплюывая багровые сгустки, унтер

старался удержаться на краю площадки. Еще удар, и он отпустил поручни и, стукнувшись виском о ступеньку, сорвался с паровоза.

Ладо вытер рукавом залитое кровью лицо и схватился за веревку. Торжествующий гудок огласил степную окрестность...

— Да живет Грузия! — воскликнул Шахро за большим камнем, чиркнул спичкой и приложил ее к бикфордову шнуру. Стремительно побежал голубоватый огонек.

— Да живет!..

Повстанцы повернули коней и понеслись в сторону, к горному источнику..

Ладо затормозил поезд, оглядел путь. В мареве неясно вырисовывался железнодорожный мост. Вдали скакали всадники. Он перевел рычаг на предельную скорость, соскользнул по подножке и выбросился на насыпь.

Паровоз, качаясь, летел вперед, упрямо поглощая пространство. Вагоны, подхваченные неукротимой механической силой, устремились за огнедышащим чудовищем.

Буро-желтые стебли бурьяна скрывали Ладо. Мимо него мелькали колеса, машины, орудия, стальные каски солдат...

В салон-вагоне Фон Унгерн следил за часами:

— Очень хорошо! Гефтен, почему вы не говорите, что мы глотаем мили, как устриц?

Дребезжали батареи пустых бутылок. Отражаясь в зеркалах, мелькали телеграфные столбы. Шатаясь и разбрызгивая вино, фон Унгерн старался перекрыть ревущий поезд:

— Еще Фридрих Ницше говорил: «Более высокая культура сможет возникнуть лишь там, где существуют две различные общественные касты: каста работающих и каста аристократов».

С поднятым бокалом Гефтен напевал веселую песенку, отбивая такт ногой:

Шник шнак дудельзак,  
Эйер кинд зиль танцен,  
Енцхен, Фрицхен, Фриц унд Франц,  
Волен люстиг танцен!

— Гер.. мания вос...тор... же... ствует над всем ми...и...ром! — орал Паприц.  
— Хо...о...х! Ох!

Из рамы вылетело зеркало и рассыпалось мелкими осколками. Вагон вздыбился и треснул.

В бурлящем огне поднялся на воздух мост. И словно гигантские железные руки подхватили паровоз и неистово сбросили в пропасть грохочущие вагоны.

Черно-коричневое ядовитое облако, испепеляя деревья, заволокло небо. И из этого все растущего клочкощущего облака вылетел орел, скрючил крылья и камнем упал на потрясенную землю...

Кони тяжело дышали, фыркали, пена хлопьями падала с мундштуков. Шакро бережно передал Ладо спешившимся повстанцам и соскочил с измученного скакуна.

Живая вода, плескалась в солнечных бликах, сбегала по зеленеющей лощинке. Снизу доносилось ржание, веселый говор, всадники поили лошадей.

У горного источника Шакро осторожно обмывал истерзанное лицо друга. Но Ладо ничего не замечал, прильнул к ледяной струе и ненасытно пил, хрипел, захлебывался смолистым воздухом и снова пил, не в силах утолить жажду, утихомирить биение сердца. Вдруг он откинулся и тихо провел рукой по воде:

— Смотри, Шакро, это тот самый родник, о котором в Загане говорил студент... — он порывисто обнял Шакро и, преодолевая боль, медленно поднялся на выступ.

Внизу, зарывшись в кустарники и положив головы на седла, спали утомленные повстанцы: «Вот они, «заганцы»! Ничто не сломило их волю, закаленные ненавистью все поднялись за родное дело...»

Суровый начальник повстанческого отряда Шакро Кахиани не прерывал долгого молчания. Он понимал, какие чувства обуревают отважного машиниста...

Пламя мести сжигает и его, Шакро. Но настанет время, и там, где высятся израненные врагами горы, снова начнут созревать обильные сады, с веселым призывом пастухи погонят баранту на сочные пастбища, заскрипят деревянные колесами над крутизной перепол-

ненные арбы, под цветущим склоном переплетутся виноградные лозы, и порыв ветерка подхватит песни женщин—песни Грузии... А сквозь прозрачную, с высокого неба струившуюся синь сильнее всех зазвонит голос Натэаллы...

«Натэлла!.. Где ты, девушка, поднявшая мое сердце, возвысившая мои желанья?.. Где ты, возлюбленная, предрешившая путь Шакро?.. Будешь моей женой? «Да!» Когда вернусь? «Да!»

Шиокая улыбка озарила Шакро. И на миг он снова стал похож на того простодушного парня с мотыгой, который на далеком кургане, заросшем серебристой кукурузой, поверил в тишину вечного лета.

— Нет, дорогой Шакро, борьба еще не кончена, рано торжествовать, рано успокаиваться. Но какие бы испытания ни предстояли, наши горы неизменно будут оглашать мир орлиным клекотом: «Врагам не владеть Кавказом!»

Ладо с трудом ронял слова, и хотя голос его звучал глухо, но ему казалось, что кричит он на весь земной шар и что слышат его сонмы взволнованных людей, влюбленных в беспредельную жизнь и верящих в ее справедливую силу:

— ... Знай, друг, между двумя морями столкнулись два потока: один взлетает вверх, другой низвергается вниз. Не примириться им и не бушевать рядом!.. Видишь, как густо надвигается мгла? Как солнце клубится в кровавых тучах? Все предвещает беспощадную битву... Но завтра золотые лучи озарят наши долины, солнце взойдет для победителей! — И Ладо, словно приветствуя восход этого весеннего солнца, гордо поднял руку и стал вглядываться в темнеющую дымку, скрывшую обломки рухнувшего моста. — Слушайте вы, «ангелы мира»! Никогда свободный человек не покорится зверю! Не сломить вам нашу силу! Не летать вам по нашему небу! И вовеки не топтать нашей земли! Не бывать такому!..

*Тбилиси—Москва, 1942—1944\*.*

\* В журнале «Новый мир» роман напечатан в сокращенном виде.

# УТРОМ

АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ

★

Ах, шоферша,  
пути перепутаны! —  
Где позиции?  
Где санбат? —  
К ней пристроились на попутную  
Из разведки десять ребят.

Только-только с ночной операции —  
Боем вымученные все.  
— Помоги, шоферша, добраться им  
До дивизии —  
до шоссе.

Встали в ряд.  
Поперек дорога  
Перерезана.  
— Тормози!  
Не смотри, пожалуйста, строго.  
Будь любезною,  
подвези.

Утро майское.  
Ветер свежий.  
Гнется даль морская дугой.  
И с балтийского побережья  
Нажимает ветер тугой.

Из-за Ладоги солнце движется  
Придорожные лунки сушить.  
Глубоко  
в это утро дышится.  
Хорошо  
в это утро жить.

Зацветает поле ромашками.  
Их не косит никто,  
не рвет.  
Над обочиной  
вверх тормашками  
Облако пороховое плывет.

Эй, шоферша,  
верней выруливай! —  
Над развилкой снаряд гудит.  
На дорогу не сбитый пулями  
Наблюдатель чужой глядит...

Затянули песню сначала.  
Только начала подпевать —  
На второй версте укачала  
Неустойчивая  
кровать.

Эй, шоферша,  
правь осторожней! —  
Путь ухабистый впереди.  
На волнах колеи дорожной  
Пассажиров  
не разбуди.

Спит старшой,  
не сняв автомата.  
Стать-расписывать не берусь!  
Ты смотри,  
какие ребята!  
Это, я понимаю, груз!!!

А до следующего боя —  
Сутки целые жить и жить.  
А над кузовом голубое  
Небо к передовой бежит.

В даль крошечную  
пороховую,  
Через степи, луга, леса  
На гремящую передовую  
Брызжут чистые небеса...

Ничего мне не надо лучшего —  
Кроме этого —  
чем живу —  
Кроме солнца  
в зените

колючего,  
Густо впутанного в траву,

Кроме этого тряского кузова,  
Русской дали  
в рассветном дыму,  
Кроме песни разведчика русого  
Про красавицу в терему.

# РАССКАЗЫ

ВЛ. КУРОЧКИН



## ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН

Машина шла на Никель. Немцы хорошо накатали здесь дороги, и наши дорожники, которых начальство распекало при каждом удобном случае, из всех сил старались поддержать их в порядке. Машина катилась ходко.

В кузове полуторки сидело много пассажи́ров, самых разношерстных военных. Все это были попутчики, то есть передвигающиеся с попутной машиной от шлагбаума к шлагбауму. Но, несмотря на случайное знакомство, шум не утихал в кузове. Люди разговаривали охотно, много. Веселила сердце быстрая езда. И бензиновый чадок приятно срывало свежим ветром в сторону. Да еще о чем-то родном говорили дали в сереньком зимнем свете дня, обманывали. И, как небритые скулы знакомого лица, оборачивались на поворотах перед глазами холмы, поросшие редкой синеватой хвоей: Архангельск, Вологда, Вятка, северная сторонка, родина?.. Ан-нет, и свое — и не свое... Чужбинка!

Основными говорунами все же были только трое. Маленький боец с тоненьким вострым носиком и двумя яркими кружочками румянца под самыми глазами. Он принадлежал к числу людей мало знающих, но много слышавших. Его товарищ был похож на иностранца, обряженного в нашу ушанку, полушубок и валенки. В этом были виноваты очки без оправы, со стеклами не круглой, как принято, формы, а в виде каких-то восьмигранников. Слушая его, можно было догадаться, что он из студентов, сорван с места войной и заброшен в самое пекло. Третий был скрыт плащ-палаткой и только иногда показывал большой голубой глаз и ус цвета пепла. Он всеми силами старался вызвать спутников на

жаркий и решительный спор. Но никто ему не поддавался.

— А я вот смотрю, ребята, сейчас речушка будет, — сказал боец в очках, не оборачивая даже головы в ту сторону, где должна была появиться объявленная им речушка, словно он с детства только и делал, что катался здесь, и теперь мог, закрыв глаза, определить, где будет речушка. — Так вот она собственно и есть официальная граница между норвежской территорией и бывшей финской. Вот и возьми, в каком-нибудь сороковом году ее только нелегальным путем и можно было пересечь, а сейчас наш Петя лишь газку прибавит — и без всяких виз в Финляндию из Норвегии скакнем, а?

— Слышь, а я еще вот что скажу, — вставил румяный боец тонким голосом, он ни за что не хотел отставать в серьезном разговоре от товарища. — Заметь, эти норвеги — симпатичный народ.

— Норвеги, друг ты мой, это коньки. В магазинах продаются, — засмеялся боец в очках. — А ты про народ хочешь сказать, про норвежцев?

— Я вот и толкую, смысленый они народ, — не смутился румяный. — Коньки свои выдумали, саночки тоже, есть такие ихние...

— Не только санки, норвежцы — это древняя культурная нация. Норманы — предки нынешних норвежцев...

— Норманды?! Да што это за жизнь! Коньки, речушка тоже, — резко открылся с голубым огнем глаз и высунулся воинственный ус. — Вот я на реке Миусе был. Там начался денек! С утра артподготовка. Потом пошли! Одних пулеметов с немецкой стороны! — двести гнезд! Стена огня. Генерала Провоторова люди — костями легли. Мы шли по ним. Ну и что ж!.. Наши «катюши» запели. Не-

мец только ощерился. Но и мы тоже шли, дай бог вам так ходить. Вой, свист! Жизнь! А ты коньки... Сюда вот только и попал, потому что там ранило. Трясись вот тут теперь..

Но и опять ему никто не поддался, и плащ-палатка задернулась.

— Вот некоторые рассуждают, — начали осторожно очки, чтобы вновь не разбудить вулкан, но и в то же время со своих позиций не отступить. — Жизнь, говорят, а известно ли им будет, что еще в середине шестнадцатого века наши поморы в простых лодчонках без навигационных приспособлений в Баренцовом море вон у тех самых берегов плавали. И хоть бы что!

— Да ну? Что ты скажешь, какие задорные ребята, — встрепенулся румяный. — А я вот, как взойду на простой, скажем, плот, так меня мутить, крутить начинает. Честное слово, пропал бы, если бы в морскую пехоту послали. Не, я лучше в минерах побуду. Оно, правда, смерти в щелку подглядываешь, да на земле все-таки.

— Да, плавали. С англичанами торговали. Берега эти осваивали, — продолжал с таким жаром боец в очках, словно это он сам плавал и торговал с англичанами. — Селились тут, жили. Мелиоратировали землю.

— А кому она, земля-то эта нужна? — глухо раздалось из-под плащ-палатки, но глаз не открылся. — Пустельга земля-то. Это тебе не вишня в Ставропольщине... Немцы-каты всю пожгли...

— Не в вишне, понятно, суть, но больно уж старину, друг, копнул. Может, и жили тут наши, да ведь при царе Горохе, — сказал кто-то из задней части кузова.

И студент и его противник сразу же дали в один голос отпор, но каждый в своей теме: «Старина-то, старина, да не чужая. Почитай-ка труды, академические...», — резанул студент. — А ты ее, вишню-то эту кусал? Небось и слыхом не слышал, что это такое наша ягода-май-ка весной?.. — рявкнуло из-под плащ-палатки. Но всех перебил румяный боец. Он вскочил и, стуча по крыше кабинки, заорал шоферу:

— Слышь-ка, стой, говорят! Посади ты его! Знакомый нам!

Все это произошло необычайно быстро, пассажиры только и могли понять, что машина затормозила около бойца, стоявшего на дороге с поднятой рукой. При

нем были лыжи, а свежая колея на снегу показывала, что он съехал к шоссе прямо с горы из черного неприветливого малорослого ельника.

— Ты его откуда знаешь? — тихо спросил боец в очках, когда новый пассажир, сунув лыжи, влезал в кузов.

— А что мне его особо знать? Разве не видно — человек. Стоит, мерзнет. Шоферы ныне, что твоя тигра, осатанели. Им — топай себе до шлагбаума, жалости совсем нету. А я — нет, не будет по-твоему, сам стоял, знаю, — хитро пояснил румяный.

А машина между тем опять набрала скорость и летела, словно сожалея о потерянных минутах, солидно потряхивая на поворотах всю компанию в кузове.

— Подумать, сколько народа война с мест подняла. Этих на юг, а этих на север, — снова заговорил какрй-то пассажир, глядя на нового человека, который его поразил сочетанием круглых светлых глаз на скуластом, монгольского склада, лице. — Все перемешалось. Русские, армяне, украинцы, белоруссы, вологодские, узбеки, уж и не разберешь иной раз с кем говоришь.

— Да, полный конгломерат, можно сказать, — повернул боец в очках.

— А что, кунак? — пододвинулся к новому человеку румяный боец, расцветая ласковой улыбкой. — Верно, не с руки на этих дощечках скакать? Южному какому товарищу морока одна с лыжами.

Но лыжник сказал, не очень чисто по-русски, что он привык к этому способу передвижения, а на юге ему совсем не приходилось бывать.

— Так значит, — подумал с минуту румяный, — из Сибири, выходит, твоя личность?..

— Нет, он здешний, — просто сказал лыжник.

Тут все так и впились в него глазами.

— Саам? — быстро спросил студент с волнением, что другие опередят его в этой догадке.

— Нет, он русский. Его имя — Онуфрий, — с достоинством сказал лыжник. — У него отец русский. Мать у него, да, из племени саам.

— И родились здесь?.. А семья как, тут?.. Это что же, поселок какой есть?.. — посыпались со всех сторон вопросы.

— Да, он скажет. Тут два поселка:

Пышка и Москва. Такие у них русские названия.

— Вот чорт, ну скажи, пожалуйста, — даже всхлипнул от восхищения румяный. — Ну возьми себе в ум. Воюем, воюем и не знаем, что такие чудеса тут. Москва, а?

— Так, так, — возвысил голос и студент. — Кто-то возражал: старина, мол... Вот!

— Брехня! — буркнуло под плащ-палаткой, — Москва одна на свете!

— Нет, он говорит то, что говорит, — твердо сказал лыжник, и в необычайно ясных светлых глазах его мелькнуло удивление, что ему могут не верить в таких простых вещах. — Это поселки у Луостари. Там был монастырь и жило много русских монахов.

— Э-ка, монахи?.. — весело засмеялся румяный. — Так на то они и монахи. Им нельзя пацанов иметь. А мы про родителя твоего спрашиваем.

— Монастырь существовал так давно, что он даже не может сказать как это давно. Сами святые отцы не помнили этого, — продолжал рассказывать Онуфрий с неподдельной простотой и серьезностью. Последующие слова его были настолько чисты и непосредственны по интонации, что даже у самых грубоватых солдат не скользнуло на лицах улыбок, и только внимательное молчание показывало, с каким жадным интересом слушается это безыскусное, но сразу захватившее всех повествование. — И поселки вначале были чисто саамские. Но произошло так, что монахи стали встречаться с саамскими женщинами. Стали рождаться русские дети. Мужчины-саамы ничего не могли сказать, потому что святые отцы говорили им, что это небо виновато, что жены саамов слишком часто выходят по ночам смотреть на небо. И никто не сердился. Это продолжалось так долго и было так давно, что поселки стали русскими. Когда он родился, то там все хорошо понимали по-русски. У него было много братьев и сестер. Он помнит, что отца его звали Паисий. Так говорила ему мать.

— Вот ведь как оно, так! — старательно сказал румяный, нельзя только было определить, что он этим хотел выразить.

— Когда в сороковом году в Петсамо пришли русские военные — говорил лыжник с хорошей ясной улыбкой на

скуластом доверчивом лице, — то они разместились в Луостари и близ поселков. Это был девяносто пятый полк. Он, Онуфрий, был тогда очень молодым и быстро сдружился с русскими бойцами. Он не мог больше оставаться дома, когда узнал этих людей. Они взяли его воспитанником части. Вот уже пятый год, как он по-настоящему русский. О нем можно всегда узнать в лыжном батальоне. Сейчас он вернулся домой.

— Ну и что же? Как? — напряженно спросил студент.

— Он не увидел поселков, — грустно сказал боец лыжного батальона, — там совсем не было людей. Никого. Близ Луостари немцы имели большой аэродром. Там не могли жить не немцы. Куда их всех дели, он не знает. Это даже невозможно узнать.

— А сейчас ты куда ездил? — спросил кто-то.

— Он ездил к озеру Олменчкыхекым'яурнеч, — сказал лыжник и тут же рассмеялся. — Не нужно так смотреть на него. Это по-саамски. Означает: озерко потонувшего человека. Там жил один охотник-саам. Но и его теперь нет. Никого нет. Все пусто. Нехорошо, когда не знаешь, что и думать о них. Куда они делись?..

Никто ничего больше не говорил. Молчали. А машина мчалась. Ветер хватал, если ему это удавалось, концы плащей и хлопал ими, как бичами. Прекрасная дорога вилась среди холмов и каменных, внезапных, выпирающих из снега, поставленных на-попа силой сжатия земной коры, гнейсовых пластов, покрытых зеленовато-серебряными лишайниками. Скоро боец лыжного батальона попросил остановить машину. Он сказал, что отсюда ему быстрее доехать до части на лыжах — напрямик. Он благодарил.

Он сошел с машины, стал на лыжи, и все видели, как, помахав рукавичкой, он, — неуклюжий в полушубке, — вдруг точно сорвался с места и понесся птицей вниз, на лету приобретая легкость и ладность движений. Несколько мастерских вихревых поворотов, с тучами снега из-под лыж, и он исчез в белой тундре так скоро, что можно было лишь думать — был ли он вообще...

— Выходит, это последний из могикан, так сказать, здешних, — сказал студент задумчиво.

— Да нет, куда там! — упрямо сказал высунившийся из плащ-палатки сердитый усач. — На лыжах он, верно, мастак ходить. А остальное — все вранье! Какая тут Москва? Обман зрения.

— Нет, парень не соврал, — сказал молчаливый пассажир в унтах и шлеме летчика, сидевший в переднем углу кузова. — Да, есть такой на местной кар-

те населенный пункт. Я только не понимал, откуда взялось такое название.

С этими словами он достал из планшета лётную карту. Она была трофейная, немецкого происхождения. Все постарались подползти поближе и разобрали достаточно ясно и понятно напечатанное латинскими буквами над маленькой точкой слово: Moskova.

★

## ЖИВОЕ НЕБО

Офицер этот рассказал так:

— Я опоздал на попутную машину в Эльвенес. Следующая колонна грузовиков должна была итти только через сутки. Ну, что же, нужно было чем-то заняться до тех пор.

Развилка дорог приходилась почти у самой реки Пасвик-эльв. По ней частично шла государственная норвежская граница. По-фински эта же река называлась Пате-йоки. Так что, как кому нравилось, так ее и называли. Наши саперы, например, называли ее просто — Потей-река, потому что она была широка и порожиста. Даже мороз не справлялся с капризницей. Ее желтые воды дыбились над обледенелыми камнями, кипели и бежали то поверх льда, то ныряли под него. Саперам пришлось попотеть над переправами. Вот они и посмеивались потом над собственными невзгодами и подтверждали тем самым свою власть над несговорчивой и сумрачной северной природой. Но эта деталь у меня к слову пришлась, главное впереди.

Да, приходилось, значит, чем-нибудь занять себя. Метрах в ста от перекрестка, у шлагбаума, цветасто раскрашенного людьми из дорожно-эксплоатационного батальона, стояла избушка — ожидалка. Но в ней нечего было делать. Там докрасна топилась железная печка и спал на скамейке, уткнувшись к стене, какой-то солдат. В комнате, отведенной для дежурных контрольно-пропускного пункта, тоже господствовала скука. На нарах<sup>на</sup> под полушубка с пунцовою<sup>на</sup> нарукавной<sup>на</sup> повязкой регулировщика торчали босые ноги с желтыми пятками, пробивался протяжный носовой свист. Человек брал свое, крепко спал. Я его примеру следовать не хотел. Я уже достаточно выспался, ожидая ту, предыдущую машину, на которой приехал сюда. Да, но что бы мог

я придумать, посудите сами? Я решил выйти опять на улицу, может быть там найду для себя что-нибудь повеселее. Из конца караулки посмотрел бодрствующий регулировщик и тотчас спрятался. Я больше не представлял для него интереса, он уже изучил мои документы.

Я отошел в сторону от шоссе. Был очень легкий наст, но я рискнул. Пошире расставлял ноги и скользил, как на лыжах. В общем, провалился только раза три, но ушел далеко, за холмик, к реке и перестал видеть постройки и полосатый шлагбаум. Меня замкнула в кольцо дикая северная природа. Она придвинулась ко мне и заговорила. Да, так мне тогда показалось.

Тогда, уверяю вас, я впервые почувствовал, как это было полезно для меня. Все время я был на людях, все четыре года. Я только и делал, что разговаривал с людьми, такая у меня была должность. Я им рассказывал, они — мне. И я израсходовался к концу войны. Что-то надламывалось в душе, но никто об этом не знал, я был на людях и умело держался.

А тут со мной говорила сама природа. Но какая досада, я не понял ее языка. Я старался изо всех сил. Но ничего не получалось.

Тогда я сразу себя утешил: что особенного могла сказать северная природа? Ее язык беден? Так я думал. Тундра, пустые пригорки, чахлая растительность. И даже горы вдали — они тоже косноязычны. Им нечего сказать о себе, кроме того, что им самим тяжело от избытка северного холодного камня. Так я думал, чтобы уменьшить свою досаду. Но затем я взглянул на небо и поблагодарил себя за удачную мысль уйти подальше от дороги. Ничто меня здесь не отвлекало. Небо жило. И я понял его сразу до мельчайших движений облачков. Я был

тогда счастлив от этого, хотя сейчас могу согласиться с вами, что это было и странно и, пожалуй, немного смешно.

Над горами клубился туман. Там рождались облака и уплывали вдаль. словно розовый светящийся газ наполнял облака. Он двигался, переливался из одного в другое. Конечно, это солнце подсвечивало там из-за гор. Но я просто не желал так обыкновенно думать. Нет, это небо дышало полной грудью, свободно и вдохновенно, потому что ни одной заботой не затрудняло себя в это утро, как, впрочем, и в предыдущие.

Потом в небе совершилось какое-то волнение. Розовое свечение, бурно принимая различные формы, вдруг резко опало вниз и прикикло к горам. А в проветах блеснула голубая эмаль далекого горного воздуха. Это, конечно, ветер, крутясь, разгонял облака. Но я сказал себе, что небо обняло землю, как делало вечно и неизменно: и тогда, когда здесь полз один только ледник, и тогда, когда пролетали на юг только одни говорливые косяки птиц, и теперь, когда по дорогам бежали между гор коробочки на колесах, называемые автомобилями, а в долинах скапливались и карабкались по тропинкам сосредоточенные существа в полушубках и валенках с разнообразным оружием в руках. Я радовался, что мог так думать. Мне и сейчас весело при воспоминании.

Я мог тогда делать все, что вздумается. Мне никто не мешал. Я захотел и повернулся, стал смотреть строго на север. Небо там было темносинего цвета. Не слишком ломая голову, я мог бы догадаться без труда, что это и есть арктические массы воздуха, которые группируются для того, чтобы итти на нас грешных в наступление, согласно указаниям синоптиков. Конечно, я мог бы сказать себе и еще, что это есть передо мной кухня погоды и так далее. Но вместо этого я шепнул себе, что море отражается в небе. Оно, кстати, было очень близко — Баренцево море. Белые облачка иногда подергивались в том тяжелом небе. Они скользили и пропадали. Я хотел, чтобы это обязательно были отражения парусов. Мне теплее становилось от таких мыслей. Я втягивал носом воздух и даже на губах чувствовал соль моря. Конечно, я обманывался. Но мне так хотелось, чтобы пахло морем. В том небе холодно отражались века. Под тем небом ходили

на своих остроносых ладьях в набеги викинги, суровые норвежцы. Под ним, вдоль северных берегов Скандинавии, плавали на крошечных суденышках новгородцы, называвшие Нордкап запросто Мурманским Носом. Да, и те, и другие стояли друг друга.

Я приходил все в более хорошее расположение духа. Даже разрешил себе осторожно топнуть о наст валенком, посмотрел на снег, на торчащие кое-где камни и сказал вслух: вот я, наверно, стою на том самом шве, которым Скандинавский полуостров пришит к Большой земле. Придя к такому решению и испытав восторг, я почувствовал, что утомился, и захотел есть. Тогда я вернулся в ожидалку. Регулировщик в будке опять продемонстрировал, что он ко мне в высшей степени холоден. В помещении те двое все еще спали. Довольный путешествием, я принялся готовить еду.

Вынул из полевой сумки все то, что мне накануне дали на питательном пункте по продовольственному аттестату. Пачку концентратов овсяной каши я снес на стол регулировщикам. Им, наверно, она пригодилась потом. Зато салом я занялся сам. Отколол ножом от полена щепку и обстругал острую тонкую палочку. Затем нарезал ломтями сало и приготовил куски хлеба. Потом наступило самое занимательное. Ломтик сала накалывался на деревянный вертел и совался в печку к языкам пламени. Сало вздрагивало, корчилось и начинало шипеть. Из него обильно капал жир. Тогда-то и подставлялся ломоть белого хлеба. Горячий жир капал на него, насквозь пропитывая мякоть. Капли, падая в пламя, шипели невероятно. Пламя вздрагивало и взвивалось вверх. А я от нетерпения испытывал сосущую боль в желудке. Но вот одушевленный ломтик сала придвигался еще ближе к пламени. Тут, товарищи, никогда не следует терять ни одной лишней секунды. Вмиг сало вспыхивало ярким огнем. Я выдергивал его обратно, сдувал пламя. Потом еще дул, чтобы немного охладить и быстро ел и напитанный жиром хлеб и тронутое румяной корочкой сало. Эта процедура отнимала уйму времени. Вкусный запах протомившегося на жару сала, видимо, добрался до ноздрей спавшего солдата. Он зашевелился и затем резко скользнул со скамейки вниз. При этом он даже не взглянул на меня, а сразу полез под

лавку к вещевому мешку, настолько его захватило острое желание насытиться. Я только заметил, что это был не солдат, а офицер — лейтенант.

После этого я сварил чай в кружке регулировщиков, напился и поспешил к своему небу. Короткий день кончался. Последние краски отдавало небу подзакатное солнце. Да, это не оговорка, именно подзакатное, потому что оно было гораздо ниже того места, где обычно принято понимать закат. В этих землях солнце зимой выше горизонта не выползает.

Я еще никогда не видел столько оттенков красного цвета. И хотя мне были отлично известны законы, рождающие это великолепие, я все же продолжал прежнюю увлекательную игру. Я сказал себе, что это небо, умирая, отдает живым существам весь свой жар, пыл, свой цвет. Но дальше я ощутил, что мое восприятие притупляется, меня от еды клонило ко сну. Так как в этот день я был сам себе хозяин, то я пошел и лег, чтобы не испортить этого взаимопонимания с небом.

Проснувшись, я обнаружил, что часы мои остановились. У печки на полне сидел лейтенант и, не отрываясь, смотрел на огонь.

— Товарищ лейтенант, — сказал я, но он или не слышал, или не смог сразу оторваться от своих мыслей. Я не стал ему мешать и вышел наружу.

Была глубокая ночь, но небо продолжало жить. Я не ошибусь, если скажу вам, что это была огромная перламутровая чаша, опрокинута над моей головой. И я с сильно бьющимся от восторга сердцем под ее просторным сводом вдруг ощутил себя незначительнее какого-нибудь кузнечика, попавшего под стеклянный колпак. Так я подумал тогда. Полосы цветного огня ходили в небе, как безмолвный хоровод, обезоруживая и подавляя мои мысли, не давая им итти дерзко и самостоятельно.

— Товарищ майор! — вдруг окликнул меня человеческий голос, — вы меня звали? — Это оказывается лейтенант выскочил на улицу вслед за мной.

— Нет, — сказал я, не подумав, забыв обо всем.

— А мне регулировщик сказал, что вы меня звали, — сказал он.

— Да, верно, — вспомнил я. — У меня часы остановились. Я думал у вас найти... Впрочем, все равно, если судить

по небу, то сейчас не больше четырех часов ночи.

— А я вас, товарищ майор, знаю, — радостно сказал лейтенант после минутного разглядывания моего лица. — Я вас видел в политотделе. Вы у нас проводили беседу о книге товарища Сталина об Отечественной войне.

— Так ты из резерва, выходит? — начинал я все больше и больше возвращаться в свой мир. С интересом приглаждался я теперь к лейтенанту, стараясь быстро и ясно составить о нем представление. Это не было трудным. Он весь был, как на ладони: простой, правдивый и немного настойчивый в своей наивной откровенности. Видно, в резерв он попал сразу же после учебы и аттестации. Серебряные звездочки на его новых погонах сияли свежо, как первые снежинки, если только допустимо такое сравнение. Говорил он почти теми же словами, какими говорили с ним его преподаватели согласно учебникам и инструкциям. Но он казался чем-то озабоченным и по всему было видно, что и я должен был знать об этом.

— Да, я состоял в резерве политического отдела армии. А сейчас получил назначение парторгом роты. В 193-й полк. Там прежнего-то убило, — ответил он на мой вопрос и продолжал более стеснительно. — Я бы вот просил вас, товарищ майор, посоветовать, с чего начать мне, как приеду. Понимаете, в первый раз трудно.

— А ты не волнуйся. Не боги ведь горшки обжигают. Научишься и ты. На место приедешь, с людьми познакомишься — все проще станет. Да и я подсоблю. У тебя конспект для первой беседы составлен? — сказал я ему, как можно теплее.

Я уже вступал в свою должность, и это было очень приятно. Я стал горячо рассказывать лейтенанту, что должен знать парторг, вступающий в свои права, для того чтобы сразу завоевать авторитет среди рядовых коммунистов. У меня был в этой области опыт, и я радовался, что слова мои убедительно звучат для лейтенанта, открывая ему что-то. Но тем временем я как бы говорил и небу: «Смотри, я ничем не хуже тебя и не слабее твоего могу убеждать». Это смешное препирательство с небом казалось мне тогда серьезным и необходимым. Я не мог ехать и вступить

в круг своих обязанностей без того, чтобы не ослабить преимущества неба над мной, как личностью. Я по-своему протестовал против этого могущества, все более погружаясь в атмосферу знакомого и необходимого мне тесного общения с человеком.

И вот, сначала по небу, а потом по дальним кустам и березкам, мелькнуло слабое сияние. Одно, другое, третье... Вот еще раз. Потом одно из них попало

в глаза и сразу ослепило. Ага, я понял, это светили фары на поворотах дороги. Шла колонна грузовиков. Сегодня они пришли немного раньше, нам повезло, что-то в этом духе я сказал лейтенанту. Я был рад поскорее начать работу. Моя внутренняя сила как бы подверглась в эти сутки обновлению. Мне опять необходима была моя деятельность. Я ехал в 10-ю гвардейскую дивизию проводить семинар партторгов и заместителей командиров батальонов по политической части.

## ВОСПОМИНАНИЕ

ААЛЫ ТОКОМБАЕВ

★

Юность мчится за годом год,  
Пули быстрой быстрее полет.  
Как улыбка младенца, прекрасна,  
В нашей памяти юность живет.

Как скупа она, коротка,  
Не повторишь — живи века.  
Народившийся месяц — юность  
К дальним звездам взлетает, легка.

Точно утро зарей отцвело, —  
Все поблекло и все прошло.  
Словно месяц хмурые тучи,  
Покрывают морщины чело.

Нету слов, чтоб выразить ту  
Черных глаз глубину, красоту;  
Блеск их пламенный угасает,  
Видишь тусклую пустоту.

Цвет лица и румянец щек  
Студит осени холодок,  
Сердца жар похищает время —  
Злой и неумолимый рок.

Были волосы ночи черней, —  
Станут волосы снега белей.  
Крепкий жемчуг зубов сотрется,  
Орлий взор — ненастья мутней.

Холод в сердце вползает тогда,  
И душа замерзает тогда,  
Неотступна тоска, и на плечи  
Тяжким грузом лягут года.

Как забава — минувшие дни,  
В них души твоей скрыт родник.  
— Быстротечна жизнь! — восклицаешь,  
Вспоминая, грустишь о них

Нас надежды влекут вперед  
И в стремлении каждый живет.  
Мы смеемся беспечно порою,  
Забывая старости счет.

Слушай, слушай, моя звезда!  
Жизнь уходит и нет следа.  
Смерть ударит мечом нещадным —  
Мы не знаем: где и когда.

Перед смертью бессилен род,  
Пусть приходит смерть в свой черед, —  
Над безжизненным нашим прахом  
Вспомнит нас по труду народ.

Как мы прожили жизнь свою,  
Что свершили в родном краю, —  
Пусть примером для поколенья  
Будут наши дела в строю.

Позавидуют нашей судьбе.  
Сказы сложат о нашей борьбе.  
— Будем жить мы, достойно, как предки, —  
Скажут наши потомки себе.

Песнь о нас акыны споют,  
Музыканты гимн создадут,  
Пусть о нас мудрецы расскажут, —  
Это будет и Слава и Суд.

Перевел с киргизского С. ОБРАДОВИЧ,

# СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК \*

ДМ. ПЕТРОВСКИЙ



*Люблю отчизну я,  
Но — странную любовью...  
... Смотреть до полночи готов  
На пляску с топотом и свистом,  
Под говор пьяных мужичков...*

(Лермонтов «Родина»).

До сих пор поморов говор,  
Новгородский говорок, —  
Стар ли, древен ли он, молод, —  
В наших сказках не примолк.  
До сих пор он ядрен, золот,  
Быстр, как бисер скатных зерен, —  
Царь-Мороз наш, — чист-узорен, —  
Царь-Додон да царь-Горох!

До сих пор, златясь присказкой  
Иль созвучьем струн блестя,  
Говорком ведет рассказ свой  
Прибауточник-рассказчик,  
Тешит душу дивной сказкой  
Мать, баюкая дитя.  
Начинается с: «Теперя:  
Плыл с синь- с даль-моря сынок...»  
— Что ж не спишь ты, как теперя?  
Спи, свет, сизый голубок!..

Так уж вы позволъ-дозвольте  
В царстве русском языка  
Течь привольно сказке волжской,  
С бубном бусов-паруска.  
То ль шугá ли зашигáнит,  
То ли буря б поднялась, —  
Буревая пляска встанет,  
Буревестник в воду глянет,  
А в той сказке —  
Стенька-князь!..



Чуден-сказочный разбойник  
Уж давно живет в Руси:  
Одноглазкой, —  
Кто ж не помнит, —  
Соловей в лесу грустил.

\* Из поэмы «Святослав».

Сам Илья-то Муром-лесом  
С эхом-посвистом шутил,  
С Одноглазьем расчудесным, —  
Как он в Киев к князю ехал: —  
С соловьиным свистом-  
Смехом  
Разменялся на пути.  
Он привез его живого ль: —  
Да детишек и вдову  
Привечал он на пороге, —  
Слово дал: ин-быть живу!



Володимир-князь с княгиней  
Выходили на крыльцо;  
Светлы девы-берегини<sup>1</sup>  
Восплавали с месяцом.  
Был задарен всем разбойник,  
Но — задира всей душой —  
Засвистел-взглушил соколик  
Весь-то Киев — пир большой.  
С этих пор и повелось:  
Чем смелей душой певец,  
Чем зычней свист-подголосок,  
Тем — и песне скор-конец.  
Я хотел присказкой-басней  
Защитить, друг, соловья:  
Ин зачем бы песней красной  
Земно кланялся б вам я!  
Други! Как бы ни судили —  
Русски ль, гости ль чужаки —  
Все мы в жизни песнь любили,  
Как хмельные мужики.

Так послушай голос зычный! —  
Может, дик он — по-мужичьи,

<sup>1</sup> Берегини — русалки (древнерусское).

Может, грубый, не музыкальный...  
 Может... может я язычник —  
 Я влюблен, брат, в красоту!  
 Чем уж даром надарен был,  
 Тем и рад Руси служить: —  
 — Эй, тряхни листвою зеленой,  
 Леший — радостный мужик!

Я и сам себе хвален быть.  
 Красной присказкой привик —  
 Я ж и сам не раз хмелен был,  
 Я и сам душой влюбленный —  
 Мог бы лес рассоловить.

★

Оберну навперечь басню:  
 Виноват был богатырь, —  
 Что пред самым Солнцем Красным  
 Свист соловий допустил.

Во полуночи положен  
 Свист —  
 При Солнце ж слух вредил:  
 Как же ж петь-то было можно  
 Красна Солнца при восходе!  
 За что ж жизнь он положил?..

★

Эх, пришлось Илье прикончить  
 Голосистого певца;  
 С тех пор, с та пор  
 Каждой ночью —  
 Свет спускается с крыльца: —  
 Не берет меча — лишь гусли, —  
 Едет-скачет в Муром-лес  
 И сидит под дубом грустный —  
 Послушать разбойну песнь,  
 Сто годов Ильюша ездил, —  
 Мог чудов сто соли съесть,

Да добился, братцы, песни,  
 Упросил ли Смерть по-чести:  
 В лес вернулся Соловей.  
 Воплотился в малу пташку  
 Свет-разбойничий певец: —  
 Из души бьет нараспашку  
 Звон во-полночи сердец.  
 Кто поймает — да засудит  
 Пташку малую за свист?  
 (Может, есть те злые люди?).  
 Эта взвившаяся удаль  
 Неизвестно где висит!

Будет — верю,  
 Льется — будет  
 Голос песни соловьиств!..  
 Ин ручьем прольется ль,  
 В ветре ль,  
 Отзовется ли в лесах,  
 Эхом в Муром-лесе ль эхнет,  
 Иль откликнется в всесветных,  
 В беспролетных небесах.  
 Нет, не сымет даже немец  
 Нашу птаху, — серый змей;  
 В небесах звездой запенясь.  
 Бьет их в темень соловей!  
 Бью челом, завет-разбойник,  
 Да не чьим-нибудь челом —  
 Богатырским бью поклоном:  
 — Не попомни, Сказка, злом!  
 Воротись бессмертным свистом,  
 Песней пташки серой, друг,  
 Я ж вернусь душою чистый —  
 Песней внукам стану люб!..  
 Молвил так Ильюша,  
 Исто  
 Поклонившись навкруг;  
 И взлетел певец перистый,  
 И залился звонким свистом,  
 И запел, как милый друг...

# ПЕРЕВОДЫ ИЗ АДАМА МИЦКЕВИЧА

НИКОЛАЙ АСЕЕВ



## ЗАМЕТКИ ПЕРЕВОДЧИКА

Знакомство русского читателя с Мицкевичем, строго говоря, исчерпывалось пушкинскими переводами «Будрыса» и «Воеводы». Правда, исключительное мастерство передачи духа подлинника этих произведений достаточно говорило читателю о величии таланта польского поэта, но все же оно освещало лишь узкий участок его многообразного творчества. Кроме того на русском языке существовало, как поэтическое произведение, недоконченное вступление к поэме «Конрад Валленрод», также сделанное Пушкиным. Многочисленные попытки всех остальных переводчиков воссоздать творческий гений Мицкевича в русском звучании свидетельствовали больше о добрых намерениях их авторов, чем о величии подлинника. Не только по качеству стиха, по строю его, по отсутствию свободы звучания, но сплошь и рядом по смысловым неточностям, по искаженности образов, они были так далеки от оригинала, что совершенно не давали о нем даже приблизительного представления. В частности, из всех известных мне переводов «Конрада Валленрода» ни один не вмещал в себе и десятой доли достоинств этого произведения — широты повествования, многоплановости действия, тонкости и точности образов. Между тем, поэма эта важна для понимания читателем не только силы творческой одаренности Мицкевича, но и всей его личной биографии, всего облика. Для русского читателя в ней заключается, по нашему мнению, еще и особый интерес историко-литературного порядка: в ней дан богатый материал, уточняющий взаимоотношения Мицкевича с Пушкиным.

Общеизвестен успех поэмы при ее появлении в среде русской интеллигенции 20-х годов прошлого века. Известно так-

же несогласие Пушкина с основной идеей этой поэмы. Начатый им перевод вступления к ней не был им закончен, но причины этой незаконченности до сих пор недостаточно исследованы и освещены. Дело здесь не только в несогласии Пушкина с тематической установкой «Валленрода». Зачем бы ему тогда и начинать перевод вещи, уже известной ему в целом и не соответствующей ему по духу?

Внимательно вчитываясь в текст поэмы, порученной мне для нового перевода, я нашел, мне думается, причину недоконченности ее вступления Пушкиным.

Известно, что последний не одобрял Конрада Валленрода, не останавливавшегося, как мы знаем, даже перед изменой и ксварством в достижении самых лучших, благородных своих целей. Установлено также, что Пушкин оспаривал перед Мицкевичем правильность и убедительность такого художественного положения. И не только в теоретическом споре, но и творчески им была противопоставлена «Валленроду» — «Полтава», где предательство героя было заклеяно и осуждено. Однако сила художественного воздействия «Конрада», очевидно, не оставила равнодушным Пушкина. Он все-таки начал перевод вступления. Начал, но не окончил. Существует убеждение, что Пушкину просто не удался этот перевод и потому он его оставил незаконченным. Но, во-первых, «неудача» эта весьма условна. И даже недовольство переводом самого автора мало бы объяснило действительные причины незаконченности. В самом деле: переведя тридцать девять строк вступления, т. е. три четверти его, Пушкин оставляет непереверденными последние тринадцать строчек. Почему? Потому ли, что он не

удовлетворен работой, или потому, что ему они не нужны?

По-моему, принялся он за этот перевод не в целях литературного сотрудничества с Мицкевичем. В данном случае у него был материал помимо этого. К чему бы он стал переводить вещь, глубоко ему чуждую по воззрениям? Была у него другая цель, другие побуждения.

Дело в том, что положение самого Мицкевича в период создания им «Валленрода» — время высылки его в Петербург — было весьма схоже с чертами биографии его героя Конрада-Альфа. В горьких думах о судьбе родной страны Мицкевич так же, как и герой поэмы, добивается славы и признания, тая в душе неприязнь к той государственности, от которой он зависим поневоле. Он должен быть скрытен и осторожен. Вспомните только позднейшие его признания и описание его чувств в послании «Друзьям-москалям». Он должен был казаться не тем, чем он есть на самом деле; он вынужден к этому обстоятельствами. И вместе с тем он пользуется восхищенным вниманием окружающих. Всё, вплоть до импровизаций Мицкевича, вызывавших бурные восторги в литературных салонах Петербурга, столь напоминающих исполнение Валленродом «Альпухарской баллады» среди избравших его рыцарей, отразилось в сюжетной канве поэмы. Пушкин понимал это больше и лучше, чем кто бы то ни было из окружающих. Свойственная Пушкину творческая проницательность и живость воображения открыла ему состояние духа Мицкевича. И любя и восхищаясь его талантом, Пушкин хотел напомнить другу о вечности творческих связей и преходящести государственных размолвок и расхождений. Как это было сделать? Прямым обращением к Мицкевичу? Но они не были настолько интимно знакомы и столь давно связаны, чтоб это не носило характер нравоучения. Да и обстановка была не подходящая для вольного обращения друг к другу. И вот Пушкин, прочтя поэму в целом и не согласившись с ней по существу, переводит вступление к ней, обрывая его на самых выразительных для себя строках, как бы обращенных к самому Мицкевичу.

Здесь стоит присмотреться к тем оттенкам, которые придал Пушкин своему переводу. Во-первых, им заострена конфликтность положения двух «берегов»: у

Мицкевича — единоплеменных, у Пушкина — противопоставленных друг другу. Пушкин меняет эпитет «пруссский» (тополь) на «немецкий», хотя он не мог не знать, что пруссы были славянским племенем, завоеванным тевтонским орденом. Не мог не знать он этого не только по силе своего интереса к славянству вообще, но и просто прочтя всю поэму, где об этом говорится ясно и неоднократно и на чем строится целая коллизия. Специалисты относят это к простой ошибке Пушкина. Я с этим глубоко не согласен. Не говоря уж о том, что Пушкин, как никто, знал «силу слов», что он никогда не «ошибался» в эпитетах. Мне думается, что Пушкину нужно было сознательно усилить контрастность положения.

Зачем ему это было необходимо? Да потому, что рознь политических позиций и родственность поэтических темпераментов должны были быть подчеркнуты в этом переводе, являвшемся скрытым от посторонних глаз посланием. Иначе в дальнейшем останется непонятым, почему Пушкин снимает и местный колорит вступления, столь яркий у Мицкевича. Во вступлении — «соловьи Ковенской рощи со своими братьями из Запушанского взгорья ведут как встарь литовские речи».

У Пушкина:

«Лишь соловьи окрестных гор  
По старине вражды не знали:  
На остров, общий с давних пор,  
Друг к другу в гости прилетали».

Объяснить это опять-таки невнимательностью, небрежностью Пушкина к тексту Мицкевича было бы легкомысленно. А между тем иных объяснений мы не встречали.

А дело, по-моему, в том, что Пушкину были важны и нужны эти строки не в их прямом переводческом значении, а только по силе их обращения к самому Мицкевичу. Именно измененность их и должна была корреспондировать автору, вместо всяких личных объяснений и полемики. Нужно помнить при этом, что поэма Мицкевича вызвала вообще подозрения в «неблагонадежности» и даже возбуждала дело против ее автора, вскоре, впрочем, прекращенное. Так что Пушкину нельзя было вступать в спор с Мицкевичем непосредственно. Он очень бережно и умно обратил к нему его же строки, давая понять ему о их близости,

вопреки разности государственных состояний.

В дальнейшем мы увидим, что именно таков был ответ со стороны Пушкина и на те разногласия, которые возникли у них позже. То, что перевод вступления к «Конраду» не был законченным наброском, случайной творческой попыткой Пушкина, свидетельствует о глубоком впечатлении, произведенном на Пушкина всей поэмой в целом. Начальная строка поэмы «Сто лет минуло» модифицируется затем Пушкиным дважды — в «Полтаве» и «Медном всаднике». Таким образом обе поэмы в значительной степени перекликаются с творчеством Мицкевича. «Полтава» — прямое опровержение идеи «Валленрода». «Медный всадник» едва ли не является ответным творческим демаршем со стороны Пушкина на выступление Мицкевича в его послании «Друзьям-москалям», помимо того, что он связан с «Памятником Петра».

Напоминаем, что послание это было получено Пушкиным из Парижа через Соболевского с довольно двусмысленной надписью последнего на книге Мицкевича — «А. С. Пушкину за благонравие и успехи». Трудно представить, чтобы получение книги не вызвало у Пушкина тяжелого чувства гнева, возмущения и обиды. И тем не менее, мы не находим никаких следов этих чувств в творчестве Пушкина, так быстро отвечавшего на все задевающие его честь выпады. Наоборот, в тот же 1833 год, в ту же болдинскую осень, когда он получил это послание, как бы вместо ответа на него, им блистательно переводятся две баллады Мицкевича — «Будрыс» и «Воевода», одновременно пишется «Медный всадник». И только через год послание Мицкевича находит ответ в стихах «Он между нами жил». Это с пушкинским-то темпераментом и быстротой реакции! Сколько нужно было самообладания и любви к гению Мицкевича, чтобы удержаться от немедленного запальчивого ответа! Сколько творческой веры в дружбу и непреклонность искусства, чтобы вместо полемики создать «Медного всадника» и перевести в один день две баллады Мицкевича. И как перевести!

В этом я вижу тот же способ обращения к Мицкевичу со стороны Пушкина, как в уже описанном нами случае с переводом вступления к «Валленроду». И там и тут Пушкин отверг возможность яростного спора, заменив его творческим соревнованием. И там и тут Пушкин не дал возможности развития злорадных сплетен о размолвке их в веках. Пушкин доказал близость и родственность их творческих душ, вне временных обстоятельств и случайных разногласий.

Все эти соображения пришли мне на ум в процессе перевода поэмы Мицкевича. Быть может, они будут опровергнуты специалистами и знатоками. Но неопровержимо то, что других объяснений замедленности ответа Пушкина на послание Мицкевича не дано, неопровержимо то, что объяснять неточности перевода вступления к поэме «ошибками» Пушкина — недостойно его памяти.

Приведу еще несколько побочных соображений, освещающих близость их творческой дружбы и, насколько мне известно, не отмеченных в истории литературы.

Мне кажется, что «Песнь Вайделота» была толчком для песни председателя в «Пире во время чумы». Как известно, и эта песня и песенка Мэри написаны Пушкиным самостоятельно и отсутствуют у второстепенного английского поэта Вильсона. И если поводом к переводу этой вещи были схожие обстоятельства — чумная и холерная эпидемии, то более глубокой и действенной причиной этого перевода Пушкиным была живо воспринятая им близость образов Мэри и Вальсингама из «Чумного города» Вильсона с образами «Конрада Валленрода». Песня Мэри, введенная Пушкиным, — отклик песни Альдоны из «Валленрода»; песня председателя — отзвук песни Вайделота. Всмотритесь в них пристальнее, и вам станет понятно, что таким образом шел творческий процесс воссоздания образов. Впечатление, раз воспринятое, отражалось глубже и дальше во времени, чем это принято наблюдать.

«...Царица грозная Чума  
Теперь идет на нас сама

И льстится жатвою богатой  
 И к нам в окошко день и ночь  
 Стучит могильною лопатой»  
 («Пир во время чумы»).

«Когда чума грозит Литвы границам,  
 Ее приход предвидят вайделоты;  
 И если верить вещим их венцам,  
 То по кладбищам, по местам  
 пустынным, —  
 Зловещим Дева-смерть идет походом».  
 («Конрад»).

Весь колорит обеих песен одинаков. И образ Девы-Чумы тот же самый в обоих произведениях. То же самое с песнями Мэри и Альдоны. Они схожи и по интонациям, и по положениям персонажей. Что значит эта близость? То, что Пушкин таким образом переплавлял и переосмысливал раз затронувшее его впечатление, воссоздавая его совсем в иное время и в ином месте. Перед нами раскрывается как бы внутренняя лаборатория творчества поэта. И еще раз, значительно позже, в 1835 году, вновь возникает эта затронутость Пушкина образами «Конрада Валленрода».

В «Сценах из жизни рыцарских времен» Пушкин вновь возвращается к положению, в значительной степени напоминающему обстановку «Пира» из «Валленрода». И там и тут певец среди чуждого ему рыцарского окружения поет свою песню:

«— Ротгенфельд! Праздник ваш прекрасен,  
 но ему чего-то недостает...  
 — Знаю, кипрского вина: что делать — все  
 вышло на прошлой неделе.  
 — Нет, не кипрского вина: недостает песен  
 миннезингера.  
 — Правда, правда... Нет ли в соседстве  
 миннезингера...»

(«Сцены из жизни рыцарских времен»).

«В мои года пиры иными были,  
 Когда врагов разбив и опрокинув,  
 При лагерных кострах мы шумно пили  
 В горах Кастильи или в землях финнов.  
 Там пелись песни; нынче меж собранья  
 Здесь нет ли барда или менестреля!  
 Вино сердце вздымает ликованье,  
 Но песня мысль бодрит живее хмеля!»  
 («Конрад Валленрод»).

Но и помимо схожести положений, в песне миннезингера звучит опять отголосок «Конрада». «Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой» — это не сам ли Конрад «пораженный одним виденьем», затаивший одну мысль? Ведь и Альф-Конрад был «в пустынях Палестины»; именно там и возник он как граф Валленрод, оттуда и явился непонятый никем в своей одержимости, «сгорев душою». Как бы то ни было, но ясно, что возникновение этого образа у Пушкина связано с впечатлением, произведенным на него когда-то чтением «Валленрода». Он как бы избавляется от этого впечатления, изменяя чуждую ему направленность этих образов в своих представлениях: заменяя двойственность Альфа-Конрада бескорыстием и благородством души «бедного рыцаря», а самопожертвование Альдоны. — трогательной беспомощностью Мэри. Но голоса их схожи, трагичность положения едина. Так, творчески противостоя идее «Валленрода», Пушкин бережно и любовно хранит в своих произведениях впечатления от поэмы Мицкевича. Это вовсе не заимствование, и не подражание. Это именно истинно творческое переосмысливание образов и персонажей, близких и сродных обоим по художественной их выразительности, но совершенно различных по направленности основных устремлений. Не соглашаясь с идеей «Валленрода», Пушкин высоко оценивал ее художественные достоинства, создавая целый мир образов и представлений на затронутых ею впечатлениях.

Их взаимопонимания и взаимоотношения далеко не полно освещены историей литературы. Мои представления о них, если и будут оспариваемы, все же помогли мне ближе понять обстановку создания «Валленрода», а значит и глубже проникнуть в текст Мицкевича. Поэтому я позволю себе познакомить читателя с ними в моих переводах.

## ПЕСНЯ

Вилия, мать родников наших чистых,  
Лик ее светел и дно золотисто,  
Но у литвинки, склоненной над нею, —  
Сердце хрустальней и взоры синее.

Вилия в Ковенской милой долине  
Между тюльпанов и диких глициний;  
У ног Литвинки — юноши наши,  
Роз и тюльпанов стройнее и краше.

Вилия пренебрегает цветами,  
Немана выбрав любимое имя.  
Так и Литвинка — бродит очами,  
Ищет чужого между своими.

Неман, вскипая разымчивым валом,  
Вилию сжавши в объятьях железных,  
Мчит ее к морю, мчит ее к скалам —  
И исчезают в открывшихся безднах.

Так и тебя, о Литвинка, скиталец  
Вдаль увлечет от родного порога, —  
В море безбрежном, горько печалась,  
Станешь беспомощна и одинока.

Сердцу и струям приказывать тщетно.  
Девушка любит, Вилия мчится,  
Вилия к Неману льнет беззаветно,  
Девушка — в каменной башне томится

## ГОЛОС ИЗ БАШНИ

(Песнь Альдоны)

Прости, мой милый, прости, мой любый.  
Пришел ты поздно, я виновата  
За этот грустный напев мой глупый,  
Звучавший жизнью тебе когда-то.  
С тобою вместе мы были будто  
Одно мгновенье, одну минуту,  
Но это радостное мгновенье,  
Но одиночество этого чувства  
Не променяю я на многолюдство,  
На жизни медленное теченье.  
Ты сам учил меня, что всюду люди  
Живут улитками в глухой запруде.  
Дыханьем бури их до неба вскинет  
И вновь уронит их — ютиться в тине.  
Нет, не такой мне был мил обычный  
И не такой я жизни желала:

Еще на родине, в толпе девичьей  
О чем-то сердце припоминало,  
О чем-то тайно я тосковала.  
Не раз, покинув равнину луга,  
Я на крутые холмы взбегала  
И, видя жаворонков, в небе певших,  
Взять по перу у них из крыл мечтала,  
Чтоб сразу взвиться с зеленой кручи,  
Сорвав в долине цветков на память, —  
Лететь далеко, лететь за тучи  
И скрыться в небе за облаками.  
Ты дал мне крылья — и вот уж кружим  
Мы по небесным с тобой дорогам.  
Что мне до жаворонков веселых пенья?  
Тот позавидует ли их паренью,  
Кто был на небе с великим богом,  
Кто на земле был с великим мужем?

## ПЕСНЬ ВАЙДЕЛОТА

Когда чума грозит Литвы границам,  
Ее приход предвидят вайделоты,  
И, если верить вещим их зеницам,  
То — по кладбищам, по местам  
пустынным,  
Зловещим Дева-Смерть идет походом,  
В одеждах бледных, в венке рубинном,  
Превыше Беловежские дубравы  
В руке своей подняв платок кровавый.

Где плат она кровавый кверху вскинет—  
Встают рядами свежие могилы

Ужасный вид. Но — горшие потери  
Несут Литве немецкие набег,  
Шипак блестящий в страусовых перьях  
И черный крест, украсивший доспехи.  
Где этому виденью появиться —  
Что сёл отдельных, городов разруха? —  
Там всей стране в могилу превратиться.  
Ко мне, ко мне, к отечества кладбищу,  
Все, кто Литовского исполнен духа —  
Рыдать и размышлять на пепелище!

О, звон былин! Ты — наш чертог завета,  
Над прошлым и грядущим поколеньем,

И стражи замков шлемы надвигают,  
Псы деревень, взрывая прах носами,  
Дрожат и — смерть почуяв — завывают.  
Она идет неспешными шагами:  
Где города, где села, замки были —  
Там остаются мертвые пустыни;





## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

(Из цикла «Строки любви»)

**СТЕПАН ЩИПАЧЕВ**



Мы все мечтаем о любви большой,  
Чтоб каждый миг, когда вдвоем, был дорог, —  
И вдруг сойдешься с женщиной, с которой  
За год, за два состаришься душой.

Блажен, когда такую ты найдешь,  
С которой, сединою убеленный,  
До старости до самой доживешь,  
До грани дней, как юноша влюбленный.



Ты — всё в моей слепой судьбе,  
И счастье и беда.  
Я в жизни мог солгать тебе,  
А в песне никогда.

О, если б, как в своё окно,  
Взглянуть в судьбу хоть раз!  
Нам знать с тобою не дано,  
Чей ближе смертный час.

Я одного желаю вновь,  
Сильней день ото дня,  
Желаю, чтоб твоя любовь  
Пережила меня.

---

# В АНГЛИИ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

ЮРИЙ ЖУКОВ



Когда вы приезжаете в Лондон, многое сразу же заинтересовывает, поражает, увлекает вас. Пестрая уличная толчея, величественные памятники века Виктории, «оглушающий» крик реклам, вечно-зеленые скверы в центре города с лебедями на прудах и аккуратными складными стульями, на которых каждый желающий может посидеть за два пенса, красивые, строгие ансамбли улиц и площадей, узенькие средневековые закоулки рядом с ними, кавалькады чопорных амазонок в аллеях Гайд-парка, художники, рисующие картины на асфальте для забавы зевак, бросающих им медяки, — здесь столько удивительного, непривычного на взгляд советского человека, что обо всем не расскажешь и всего не опишешь.

Лондон еще не отдышался, не перевел дух после войны. Правда, кварталы, снесенные остервеневшими лондонцам «фау», уже расчищены и огорожены аккуратными кирпичными заборчиками в метр вышины, и бурьян уже пробился сквозь цемент полов в выщербленных коробках бывших подвалов. Но все еще торчат посреди узких улиц квадратные каменные ящики бомбубежищ, и дивный памятник Эросу на площади Пикадилли не освобожден от бронированного колпака, и в музеях пустуют рамы картин, еще не возвращенных из эвакуации. Расчетливые хозяйки в раздумье стоят у витрин универсамов, решая, как поступить с купонами на промтовары, если на восемь месяцев полагается двадцать четыре купона, а за костюм или демисезонное пальто надо отдать двадцать пять купонов.

Жизнь все еще дорожает и дорожает, «черный рынок» диктует свои волчьи законы, квартирохозяева не хотят и слышать о снижении платы за жилье — ведь после бомбежек, уничтоживших в Англии четыре миллиона домов, эксплуатация домов стала самым выгодным делом, — и когда еще министерство здравоохранения, которому поручено заниматься жилищным строительством, соберется с силами, чтобы начать это дело. Говорят, нехватает рабочих. Однако на улицах Лондона все еще больше людей в военных мундирах, чем штатских, и говорят, что демобилизация задерживается в значительной мере потому, что прежде чем выпустить людей из казармы, надо подумать, найдут ли они работу.

Люди хотят хоть сколько-нибудь сносных условий жизни. Тем более, что время послевоенных бед распределяется здесь далеко неравномерно: если у вас в бумажнике тугая пачка шелковистых банкнот — вам не надо думать ни о

купонах, ни о продовольственных карточках. И вот объявляют забастовку докеры, прекращают работу, повергая Лондон в новое затемнение, рабочие газовой компании, грозят забастовкой строители, кондуктора автобусов и троллейбусов и даже футболисты, которые требуют восстановления довоенных ставок за игру.

Хозяева стали скуповаты. Военная конъюнктура кончилась, займы нынче дороговаты, рынки сбыта не так легко отбивать от зарубежных конкурентов. И они не идут на уступки, тем более, что забастовщиков можно заменить солдатами, как это было сделано в доках. Бастующим приходится возвращаться на работу, и снова тянутся долгие, бесконечные переговоры с профсоюзами. А на улице дождь, ветер, туман, сырость. Хорошо бы зажечь газовый камин, но для этого надо бросить в автоматический счетчик шиллинг — автомат отпустит вам газ на шиллинг и снова выключит камин. А всегда ли найдется в кармане лишний шиллинг?

«Постыдная жизнь», — с горечью сказала мне восемнадцатилетняя работница доков Энн, когда я задал ей традиционный английский вопрос «How do you do» (Как выживаете). Потом она добавила: «Хочется заснуть и потом проснуться — когда будет хорошо. Или увидеть хороший сон», — и она улыбнулась мягкой, какой-то виноватой улыбкой.

Этот мотив слышится во многих беседах лондонцев. Многие хотят если не лучшей жизни, то хотя бы хороших снов. И как это всегда бывает — спрос рождает предложение. А может быть и предложение определяет спрос? Ведь так тоже часто бывает. Но во всяком случае здесь много фабрик хороших снов, и о них-то мне бы хотелось бы рассказать в этих записках.

## 1. ТОРГОВЦЫ НОВОСТЯМИ

В любой час вы встретите на улицах города эти маленькие юркие желтые фургончики, облепленные яркими плакатами. Они мчатся во весь дух, лавируя среди огромных двухэтажных автобусов, высоких старомодных такси, солидных машин финансистов и зеленых «виллисов» американской военной полиции, зорко наблюдающей за поведением своих солдат. Эти фургончики везут самый свежий и самый скоропортящийся товар: они забиты до отказа кипами газет.

Где-то в переулке, на перекрестке, объемистую пачку газет на ходу примет владелец киоска,

мальчуган-велосипедист, солидный продавец в белоснежном, хоть и заштопанном воротничке. Он отложит в сторону оставшиеся нераспроданными газеты более ранних выпусков, бегло глянет на заголовки, и в сутолоке, гаме и шуме толпы послышится:

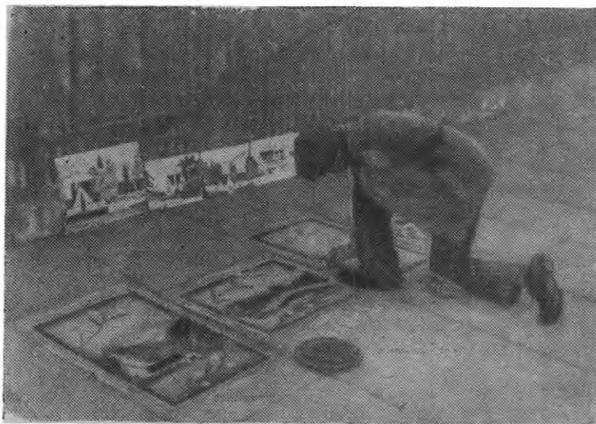
—Найден семейный альбом Гитлера! Найден семейный альбом Гитлера! Девушка выиграла 17 000 фунтов на двухпенсовый билет, предсказывая итог футбольного матча! 17 000 фунтов на двухпенсовый билет! Человек убил женщину, которой боялся! Человек убил женщину, которой боялся!..

И вот уже останавливаются люди, звенят медяки, шуршат еще пахнущие краской листы газет, и каждый, заплатив всего лишь один пенс, может узнать подробности того, как под сундуком с драгоценностями, принадлежавшими любовнице Гитлера, сыщики американской секретной полиции нашли семейный альбом «фюрера», а заодно поглазеть на огромные снимки, воспроизведенные из этого альбома на половину газетной страницы. Каждый может узнать, что добрый мультимиллионер Рэнк, король мукомольного дела и кинематографии, о карьере которого мы расскажем ниже, взялся бесплатно преподавать в воскресной школе, а «злые» югославы «обидели» своего короля, провозгласив республику. Каждый может прочесть, что восьмимесячный ребенок, сын американского офицера, перелетел в качестве безбилетного пассажира через океан и при этом никого не побеспокоил, а неутомимые следователи Скоттланд-ярда напали на след еще одного опаснейшего убийцы.

Мальчуган-велосипедист, подхватив кипу газет, идет на ловкий трюк. Объезжая кварталы, которые он обслуживает, этот маленький газетчик разбрасывает пачки газет на видных местах. Прохожие нагибаются, берут газеты, оставляя пенсы на асфальте. Когда велосипедист возвращается, ему остается совершить еще один крут, чтобы собрать медяки. К этому времени подоспеет фургончик с новой партией более свежего товара: начиная с 11 часов утра выходят вечерние газеты, причем каждый выпуск распространяется примерно через два часа после предыдущего. И повсюду — на улицах, в вагонах метро, в автобусах и такси белеют развернутые листы пестрых, изобилующих фотографиями и рисунками газет.

Газеты здесь совсем непохожи на наши, и цены их совсем иные. Даже директор солиднейшего телеграфного агентства Великобритании «Рейтер» недавно назвал информацию товаром. И товар этот имеет свои, совершенно определенные свойства. Он рассчитан на тех, кто в эти трудные дни хочет уснуть, чтобы видеть хорошие сны, и убаюкать тех, кто спать не хочет. Пусть люди поверят, что все миллионеры добрые, желающие счастья бедным люди, что живут на Балканах — злые и злобные коварные варвары, а Советский Союз... Что ж, Советский

Союз был союзником Англии в войне, и народ очень хорошо запомнил и Сталинград, и Берлин, полюбил Космодемьянскую и Матросова. Повсюду здесь поют «Полушко-поле» и «Авиамарш». В магазинах бойко идет торговля учебниками русского языка и словарями. Но это не всем нравится, и некоторые газеты, наперекор общественному мнению, предпочитают торговать



Лондон еще не отдышался после войны. Еще не снят бронированный колпак с памятника Эрасму на Пикадилли (см. верхний снимок). На улице часто можно встретить нищего художника, который для забавы зевак рисует картины на асфальте (см. нижний снимок). Прохожие бросают медяки в его берет, положенный на тротуаре.

лежалым товаром времен Чемберлена, публикуя самые нелепые басни о нас. И так как вся эта заваль рухнет на головы читателей невероятнейшей снежной лавиной в десятки миллионов тиража, то умолчать об этом невозможно.

Мы приехали в Лондон в последних числах октября, в самый разгар «атомной лихорадки», охватившей всю английскую и американскую печать. Не было дня, чтобы огромные аншлаги об атомной бомбе не пересекали газетных полос. Странное и ничем не объяснимое злорадство сквозило в выступлениях многих газет, наперебой спешивших известить своих читателей о

том, что секрет атомной бомбы, по видимому, останется достоянием «двойки» — США и Англии. И тут же, рядом, из номера в номер, многие газеты публиковали совершенно невероятные и дикие басни о положении в советской зоне оккупации Германии.

Одна из самых удивительных газетных уток была пущена в свет, как это ни странно, таким известным и претендующим на солидность агентством, как «Рейтер». 4 ноября это агентство вдруг распространило сенсационное сообщение о том, что советское военное командование якобы решило немедленно выселить в английскую оккупационную зону миллион немцев, причем выселение это должно было состояться не позднее следующего дня. Немедленно многие газеты подняли крик о бесчеловечности русских. «Массы немцев будут умирать на дорогах», — с деланным негодованием писал «Обсервер». Но 5 ноября пришло и прошло, а никто немцев в английскую зону не выселял и на дорогах никто не умирал. «Рейтер» был вынужден сообщить, что «русские, очевидно, отменили свое распоряжение». А несколько дней спустя тому же агентству пришлось публично признать, что подобно распоряжению вовсе не было и что сообщение о нем — лживо. Но шум-то уже был поднят, и дело дошло до публичных запросов в парламенте о минимом жестокосердном акте русских. «Клеветы, клеветы, что-нибудь да останется», — этот древний иезуитский завет до сих пор находит своих поклонников в некоторых лондонских кругах..

Всемирная конференция молодежи была крупнейшим событием в международном движении молодежи, стремящейся укрепить единство, достигнутое в ходе войны, закрепить победу над фашизмом, добить фашистских последышей. В Лондон съезжались представители молодежи шестидесяти трех стран. В тесных комнатках всемирного совета молодежи, созданного еще в 1942 году на первой мировой конференции демократических молодежных организаций, звучала разноязычная речь; здесь негры встречались с югославами, индусы жали руки мексиканцам, посланцы молодежи Кубы знакомились с молодыми датчанами. Делегаты конференции были интереснейшими людьми, они привезли с собой обьемистые папки с материалами, которые могли бы стать подлинным кладом в руках опытного журналиста, — ведь Англия на протяжении долгих лет войны не могла поддерживать регулярных связей со многими странами мира, — и читатели прочли бы статьи об этих странах с огромным интересом.

Но странное дело! — журналисты большинства английских газет не проявили никакого любопытства ни к конференции, ни к ее делегатам. Лишь в некоторых газетах промелькнули коротенькие, ничего не говорящие заметки и фотографии. Приезд же в Лондон делегаций молодежи СССР, Украины, Белоруссии и республик Прибалтики и вовсе не был отмечен, хотя сами лондонцы с огромным интересом встретили нас. Забыть ли памятный вечер у Альберт-холла, на котором состоялось торжественное открытие конференции, когда автобусы наших делегаций были буквально блокированы оговорной толпой, приветствовавшей людей из СССР? Гремели аплодисменты, звучали русские песни на английском языке, к окнам автобуса тянулись руки с блэк-нотами: «Автограф! Автограф!»

В тот вечер шесть тысяч лондонцев пришли в Альберт-холл, чтобы вместе с делегатами конференции опраздновать ее открытие и продемонстрировать силу единства. Конференция получила приветствия от короля Великобритании, от Трумэна, от Эттли, от Бэвина и других крупнейших политических деятелей мира. На заседании выступил министр Стаффорд Криппс. Все присутствовавшие в зале, стоя, торжественно, слово за словом повторили клятву участников конференции:

— Мы будем бороться за единство молодежи во всем мире, за единство молодежи всех рас, всех цветов кожи, всех национальностей и верований. Мы будем бороться за уничтожение остатков фашизма на всей земле. Мы будем бороться за глубокую, искреннюю дружбу народов, за справедливый и длительный мир, за искоренение нужды и безработицы. Мы собрались сюда, чтобы делами подтвердить единство всей молодежи.

Ну а что же появилось на завтра в лондонских газетах? Как реагировала печать, громко афиширующая себя, как защитника демократических идеалов, на эту волеющую демонстрацию молодых сил демократии мира?! Такая крупнейшая газета как «Дейли экспресс», обладающая тиражом в 3.300 тысяч экземпляров, ни строки не уделила открытию конференции, словно ее и не было. Многие другие также замолчали конференцию, либо ограничились опубликованием коротеньких заметок под двусмысленными заголовками. «Мир или конец цивилизации?» — так назвала свое сообщение об открытии конференции «Дейли телеграф энд Морнинг пост». «Молодежь 64 наций будет рисковать всем», — вторила ей «Дейли мейл»<sup>1</sup>.

Когда же деловая работа конференции, развернувшаяся вполне успешно, привела к принятию решений, направленных на борьбу с остатками фашизма, и когда в порядке дня стал вопрос о создании всемирной федерации демократической молодежи, некоторые газеты неожиданно предприняли яростные атаки против конференции, которую несколько дней назад приветствовал сам король и руководители правительства.

— Кто позволил этой конференции собраться? — завопил «Ивнинг ньюс». — Кто выбрал ее делегатов? Кто предоставил им пропуск в нашу страну по морю и воздуху в то время, как самые отчаянные душераздирающие обстоятельства считаются недостаточными, чтобы получить пропуск обычным гражданам? Кто предоставил им места в гостиницах Лондона, столь перепол-

<sup>1</sup> Механику составления таких пристрастных отчетов о публичных выступлениях неплохо раскрывает в своих мемуарах один из видных американских редакторов: «В защиту репортеров следует сказать, что вина лежит не только на них. Им постоянно твердят, что, отправляясь на какое-нибудь публичное собрание или интервью, они должны стремиться найти что-нибудь «пикантное». Если ничего экстраординарного не происходит и репортер не приносит никаких сенсаций или если в редакции и без того много материалов, весь его отчет целиком летит в корзину. Поэтому публика часто недоумевает, видя группу репортеров на собрании и затем тщетно пытаясь найти хотя бы одно слово о том, что там происходило. В лучшем случае можно встретить всего несколько жалких строк».

ненных, что английским посетителям из провинции приходится поворачивать обратно? И зачем (вопрос не случаен) они здесь?.. Их дискуссии, кажется, просятся на строго политической основе. Они «требуют» уничтожения режимов и институтов, которые им не нравятся. В самом деле, мисс Китти Бумла проанализировала речь, «требуя» свободы для Индии. Обычно ущерб от юношеского проявления горячности невелик. Но горячность такого сорта и в настоящий момент, когда серьезные проблемы стоят перед взрослыми умами человечества, является дорогостоящей и тенденциозной. Публичность же, которая придается ей, сама по себе выходит из всяких границ...

Конечно, эти истерические выкрики никого не испугали и не помешали конференции успешно завершить свою работу. Но они весьма характерны для тех органов печати, которые посвятили свою деятельность упрямой и бесмысленной борьбе за сохранение всего старого и отжившего, против всего молодого и здорового. И, прожив в Лондоне несколько недель, мы перестали удивляться тому, что некоторые газеты гораздо охотнее печатают портреты Геринга и Гесса, сидящих на скамье подсудимых в Нюрнберге, чем фотодокументы об их зверствах, что выдержки из дневника Евы Браун публикуются на самом видном месте.

Один англичанин сказал нам:

— Вы допустили бы непоправимую ошибку, если бы попытались по спрашикам наших газет составить хоть отдаленное представление о том, как мы живем и что мы думаем. Вот вам простая арифметика: во время выборов в парламент за консервативных англтировали газеты, имеющие общий тираж 25 миллионов экземпляров. За лейбористов вели агитацию газеты, располагавшие тиражом не больше 1,5—2 миллионов. Результаты выборов вам известны...

— Но зачем же вам нужно это кривое зеркало? И как вы терпите его?

Англичанин усмехнулся и невозмутимо сказал:

— Каждый вправе торговать тем товаром, который у него есть. Это — заповедь нашей демократии.

Присутствовавшие при этой беседе советские делегаты на всемирной конференции недоуменно покачали плечами. Заметив это, англичанин шутливо добавил:

— Если бы желания были лошадыми, все нищие могли бы ездить верхом, — так говорит наша пословица. К сожалению, верховая езда пока что доступна не всем...

Мы вспомнили этот разговор несколько дней спустя, когда побывали на всемирно знаменитой Флит-сприт — улице, на которой помещаются редакции и типографии большинства наиболее распространенных английских газет. Эта узенькая горбатая улица является преддверием Сити,

делового района Лондона. Она тянется дугой от высокой колонны с драконом — этого символического пограничного столба Сити, у которого еще недавно король, проезжавший городом, должен был останавливаться и ждачь, пока придет лорд-мэр и разрешит ему проехать, — почти до самого собора святого Павла, стоящего в центре города. Круглые сутки улица оглашается глухим рокотом ротаций, ежедневно покирающих 800 тонн бумаги. Непрерывные вереницы грузовиков катят из переулков, прилегающих к Флит-сприт, во все концы Лондона и к вокзалам со свежими тиражами газет.



На Стрэнде в полдень. Прохожие приобретают у газетчика первый выпуск вечерней газеты «Ивнинг стандарт».

Прямо против солидного, несколько старомодного особняка «Рейтер», с вестибюлем, выложенным полированным вулканическим туфом, высятся претенциозный дом «Дейли экспресс» в ультра-современном стиле весь из черного и белого стекла. В дни войны у владельца газеты лорда Бивербрука, надо полагать, было немало хлопот с этим стеклом, так как немецкие летчики были очень частыми гостями над Флит-сприт. Чуть поодаль — массивный темносерый дом «Дейли телеграф вид Морнинг пост». В переулке — «Дейли мейл», «Ньюс оф Уорлд», «Ньюс кроникл».

Как и другие кварталы Сити, район Флит-сприт производит впечатление солидного биржевого рынка, где деловые люди делают свой бизнес. Неторопливо шагают усагие курьеры с гвардейской выправкой. Подкатывают к подъездам старомодные машины — репортеры подвозят кассеты с фотографиями. Позванивают в вестибюлях аппараты пневматической почты. Дробно стучат «тикеты» — буквопечатающие телеграфные аппараты, передающие свежую информацию из агентств. Фургончики с газетами уходят по спроному расписанию — что бы ни случилось на земле, а первое издание завтрашнего номера должно начать печататься ровно в 10 часов вечера — иначе газета ртоздает на поезд, уходящий в Шотландию, и издатель терпит убыток.

Без малого двести лет печатают здесь газеты. Первый номер «Таймс», недавно праздновавшей выход своего 50 000-го номера, был отпечатан вот здесь же, на Флит-стрит, 1 января 1785 года. И здесь же рассматривал первый номер своей газеты Чарльз Диккенс — теперь эта газета называется «Ньюс кроникл», и бюст великого английского писателя стоит в вестибюле редакции. Но много воды утекло в Темзе с тех пор, как начали печататься газеты на Флит-стрит, как небо от земли, отличается современная типографская индустрия от древних печатных станков. И как во всех отраслях промышленности, так и в этой неотвратимо свершались законы развития капитала, его централизация и монополизация.

В мире, где все определяется поисками прибыли, пресса давно уже рассматривалась, как одна из отраслей промышленности и притом одна из самых доходных отраслей. Каждый экземпляр газеты стоит только пенс — на наши деньги около восьми копеек. Но когда газета печатается тиражом в 3.300 тысяч, как «Дейли экспресс», или в 4 миллиона, как воскресная — «Ньюс оф Ворльд», то эти пенсы складываются в весьма круглые суммы. Естественно, что газетная отрасль индустрии, как и всякая другая, постепенно переходила в руки самых мощных финансовых кругов.

Недавно в нью-йоркском издательстве «Альфред Кнопф» вышла интересная книга «Газета на ущербе», принадлежащая перу хорошо информированного автора Освальда Вилларда, который сам в прошлом был издателем — в течение 21 года он издавал и редактировал нью-йоркскую вечернюю газету «Ивнинг пост». С 1918 года эта газета перешла в другие руки, и Виллард сохранил за собой лишь журнал «Нейши», который он редактировал до 1932 года. В этой книге старый издатель и журналист со всей откровенностью изобразил неприглядную механику превращения прессы в источник наживы. Между прочим Виллард с горечью отмечает:

«...Нет никаких оснований думать, что газетное дело, превратившись в коммерческое предприятие, требующее многих миллионов и поэтому доступное лишь для самых богатых людей, может избежать тех экономических тенденций, которые наблюдаются в деятельности всех крупных промышленных предприятий. Нельзя даже мечтать о том, чтобы основать большую газету столичного типа, не имея 10 или даже 15 миллионов в банке, и поэтому газета везде представляет собой крупное промышленное предприятие, владельцы которого занимают место в ряду виднейших представителей деловой жизни города. Естественно, что они склонны мыслить и поступать так, как мыслят и поступают члены той экономической группы, к которой они принадлежат. Ввиду того, что издание газеты превратилось в «бизнес», в коммерческое дело, владелец газеты в настоящее время склонен рассматривать все политические и экономические проблемы с точки зрения тех, у кого имеются очень крупные экономические интересы и кто смотрит с беспокойством на все предлагаемые социальные и политические реформы. Владелец газеты считает себя столпом Торговой палаты или местного союза коммерсантов, уступая, быть может, в этом отношении только руководителям коммунальных предприятий. Его предприятие стоит в одном ряду с теми мощными деловыми корпорациями, которые играют господствующую

роль в экономической и финансовой жизни каждого американского города, руководители которых и их жены задают «светский» тон и слишком часто контролируют весь социальный пресс».

Эти строки невольно приходят на ум, когда знакомимся ближе с организацией подавляющего большинства английских газет и читаешь внимательно в их пестрые столбцы. Эти газеты много и охотно говорят о свободе слова, о священных принципах демократической прессы. Они негодуют при одном упоминании о цензуре. Но всегда и при любых обстоятельствах где-то там, по ту сторону газетного листа, угадывается направляющая рука осторожного и расчетливого хозяина, который надевает потребителю именно те сны, какие нравятся ему самому.

Цифры тиражей английских газет, как я уже упоминал, весьма внушительны. Всего на этом острове выходит 51 утренняя, 86 вечерних и 18 воскресных газет. Для того, чтобы отпечатать такое большое количество изданий, требуются немалые усилия полиграфии, и воскресные газеты, объем которых, как правило, вдвое больше ежедневных, начинают печататься уже в четверг, чтобы в течение воскресного дня газета попала в почтовый ящик каждого подписчика.

Наиболее крупные газеты трестированы, объединены в руках одного хозяина. Так, лорд Бивербрук держит под своим непосредственным контролем ежедневную «Дейли экспресс», вечернюю «Ивнинг стандарт» и воскресную «Санди экспресс». Это предприниматель с большим размахом. Купив «Дейли экспресс», он не поспулился на затраты, создал первоклассную типографию, пригласил лучших репортеров и все это ради того, чтобы создать первую в Англии газету американского типа. Затраты быстро окупились — тиражи «Дейли экспресс» быстро выросли, и эта газета в короткий срок стала одной из самых распространенных. Она имеет корреспондентов на всех континентах, располагает отличными фоторепортерами, карикатуристами. Газета отличается яркой, броской версткой. К сожалению, далеко не всегда эти прекрасные технические средства, которыми располагают газеты Бивербрука, используются для того, чтобы читатель получал полноценную и объективную информацию.

Пресса Роттермира всегда была и осталась руором самых реакционных английских кругов и не раз перепевала мотивы фашистской пропаганды. Роттермир издает пресловутую «Дейли мейл», имеющую тираж 1.860 тысяч экземпляров, вечернюю газету «Ивнинг ньюс» — ту самую, которая так беззастенчиво обила грязью всемирную конференцию молодежи, — и воскресную «Санди диспатч». Нет такой дичайшей газетной утки, которая не нашла бы себе пристанища на птичнике этого почтенного лорда.

Трестирование распространяется и на провинциальную печать. В этом отношении весьма характерно сообщение, опубликованное 12 октября 1945 года в еженедельнике «Спектейтор»:

«Как сообщают, лорд Кемзли приобрел через один из своих синдикатов две газеты в ланкаширском городе Блекберн. Этот факт сам по себе не представлял бы большого интереса, если бы лорд Кемзли уже не контролировал огромного числа газет.

В Лондоне он держит в своих руках газеты «Санди таймс», «Дейли скетч» и «Санди

график». Может показаться, что это не так уж много. Но он также является председателем акционерных обществ «Эллайд ньюспейперс» (севера страны), «Ассошиейтед ньюспейперс» Шотландии, «Ньюкасл кроникл», «Норс-истерн ньюспейперс» (северо-востока страны), «Шеффилд ньюспейперс», «Уэстерн мейл энд эоу» (Южный Уэльс). Кроме трех вышеуказанных лондонских газет, его компания контролирует в Манчестере газеты: «Дейли диспетч», «Ивнинг кроникл», «Санди кроникл», «Санди рефери», «Эмпайр ньюс», «Уикли телеграф»; в Абердине — «Пресс энд джорнал» и «Ивнинг экспресс»; в Ньюкасле — «Джорнал энд норс мейл», «Ивнинг кроникл» и «Санди сан»; в Мидлсборо — «Ивнинг газетт»; в Южном Уэльсе — «Уэстерн мейл энд саус Уэйлс ньюс», «Саус Уэйлс эоу энд ивнинг экспресс»; в Глазго — «Дейли рекорд», «Ивнинг ньюс» и «Санди мейл»; в Шеффилде — «Телеграф энд индипендент» и «Стар».

«Конечно, — пишет «Спектэйтор», — в этом нет ничего незаконного. Это напоминает экспансию таких крупных престов, как «Имперский химический трест» и «Ливерс», которые действуют в других областях. Совершенно другой вопрос — насколько желательно, чтобы газеты, которые издаются для того, чтобы просвещать народ и руководить им, рассматривались как предмет торговли».

Газеты, пока еще не подпавшие под власть монополистов Флит-стрита, обладают значительно меньшими тиражами, меньшей экономической и финансовой базой и, соответственно, меньшим удельным весом на газетном рынке. Лагерь лейбористов обслуживает «Дейли геральд». Но и эта газета, строго говоря, не является партийным органом, хотя она и не принадлежит определенному хозяйству. Ее акции разделены между лордом Саусвуд, тред-юнионами и дейбористской партией. И газета отнюдь не считает себя ответственной перед центральным комитетом партии Лейбористов. На ее страницах могут появиться и нередко появляются статьи, которые ничем не отличаются от высказываний газет консервативного лагеря. Некоторые англичане называют это свободой печати.

Ежедневная газета «Ньюс кроникл», которая, как упоминалось выше, была основана еще Дикенсом, рассчитана на покупателей либерального толка. Но это опять-таки не значит, что она в какой-либо мере связана с либеральной партией. Нет, ее хозяином является шоколадная фирма Кетбури, для которой газета служит собственным источником доходов. Практичные хозяева рассуждают так: конкурировать с концернами, обслуживающими консерваторов, нелегко; к тому же есть немало читателей, настроенных либерально. Почему бы не обслужить эту группу читателей? И они, сохраняя старую традицию газеты, дают пристанище прогрессивным журналистам и собирают свои 1.550.000 подписчиков. Справедливость требует отметить, что «Ньюс кроникл» сейчас, пожалуй, является наиболее передовой из всех, издающихся на Флит-стрит, не считая объективной еженедельной «Рейнольдс ньюс», газеты английских кооператоров, обладающей самым большим тиражом.

Остается сказать еще о двух газетах, находящихся за пределами Флит-стрит. Это старейшая из английских газет «Таймс» и самая молодая из них «Дейли уоркер». «Таймс» авваку-

ировался отсюда в период немецких воздушных налетов, отыскав уголок потише и поспокойнее. «Дейли уоркер», основанная 15 лет тому назад, предпочитает работать там, где живут и трудятся ее друзья и читатели, — рабочие Лондона, — в промышленном районе Кингс-кросс.

«Таймс» стремится сохранить свой традиционный спокойный и внешне объективный облик. Огромные полосы этой восьмистраничной газеты, обладающей самым большим в Англии форматом, лишены кричащих аншлагов и многочисленных клише, столь характерных для всех остальных органов печати. Вся первая страница отводится под объяснения, набранные мельчайшим шрифтом. «Таймс» чурается дешавых уголовных сенсаций, на которые так падки газеты Флит-стрит. Это газета солидных деловых людей, и тираж ее невелик. Но справедливость требует отметить, что время от времени и на страницах «Таймса» появляются странные, ничем не объяснимые необъективные статьи, идущие в разрез с истиной и справедливостью.

Что касается «Дейли уоркер», то она является газетой совершенно иного типа, нежели все остальные. Она создана передовыми деятелями английского рабочего класса, и читатели ее с большим уважением отмечают, что каждому слову этой газеты можно верить. «Дейли уоркер» не зависит от прихоти богатых издателей. Она субсидируется самими читателями — английскими рабочими и интеллигентами, которые охотно делятся с нею своими скромными средствами. Ежемесячно в «Боевой фонд» «Дейли уоркер» поступает до 4.000 фунтов стерлингов. В нынешнем году газета будет отмечать 15-летию своего существования. Сейчас создается кооперативное издательство «Дейли уоркер», которое будет обладать своей собственной типографией, что даст возможность улучшить полиграфическое оформление газеты.

«Дейли уоркер» смело поднимает свой голос в защиту мира и дружбы народов, против всех и всяких проявлений реакции, против фашистской агентуры, пользующейся формальными демократическими свободами для гнетворной, ядовитой пропаганды. И широкие массы прислушиваются к ее голосу. Они охотно покупают «Дейли уоркер». Но газета вынуждена ограничивать подписание в силу до сих пор действующего закона о бумажных лимитах. Закон этот был принят во время войны — тогда было решено ограничить отпуск бумаги газетам уровнем 1939 года. Сильнее всего этот закон ударил по «Дейли уоркер», которая в 1939 году обладала небольшим тиражом и издавалась малым форматом. Газеты же Флит-стрит, уменьшив число полос, смогли увеличить свои тиражи. Военные ограничения не сняты до сих пор, хотя нормальное судоходство между Великобританией и странами, производящими газетную бумагу, уже восстановлено. Это лишает «Дейли уоркер» возможности увеличить свой объем и удовлетворить спрос читателей на газету.

Следует отметить, что коллектив высококвалифицированных журналистов-энтузиастов, работающих в редакции «Дейли уоркер», делает буквально чудеса, уместая на крохотном газетном листе огромное количество самых разнообразных интересных новостей, содержательные статьи, острые политические корреспонденции, фельетоны, очерки. Редакция имеет своих опытных обозревателей, ее корреспонденты находят

в Париже, на Балканах, в Берлине. Среди сотрудников газеты есть виднейшие журналисты, покинувшие Флит-стрит, чтобы занять свое место в рядах правдивой рабочей прессы.

В «Дейли уоркер» вы можете прочесть и обозрение собственного парламентского корреспондента, и содержательные статьи по вопросам международного и внутреннего положения, и научную информацию, и рецензии на книги, спектакли, фильмы, и спортивные отчеты, и даже советы огородникам и домохозяйкам.

Мы решили поближе познакомиться с жизнью английских редакций, с техникой выпуска газет. Куда же пойти? Группа советских писателей и журналистов, участников всемирной конференции молодежи, посветовавшая, решила нанести визит редакции либеральной «Ньюс кроникл». Надо сказать, что эта газета, в отличие от большинства обитателей Флит-стрит, не только уклонилась от наветов на конференцию, но высказала симпатии к ней. Тем больше оснований было у нас остановить свой выбор на «Ньюс кроникл».

Мы пришли в редакцию «Ньюс кроникл» в разгар работы, когда заканчивалась верстка первого издания газеты — в половине десятого вечера. Оставив свои пальто и шляпы на подоконнике в вестибюле (в Англии почему-то не принято устанавливать вешалки в общественных местах), мы поднялись на лифте на шестой этаж и, миновав коридор, вошли в большой зал, разделенный надвое узеньким коридором с невысокими барьерчиками. Слева и справа стояли письменные столы, уставленные пишущими машинками. Вдоль задней стены выстроились телефонные будки со стеклянными дверями, похожие на будки наших телефонно-автоматов. По сторонам от входа были отгорожены застекленной стеной две просторные кабинеты. Это и была редакция — мозг и сердце газеты.

Слева от входа размещался «стол новостей», заведующий которым сидел в своей кабине, справа находились работники секретариата — ночной редактор и двенадцать подредакторов, занятых обработкой и подготовкой к печати поступающих в номер новостей. Открывая дверь вела прямо в наборный цех, где стрекотали лнотипы и целая армия верстальщиков была занята непосредственным изготовлением будущего газетного листа.

Перед нами было подобие индустриального транспортера, на котором делалась газета, и во всем облике редакции было что-то напоминающее индустриальный цех, где все делается механически, где мысль положена на конвейер, рассечена на элементы, и эти стандартные элементы монтируются по заданному чертежу. Здесь нет ни места, ни времени для творческих раздумий, горения, споров. Секундная стрелка диктует темп и сроки. Газета должна быть сверстана минута в минуту к установленному сроку. Иначе — опоздание к поезду, неустойка в борьбе с конкурентами, убыток фирмы. И люди в этом огромном, неуютном зале работают, как мастера — сосредоточенно, ловко, умело, но без того живительного одушевления, которое и есть душа творчества.

Ночной редактор, худощавый седоусый газетный волк, восемнадцать лет просидевший в редакции «Ньюс кроникл» из ночи в ночь, из недели в неделю, только что закончил возиться с первым изданием. У него было четверть часа

свободного времени, пока метранпажи заверстывали последние новости о результатах собачьих бегах и сдавали полосы под пресс для матрицирования. Через четверть часа предстояло начать переверстку — надо было готовить второе издание, которое выходит к полуночи, для южных графств острова. Но пока что ночной редактор был свободен, и он готов был потолковать с коллегами из СССР.

— Ноэл Джозеф, — представился он, протянув руку каждому и потирая лоб. — Очень рад, очень рад...

И, усевшись на столах, мы, как это принято между журналистами во всех странах, начали сразу же болтать о тех специфических деталях, из которых складывается наша шумная и беспкойная газетная жизнь — о полосах, об аншлагах, о макетах, о том, какие есть в наших редакциях отделы, и кто сверлет даты и фамилии, и как лучше пользоваться связью, и как «вставляются фитили» другим газетам, то есть как газетчик добывает новость, которая в других редакциях остается неизвестной, и о многих других вещах. Мистер Ноэл, как и другие работники этой редакции, симпатизировал нам, советским людям, и был достаточно открыт. И чувствовалось, что и ему, и его коллегам во многом не по душе та механическая система, которой подчинен здесь жизненный ритм журналиста, который больше слезит, зарабатывая свои деньги, чем работает творчески, но с этим давно уже свыклись, как с чем-то неизбежным и вечным.

Нас интересовали некоторые технические подробности организации газетной информации. Необходимость выпускать газету в точно определенные графические сроки привела к тому, что редакции и издательства добиваются от своих репортеров высокой оперативности и одновременно создают для них соответствующие условия. Как правило, репортеру, выполняющему срочное задание, предоставляется прямой телеграфный или телефонный провод, связывающий его с редакцией, — об этом беспокоится та или иная телеграфная или телефонная компания, связанная выгодным для нее договором с газетой. Репортеру достаточно подойти к аппарату, установленному то ли в «комнате прессы», в кулуарах какого-нибудь ответственного совещания, о котором он пишет, то ли на аэродроме, с которого стартует самолет, уходящий в рекордный полет, то ли на футбольном поле, — и сразу же отзовется стенографистка, дежурящая в редакции в ожидании «стори». Корреспондент по ходу событий передает в редакцию абзац за абзацем своей будущей корреспонденции. Эти абзацы тут же расшифровываются и сдаются в набор. Поэтому газета с описанием того или иного события попадает к читателю не позже чем через час после того, как это событие совершилось.

Весьма оперативно работают и агентства, обслуживающие печать. «Рейтер», например, передавал через свою собственную радиостанцию сообщение об открытии второго фронта через две секунды после того, как началась высадка союзников во Франции. Как правило, информация о важнейших событиях передается в несколько приемов: вначале идет «раш» — молния, одна-две строки, излагающие суть события. Затем дается «снапс» — сжатое изложение этого события. И, наконец, дается полный текст — «фул».

Если в момент передачи сообщения агентство получает более важное известие, это сообщение прерывается на полуслове, и телетайп отстуживает новое.

В погоне за сенсацией, за злободневным и сверхсрочным известием некоторые репортеры переступают все рамки дозволенной нормами общепринятой порядочности. Ведь именно сенсация ценится здесь выше всего: за новость, которая не появится в других газетах, репортер может получить самую высокую премию — до 500 фунтов стерлингов. И некоторые отчаянные головы идут на все, лишь бы выступить с такой сенсацией. Нам рассказывали, что лондонский корреспондент крупнейшего американского телеграфного агентства ухитрился передать в свою редакцию сообщение о высадке союзных войск во Францию за день до того, как эта высадка осуществилась. Произошел крупный скандал, но потом дело было улажено — агентство лишь уволило машинистку телетайпа, которая передавала этот материал по проводу: было объяснено, что она тренировалась в передаче такого сообщения, забыв, что аппарат включен.

Мистер Джозеф Ноэл подчеркнул, что редакции очень требовательны к своим сотрудникам в отношении сроков сдачи материалов. Как бы важно ни было сообщение, но если оно сдано на четверть часа после срока, обусловленного графиком, ему уже не увидать света: в текущий номер оно уже опоздало, а к следующему уже устареет, его опубликуют конкуренты.

Жизненный цикл газеты начинается здесь в 10 утра, когда в еще пустом зале раздаются первые телефонные звонки, и стенографистки подходят к аппаратам. Это репортеры, вышедшие с раннего утра на промысел, поймали первую информационную плотву: в Лондон приехал какой-то видный государственный деятель; сыщики напали на след убийцы; министерство продовольствия утвердило нормы рождественского пайка; выздоровел подбитый в прошлую субботу форвард известного футбольного клуба; врач, побывавший у принцессы, которой позавчера удалили аппендицит, сообщал, что температура у нее нормальная.

Репортера кормят ноги — и он весь день рыщет по городу. Все чаще звенят звонки. Некоторые, выудившие новость более солидного калибра, торопятся в редакцию, чтобы самим наслучать на машинке «стори», и лично вручить ее заведующему столом новостей. В отдельной изолированной комнате стучат дробным стуком четырнадцать телетайпов, принимающие новости от абонированных агентств. Прибывают телеграммы от собственных корреспондентов, находящихся за границей. Эти сообщения пойдут в «стол зарубежных новостей», который помещается тут же, в отдельной клетушке.

Заведующие столами новостей, опытные журналисты, проработавшие не меньше десятка лет в этой редакции, приходят к часу дня. Они просматривают ворох газет и начинают рыться в поступивших информациях. Шуршат меж пальцев бесконечные ленты, отстуживаемые телетайпами. Свиток за свитком падают в корзину, и лишь изредка звякают ножницы — эта новость может пригодиться. Откалдывается в сторону несколько информации, переданных репортерами, остальные листы тоже летят в корзину. День еще большой, и много новостей придет отовсюду.

В половине третьего — после ленча — приходит ночной редактор. В это же время садятся за свой столы подредакторы в ожидании работы. Перед ночным редактором стопка разноцветных листов — сейчас начнет рождаться план номера, определится его первоначальный замысел, лицо полос. Заведующие столами новостей приносит информацию, которая по их мнению заслуживает опубликования. Курьер доставил от редактора просмотренную им статью. Кстати говоря, редактор не частый гость в редакции. Он читает только наиболее важные выступления. Все остальное — на совести ночного редактора.

Не один десяток исчерченных макетов летит под стол, пока родится окончательный план номера — события в течение дня нарастают, обгоняя друг друга. В конце концов определяется беспорядный «гвоздь» первой полосы — репортаж об отлете Эттли в Соединенные Штаты на встречу с Трумэнном. Самолет поднялся с аэродрома Нортхольт в 6.30 вечера, но репортеры успели доставить в редакцию и отчет о проходах, и снимки улыбающегося премьера, стоящего на трапе воздушного корабля, и провожающих его. На шесть колонок дается аншлаги: «Эттли летит в США: переговоры завтра». Второй крупный заголовок сообщает: «Эксперты по атому будут вести отдельные переговоры».

Здесь же, на первой полосе, ночной редактор размещает и остальные, наиболее важные, с его точки зрения, сообщения. С помощью подредакторов, которые тут же, на ходу, получая от столов новостей «стори» репортеров, перерабатывают их, он оснащает эти сообщения бойкими, лаконичными заголовками, рассчитанными на то, чтобы сразу же поразить, увлечь читателя, заставить его купить и прочесть газету:

— Три главных партии Франции договорились об общей политике.

— Сурабая: флот прибывает. 31 убиты.

— Заговор — убить кабинет Франко.

И рядом информации, рассчитанные на вкусы того среднего английского обывателя, за которым охотятся все торговцы новостями, наперебой предлагая ему свой товар. Вот два портрета — мать и сын. Надпись гласит: «Они обожают Гитлера». Текст «стори» поясняет: эта семья до войны эмигрировала из Англии в Германию, а сынок окончил школу Гитлер-югенда и стал пропагандистом фашистских идей. Сейчас и он, и мамаша попали на скамью подсудимых. Рядом заметки: «Меня хватил удар, когда мы нашли вино». Это информация о том, как шесть английских офицеров, включая одного священника, разграбили винный погреб в Мюнстере, за что также попали на скамью подсудимых. Еще заметки: «Разбился трофейный самолет», «Девушка помогла преступнику убежать», «Женщины не допущены на королевский завтрак», «Канада шлет мебель. 150.000 комплектов для имеющих разрешения».

Новости, для которых не нашлось места на первой полосе, ночной редактор перебрасывает на четвертую страницу, которая здесь считается второй по значению. Здесь на самом видном месте он помещает информацию, полученную от специального корреспондента, командированного в Югославию для освещения выборов в национальное собрание. Заголовки гласят: «Кандидаты Тито не имеют оппонентов. Женщины впер-

вые голосуют на выборах». Рядом речь Эттля на завтраке у лорд-мера: «Эттль перед выбором: мир или катастрофа». Как всегда, половина полосы отведена спортивной тематике: здесь статья о знаменитой ирландской лошади, которая имеет шансы выиграть большой национальный приз на предстоящих скачках, сообщение о том, какие пребывания предъявили своей ассоциации футболисты, угрожающие забастовкой, заметка о том, что динамовцы посетили матч «Челси»—Бирмингем, списки собак-чемпионов гонок, на которых стоит ставить в тотализаторе.

Третья полоса обычно посвящается злободневным внутренним темам. На этот раз наиболее сенсационную «стори» принес репортер Уинтон Уигли. Ночной редактор делает ее «гвоздем» полосы. Огромный аншлаг гласит: «Молодежь спрашивает: должна ли она танцевать танец трясущегося жука?». Вторая строка: «Как бороться с азартными играми, пьянством, пошлыми фильмами». Здесь же фото, изображающее группу юношей и девушек, сидящих за столом.

Разбитной репортер собрал группу студентов университета и предложил им высказаться на тему, определенную заголовком. Тема эта очень злободневна в Англии. Недавно член парламента лейтенант Остин поднял в парламенте вопрос о борьбе с развратом, и тема эта вызвала живейший отклик у населения. Многие требовали ограничить и запретить похабный танец трясущегося жука, получивший распространение в последние годы, азартную игру на собачьих гонках, продажу спиртных напитков малолетним, демонстрацию аморальных фильмов.

Рассказ о беседе, проведенной репортером со студентами, которые также поддержали мистера Остина, должен был вызвать большой интерес у читателей «Ньюс кроникл», и ночной редактор, естественно, не пожалел для него места. Здесь же, на третьей полосе, он разместил и другие заметки, отвечающие вкусам либерально настроенного читателя: «Девушек выбросили с работы за то, что они носили штаны», «Слишком высокая плата за квартиру», «Угроза забастовки на газовом заводе», «Русские строители не угрожают никому». Последняя заметка представляла собой интервью с мистрис Мэри Пристли, недавно вернувшейся со своим мужем из СССР.

Вторая полоса на этот раз являлась традиционной субботней страницей. Материалы для нее были заблаговременно сданы редактором статей. Здесь, как всегда по субботам, ночной редактор поместил кинообозрение, театральную рецензию, сообщение о новой симфонии композитора Майкла Типпета, радиообозрение, советы садоводам и набор остроумных, которыми каждый читатель может воспользоваться в часы уикэнда. Одна колонка второй полосы в «Ньюс кроникл», как и во всех других газетах, отводится под заметки, отдаленно напоминающие по своему характеру наши переводные статьи. Это сжатые, по 20—30 строк, комментарии к важнейшим событиям злобы дня. Эти комментарии и определяют в значительной мере политическую линию газеты.

На этот раз здесь были помещены четыре заметки. Первая из них, «Миссия в Вашингтон», посвящалась поездке, предпринятой премьером Эттлем: в осторожной форме автор намекал на

то, что попытки одностороннего сговора англосаксонского блока вредят делу мира и дружбы народов. «Нужно надеяться, что он (Эттль) убедит президента, что «секреты» атома не могут быть и не должны рассматриваться, как монополия одной нации или группы наций и что только путем распространения знания можно положить основу мировой безопасности». Вторая заметка под заголовком «Посланцы» представляла собой выражение косвенной поддержки и одобрения мировой конференции демократической молодежи, против которой ополчились реакционеры. Редакция сообщала, что она организует вечер для участников конференции и посещение ими футбольного матча «Арсенал» — «Фулхэм». «Мы не можем сделать слишком много, чтобы познакомиться их с культурными богатствами нашей страны, — говорилось в заметке, — но мы будем надеяться, что молодежь всех наций будет укреплять взаимное общение. От нее зависит создание более счастливого и порядочного мира». Остальные заметки были посвящены организации культурных развлечений для народа и демобилизации учителей.

Работа над текущим номером протекает в предельно сжатые сроки, и Джозеф Ноэл признался нам с улыбкой, что даже он, не говоря уже о редакторе, не успевает прочитать все то, что печатается в газете. Он просматривает только основные, главные «стори», а в остальном полагается на вкус заведующих столами новостей и ведущих авторов, надеясь, что они его не подведут. Не покладая рук работают в вечерние часы подредакторы и весь аппарат, связанный с выпуском газеты.

Отправка материалов в набор начинается в 4 часа дня, и уже к половине восьмого все статьи и заметки набраны, выправлены корректорами и подготовлены к верстке. В 9 часов вечера начинается ответственнейший технический этап выпуска — верстка. В течение сорока пяти минут дружный отряд метранпажей и верстальщиков под общим руководством главного помощника ночного редактора успевает смонтировать все четыре страницы, причем надо сказать, что требования к верстке английские газеты предъявляют очень высокие: велико разнообразие шрифтов, много клише, сама верстка оригинальна и замысловата.

В 9 часов 45 минут метранпажи снимают последние оттиски с газетных полос, их бегло просматривают корректора и ночной редактор, и раздается единый для всех типографий мира бойкий возглас выпускающего: «Полосу брать!»

Мы вошли в наборный зал как раз в ту минуту, когда дожде рабочие, орудующие у прессы, снимающего матрицы со сверстанных страниц, подхватили последнюю полосу и приступили к работе. Оборудование типографии «Ньюс кроникл» заставляло желать много лучшего. Старенькие литописки и заголовочные машины теснились в небольшом зале с низкими потолками. Прессы облупились и обгорели — их вытаскивали из-под развалин старого здания «Ньюс кроникл», разбитого немецкой авиабомбой. Корректора ютились в тесной, неудобной будке. Но на всех рабочих местах мы видели опытных седовласых полиграфистов, каждый из которых много лет проработал на своем посту, и эти люди с золотыми руками ухитрялись совершать чудеса на своей дряхлой, обветшалой технике. До-

статочко сказать, что от сдачи последней полосы под пресс до начала печатания газеты на ротации проходит всего 12 минут, и это не удовлетворяет типографов.

— До войны, — говорят они, — мы тратили на это всего 10 минут...

Мы прошли, спускаясь с этажа на этаж, мимо наборных машин, мимо машин, отглаживающих стереотипы, — в котле каждой такой машины находится семь тонн расплавленного металла, мимо станков, на которых окончательно отделяются стереотипы. И пока мы добрались до гигантских, дышащих запахом разогретого масла и краски ротаций, стереотипы, обогнавшие нас, уже были установлены на валы и приправлены. Машины, седоватый мастерской с аккуратно подстриженными усиками, узнав, что мы гости из Советского Союза, гостеприимно поздоровался с нами и подарил свежие, еще сыроватые листы завтрашнего номера газеты.

Наверху в это время уже начиналась верстка второго издания, и мистер Ноэл был весь поглощен своей нервной и трудной работой. Но и здесь, в ротационном цехе, продолжалась работа по непрерывному обновлению газетного листа. Каждая газета здесь имеет так называемую «колонку последних новостей». При верстке эта колонка ничем не заполняется. Когда же, уже во время печатания, поступают новые известия, их быстро набирают; тут же отливается маленький добавочный стереотип. Его спускают в ротационный цех, ставят на отдельный валик; поворот рычага — и новое сообщение ложится на газетный лист. Если важные сообщения в эти два часа не поступают, газета выходит с белым пятном, и это никого не смущает.

Мы вышли из редакции «Ньюс кроникл» в двенадцатом часу ночи. Лондон уже спал: здесь вся жизнь замирает после десяти вечера — и столь оживленные днем улицы были пустыны. Автобусы уже не шли, и только редкие ночные такси медленно ползли вдоль магистралей, поджидая случайных пассажиров. И только Флит-стрит жила напряженной жизнью: вереницы авто-фургонов мчались отсюда к вокзалам с тюками газет; стрекотали мотоциклы курьеров телеграфного агентства; в ночных барах толпились репортеры, толковавшие за кружкой пива о своих приключениях минувшего дня; рабочие ужинали в тесных «забегаловках». Ритмичный гул многих ротаций доносился из типографии.

С Темзы, лежащей тут же рядом, за высокими домами набережной, тянуло сыростью. Наползал едкий, гнилой туман. Мы шли молча, каждый раздумывая о чем-то своем. Минуло уже две недели с того дня, как мы улетели из Москвы, и теперь все чаще и чаще вспоминались вдрог сосны Сокольников, или дымки над Замоскворечьем, или крикливые галочки стаи над Охотным рядом. Так хотелось услышать сочный хруст крупчатого снега под ногами и увидеть краснощеких мальчишек на коньках, и побродить по заснеженным бульварам...

И вдруг тишину нарушил каким-то злым ворчанием добродушнейший из наших спутников, чистой и романтической души парень, молодой украинский поэт, прошедший тысячи километров с партизанским отрядом по немецким тылам и не растерявший за четыре года тяжелой и суровой войны романтической свежести и какой-то хорошей наивной чистоты, по которой безошибочно угадывается в человеке молодая душа.

— Чорт его знает, — сердито сказал он. — Ведь что было бы, если б вот все эти машины, сколько их есть, все линогиты и все ротации, и все станки служили доброму честному слову, а? Да ведь это же... Это же... Люди англами бы стали, их живьем в рай можно было бы брать!

Все рассмеялись, а поэт обиделся. Могучие ротации Флит-стрит гудели все так же ритмично, и у подъездов «Дейли мейл» покрикивали рабочие, спешившие нагрузить машины тяжелыми тюками газет. На вокзалы отправлялась новая порция снотворного концентрата, который завтра примут миллионы потребителей. Пенс, один только пенс — и читатель может отвлечься от будничной, скудной действительности, узнать, как идут розыски убийцы задушенного на прошлой неделе шофера такси, какой наряд был на королеве, посетившей вчера один из модных кинотеатров Вест-энда как искусный делец с Оксфорд-сприта за одну неделю заработал 1.000 фунтов стерлингов. Оглушить читателя, поразить его, посеять в его душе надежду на то, что в старой доброй Англии когда-нибудь и как-нибудь наладится и образуется жизнь, и пресечь всякие поползновения искать лучшего на новых путях! Убаюкать его! Это удавалось раньше. Может быть, удастся и сейчас?

## 2. КИНО-БИЗНЕС

Если у вас в Лондоне есть три-четыре свободных часа, если у вас кошки скребут на душе и вам хочется ни о чем не думать, если вам некогда пойти и надо как-то убить время, — сверните с тротуара и откройте массивную, сверкающую медью дверь кинематографа. Ловкая кассирша примет ваши шиллинги, звякнет автоматическая касса, отсыпая вам сдачу, вежливый служитель надорвет ваш билет, и девушки в форме киноконферанс, которому принадлежит этот театр, немедленно проведут вас в зал и укажут тонким лучиком электрического фонаря свободное место. Здесь нет фойе и не надо ждать, пока кончится сеанс. Вы начинаете смотреть фильм с середины, и если у вас будет охота и время, вы сможете часа через три дождаться, пока программу начнут показывать опять сначала, и тогда досмотреть эту ленту. Но особой нужды в этом нет.

В зрительном зале английского кино (к слову сказать, так же как и во многих театрах) вы вправе поступать, как вам угодно — можете курить, жевать апельсины или жареный картофель, — смотря по тому, что вам по карману, — громко разговаривать с соседом, если вам жарко, вы можете снять пальто и захипать его под стул, отправив туда же и шляпу. Зритель должен получить полный эквивалент затраченных им денег, и он вправе поступать, как ему угодно, — говорят владельцы зрелищных предприятий.

Качество зрелищ опять-таки определяется денежным эквивалентом. Если вы в состоянии отдать хозяевам «Уорнера» шесть-восемь шиллингов, например, вас угостят идущей здесь монопольно «Рапсодией в голубом». Вы получите истинное удовольствие от этого фильма, воскрешающего биографию знаменитейшего американского композитора Гершвина, с интересным и оригинальным творчеством которого мы, к сожалению, мало знакомы. Заплатите четыре —

шесть шиллингов, и вам покажут в «Павильоне Мраморной Арки» злодейскую драму «Латинский квартал» с загадочным убийством, таинственными полуочными криками, пронзительным медиумом и всяческой чертовщиной. А за два шиллинга где-нибудь на окраине вы увидите нечто совершенно убогое, на наш взгляд — глупую комедию, где действующие лица непрерывно бьют друг друга по лицу и падают на пол, детективные гонки ковбоев или дрянненькую полупорнографическую ленту из закулисной жизни варьете.

Год тому назад этой практике было дано своего рода теоретическое обоснование на курсе оценки фильмов при британском киноинституте. Здесь была прочитана лекция о кино-бизнесе, автор которой вполне серьезно и откровенно провозгласил принцип разделения искусства в строгом соответствии с покупательной способностью зрителей. Вот эта платформа, заимствованная нами из официального отчета:

«Фактор прибыли, которым руководствуется владелец кинотеатров, не нуждается в защите. «Циркуляция» фильмов должна быть как можно более велика, чтобы покрыть расходы на демонстрацию и вложенный капитал. В обязанности киноладельца не входит выполнение задач воспитательных органов и необходимость докладывать деньги. При классификации картин владелец кино, принимая во внимание разнovidность мнений, должен руководствоваться соображениями прибыли. В Англии есть 4.500 кино, и посещающая их публика имеет разные вкусы. Что касается зрителей индустриального типа, то как они могут оценить такой фильм, как «Гражданин Кейн» или «Гроздь гнева», если они утром читают бульварную газету, а за обедом роман дешевого вкуса? Как могут они оценить технические качества первого фильма и понять смысл второго? Они с самого начала откажутся принимать подобного рода фильмы. В фильмах возвышающего значения нет потребности. Полудокументальные фильмы и военные фильмы непопулярны. Фильмы, сделанные по пьесам, не имеют успеха. Публика индустриального типа требует развлечения в виде плоского юмора Дукана и Шейна, Джорджа Формби, постоянно свежих сюжетов типа «Золушки», музыкальной комедии или душещипательных драм. Лишите этих зрителей таких фильмов или сентиментальных картин, и их жизнь станет очень скучной. Этот род зрителей не хочет развлечения, имеющих воспитательный характер. Публика хочет развлечения, и я думаю, что она имеет право на развлечения того рода, за который она готова платить...»

Трудно было бы высказать откровеннее и ценнее точку зрения купца, который одинаково охотно взялся бы торговать и мукой, и живописью, и селедками — был бы от этого барыш! Но справедливость требует внести в эти рассуждения одну фактическую поправку: «публика индустриального типа», под которой автор лекции подразумевает английских рабочих, знает цену произведениям искусства и умеет отличать их от суррогатов. Когда я читал запись этой неподражаемой инструктивной лекции, мне вспомнился вечер в тесном помещении клуба всемирного совета молодежи, где мы встретились с молодыми лондонцами, — сколько горьких и негодующих слов высказали работницы Ист-энда и клерки мелких контор, вынужденные расчи-

тывать свой бюджет до каждого пенса, по адресу кинопредпринимателей, пичкающих их отбросами Голливуда! И как завидовали они советской молодежи, которая может видеть все, что идет на сцене и на экране, выбирая зрелища по вкусу, а не по цене...

Мне подумалось тогда, что классификация зрителей, проведенная лектором Британского киноинститута, неслучайна и что подбор фильмов для дешевых кинематографов имеет определенный, и, быть может, не только кассовый смысл. Фильмы, которые стряпаются для «публики индустриального типа», фильмы, которым чуждо «возвышающее значение», призваны играть ту же роль, что и продукция газетных трестов Флит-стрит, о которых я рассказывал выше. Это еще одна фабрика снов для публики, которую надо уберечь от слишком глубоких размышлений на злободневные темы.

Мы знаем возможности англо-американского кино. На наших экранах прошло немало превосходных фильмов Чаплина, Корда и многих других мастеров. Наш зритель знает в лицо крупнейших киноактеров Великобритании и США. И многим читателям будет странно узнать, что именно те фильмы, которые встречают самую теплую встречу у зрителей, которые радуют нас своей психологической глубиной, смелостью замысла, ярким и острым раскрытием злободневных жизненных проблем, здесь считаются «продукцией» для избранного круга.

Кинематография, как и пресса, здесь рассматривается как отрасль индустрии; и законы развития крупного капитала, законы конкуренции и борьбы за монополию сказываются на кино-рынке еще острее, чем на рынке газетном. Поскольку же установлено, что «публике индустриального типа», то-есть самому широкому потребителю незачем показывать «фильмы возвышающего значения», кинопредприниматель делает для себя вывод: пусть таких фильмов у меня будет десять-двенадцать процентов; этого вполне достаточно, чтобы сделать мне «паблисити», рекламу, а иногда, если фильм не очень близок к сегодняшним политическим проблемам, и принести доход (выручил же Сельзник, зять знаменитого Майера, владельца «Метро-Голдвин-Майер», 25 миллионов чистой прибыли за фильм «Гонимые ветром» — боевик из эпохи борьбы северян с южанами за искоренение рабства!). А остальные 88—90 процентов — пусть будет продукция киноконвейера, дешевая и простенькая, сработанная по стандарту, в расчете на широкий рынок.

Британский киноинститут так определяет категории этого промышленного стандарта:

Музыкальный фильм, гарантирующий успех наличием популярных кинозвезд. В СССР мы видели немало таких американских фильмов, в частности с участием популярной певицы Динны Дурбин.

Плоская комедия. «Зрители низшего уровня всегда готовы увидеть свое собственное изображение, отраженное в комедии, — динично отмечалось в цитированной выше лекции. — И чем хуже такой фильм, тем больший доход он приносит».

Драма — фильмы, создающие иллюзию культуры в то время как в действительности они находятся на очень низком культурном уровне.

Сентиментальный фильм. Бесконечно варьирующаяся тема, как бедная, ничем не выдающаяся, но способная девушка, благодаря покровительству благородного героя, выходит в люди и становится счастливой.

Картина ужасов.

Фильм из жизни в прериях.

Эти шесть стандартов в различных разновидностях постоянно пребывают на экранах, и в целом зрителю не представляет никакого труда разгадать, как будет развиваться сюжет и чем все это кончится..

Тут читатель, помнящий «Леди Гамильтон» Александра Корда, «Историю одного корабля» Ноэля Каверда и некоторые другие английские фильмы, может пожать плечами и сказать:

— Но позвольте, нам до недавнего времени было известно, что стандарт — это знамение Голливуда, а не британского кино! Нам было известно, что английская кинематографическая общественность всегда противилась стандарту и отстаивала право на индивидуальность художника!

Да, это так и было. До недавнего времени! Пока неумолимые законы рынка не распространились и на тот тихий островок творчества, на котором укрылась немногочисленная колония британских мастеров кинематографии. И здесь, чтобы читателю стали яснее острые проблемы сегодняшнего дня британской кинематографии, нам придется на несколько минут отвлечься от вопросов чистого искусства и обратиться к прозаическим и, быть может, несколько скучным экономическим выкладкам.

Статистика говорит, что в Британии ежедневно ходят в кино 30 миллионов человек — в 28 раз больше, чем ходит в церковь и втрое больше, чем слушает радио. За полтора года в Англии показывают кино числу людей, равному всему населению земного шара. В дни войны, когда бомбежки немецкой авиации отбили у людей охоту посещать театры, значение кино, доступного зрителю в любой час, выросло еще больше, и доходы владельцев кинотеатров достигли астрономической цифры — 100 миллионов фунтов в год.

Владелец кинотеатра, естественно, заинтересован в наибольшем доходе. Поэтому он хочет как можно чаще менять программу, чтобы успешно конкурировать со своими соперниками. Но разрозненные, лишенные солидной финансовой базы, полумиллионские киностудии Англии не могут предложить владельцу кино достаточный выбор фильмов, тем более таких, которые удовлетворяли бы его, владельца кинотеатра, вкусу. И акционерные общества, владеющие кинотеатрами, ищут товар за границей, в Голливуде.

Пять китов составляют опору этого мирового центра кинопромышленности: «Метро-Голдвин-Майер», «ПарамOUNT», «XX век-фокс», «Братья Уорнер» и «Радио-Кейс-Орфейум». Они держат в своих крепких руках кинематографический рынок на всех материках. Они же с давних пор весьма охотно принимали и принимают заказы английских кинопрокатных контор. В годы войны эти пять фирм стали безраздельными диктаторами кинорынка в Британии, и только правительственная квота, обязывающая владельцев кинотеатров показывать не менее 20 процентов отечественных фильмов, спасла английский экран от полного порабощения Голливудом. Аме-

риканцы, предоставляя свои фильмы для проката в Англии, выкачивали отсюда огромное количество золотой валюты. Это так больно било по бюджету, что в феврале 1944 года вопрос о кино был поставлен в повестку дня палаты лордов.

Докладывавший по этому вопросу лорд Брабазон, директор всемирно-знаменитой фирмы «Кодак», производящей киноплёнку и фотоаппаратуру, с негодованием говорил:

— В 1939 году мы послали в Америку в оплату за прокат фильмов 11.500.000 фунтов, в 1942 — 17 миллионов. Теперь эта сумма достигает 20 миллионов. Из всех товаров, ввозимых в страну, фильмы — экономически самый невыгодный товар. Если вы ввозите плуг, вы можете пахать им землю. Если вы ввозите машины, вы можете производить с их помощью товары. Но когда вы ввозите фильмы, положение является иным. Пошлина за фильм взимается только как за кусок целлулоида, независимо от ценности его как картины. Мы как граждане Англии знаем, как казначейство выкачивает последний пенс из наших карманов. И просто невероятным кажется, как не был найден налог, который мог бы дать нам такую большую сумму.

Конечно, проще всего было бы наложить запрет на ввозжение Голливуда. Но это не спасло бы положение, так как сама по себе британская кинематография не обладала достаточной мощностью, чтобы обслужить возросшие потребности внутреннего рынка. И страстная дискуссия в палате лордов не могла дать сколько-нибудь реальных последствий, поскольку она была беспочвенной. Тем с большим пылом и энтузиазмом приветствовали англические предприниматели и финансисты появление на горизонте кино новой, чрезвычайно колоритной и характерной фигуры — «человека с планом» мистера Артура Ранка, известного английского мульти-миллионера.

Мистер Ранк никогда в жизни не был ни актером, ни сценаристом, ни режиссером. Свои миллионы он зарабатывал на спокойном и солидном бизнесе: в руках у него — мукомольная промышленность Великобритании. Но, будучи человеком предприимчивым и реалистически мыслящим, он рассудил, что деньги можно делать не только из муки, но и из кино. Еще 15 лет назад Ранк заинтересовался этим новым для него делом, основал религиозное фильмовое общество и вложил кое-какие капиталы в киноконцерн «Одеон», занимавшийся прокатом фильмов. В годы нынешней войны, когда акции кино стали расти, он решил, что пришло время для более основательных спекуляций.

Начал Ранк с того, что решил монополизировать кинопрокат. До войны в Британии было три киноимперии, ведущих коммерческих кинокомпаний. На первом месте стояла «Ассошиэтид Бритиш Пикчур» во главе с Джоном Максвеллом, владевшая 500 кинотеатрами и несколькими студиями. За ней шел «Одеон» со своими 300 кино, и, наконец, «Гомон Бритиш Пикчур Корпорейшен», владевшая 250 кинотеатрами и несколькими студиями. Максвелл и основной акционер «Одеона» Оскар Дойтш в годы войны умерли, и, как всегда бывает в таких случаях, началось торопливое перераспределение ценностей, захватившее все три «киноимперии».

Ранк унаследовал «Одеон» и прикупил к нему «Гомон». Половину наследства Максвелла у не-

го перехватывали американцы — братья Уорнер, стремящиеся усилить свои позиции в Британии, вторая половина акций ассоциации осталась у родственника Макуэлла.

Получив контроль над 600 кинотеатрами, «человек с планом» Рэнк начал последовательно скупать кинопроизводство. Он приобрел студию, покупал заводы, производящие киноаппаратуру и пленку, одним словом, делал все необходимое для того, чтобы обеспечить себе положение монополиста в кинематографии. Для него не составило особых затруднений в короткий срок взять под контроль 60 процентов всей британской киноиндустрии.

Явное стремление Рэнка стать монополистом кино, естественно, не могло не остаться незамеченным широкой публикой. Его начали упрекать в корыстных побуждениях. Чтобы укрепить свою популярность, Рэнк предпринял ряд благотворительных начинаний. Он создал, в частности, сеть детских кино клубов. В этих клубах 200.000 английских детей в возрасте от 7 до 12 лет имеют возможность еженедельно по субботам бесплатно смотреть фильмы. При вступлении в члены кино клуба дети приносят клатву «быть хорошими гражданами». У них есть своя клубная песня. В дни войны члены детских кино клубов привлекались к участию в различных патриотических мероприятиях — собирали металлический лом, помогали эвакуированным из Лондона семьям и т. д. Характерно, однако, что в Англии до сих пор не создано ни одного детского фильма.

Сам Рэнк, как я уже отмечал вскользь выше, заявил, что он берется руководить одним из классов в воскресной рабочей школе. Сославшись на то, что и его отец и он сам в прошлом учительствовали, Рэнк заявил представителям печати, что он считает просветительную миссию долгом каждого культурного человека. Это заявление было широко опубликовано газетами.

А тем временем волею и дальновидный мучкомол заканчивал составление своих широких деловых планов. Взвесив свои возможности, он пришел к выводу, что сможет не только отвоевать британский кино рынок у американцев, но и перейти в контрнаступление на Голливуд. Перехватить кинопрокат в колониях и доминионах, завладеть кинотеатрами Европы, Африки, Азии и Австралии и, наконец, вторгнуться в Америку, чтобы там, сломив сопротивление фирм Голливуда, утвердить стяг своего концерна, — таков был замысел Рэнка. 27 ноября 1944 года, выступая на почтенном собрании, в Глазго, он обнародовал этот замысел, бросив вызов дельцам США:

— Цель британской фильмовой индустрии заключается в том, чтобы обеспечить британские картины мировым рынком, — гордо сказал он.

Рэнк был достаточно богат, чтобы отважиться на такую смелую и рискованную операцию. Его гонцы разъехались во все страны мира и начали свою работу. Концерн, созданный Рэнком, получил наименование «Игл Лайонс Дистрибуторс», и на гербе его были изображены орел — эмблема США и лев — эмблема Великобритании. Тем самым Рэнк продемонстрировал добрую волю к сотрудничеству с кинопромышленниками Соединенных Штатов. Однако в США без особого удовольствия отметили создание нового концерна, тем более, что в составе его правления не было ни одного американца.

Руководители американской киноиндустрии видели в этом концерне нового конкурента, который торопливо скупал кинотеатры на всех континентах.

В Канаде представитель Рэнка Джон Дейвис не без успеха провел переговоры о расширении киносети «Одеона». В Южной Африке представители Рэнка заключили договор о монопольном прокате британских фильмов в 100 кинотеатрах. Кроме того, Рэнк затеял здесь широкое строительство новых кинематографов. В Австралии посланцы Рэнка, договорившись о совместных действиях с американской фирмой «XX век-фокс», получили участие в контроле над всей киносетью, а кроме того, договорились об участии в налаживании производства австралийских фильмов. В Индии Рэнк приобрел контроль над 815 кинотеатрами фирмы «Бритиш Дистрибуторс».

Расторопные посланцы Рэнка открывали новые и новые рыночные возможности. Из Нигерии доносили, что там пока что имеется всего тринадцать кинотеатров, а спрос на зрелища — остромный; на Золотом Берегу — всего шестнадцать кинотеатров, из них три — некоммерческих: в Китае можно было собирать колоссальнейшую жатву — «Прибыль из Китая может равняться 50 процентам валового сбора; следовательно, мы надеемся, что нам удастся заработать в Китае много денег», — спешил сообщить корреспондентам вернувшийся оттуда уполномоченный Рэнка Карр.

Посланцы «Игл Лайонс Дистрибуторс» шли по пятам англо-американских войск, высадившихся в Европе. Они спешили опередить уполномоченных американских фирм и тут же, по горячим следам бежавших немецких дельцов, захватывали их наследство. Американцы тоже стремились действовать как можно оперативнее, но все же Рэнк кое-где обставил их и сумел обеспечить монопольный прокат во многих кинотеатрах Франции, Бельгии, Дании, Норвегии. Он решительно выступил за изгнание фашистских кинодельцов из Испании и Португалии с тем, чтобы расчистить и здесь рынок для британской кинематографии. Наконец он отважился на такой дерзкий шаг: купил в самом центре Нью-Йорка земельный участок и приступил к постройке собственного первоклассного кинотеатра на 2.000 мест, который, по его мысли, должен служить американской витриной британского кино.

Так Рэнк, «человек с планом», обеспечил исходные позиции для контрнаступления на Голливуд. Теперь надо было подумать о том, какой товар он мог бы положить в свою американскую витрину. И тут оказалось, что организовать производство этого деликатного товара значительно сложнее. Замысел нового «киноимператора» Британии был прост: бить Голливуд приемами Голливуда, отвечать на поток чисто сработанных стандартных, ярких, как павильный хвост, шумных и веселых лент таким же точно потоком. Ведь теперь, когда вся киносеть была под его контролем, он мог диктовать свои условия всем продюссерам, всем тем, кто производит фильмы. Он мог сказать режиссеру, сценаристу «да», и перед ними открывался банковский текущий счет, распахивались двери студий, они получали аппаратуру, пленку. Он мог сказать им «нет», и они должны были идти прочь.

Но заставить творческих киноработников, привыкших создавать произведения искусства,

перейти на конвейерный метод производства, когда искусство уступает место схеме, было нелегко. Иной раз было легче заставить мастера вовсе прекратить творческую работу, чем подчиниться новому режиму.

Так получилось с Александром Корда, фильмы которого хорошо нам знакомы. Он имел свою небольшую фирму «Лондон-фильм». Когда Рэнк начал теснить «независимых», Корда пришлось уступить свою студию всемогущему «киноимператору». Будучи человеком дальновидным, он, продавая студию, оставил за собой ее сердце — лабораторию. Поэтому в течение некоторого времени ему удавалось сохранять некоторую независимость. Рэнк предоставлял ему павильоны, не пытаясь диктовать свои требования. Но долго так продолжаться не могло. Корда понимал это и в один из дней покинул Англию и поехал в США искать помощи у своих заокеанских друзей — когда-то он был членом знаменитого творческого содружества «Юнайтед Артистс», в которое входили Кин Вудор, Мэри Пикфорд, Чарли Чаплин.

Из Америки Корда вернулся окрыленный надеждами и широкими творческими планами: ему удалось договориться со всемогущим Майером о поддержке. Но поддержка эта дорого стоила: отныне фирма Корда именовалась «Метро-Голдвин-Майер-Лондон». Майер, обещав Корда неограниченную помощь, оговорил свое соучастие и контроль над делами его небольшого творческого коллектива. И практика показала, что талантливый венгерец, нашедший в Британии свою вторую родину, попал из английского огня в американское полемика...

Производственная программа, которую обнародовал Корда как директор «Метро-Голдвин-Майер-Лондон», определялась в несколько миллионов фунтов стерлингов. Она опиралась на производственные возможности крупнейшей студии Амолгомейтис, которую Корда с большим трудом приобрел в Лондоне. Среди фильмов, запланированных им, была между прочим эпопея «Война и мир» по Л. Н. Толстому. Сам Корда с огромным увлечением взялся за постановку сложного психологического киноромана «Подлинно чужие». Это был рассказ о том, как война влияет на судьбы и характеры людей, о муже и жене, которые оба ушли на фронт и которые так изменились, что после заключения мира стали чужими друг другу.

Вначале Корда поручил режиссуру фильма одному американцу, но потом, оставшись неудовлетворенным работой этого режиссера, уволил его и сам провел съемки. Окончив монтаж фильма, Корда повез его показывать хозяину и... на этом деятельность фирмы «Метро-Голдвин-Майер-Лондон» оборвалась. Фильм «Подлинно чужие» не получил необходимой рекламы и проскользнул на экранах, незамеченный широкой публикой. Критика почти не откликнулась на него. В газетах промелькнула лишь коротенькая хроникерская заметка о том, что Александр Корда заболел и уходит в отставку. Видимо, его работа не пришлась по вкусу диктатору Голливуда. А возвращаться с повинной к Рэнку Корда не хотел...

Недавно Корда приехал снова в Англию. Говорят, что он порвал с американцами и пытается возродить свою старую фирму «Лондон фильм». Говорят также, что он хочет попытаться счастья во Франции, поставить там фильм на паях с одним из французских режиссеров...

Но Рэнк обладает достаточно твердым характером, чтобы, раз встав на определенный путь, не сворачивать с него до конца. И ему постепенно, шаг за шагом, удастся добиваться своего. Пусть сходят со сцены упрямцы, пытающиеся отстаивать право на индивидуальность! Он сумеет постоять на своем. И вот на экраны выйдут яркие цветные полотна под стать продукции Голливуда. Прочь психологизм, прочь сюжеты, вызывающие мрачные размышления! Зритель должен уходить из кино, улыбаясь и напевая, чорт возьми; даже если герои падают мертвыми...

Вот «Генрих V», раскрашенная всеми цветами радуги хроника Шекспира, воскрешающая в памяти британцев гордый XV век, когда их короли разговаривали на языке, незнающем колебаний: «Повергнем Францию к стопам своим или разорвем ее в клочки». Рэнк не поскупился на расходы, чтобы восстановить во всем блеске картины этой далекой эпохи. Британский зритель залобуется жизнью и бытом своих воинственных предков, а зритель зарубежный не без интереса, надо полагать, будет глазеть на яркие наряды, сверканье лат и пестрые палаты.

Вот «Счастливая порода», фильм из жизни британцев в прошлую мировую войну. Добродушные, невозмутимые люди, убежденные в неизменности судеб старой доброй Англии. Вековые традиции, неистощимый оптимизм, вера в свои силы. Что из того, что художник грешит против истины, оставляя лишь розовые краски на полотне? Зато ему удастся вызвать у зрителя иллюзию успокоенности и наивную надежду на то, что, как бы трудно ни складывалась жизнь, в конце концов все будет хорошо.

Вот «Жизнь и смерть полковника Блэмпса». Полковник Блэмпс — такой же собирательный образ, как солдат Томми. Его добродушная физиономия с отвислыми, моржовыми усами — воплощение среднего британца, каким хочет видеть его Рэнк: солидного, невозмутимого, уверенного в незыблемой прочности все той же неизменной старой доброй Англии. Черты Блэмпса знакомы нашему читателю по роману Гринвуда «Мистер Бантинг в дни войны и в дни мира», — пожалуй, это и есть Бантинг в военной форме. Известие о начале войны застанет его в турецкой бане; оно не в силах помешать ему до конца предаться банным усадом. Полковник Блэмпс считает ниже своего достоинства волноваться и терять хорошее расположение духа из-за какой-то войны. Англия есть Англия, никогда с нею ничего не случится, и все будет в порядке. И даже тогда, когда Блэмпс погибает, он оставляет зрителя в твердом убеждении, что беспокоиться абсолютно незачем — все будет в порядке!

С технической стороны все эти фильмы безукоризненны. Игра актеров на высоком уровне. Соблюдены все требования интриг, занимательности. Фильмы делают большие сборы, зритель принимает их. И все-таки в них что-то такое, что оставляет у вас осадок неудовлетворенности. Это «что-то» — отсутствие душевного тепла, творческой взволнованности и искренности. Когда художник работает по заказу, когда ему приходится делать не то, что он хочет делать, и говорить не о том, во что он верит, — ему, как бы хорошо ни оплачивался его труд, не удается создать такое произведение искусства, которое безраздельно овладело бы сердцами людей.

Подлинное искусство, живое и трепетное, ютится пока что под обветшалыми крышами тех

немногочисленных студий, которые пока что остаются независимыми. Но не каждый фильм, который выходит из этих студий, попадает на экран. Нам рассказывали историю одного из таких не увидевших экрана фильмов — фильма талантливого английского режиссера Майкла Балкона «Они подошли к городу», сделанного по пьесе Пристли.

Майкл Балкон поставил перед собой задачу — в острой, необычной манере показать раздумья людей различных классов современного общества на пороге грядущего. Луч света выхватывает из мрака этих людей, занятых своими будничными делами, погрязших в житейской суеде, усталых и разочарованных. Они нервничают, ссорятся, сплетничают, ругаются друг с другом. Их жизнь тосклива и монотонна. Они не видят впереди никакого просвета. И вдруг каким-то чудом они оказываются у ворот какого-то великолепного сказочного города.

Зритель не видит этого города. Но по тому, как загораются глаза героев фильма, как выпрямляются их согбенные спины, как преображаются их лица, — он понимает, что там, за этими тяжельными массивными воротами с причудливой остроконечной несимметричной восьмиугольной звездой, — нечто поистине прекрасное и удивительное.

В определенный час загадочные ворота медленно-медленно приоткрываются, и людям дается возможность войти в счастливый город. Некоторые остаются там, остальные возвращаются — одни навсегда, другие, чтобы собраться с мыслями, прежде чем принять окончательное решение.

Вот из ворот выходит блестящий аристократ. Ему не понравился этот таинственный город. Больше того, он вне себя от гнева. Он апеллирует к людям:

— Представьте себе, — они меня спросили. «Чем вы занимаетесь?» — Охотой! — сказал я «Как, целый год только охотой?» — удивились они. — Мы вас арестуем за паразитический образ жизни!» Нет, мне эта новая жизнь никак не подходит...

Из города возвращается солидный бизнесмен. Он также недоволен:

— Они не дают выгодных сделок! Нет, это не годится...

Из ворот выходит скромная уборщица. На лице ее написано полное умиротворение.

— Это для меня, — шепчет она.

За нею — матрос и его подружка. Они спят. Подруга матроса тоже хотела бы остаться в чудесном городе. Но он не согласен. Он твердо говорит:

— Нет, мы не должны идти туда! Мы должны поостеречь сами такой же город здесь...

На экранах Вест-Энда, где господствует Рэнк, этот фильм показан не был. Пресса его замолчала. Но справедливость требует отметить, что в последнее время Рэнк, убедившись, что «независимых» легче сломать, чем подчинить, ищет компромисса с ними, и фильмы Балкона начинают появляться на первых экранах. Видимо, Рэнк приходит к пониманию той простой истины, которая давно уже осознана диктаторами Голливуда: иногда можно получить прибыль и на таких фильмах, которые шокируют их самих как предпринимателей.

И все же пока что Рэнку при всех его организаторских талантах и умении планировать не

удалось осуществить и сотой доли своих замыслов создания британского Голливуда. В большинстве кинотеатров американские фильмы по-прежнему демонстрируются, так как они и количеством и качеством превосходят английские. Что же касается попыток проникнуть с английскими фильмами на кинорынок США, то они встречают организованный и дружный отпор.

Английская кинопресса не без основания жалуется на «доктрину Монро», примененную к фильмам». Американцы отказались принять для проката даже «Жизнь и смерть полковника Блэмпла», коим так гордится кинематография Рэнка. А с одним из английских фильмов — «Эз лайтг» американские дельцы в прошлом году сыграли злую шутку, которой до сих пор не могут им простить англичане. Они купили этот фильм за большие деньги, перемонтировали его, дали ему новое крикливое название — «Убийство в Соргон-сквере» и... отправили в Англию. Прокат его на английских экранах с лихвой вернул им все затраты, а на американском экране фильм так и не пошел.

Недавно вопрос о кинопрокате вновь был выдвинут в парламенте, на этот раз в палате общин. Как справедливо отметил обозреватель «Дейли уоркер», «обсуждение этого вопроса в палате поставило не только вопрос о колоссальной экономии средств, но и вопрос о поддержке английского авторитета в области искусства».

Отражая точку зрения прогрессивной общест-венности, кинокритик Джон Росс писал по этому поводу:

— Мистер Рэнк использовал неправильную стратегию, пытаясь вторгнуться на американский рынок с фильмами, сделанными в Англии в стиле Голливуда... Он превратился в поборника английского кинематографа, но он ставил не на ту лошадь. В его руках сосредоточено две трети всех распространяемых фильмов и большая часть производства в стране. Говорят, что Рэнк — родоначальник и спаситель английской кинематографии. В действительности же английская кинематография начала развиваться еще до появления мистера Рэнка и при помощи независимых предпринимателей. При поддержке правительства она могла бы занять соответствующее место. Одно остается очевидным: правительству должно предоставить известную свободу для производства фильмов. Постановщику должны обеспечиваться необходимые условия для производства картин независимо от коммерческих интересов. Как только постановщику будут гарантированы эти условия, производство фильмов будет налажено.

Джон Росс имел достаточные основания, чтобы говорить о той большой роли, которую могла бы сыграть в развитии британской кинематографии действительная поддержка правительства. В годы войны был накоплен немалый опыт централизованного производства фильмов за счет государства, — речь идет о производстве документальных и агитационных фильмов по линии киноотдела министерства информации. Только с 1944 года было выпущено 480 таких фильмов, которые были показаны четырем миллиардам зрителей. Киноработники, пользовавшиеся широкой правительственной поддержкой, сумели создать значительные произведения документального жанра, хорошо послужившие делу борьбы с фашизмом. Большой популярностью

пользовались, в частности, такие фильмы, как «Победа в пустыне», «Ночная смена», «Лето на ферме». Издавались серии самых различных документальных инструктивных фильмов — для молодежи, для фермеров, для садоводов, для врачей. Была создана центральная «фильмовая библиотека», из которой можно было получить фильмы для бесплатного показа в клубах, институтах, кружках. Кинопреддвигки показывали до 1400 фильмов в неделю. Большое количество кинокартин брали для показа в семейном кругу люди, владеющие собственной киноаппаратурой. Спрос на фильмы был так велик, что приходилось записываться в очередь на три-четыре месца вперед.

Естественно, что работники кинематографии, страдающие от грубого вмешательства частных предпринимателей, владеющих средствами производства, предпочитали бы получить финансовую и организационную поддержку правительства. Однако пока что не заметно никаких сдвигов в этом направлении, и «независимые» кинематера попрежнему остаются один-на-один с частными киноконцернами.

Опыт показал, что эти концерны, и в первую очередь Рэнк, обладают большими возможностями. Однако стремление подчинить всю творческую работу коммерческим соображениям неизбежно приводит к снижению качества фильмов: подлинное искусство отступает на задний план; посредственность, дешевый эффект, халтура торжествуют. И естественно, что передовые работники кинематографии все чаще и все настойчивее протестуют против «диктатуры кассы», диктующей мастерам искусства свои условия.

В этом отношении весьма характерна разгоревшаяся не так давно на страницах специальной печати дискуссия о путях цветного кино, которое, пользуясь широкой популярностью у зрителей, особенно ревностно опекается предпринимателями, как наиболее доходная статья.

Надо сказать, что цветное кино в Британии и США за последние годы получило весьма широкое распространение. Цветные фильмы, сделанные по методу «Техниколор», идут на всех экранах. Среди них есть подлинные шедевры. Нельзя смотреть без волнения такой, например, фильм, как «Кровь и песок», поставленный Рубеном Мамуляном по одноименному роману Бласко Ибаньеса еще в 1940 году (производство «XX век-фокс»). Премьера этого фильма в Лондоне состоялась в 1942 году, но он и сейчас идет с огромным успехом на первых экранах. Богатство красок помогло авторам фильма воссоздать яркий колорит Испании, убедительно передать зрителю изумительно поставленные режиссером сцены боя быков, жанровые сцены, знойный южный пейзаж. Как живые, встают перед вами герои этого фильма — ставший знаменитостью малограмотный тореадор, чувствующий себя чужим в светлом свете, куда он попал по воле судьбы; трогательно любящая его жена; капризная и верпеная танцовщица, из прихоти отбивающая его у жены; многочисленные друзья и враги тореадора. Трагическая судьба этого юноши, погибающего на арене перед беснующей от восторга толпой, трогает, волнует зрителя. И концовка фильма — медленно расплывающееся на золотом песке багровое кровавое пятно — запоминается, как трагическая и закономерная деталь.

В таких фильмах цвет, краски органически воспринимаются зрителем. Он смотрит картину, забыв, что она цветная, краски не раздражают его своей подчеркнутой яркостью и пышностью, цвет не режет глаз. Требуется величайший такт мастера и сдержанность подлинного художника, чтобы достигнуть такого результата. И справедливость требует отметить, что этот такт и эта сдержанность проявляются далеко не всегда. Большинство фильмов, заполняющих экраны, отличаются ярмарочной пестротой, рассчитанной на дешевый эффект. Их авторы стремятся удивить, поразить зрителя, добиться, чтобы он непрерывно ахал, вздыхал и изумлялся — какими высокими техническими средствами обладает современная кинематография. Уж если на экране море — то обязательно ярко-синее, если действие переносится в сад, то с экрана бьет яркая зелень, если показываются люди, то одеты они в какие-то фантастически-пестрые костюмы, режущие глаз. Зритель устает от этого обилия красок, он уже не в силах спокойно следовать за развитием сюжета, вникать в душевные переживания героев. Авторы фильма приравняли его к базарному зеванию, который простодушно глазееет на пеструю толпу.

Мастера кино отлично понимают, что такая подчеркнутая постановочная пышность губит кино, как искусство. Но они вынуждены кривить душой, поскольку предприниматели требуют «стопроцентной» реализации возможностей цветного кинематографа. Даже такой взыскательный художник, как Корда, пошел на компромисс со своей совестью, создав экзотические фильмы à la Голливуд — «Багдадский вор» и «Джунгли», знакомые и нашему зрителю...

И вот в последнее время на страницах английской кинопечати все чаще раздаются голоса протеста против «диктатуры кассы» в творческих вопросах и в частности в вопросах цветной кинематографии. В качестве примера можно сослаться на характерную для нынешнего времени статью Корнуэлла Клайна, опубликованную на страницах такого специального журнала как «Синема»: статья эта озаглавлена «Цветные фильмы слишком красивы. Техника подавляет искусство». И автор смело выступает против установившихся в цветном кино традиций. Статья начинается так:

«Ленин сказал: Открыто признать ошибку, установить ее причины, анализировать условия, которые привели к ней, тщательно обсудить способы ее устранения — все это характеризует серьезную партию. И, как добавляет Холдейн, «это характеризует серьезного научного работника». Настал момент, когда мы должны пересмотреть вопросы цветного кино и принять меры в пределах наших возможностей, чтобы исправить дефекты, выявить слабые стороны и признать прошлые ошибки в суждениях и в практике...»

Клайн резко выступает против «тирании техники» и прямо заявляет, что преувеличенная пышность фильмов — их порок. Он требует для художника свободы творчества и независимости от прихоти хозяев метода «Техниколор», которые вмешиваются в творческий процесс и настаивают на том, чтобы все фильмы были как можно более яркими и «красивыми».

Эти положения автора статьи разделяются многими творческими работниками английской кинематографии, но пока что большинство бри-

танских цветных фильмов почти ничем не отличается от столь же пестрых картин Голливуда...

Время идет, а на экране не заметно больших перемен. Хозяйка киносиром предпочитает по-прежнему выпускать в прокат пышные, яркие и пестрые ленты, а режиссер и художник, которые не хотят остаться без работы, вынуждены послушно выполнять их требования.

Только немногие счастливицы, обладающие независимостью, могут поступать так, как им заблагорассудится. К их числу принадлежит веселый и умный американский чародей Дисней, который сам является предпринимателем. И каждый фильм Диснея, — это можно сказать без преувеличения, — радует зрителя своей неистощимой выдумкой, богатством творческих идей, неповторимым своеобразием. Начав свою карьеру с короткометражных мультипликационных фильмов, Дисней прославился как создатель целой галереи образов детских сказок. Его потешный мышонки Мики-Маус, три поросенка, забавные пингвины обошли все экраны мира, потешая детвору. Недавно мы увидели Диснея в его новом облике — он выступил как постановщик полнометражных фильмов, сделанных комбинированным способом — натуральные цветные съемки сочетаются с изумительной киноживописью, высокое качество мультипликации заставляет зрителя забыть, что перед ним не живые существа, а только зарисовки художников.

На наших экранах не так давно прошел с большим успехом «Бэмби» — трогательная история молодого олененка, вступающего в жизнь и познающего ее суровые законы. Не все приемлемо для нас в философии этого фильма, противопоставляющего идиллический и благородный мир обитателей лесного царства абстрактному злому и беспощадному человеку; но понять автора, живущего и работающего в мире конкуренции и беспощадной борьбы за существование, можно.

В Лондоне мы увидели новую работу Диснея. Это идущая монополично, в Первой студии «Фантазия», повествующая своей сказочной светописью о том, как автор фильма понимает музыку. Трудно отказать себе в удовольствии хотя бы коротко пересказать схему этого своеобразнейшего и интереснейшего фильма.

В зале гаснет свет, мелькают вступительные титры, и перед вами на экране возникает снятый в фантастической красно-синей гамме знаменитый оркестр Стоковского. Оркестр настраивается, готовится к исполнению классической музыки. Звучат отдельные аккорды, причудливо сплетаются голоса скрипок, флейт, арф. Стоковский занимает свое место за пультом. Взмах дирижерской палочки — и зритель уносится в фантастический мир звука и цвета.

Торжественно звучит бессмертная музыка Чайковского: «Лебединое озеро», «Щелкунчик». «Времена года»... На экране проскакивают какие-то пока еще неясные блики. Рождаются слабые очертания каких-то невиданных цветов. Пронесаются легкие тени крылатых существ — то ли бабочек, то ли стрекоз, то ли эльфов. Художник лениво отдается пассивному восприятию музыки, и зритель вместе с ним замирает в предчувствии чего-то большого, яркого и красивого.

Но вот голоса оркестра крепнут, ширятся, растут. И фантазия художника, проснувшись и восприняв духом, начинает творить. Какое бо-

гатство красок, рисунка, какой истинный пир вдохновения! Пляшут очаровательные грибы в алых шапочках. Крохотные феи пьют сок цветов. Белоснежные лилии ритмично раскачиваются на синей воде. Какие-то очеловеченные цветы пляшут вприсядку и замирают, собравшись в пестрый букет...

Дохлаю холодное веяние осени. И сразу меняется гамма тонов. Бронза и киноварь борются с зеленью. Все больше золота и меди. И вот уже два, только два, пожелтевших кленовых листка медленно и печально пляшут в глубоком и пустом синем небе. Мир засыпает, уже слышатся ледяные ноты идущей к нам зимы. Печальный, трагический аккорд — новое поколение живущих овладевает экраном: белый, серебряный эльф на причудливом коньке врывается в свинцовый холодный мир зимы, за ним — целая стая его друзей, пляшут кристально-чистые снежинки, поет вьюга, экран расцвечен фантастическими узорами инея...

И снова мы видим оркестр, которым дирижирует маг и чародей Стоковский, — Дисней на мгновение напоминает нам о существовании реального мира, откуда унес нас в свой таинственный и непередаваемо-прекрасный сад творчества. Только мгновение, и мысль художника в полете. Неясное предчувствие великих трагических и грозных событий берedit его душу. Строго и сдержанно поет гигантский орган. Это Бах, Неторопливые чистые и прозрачные звуки, с изумительной ясностью переданные оркестром Стоковского и воскрешенные звуковым экраном, будят в воображении художника фантастические картины отдаленнейших эпох мироздания. Спокойные синие-зеленые волны первоначальной материи пересекают световые отражения звука. Нижние трагические тона вызывают к жизни зловещие пурпурные волны, медленно колышущиеся на фоне призрачного и мертвенного зеленого неба. И вдруг над этой зловещей лучиной встает золотое солнце. Радостно и торжествующе звучит песнь жизни, и червонное золото лучей затопляет мир.

История еще далеко впереди. Пройдет еще много эпох прежде, чем явится твердь в этом изначальном огненном океане, и еще много эпох минет, пока на этой тверди зародится живое. Путь этот будет мучителен и сложен. И, словно желая на минуточку отвлекаться от этих трудных и мрачных страниц бытия, художник вдруг, без всякой внешней логической связи, обращается к своему любимцу, доставившему ему столько несложных житейских радостей, — лукавому плуту, уморительному мышонку Мики-Маусу.

Оркестр переходит на светлые, безоблачные мелодии, и перед пришедшим в некоторое замешательство зрителем вдруг появляется Мики-Маус с двумя тяжеленными ведрами воды. Он старательно трудится, наполняя бассейн в низком сводчатом подвале, где трудится его хозяин, бородатый алхимик, в высоком остроконечном колпаке. Мики поражен искусством и ловкостью кудесника: только что он создал изумительно-красивую бабочку. Довольный алхимик уходит, и проворный черномазый плутишка забирается на стол и надевает волшебную шапку своего хозяина.

Мики-Маус ленив, ему не хочется носить воду, и он приказывает метле заняться этим делом. Повинуясь приказу маленького существа в волшебной шапке, метла принимается за дело, а

Мики засыпает. Он видит себя в мире звезд на высокой фантастической скале. Нарастает грозный прибор. Он подхватывает и уносит испуганного мышонка. Мики открывает глаза и видит себя в полузаотопленном кресле: метла работает так усердно, что весь подвал уже залит. Мышонок требует, чтобы она прекратила носить воду, но метла не повинуется. Взбешенный Мики хватается секиру и начинает рубить непослушную метлу, но из каждой щепы рождается новая метла, и все они, шагая стройными шеренгами под звуки марша, носят и носят воду, пробиваясь сквозь волны. Вода достигает потолка, и обезумевший Мики носится по волнам, лихо радочно листая толстую книгу алхимика — он тщетно ищет средства укротить метлы.

В этот миг появляется алхимик. Тревожные, злые ноты. Слово заклятия, и вода расступается и исчезает вместе с метлами... Мышонок смиренно снимает шапку и протягивает ее хозяйину, но разгневанный алхимик выбрасывает его прочь. Звучит заключительный аккорд. Оркестр стихает, и... радостный Мики-Маус оказывается на дирижерском пульте рядом со Стоковским. Он жмет ему руку и благодарит за то, что все хорошо кончилось. «Гуд-бай!», — слышится его пискливый голосок.

И снова художник, согнав с лица улыбку, обращается к величественной истории мироздания. Печально поет фавот. В бесконечной смене эпох проходит перед потрясенным зрителем картины истории земли. Беспокойный желтый ландшафт: вулканы извержения, бушующая лава. Золотые, алые тона: жесткое пламя прожигает тонкую земную кору, и стонет, гремит, жалуется, молит оркестр. Лава низвергается в синюю воду. Встают облака пара, бушует кипящая стихия. В мучительной борьбе побеждают холод и влага. На дне безбрежного океана еще происходят взрывы, но постепенно и они стихают. И вот уже в горячей воде зарождаются первые фантастические по своим очертаниям клетки. Мы присутствуем при самом великом и таинственном явлении природы — становлении жизни.

Сначала являются загадочные и простые первоорганизмы. Потом рождаются фантастические рыбы. Потом вырастают какие-то страшные чудовища. И вот уже, цепляясь за голые, остроколючие скалы, повисают первые летучие. Наступает каменноугольный век. Пышная растительность покрывает землю. Золотой век в жизни гигантских и фантастических первонасельников земля! Но и в этом веке есть свои агрессоры — страшный зубатый зверь впиивается в шею мирно пасущегося на берегу синего моря длиннотелого существа. Смена эпох. Холод. Снег. Плачет и жалуется, тоскует оркестр. Тщетно ищут под снегом пищи неуклюжие, изнеженные каменноугольным веком звери. Смерть наступает их, и торжественная печальная песнь звучит над белой пустыней, усеянной скелетами. Новые катаклизмы потрясают стареющий земной шар. Происходят землетрясения, волны океанов, вышедших из берегов, захлестывают континенты. Художник отдалается от этого мира вечной борьбы, и мы видим весь земной шар, медленно вращающийся в багровых лучах солнца. Как много еще великих и трагических явлений впереди!

Листает партитуру Стоковский, находя новые и новые, то трагические и мрачные, то бодрые и веселые страницы, перенося нас одним манове-

нием своей волшебной дирижерской палочки из одной эпохи в другую. Долгих три часа идет этот фильм, но вы не замечаете бега времени. Вот Дисней и Стоковский решают устроить еще одну небольшую передышку. Снова настраивается оркестр, а пока что художник зовет на пустой, темный экран всего лишь одну ноту. Он хочет показать нам, как выглядит звук. Нота ролеет. Она звучит растерянно и неуверенно. Тонкой нитью является она на экран и, дрогнув, изгибается и исчезает.

— Иди сюда, иди, не бойся! — ободряет ее художник. И снова нота выглядывает на простор пустого и темного экрана. Она осваивается на этом поприще, чувствует себя увереннее, не гнется больше, и звук крепнет. Он начинает разговаривать языком рояля, скрипки, флейты, трубы и даже барабана и треугольника. И всякий раз графическое изображение звука меняется, экран воспроизводит его фантастический контур.

И опять художник переносит нас в мир своей фантазии. Звучит нежная пастораль, и перед нами — гнездо пегаса, в котором слутник поэзии растит своих крылатых детей. Один из крохотных крылатых коней вываливается из гнезда, и пегас-мама, взмахнув крыльями, догоняет его, хватая зубами за хвост и учит летать. Сообразительный сынок быстро постигает тайны этого искусства и, ухватив себя зубами за хвост, уносится к звездам. Резвясь в воде среди скал, усеянных цветами, миловидные девушки — кентавры. Амуры и негретянки причесывают их и делают им педикюр. Кентавры пудрятя, надевают модные шляпки из бересты и цветов. Приходят гости — мужественные и красивые кентавры-мужчины. Начинаются игры, начинается флирт, и один из кентавров мрачно гадает, обрывая лепестки ромашки: «любят — не любят». Происходит свадьба кентавров. Является Бахус, приходят гости с Олимпа, и начинается пир на весь мир. Бахус бражничает или скандалит. Это надоедает Зевсу, и он, хватая молнии, выкованные Вулканом, мечет их в толпы гуляк. Гремит гром, блещут молнии, лет ливень. Всеобщий переполох. Наконец удовлетворенный произведенным эффектом Зевс укладывается спать, укрываясь пухлым облаком, и все стихает. Над миром встает радуга, солнце уходит с горизонта, и Феб скачет с четверкой коней по облакам. Семья пегасов устраивается на ночлег в своем гнезде, и белоомерная Диана выходит на охоту.

А художник все дальше и дальше уводит нас в мир фантазии. Музыкальные образы оживают, воплощаются в образы живописные, часто неожиданные и парадоксальные, но всегда яркие и запоминающиеся. Многие спорно в трактовке Диснея, со многим нельзя согласиться, многое сам Дисней передает в плане протеска. Но везде и во всем чувствуются высокый, тонкий вкус художника и яркая его индивидуальность. Видите ли вы пляшущих бегемотов или слонов, ритмично пускающих хоботами мыльные пузыри, под аккомпанемент рубленой синкопической музыки, уходите ли вы в мир мрачных тейей, слушая неповторимую «Ночь на Лысой горе» Мусоргского, возносится ли вы в заоблачные дали под звуки величественного гимна «Аве Мариа», — вас никогда не покидает ощущение искренности и чистоты душевных помыслов большого художника, который стремится с исчерпыва-

вающей полнотой передать вам свое личное, индивидуальное восприятие музыки, который не хочет и не может кривить душой...

Но как трудно художнику отстоять свое право на такую искренность и непосредственность в мире, где творческие возможности определяются размерами вашего банковского текущего счета!

Могут позволить себе такую роскошь Дисней, Чаплин, еще несколько мастеров, обладающих материальной независимостью. А остальные? Остальным приходится так или иначе — одним

в большей мере, другим в меньшей — приспосабливаться ко вкусам хозяев кинематографических концернов. В Англии, где «независимые» живут гораздо скромнее, чем в Соединенных Штатах, это чувствуется особенно остро, и, быть может, именно поэтому мастерам английской кинематографии гораздо реже удается создавать такие сильные и убедительные фильмы, какие время от времени дают кинематографисты Америки...

*Лондон—Москва, ноябрь 1945 г.*

---

# ФРАНЦУЗСКИЕ ПИСАТЕЛИ В ДНИ ВОЙНЫ

ЭЛЬЗА ТРИОЛЕ



Я хочу дать некоторое представление о жизни в оккупированной немцами Франции. Арагон и я все четыре года оккупации провели во Франции, не выезжая. Так, как жили и работали мы, так жили и работали многие, а потому, для наглядности, в качестве обычного примера, я расскажу о нас.

Арагон был мобилизован 2 сентября 1939 года. «Странную войну», ту войну, во время которой никто не воевал, он проделал в полку, находившемся под надзором полиции, не то чтобы в штрафном, но в таком, в который направляли неблагонадежных. Им не выдали никакого обмундирования, стояли они под Парижем, рыли окопы, засыпали их и опять рыли. Арагон отпросился на еще не существовавший тогда фронт, т. е. куда-нибудь, где может случиться бой. Его послали на бельгийскую границу в танковую дивизию, с которой он и проделал, в качестве врача, 6-недельную войну французов с немцами.

Я жила в Париже до 10 июня 1940 года. Потом уехала в Бордо, тогда еще существовало такое мнение, что до Бордо немцы не доберутся. И именно там, возле Бордо, на берегу моря, я в первый раз увидела немцев. Представьте себе, что вы выходите утром на улицу, а по улице едут на машинах немцы. Значит разгром, поражение. Это правда — не страшный сон, а явь! Машины ехали медленно, немцы были такие, какими их рисуют на картинах — с жирными затылками. Они стояли в машине вокруг пулемета, на пулемет была накинута шинель и фуражка, для безобидности и остротки одновременно. Повисли знамена со свастикой, на столбах, на стенах появились немецкие надписи. По радио из Парижа заговорили по-немецки. В стране было немцев, что деревьев в дремучем лесу. Они были везде: в городах и в деревнях, на улицах, в магазинах, гостиницах, кафе, кино. От немцев проходу не было. Франция замела и замолчала. Где кто сидел или стоял, как там и замер, как в «Спящей красавице». Поезда встали, на дорогах — никого, только идут без конца немецкие колонны.

Сначала немцы у нас были не такие, как здесь, т. е. немцы были такие же, но политика у них была другая. Они считали, что с французами выгодней дружить, — приехали вежливые,

улыбались, раздавали папиросы. И действительно нашлись французы, которые эти папиросы принимали и на улыбки отвечали улыбками. И по всей стране пошли слухи о том, какие немцы умные, корректные, какая у них техника, дисциплина и как нам будет хорошо жить под немцами. И вот немцы стали наводить порядок. Разделили Францию на три области — на запрещенную пограничную, которую объявили на военном положении, на область оккупированную, где хозяйничали немцы и в которой находился Париж, и на область так называемую свободную, неоккупированную, где посадили царем Петэна, заменили прежнюю администрацию другой, французской же, но фашистской, — столицей сделали Виши и доигрались до того, что послали в Париж французского посла! Между оккупированной и неоккупированной областями проходила так называемая демаркационная линия, так сказать внутренняя граница, которую без специального разрешения переступать было запрещено.

Мы остались в так называемой свободной зоне. С оккупированной зоной — с Парижем — можно было переписываться только открытками с напечатанным заранее текстом, который следовало дополнить: Ранен... Убит... В плену... Можно было дополнить — муж, сын или «убитая» вместо «убит», с указанием — по дороге из Парижа и т. п. Газеты в Париже выходили под теми же названиями, что и прежде: «Матен», «Пти Паризьен», «Пари-Суар». Появилось также несколько новых газет. Писали по-французски французские журналисты, но под немецкую диктовку. Запрещенная еще в 1939 году «Юманите» продолжала выходить в подполье. Некоторые газеты перебрались в неоккупированную зону и делали вид, что они французские, оттого что писали под диктовку Виши. То же самое произошло и с радио-передачей. Что же касается книг — беллетристики, стихов, то у немцев в Париже цензуры не было. Писатели и издатели могли писать и издавать на собственный риск и страх. В свободной зоне цензура существовала, так как Виши отвечало за порядок перед немцами и рисковать не желало. Ни книги, ни газеты из одной зоны в другую пересылать не разрешалось.

Стали мы жить слухами и тем, что доходило по радио из-за границы. Сначала узнали, что в

оккупированной области корректные немцы выпустили антисемитские законы и отбирают у евреев имущество — ценные коллекции картин, редкие книги; потом, что они ходят по парижским квартирам и без различия вероисповедания выносят белье, радио, драгоценности. Но уже в октябре 1940 года они арестовали в Париже знаменитого ученого, физика Ланжевена. А 11-го ноября, в годовщину перемирия 18-го года, стреляли из пулеметов по студентам, которые устроили демонстрацию на могиле неизвестного солдата под Триумфальной аркой в Париже. Кто из студентов не был убит, был арестован. В корректности немцев стали сомневаться. Немцы продолжали уступать место з метро дамам, но дамы теперь от мест отказывались. Про Париж стали говорить, что это город с пустыми глазами — на немцев не смотрели или смотрели сквозь них, как будто их нету.

В этот период, в 1940 году, мы жили в Каркассоне, в свободной зоне. Это небольшой старинный город на юге. У нас доверия к немецкой корректности не было, мы знали, что дело только в том, в какой момент они изменят свое поведение, а поэтому в Париж мы возвращаться не собирались. У нас совсем не было денег. Доживали то, что Арагон получил при демобилизации. Сняли мы комнату у одной старушки и стали искать работы. Приехали мы именно в Каркассон, оттого что там находился издатель Арагона, с которого Арагон надеялся получить причитавшиеся ему деньги. Но издатель его пред свои ясные очи не допустил и вскоре уехал оформлять свои отношения с немцами в Париж. Нас все боялись. Работы никакой, даже любой, никто нам давать не хотел. Только добрая старушка, у которой мы жили, жалела нас и мечтала купить на свои сбережения бакалейную лавочку с тем, чтобы мы все втроем ее содержали. Но видно не суждено нам было заняться коммерцией. В это время пришел ответ на наше письмо в Нью-Йорк, где переводилась книга Арагона — роман, законченный перед войной. Американский издатель выслал аванс и обещал присылать каждый месяц некоторую сумму, достаточную для существования. Между тем в Каркассон приехал, чтобы с нами познакомиться, редактор-издатель журнала «Поэты в касках» — Пьер Сегерс с женой. Немедленно выяснилось, что Пьер Сегерс нашего поля ягода и что с ним можно поговорить. Наша же точка зрения была такова: использовать все возможности легальной прессы, все остатки свободы и не затыкать самим себе глотку. Виши играло в патриотизм, делало вид, что чит военные заслуги. У Арагона были боевые ордена и слава героя. Не сыграть ли на этом? Против немцев писать нельзя было, но не попробовать ли писать за Францию?

Вскоре вышел первый номер журнала Пьера Сегерса, который теперь назывался «Поэзия 40-го года». Журнал этот начал выходить регулярно раз в месяц. Мы переехали в Ниццу, и Сегерс приезжал каждый месяц со всем материалом, чтобы редактировать журнал вместе с нами. Приходило все больше писем и рукописей. Вокруг журнала Пьера Сегерса быстро складывалась группа единомышленников. То, что в нем печаталось, было на фоне тогдашней прессы большим достижением. Каждый день газеты твердили нам о том, что мы должны быть благодарны немцам за падение Республики, за поражение, за то, что они спасли Францию от

Народного фронта и неминуемой революции. А в журналах «Поэзия 40-го года» и «41-го года» писали о горечи поражения, о потерянном Париже, о французских героях. Виши не решалось запретить воспевание родины, красот Парижа и доблести Жанны д'Арк... Читатель же прекрасно понимал намеки писателя и был ему несказанно благодарен.

Издатель Арагона, тот самый, что отказался от встречи с нами в Каркассоне, увидав необычайный успех стихов Арагона, которые появлялись в журнале «Поэзия», вдруг предложил ему издать сборник Весной 1941 года в Париже вышел первый сборник стихов Арагона «Нож в сердце». Очевидно немцы недооценивали французский патриотизм и значение поэзии — и сборник не был конфискован.

Литература, журнал, подъем патриотического чувства — все это было прекрасно, но, конечно, недостаточно. Где найти наших товарищей, чтобы начать работать по-настоящему? Эвакуация, раздел страны на две половины, опасность... Люди забались во все углы Франции, растеряли друг друга. Не было больше никаких адресов. Не было возможности найти концы. Мы жили в Ницце, переполненной до краев беженцами из оккупированной Франции. Они бродили по берегу синего Средиземного моря, сидели на солнце и ждали погоды. Кафе были переполнены, вертелась рулетка. Людям, оторванным от дома, от работы, нечего было делать

Наконец, в один прекрасный день, кто-то постучался к нам в дверь. Большой такой парень, косая сажень в плечах. «Я к вам от товарищей из Парижа». Арагона не было дома, я этого парня никогда не видела, но сразу ему поверила. Скоро подошел Арагон. Он этого товарища знал в лицо. Нас просили приехать в Париж, чтобы сговориться относительно подпольной работы. Кличка этого гонца от партии была — Андрей. Он должен был перевести нас через демаркационную линию. Мы сговорились с ним о дне и месте встречи. Он должен был сначала вернуться в Париж предупредить товарищей, приготовить нам там подпольную квартиру. Мы условились встретиться с Андреем в городке Лош, в 15 километрах от демаркационной линии. В назначенный день мы отправлялись. Лош — старинный городок — был странно оживлен. По улицам ходили люди, по всей видимости не тамошние, заезжие. В башмаках на толстых подметках, с рюкзаками за плечами, говорили негромко, оглядываясь. Что-то в них было от контрабандистов, и вспомнилась «Кармен».

Андрею можно было довериться, он раз двадцать переходил демаркационную линию туда и обратно. Километров 10 по дороге и через деревни, которые провожали нас глазами. Потом была ночь, и поле, и звезды. Для самого перехода надо было дожидаться рассвета. Было трудно увидеть что-нибудь в этих утренних сумерках... Мы заблудились в виноградниках и, когда Андрей уже нашел дорогу, мы потеряли Арагона, который бродил где-то в поисках. Наш шопот, тихие шаги казались мне оглушительным шумом.

«А что, если мы встретим патруль?»

«Мы не встретим патруль». «А все-таки если?» «Нет, не встретим». И велосипед Андрея весело позванивает: на кочках В этой серой и опасной тишине это звяканье похоже на колокольный звон.

Андрей... Сколько раз, господа, со времени этого июля 1941-го. я вспоминала его чудесную уверенность: «Мы не встретим патруль». Андрей — его настоящее имя Жорж Дюдаш — встретил патруль в 1942-ом. Его расстреляли.

Но вот линия, наконец, перейдена! Отчаянный лай собак провожает нас по деревне, которая уже начинает розоветь. Мы в оккупированной зоне.

Андрей постучал в ставень. Сонный улыбающийся крестьянин открыл нам дверь. Нас уложили спать на огромной кровати, в углу навалена картошка. несколько кур и масса дымят.

Когда мы проснулись, было великолепное утро. Крестьянин и жена его накормили нас до отвала молоком, маслом, белым хлебом. Мы были в восторге от того, что эта проклятая линия уже позади. Позади — а между тем хозяин кажется встревоженным: «Ходят патрули». Он покачал головой, по-крестьянски ничего не объясняя.

Нам надо было попасть на автобус, который проходил недалеко отсюда. Мы шли по шоссе к остановке, когда я вдруг почувствовала чью-то руку на своем плече и, оглянувшись, увидела — немца. Нас повели...

Мы в крошечной каморке, стиснутые, как в метро; нас сторожат собаки, сонный немецкий офицер отшвырнул ногой наши перерывы веди и проорал:

— Уберите ваше дерьмо!

Но унижительно не это, я не могу быть унижена ими. Унижительно то, что мы попались этой сволочи, попались, когда нас ждут на мосту в Париже.

Тюрма наша не имела ничего общего с политической. Общество собралось в ней «смешанное»: черный рынок, несколько дам и месье, у которых имена расположены по обе стороны демаркационной линии, целый публичный дом, переезжающий на западный фронт (непонятно, почему у них не оказалось пропуска, впрочем, это очень скоро устроилось). В этой шумной толпе попадались люди, которые с ней не смешивались и бродили молча и провожали нарочито-равнодушными глазами тюремную карету, увозящую тех, которые не возвращались — они думали, как я: завтра она быть может вернется за нами...

14-го июля заключенные решили потанцевать и попеть под оркестр на гребенках. Но летчики, французские летчики, и их дамы пригрозили, что позовут немцев, чтобы те прекратили эти радости 14-го июля. Еврейский праздник! Арагон побелел до самых губ и налетел на одного из летчиков, а Андрей стоял уже за ним, поигрывая богатырскими плечами. Те испугались и отступили. Что было бы, если б они не испугались? Как поступили бы те, кто бродил в одиночку по двору, считая часы, дни, недели. Сообщничество, осторожное, нащупывающее, немое, мужчин и женщин, которые принуждены были бояться друг друга.

Однажды из второго этажа казармы нам объявили об освобождении ста человек. И толпа на дворе, услышав наши фамилии, внезапно и неожиданно проводила нас аплодисментами.

Так как мы знали, что пойманых при переходе линии отправляют обратно, то-есть туда, откуда они шли, то в комендатуре мы сказали, что шли из Парижа. Нам и дали пропуск обратно в Париж.

В Париже мы встретились с Жоржем Полит-

ээр, с его женой, с Даниэль Казанова. Нас решили использовать на легальной работе в неоккупированной зоне, до последней возможности.

Из Парижа мы вернулись не в Ниццу, а в Авиньон к Сегерсу. Начали собирать материал для журнала «Свободная мысль». Вскоре опять приехал Андрей с новыми заданиями. Тогда гостил у нас Леон Муссиак с женой. Леон Муссиак только что вышел из концлагеря, где просидел полтора года. Со всех сторон начали съезжаться в Авиньон писатели и поэты, как будто их туда магнитом притягивало. Это была уже настоящая литературная конспирация. Тут были люди самых различных толков и направлений. Наши люди, католики, социалисты, монархисты, люди, никогда не интересовавшиеся ничем, кроме себя, писатели и поэты, известные и в первый раз бравшиеся за перо. Их соединяла одна общая страсть — французский патриотизм и ненависть к нацизму. Для выражения этих чувств применялись все способы литературной контрабанды, изощрения, уловки, и казалось, что на каждый намек находилась отклики. Со всех сторон приходили письма и рукописи.

Осенью мы вернулись в Ниццу. Комнату мы там за собой не оставили и очень были удивлены, что хозяйка гостиницы, с которой мы расстались в самых добрых отношениях, вдруг великово дала нам понять, что у нее для нас комнаты нет. Много позже, когда я раз как-то зашла к ней за письмами, она мне вдруг прямо сказала, что когда мы у нее жили, полиция дежурила у нее целыми днями и в конце концов ей предложили следить за нами, а это не ее профессия и поэтому она предпочла нас выжить.

Мы жили теперь в двух крошечных комнатках со сводчатым потолком, на самом берегу синего моря. И сюда тоже к нам постоянно стучались и приходили самые разнообразны люди. В литературную конспирацию теперь уже входили при легальных журнала — «Поэзия», выходящий в Авиньоне, «Фонтен», выходящий в Алжире, и «Конфлюанс», выходящий в Лионе. Редакторы этих журналов приезжали знакомиться, потом время от времени навещали нас, советовались. В «Фонтен» появилась мой рассказ «С глубоким прискорбием». Мне удалось переправить моему издателю в Париж рукопись сборника рассказов под общим названием «С глубоким прискорбием». Книга вышла в Париже в мае 1942 года, одновременно с статьями в парижской газете «Же свои парту», требующей моего ареста. Издатель мой оказался смелым человеком, но жить нам стало неуютно. Неизвестно было, сколько времени можно будет еще так продержаться, и мы жили, все время настороженно присматриваясь и прислушиваясь, чтобы успеть во-время уйти в подполье. Андрей больше не приезжал, а только писал, когда бывал в свободной зоне. Связь с Парижем была почти прервана. Наконец в феврале 1942 года приехал к нам другой гонец, не Андрей. Он привез материалы по расстрелу 25 коммунистов, заложников в концентрационном лагере Шатобривана. На обороте последней страницы, рукой Жоржа Политзер было написано: «Сделай из этого памятник нашим мученикам». И в тот же вечер Арагон написал и составил из предсмертных писем расстрелянных брошюру. Переписал от руки тонким-тонким перышком, не своим почерком. На следующий день один товарищ переписал ее еще раз, а рукопись Арагон отдал одному аргентинскому журналисту с просьбой постараться пере-

править этот текст за границу. Я не знаю, через него или каким-нибудь другим путем, но текст этот до заграницы дошел с необычайной быстротой. И раз как-то, примостившись возле радио, чтобы слушать запрещенную нам передачу из Лондона, мы вдруг услышали знакомые слова. А через некоторое время услышали мы тот же текст из Америки. Передавал Бостон. В то же время со всех сторон стали нам приносить этот текст, переписанный от руки, перепечатанный на машинке.

В марте дошли до нас страшные слухи об аресте Жоржа Политзер, Даниэль Казанова, Миа Политзер, Андрея, Жака Декура и почти непосредственно за этим — известие об их расстреле. Взяли всю парижскую партийную организацию, с которой мы работали, всех наших друзей. Их страшно пытали, но никто из них никого не выдал. Их же всех выдал один из членов организации. Его убрали.

Мы продолжали жить в Ницце, ведя ту же работу и с минуты на минуту ожидая ареста. За этот период я написала роман «На белом коне». И мой издатель, приехавший из Парижа и осмелевший после первого успеха сборника рассказов «С глубоким прискорбием», решил его издать. Роман Арагона, появившийся в Париже, был конфискован почти немедленно, также как и номер журнала «Конфлюанс», издававшийся в Лионе, в котором были напечатаны стихи Арагона. Цензура Виши обратилась к издателям с круговым письмом, довольно грозным, в котором она предупреждала, что не будет больше терпеть этих, как она выразилась, подмигиваний писателей по адресу читателя. В Париже Дренье ла Рошель, редактировавший журнал под руководством немцев, напечатал статью под названием «Арагон», которая была равносильна доносу. Статья эта была перепечатана в свободной зоне в газете Дорно. Очевидно, ареста оставалось ждать недолго.

11 ноября 1942 года, после десанта американских войск в Африке, итальянские и немецкие войска перешли границу у демаркационной линии и заняли всю Францию целиком. В тот же день мы уехали из Ниццы.

У нас уже заранее было приготовлено прибежище в горах. Это была заброшенная ферма. Спали мы на соломе, вокруг бегали крысы, величиной с кошек. Готовить приходилось на огне в камине, рубить деревья, колотить и пилить дрова. Ближайшее жилье было в трех километрах. Выпал снег, занес дороги. Мы продержались на ферме два месяца. Толку от этой жизни не было никакого. Все время уходило на материальные заботы. Не было возможности поддерживать связь с внешним миром, с товарищами. В конце декабря я съездила в Лион, достала там фальшивые паспорта, вернулась на ферму, и 31 декабря мы уехали в Лион, уже в качестве господина и госпожи Андриэ.

С этого времени, с января 1943 года, началась наша подпольная работа. 43-й и 44-й — годы замечательной солидарности, единства, героизма. В Лионе находилась партийная тройка, руководившая движением сопротивления южной зоны. Арагону было поручено организовать движение среди интеллигенции. Он придумал систему так называемых Звезд. Звезда состояла из пяти человек, каждый из пяти вербовал еще пятерых верных людей, из которых каждый — еще пять и т. д. Для связи между

Звездами мы пользовались курьерами, которые ездили из города в город, и звездная сеть раскинулась по всей южной зоне. Начала выходить подпольная газета «Звезды», сначала печатавшаяся на машинке, а вскоре и в типографии, как настоящая газета. Редактировал и писал газету почти всю целиком Арагон.

Мы прожили в Лионе шесть месяцев, скрываясь в большом загородном доме владельца и редактора журнала «Конфлюанс». Книжки Арагона выходили теперь в Швейцарии, но под его фамилией. Это не имело значения, поскольку мы жили уже по фальшивому паспорту. Арагон выходил из дома возможно реже, только на необходимые для работы свидания. В Лионе бывали постоянные облавы. Паспорта у нас были неважные, могли показаться подозрительными. Да и вообще когда кто-нибудь попадал в облаву, то редко выходил из этого дела невредимым. Партия беспокоилась за нас. Нам нашли верное место в деревне, снабдили нас фальшивыми бумагами, вполне похожими на настоящие, и велели уезжать.

Домик в деревне был очень простой, но проведена вода, электричество и было там очень тепло. Познакомившись с соседями, мы сказали им, что мы парижане, но что боимся бомбежек, да и сытней в деревне. Нам вполне поверили. Адрес наш был известен только тому товарищу, которому партия поручила нас устроить, но и он не знал, кто мы такие. Хозяйка тоже не знала, кто мы. Ей просто сказали, что мы нелегальные. Нашей связью с внешним миром был Жорж Садуль, наш неутомимый курьер, разъезжавший по южной зоне для создания Звезд и связи между организациями в различных городах. Из деревни, которая находилась в трех часах от Лиона, мы ездили в соседний городок Аланж, Лион и Париж. С тех пор, как была оккупирована вся Франция целиком, демаркационной линии больше не было и специальных разрешений для поездок в Париж не требовалось.

В 1943 году были созданы подпольные национальные комитеты интеллигенции — писателей, журналистов, учителей, ученых, врачей и т. д. Писатели не только писали, но занимались также подпольными типографиями и распространением подпольной литературы; Национальный комитет врачей организовал врачебную помощь партизанам; магистратура занималась помощью заключенным и т. д. Газета «Звезды» была общим органом всех национальных комитетов. Кроме того у каждого комитета была еще и своя газета. Подпольные брошюры издавались под маркой «Французская библиотека». Одновременно в Париже выходила подпольная газета, которая называлась «Французская литература», созданная расстрелянным позже Жаком Декуром и Жаном Поляном, и родилось подпольное издательство «Полночь». Для распространения подпольной литературы мы пользовались курьерами. Они ездили из города в город с чемоданами, наполненными литературой. В поезде они обычно оставляли чемодан в коридоре или в сетке, а сами уходили в другой вагон. В случае облавы в поезде чемодан оказывался без владельца. Иногда посылали литературу багажом, и на чью-нибудь долю выпадала неприятная обязанность идти на вокзал с квитанцией, получать багаж. Раз как-то мы в деревне получили письмо от Жоржа Садуля, в котором он между прочим писал, что у него неприятность: ему на вокзале

выдали не его чемодан. Обменяли. И дали ему чемодан с целым приданым для новорожденного: рубашечки, пеленки, чепчики, нагрудники. Мы решили, что это он хочет сообщить нам о чем-то иносказательно, и сердились, что у него от конспиративности уж ум за разум зашел. Невозможно понять, что значат эти пеленки! Потом оказалось, что дело было действительно так, как он нам писал. Вместо чемодана с книгами издания «Полночь», Жоржу выдали пеленки и нагрудники. Он погоревал, подумал и пошел все-таки менять чемодан, несмотря на риск, что его чемодан попал к кому-то другому, кто мог его открыть и найти нелегальную литературу. На вокзале чемодан его нашелся. Но его никто не отпирал, потому что владелец нагрудников и пеленок был комиссар полиции, а по законам чужой чемодан открывать не полагается. Поскольку же он был полицейским комиссаром, то он был законником и чемодан не открыл.

У нас вошло в привычку возить нужные нам бумаги с собой. Делать это нам не разрешалось. Но при подпольной безадресной жизни ждать курьеров было долго и хлопотливо, и потому всё необходимое нам для работы мы возили с собой. И вот поехали мы раз в Париж для связи. Поезд переполнен. Набитое купе. Вдруг, среди чиста пола, поезд замедляет ход и останавливается. В вагон с двух сторон входят немцы с автоматами. Обыск! А у нас полный чемодан литературы, и недавно, при таких же обстоятельствах, немцы расстреляли товарища и выбросили труп на насыпь, и пассажиры поехали дальше с лужей крови в купе, на полу. Мы с Арагоном взяли за руки, в ожидании неизбежной смерти. Немец вошел в купе: «Взрывчатые вещества? Оружие? Литература? Это ваш чемодан? Откройте!» Я поставила чемодан на колени и стала медленно открывать молнию. Чемодан был битком набит литературой, не прикрытой даже носовым платком. И в эту секунду вдруг позвали из коридора. «Сейчас вернусь», — сказал он, и... не вернулся. Поезд тронулся. Немцы с автоматами соскочили на ходу.

Вообще чувство опасности притупляется. Ездил я, например, с репортажем на юг, к партизанам. Меня возили от одной группы партизан к другой, из деревни в деревню, на машине. А машина эта была украдена у гестапо, и партизаны не только не потрудились перекрестить ее, но даже номер оставили тот же с буквами Дубль Ве Аш, какие бывали только на немецких машинах. А в ногах у нас стояло нечто вроде барабана с разобранным автоматом. В таких барабанах партизанам сбрасывали оружие с парашотом. У руля сидел начальник партизан всего района, в обыкновенной жизни он был учителем латыни. Замечательный был человек. Его убили в бою перед самым освобождением.

Немцы были 'езде': на улицах, на дорогах, в гостиницах, в кафе, трамваях, поездах. В Лионе Арагону как-то спешно нужно было попасть на другой конец города, на первое заседание национального комитета врачей. Арагон был связующим звеном всех комитетов, без него нельзя было обойтись, а трамвай не идет да и только! В страшном нетерпении Арагон поднял руку, чтобы остановить проезжающую машину и попросить, чтобы его подвезли. В машину оказалась немцы! Арагон опешил, но не пал духом и сказал: «Я врач, меня ждут в больнице для опе-

рации. Пожалуйста, подвезите меня». «Садитесь», — сказали немцы и довезли до больницы. Медицинский факультет, где происходило подпольное заседание национального комитета врачей, находился против больницы.

А мне случилось ехать в немецком почтовом вагоне. На переполненный поезд сесть было невозможно, мне же невозможно было не ехать. Меня ждали. А пропустить свидание, это значило — потерять связь. На площадке глухого почтового вагона стоял пожилой немецкий солдат. Я его попросила пустить меня. Он посмотрел, как люди лезут в поезд уже через окна, потом на меня и сказал: «Влезайте скорее». А в карманах и в сумке у меня все запрещенное. Так я и доехала. Все-таки доехала, что и требовалось доказать.

Между вылазками из деревни бывало пустое время — и мы очень много писали. Там я написала рассказы, которые вошли в сборник, получивший впоследствии Гонкуровскую премию. Написанное зарывали в землю, и рукописи наши до сих пор пахнут плесенью. С течением времени мы связались с местными партизанами. Партизаны привезли нам ручную типографию, и стали мы печатать листовки уже в самой деревне. Вести работу на месте, там, где живешь, не рекомендовалось, но мы не удержались. Часто слушали мы радио из Алжира и Лондона. А по радио передавались для партизан условные фразы. Иной раз передавались подряд как будто ничего не значащие фразы, например: «Не душитесь этими духами. Я люблю красное вино. Рона протекает через Лион». Они обозначали: Примите оружие на таком-то аэродроме. Или — Будьте там-то для свидания. Ждите такое-то количество парашютистов. Встречались строчки из стихов Арагона. Например: «Нормандская вилла на опушке леса». Да еще повторяют: «Две нормандские виллы на опушке леса; три нормандские виллы на опушке леса». Это могло значить «Будет два самолета; будет три самолета». Как-то нас попросили проследить, не будет ли фразы: «Разорванное сукно стоит 200 франков». Обычно фразу эту можно прочесть на стене в библикардной. Для нас же она обозначала открытие второго фронта. Она значила: Переходите к действию!

И вот 5 июня вечером, среди галиматус условных фраз, ясно прозвучала эта вполне разумная фраза: «Разорванное сукно стоит 200 франков». Сложив голову я бросилась предупреждать кого следует. И в тот же вечер на деревенских улицах появились вооруженные люди с трехцветными повязками на рукаве и французская офицерская форма. Где-то взрывались мосты, где-то убивали часовых. На следующий же день на нашем перевязочном пункте уже были раненые.

Не буду вам рассказывать, как приезжала к нам в деревню карательная экспедиция, как падали из пулеметов с самолетов, как нам удалось убежать под пулями, как немцы грабили деревню, насиловали женщин, хватали заложников. Когда мы вернулись в наш домик, дверь была выбита, внутри царил хаос и замечательно пахло цветами. Пьяные солдаты сметали их в садах и на полу валялись растоптанные розы.

Еще несколько слов о том, как стали поезда и автобусы, как, отрезанные от других районов, мы вдвоем с Арагоном издавали подпольную газету в типографии в соседнем городке. А ез-

дили мы туда на грузовиках, которые развозили плетушки с персиками и абрикосами. На дорогах были немецкие заставы. Они спрашивали бумаги и всегда просили персики. Как-то раз шофер им даже отказал, кивнув головой на нас и шепнув: «Сегодня нельзя, там хозяева сидят». Немцам это показалось убедительным.

Взрывались мосты, поезда с немцами, электрические станции. То тут, то там происходили стычки и бои. С утра до вечера в воздухе стояла стрельба. Наконец партизаны освободили соседний городок, где мы печатали газету. Странно было видеть пленных немцев, еще накануне беспощадно расстреливавших партизан. Они шли под стражей партизан, и толпа им вслед не бросала камней, не плевала в них, а пела Марсельезу. Мы заправили машину — партизаны дали нам бензин — и поехали по деревьям раздавать нашу газету. Это было необычайное путешествие! Мы привозили вести об освобождении! Ведь уже давно не было никаких газет и до глухих деревень не доходило никаких вестей. Кругом еще стреляли. Приходилось ездить с оглядкой, чтобы не напороться на немцев, которые разбрелись по всем дорогам. Но, пока мы ездили, немцы опять заняли городок, где мы печатали нашу газету. Мы этого, конечно, не знали и неминуемо погибли бы, если бы не случилось так, что у нас не оказалось бензина на обратный путь. А пока что подошли американцы и добились немцев окончательно... И так повсюду, от Средиземного моря до Лиона, партизаны расчищали дорогу американцам. Повсюду немцы бежали сломя голову на чем придется: на велосипедах, грузовиках, ослах, лошадях.

Повисли французские трехцветные знамена, и Париж заговорил по-французски! Лион был

освобожден. Не дожидаясь когда пойдут поезда, мы сели на машину и поехали в Лион.

И тут случилось нечто совсем неожиданное. На следующий же день после нашего приезда в освобожденный Лион в газетах были наши фотографии. В префектуре новый префект устроил прием в нашу честь. На митинге комсомола Арагону устроили овацию. Долго и много передавали о нас по радио. Потом заставили нас говорить. Никогда я не видела вокруг себя столько тепла и ласки, как в эти лионские счастливые дни освобождения. И я вспомнила аплодисменты в тюремном дворе в Туре.

Что ж, может быть много есть вокруг нас людей, которые только кажутся враждебными и равнодушными, а на самом деле молчат только до поры до времени и вдруг окажутся нашими верными, смелыми друзьями.

Мы вернулись в освобожденный Париж. Ехали на машине вдвоем — профессор Ланжевен, Арагон и я, нетерпеливые, взволнованные, счастливые. Приехали в ликующий Париж...

С тех пор прошел ровно год. Подпольные газеты «Французская литература», «Звезды» сейчас большие парижские газеты. Главный редактор «Звезд» — наш неутомимый курьер Жорж Садуль. Подпольные издательства «Полночь» и «Французская библиотека» сейчас большие парижские издательства. Директор «Французской библиотеки» — Арагон. Национальные комитеты интеллигенции продолжают существовать и ведут свою работу.

Из прекрасного невредимого Парижа прилетели мы в нетронутую столицу Москву. А между Парижем и Москвой видели мы Берлин — груду мусора, пыли и больше ничего. На этом символе я закончу мой рассказ.

# ЛЕНИН И СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА

(По материалам нового, XXXV Ленинского сборника)

И. СМЕРНОВ

★

Дореволюционная Россия отличалась вопиющим разрывом между завоеваниями культуры и уровнем культурной жизни народа. Мировые достижения науки, прекрасные произведения художественной литературы, чудесные творения искусства были недоступны большей части народа ввиду его неграмотности. Всеми благами культуры пользовалось привилегированное меньшинство. Трудящиеся массы были лишены просвещения и развития.

Октябрьская революция уничтожила этот веками сложившийся разрыв между народом и культурой и сняла основные препятствия, преграждавшие трудящимся путь к просвещению, к знаниям, к богатствам культуры. Советский строй открыл неисчерпаемые возможности для использования многовековых завоеваний культуры на благо народа, для достижения свободной, счастливой жизни человека.

«Раньше, — говорил Ленин на III Всероссийском съезде Советов через три месяца после Октябрьского переворота, — весь человеческий ум, весь его гений творил только для того, чтобы дать одним все блага техники и культуры, а других лишить самого необходимого — просвещения и развития. Теперь же все чудеса техники, все завоевания культуры станут общенародным достоянием, и отныне никогда человеческий ум и гений не будут обращены в средства насилия, средства эксплуатации»<sup>1</sup>.

Октябрьская социалистическая революция сняла ненавистные оковы угнетения с многонационального народа России и развязала его инициативу и самостоятельность. «Поднять наивысшие низы к историческому творчеству» — в этом видел одну из основных задач советского строя В. И. Ленин<sup>2</sup>. Советская власть призвала «самые массы к творчеству лучших форм жизни». Ленин выдвинул программу: «предоставить полную свободу творчества народным массам», «создать широчайший простор для выявления всех творческих сил страны», привлечь к практической работе «все, что проснулось в народе и способно к творчеству»<sup>3</sup>. Революция выпрямила спину народа, вдохнула в него уверенность в возможности достижения лучшей жизни, разбудила его таланты и открыла полный простор для их развития.

Октябрьская революция, установив советский строй, создала условия для возрождения и дальнейшего развития на социалистической основе лучших традиций русской культуры и культуры народов России: реализма, народности и гуманизма; революция создала условия для преодоления декадентства и символизма в области литературы, формалистических увлечений в области искусства, идеализма в области науки.

Советская революция, породив новое общество, установив диктатуру пролетариата, создала основное условие для формирования в государственном масштабе новой культуры — культуры социалистической, советской.

Перед Советским государством в области культурного строительства встала задача: овладеть культурным наследством прошлого, превратить все прогрессивные завоевания культуры, все прогрессивные материальные и духовные культурные ценности в общенародное достояние.

Ленин рассматривал процесс строительства пролетарской, социалистической культуры, как творческое усвоение и переработку культуры, созданной всем развитием человечества. Ленин разъяснял, что советская, социалистическая культура есть не выдумка специалистов «особой пролетарской культуры», выскользнувшей неизвестно откуда, а закономерное развитие классического культурного наследства, получаемого пролетариатом от предшествовавших поколений. Социалистическая культура не только находится на центральной магистрали мировой цивилизации, но и сама прокладывает ее дальнейший путь. Теоретической основой советской культуры является марксизм, который завоевал себе признание тем, что «усвоил и переработал все, что было ценного в более чем двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры»<sup>4</sup>. Советская культура может получить свое действительное развитие путем дальнейшего усвоения и переработки культурного наследства прошлых веков. Эту мысль Ленин действительно подчеркивал в своем проекте резолюции «О пролетарской культуре».

Этот громадной важности по своему историческому значению процесс развития советской, пролетарской культуры находит конкретное выражение в овладении широчайшими массами трудящихся знаниями и культурой, в подготовке новой, народной интеллигенции и в создании новых материальных и духовных культурных

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Соч., т. XXII, стр. 225.

<sup>2</sup> Ленинский сборник XI, стр. 10.

<sup>3</sup> В. И. Ленин. Соч., т. XXII, стр. 47—48, 23, 99.

<sup>4</sup> В. И. Ленин. Соч., т. XXV, стр. 409—410.

ценностей под руководством коммунистической партии и Советского государства.

Однако нашлись люди, которые, вопреки ясным установкам Ленина о путях и методах развития социалистической культуры, объявили себя специалистами по пролетарской культуре, призванными создать свою «особую пролетарскую культуру», не связанную с культурным наследием предшествовавших поколений. Известно, что эти люди, обосновавшиеся в 1917—1922 годах в так называемых Пролеткультах, распространяли антимарксистские воззрения, отрицали достижения прошлой культуры, объявляли свои организации автономными от государства.

Неправильная, вредная политика Пролеткульта превозносила Ленина. И в августе 1920 года, накануне первого Всероссийского съезда Пролеткульта, он обращается в Наркомпрос к М. Н. Покровскому (бывшему в то время заместителем наркома) со следующим запросом:

*«т. Покровскому*

1) Каково юридическое положение Пролеткульта?

2) Каков и 3) кем назначен его руководящий центр?

4) Сколько даете ему финансов от НКПроса?

5) Еще что есть важного о положении, роли и итогах работы Пролеткульта.  
Ленин<sup>1</sup>».

24 августа Покровский ответил Ленину следующей запиской:

*«Председателю Совнаркома тов. В. И. Ленину.*

На запрос Ваш относительно Пролеткульта сообщая, что он является автономной организацией, работающей под контролем Наркомпроса и субсидируемой последним. Остальные, интересующие Вас сведения изложены в прилагаемой при сем докладной записке». Ленин трижды подчеркивает в записке Покровского слова «под контролем» Наркомпроса и пишет на полях «Как его сделать реальным?»<sup>2</sup>.

Точку зрения партии о путях и методах развития советской культуры Владимир Ильич изложил в проекте резолюции «О пролетарской культуре», где осудил сепаратистские, антигосударственные тенденции Пролеткульта. Хорошо известному, опубликованному в Собрании сочинений проекту резолюции (т. XXV, стр. 409—410) предшествовал предварительный набросок. Уже в нем, в восьми строках, Лениным были сформулированы основные культурные задачи Советского государства по развитию пролетарской культуры:

«1. Не особые идеи, а марксизм.

2. Не выдумка новой пролеткультуры, а развитие лучших образцов, традиций, результатов существующей культуры с точки зрения мирозерцания марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры.

3. Не особо от НКПроса, а как часть его, ибо РКП + НКПрос =  $\Sigma$  пролеткульта.

4. Тесная связь и соподчинение Пролеткульта НКПросу»<sup>3</sup>.

Теперь, обозревая весь двадцатилетний опыт строительства советской культуры без Ленина,

особо наглядно видно, какими жалкими были попытки выдумывать «особую пролетарскую культуру» и отрицать культурные достижения прошлых веков! Какими опасными последствиями было чреватое стремление пролеткультовцев обособиться от пролетарского государства!

★

Сила и прочность Советского государства находится в прямой зависимости от сознательности народа и понимания им стоящих внешнеполитических и внутренних задач. «По нашему представлению государство сильно сознательностью масс, — говорил Ленин на II съезде Советов. — Оно сильно тогда, когда массы все знают, обо всем могут судить и идут на все сознательно»<sup>4</sup>.

Широчайшие массы народа, разбуженные Октябрьской революцией, были привлечены советской властью к строительству новой жизни. Активное участие рабочих и крестьян в политической жизни страны, в руководстве государством с естественной необходимостью ставило задачу политического просвещения масс. Огромным препятствием на пути социалистического строительства и развития культуры являлось тяжелое наследие прошлого — массовая неграмотность трудящихся. «Пока у нас есть в стране такое явление, как безграмотность, — говорил Ленин, — о политическом просвещении слишком трудно говорить. Это не есть политическая задача, это есть условие, без которого о политике говорить нельзя. Безграмотный человек стоит вне политики»<sup>5</sup>. И Ленин настойчиво боролся за ликвидацию неграмотности среди населения, как за необходимую предпосылку овладения широчайшими массами народа богатствами культуры, ибо «нигде народные массы не заинтересованы так настоящей культурой, как у нас»<sup>6</sup>.

Ленин лично занимался организацией ликвидации неграмотности, рассматривая ее как задачу первоочередного значения. Даже в условиях войны, когда все силы и средства страны были мобилизованы для фронта, Ленин выделял задачу борьбы с неграмотностью, как одну из самых важных общегосударственных задач и как самую главную в деятельности Наркомпроса. Направляя в Малый Совнарком просьбу руководителя Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации неграмотности о помощи кадрами, Ленин писал:

*«В Малый Совет: прошу рассмотреть просьбу (§ 6 в Оргбюро часть). Надо удовлетворить в известной части, ибо борьба с неграмотностью — задача важнее других»<sup>7</sup>.*

Массово-разъяснительная работа среди населения должна сопутствовать делу просвещения народа. Живое слово партийного пропагандиста и агитатора приобрело в условиях советского строя громадное организующее и просветительное значение. И с первых же дней революции Ленин заботится о посылке большевистских агитаторов в гущу народа для разъяснения трудящимся значения совершившегося переворота и помощи в установлении на местах нового, революционного порядка.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Соч., т. XXII, стр. 18—19.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Соч., т. XXVII, стр. 51.

<sup>3</sup> Там же, стр. 388.

<sup>4</sup> Ленинский сборник XXXV, стр. 142.

<sup>1</sup> Ленинский сборник XXXV, стр. 147.

<sup>2</sup> Там же, стр. 148.

<sup>3</sup> Там же.

Ленин внимательно прислушивался к мнению беспартийных вообще, крестьян в особенности. В декабре 1920 года он присутствовал на совещании беспартийных крестьянских делегатов VIII Всероссийского съезда Советов. Записав тщательно все основные мысли и предложения выступавших, Ленин разослал свою записку членам Центрального Комитета партии и наркомам для ознакомления. На этом совещании речь в основном шла о неотложных мерах в деле укрепления и развития сельского хозяйства и помощи крестьянскому хозяйству. С этой точки зрения весьма характерно было высказывание представителя Пензенской губернии. «Пропаганда нужна», — записывает Ленин<sup>1</sup>.

Именно в этих агитационно-пропагандистских целях Ленин предлагал в свое время направить тов. М. И. Калинина в агитрейс по хлебным губерниям Украины, от которых голодающие районы Поволжья ждали братской помощи<sup>2</sup>.

Личное участие Ленина в деле руководства политико-просветительной работой в стране заключается в большом и малом. Он подписывает важнейшие государственные декреты, перестраивающие дело народного образования и культурного строительства в стране, и дает конкретные указания по частным вопросам. Он с особым удовлетворением приветствует открытие клуба рабочих и служащих государственной электростанции «Электропередача» и выражает надежду, что они сумеют «превратить этот клуб в одну из важнейших позиций для просвещения рабочих»<sup>3</sup>. Ленин поручает Управлению делами Совнаркома разослать в рабочие клубы Москвы, как подарок от его имени, географические карты, присланные ему в большем количестве экземпляров, чем это требовалось. Но прежде чем расылать их, Ленин потребовал дополнить карты, обозначить границы Советской Республики<sup>4</sup>.

Атеистическая пропаганда и распространение научного мировоззрения входит составной частью в деятельность культурно-просветительных организаций и учреждений Советской России с первых дней установления народной власти. Еще в январе 1918 года Совнарком утвердил разработанный по указанию Ленина декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Впервые в истории демократических государств мира в Советской России наиболее последовательно-демократически была проведена эта реформа и установлена подлинная полная свобода совести.

Ленинский декрет предоставлял каждому гражданину право не только исповедовать какую он желает религию, но и не исповедовать никакой религии, быть атеистом. Этот декрет не только не ущемлял прав верующих в отправлении религиозных культов, но, наоборот, создавал все условия для осуществления свободы совести. В Советской России утверждалась светская школа, религиозные общины превращались в общины граждан-единомышленников, объединившихся только для отправления религиозного культа.

Декрет Советского правительства об отделении церкви от государства и школы от церкви

был осуществлен при поддержке народа. Декрет запрещал верующим использовать религиозные общины в целях, выходящих за рамки отправления религиозных культов. В то же время декрет накладывал большие обязательства на местные органы власти.

Советское правительство и Ленин как его глава ревностно следили за тем, чтобы местные органы власти не ущемляли прав верующих неправильными толкованиями закона. Многие документы свидетельствуют о том, что Ленин внимательнейшим образом относился к письмам и заявлениям верующих и духовенства, с которыми они обращались в Совет Народных Комиссаров.

4 декабря 1917 года к товарищу Сталину как народному комиссару по делам национальностей обратился краевой мусульманский съезд Петроградского национального округа, выражая желание всех мусульман России получить в распоряжение самих мусульман «Коран Османа», который хранился в Петрограде в Государственной публичной библиотеке. Товарищ Сталин распорядился о немедленной передаче корана. Резолюция товарища Сталина «Выдать немедленно» была скреплена подписью Председателя Совнаркома В. И. Ленина<sup>1</sup>. 9 декабря 1917 года Ленин утвердил официальное решение Совнаркома о передаче корана, и он был выдан представителям мусульман и направлен ими в распоряжение мусульман Средней Азии.

Граждане Ягановской волости, Череповецкой губернии обратились в апреле 1919 года с письмом к В. И. Ленину. Они просили разрешить им произвести окончание постройки храма и писали, что старый храм пришел в ветхость, грозит разрушением, а недостроенный храм представляет ущерб приходу, разрушаясь от весенних дождей. На этом письме Ленин наложил резолюцию: «Окончание постройки храма, конечно, разрешается; прошу зайти к Наркому юстиции т. Курскому, с которым я только что созвонился, для инструкции»<sup>2</sup>. Чтобы составить правильное представление о данном решении Ленина, нужно иметь в виду, что все это происходило в обстановке гражданской войны и разрухи, в апреле 1919 года, когда наступление Колчака представляло угрозу для самого существования Советской Республики.

Забота об уважении чувства верующих сквозит в каждой строке письма Ленина секретарию ЦК РКП(б) тов. В. М. Молотову по поводу одного первомайского циркуляра. «Там сказано: *разоблачать ложь религии или нечто подобное*», — писал Ленин.

«Это нельзя. Это нетактично. Именно по случаю пасхи надо рекомендовать *иное* не разоблачать ложь, а *избегать безусловно всякого оскорбления религии*».

Надо издать дополнительно письмо или циркуляр»<sup>3</sup>.

Указание Ленина было принято к руководству и в циркулярном письме ЦК РКП(б), опубликованном в «Правде» 21 апреля 1921 года, предлагалось при праздновании 1 мая «ни в коем случае не допускать каких-либо выступлений, оскорбляющих религиозные чувства массы населения».

<sup>1</sup> Ленинский сборник XXXV, стр. 191.

<sup>2</sup> Там же, стр. 319.

<sup>3</sup> Там же, стр. 358.

<sup>4</sup> Там же, стр. 189.

<sup>1</sup> Ленинский сборник XXXV, стр. 10.

<sup>2</sup> Там же, стр. 61.

<sup>3</sup> Там же, стр. 233.

Все эти документы свидетельствуют о том, что Советское государство с первых своих шагов обеспечивало подлинную свободу совести граждан.

★

Создание новой печати явилось одним из первых шагов Советской власти в области культурного строительства. Печать, по характеристике товарища Сталина, «самое острое и самое сильное орудие нашей партии»<sup>1</sup>. Газета в условиях советского строя, говорил товарищ Сталин, выступает как «коллективный организатор в руках партии и Советской власти, как средство завязать связи с прудящимися массами нашей страны и сплотить их вокруг партии и Советской власти»<sup>2</sup>. Именно поэтому Ленин и Сталин уделяли постоянно большое внимание работе наших газет и издательств, обращая внимание прежде всего на качество их работы.

Ленин требовал, чтобы советские газеты выдвигали интересы своего государства, и строго взыскивал с нарушителей этого принципа. Познакомившись в газете «Известия» от 2 февраля 1922 г. с телеграммой, в которой было изложено содержание брошюры Парвуса «Дорога к хозяйственному спасению», Ленин был возмущен поведением редакции. Как можно было на пятом году существования Советской республики распространять через советскую печать взгляды негодяя Парвуса, который в этой брошюре защищал захватнические планы немецкого империализма, планы колониального порабощения России! 4 февраля Ленин пишет записку Молотову для членов Политбюро.

«Предлагаю назначить следствие по поводу того, кто поместил на днях в газетах телеграмму с изложением писаний Парвуса.

По выяснении виновного предлагаю заведующему этим отделом Роста объявить строгий выговор, непосредственно виновного журналиста прогнать со службы, ибо только круглый дурак или белогвардеец мог превратить наши газеты в орудие рекламы для такого негодяя, как Парвус»<sup>3</sup>.

Ленин внимательно следил за оперативностью наших газет, их умением своевременно и интересно освещать вопросы внутренней и международной жизни. В период подготовки к Генуэзской конференции, в феврале 1922 г., Владимир Ильич имел случай просмотреть пресловутый журнал «Смена Вех». Сравнение его статей на темы, связанные с Генуэзской конференцией, со статьями наших центральных газет было не в пользу последних. И Ленин пишет в записке Молотову: «Побить редакторов «Правды» и «Известий». Приказать им перепечатать 2 статьи из № 13 «Смены Вех» и дать ряд таких же или лучше на все темы, связанные с конференцией»<sup>4</sup>.

Иностранная литература систематически просматривалась Лениным, деятельность Госиздата по выпуску переводной литературы была под его особым наблюдением. Он следил за выбором книг для перевода, сам давал конкретные указания об издании переводной литературы. Озна-

комившись по письму А. М. Горького с намерением Госиздата заказать в Швейцарии некоторые книги, Ленин дал свои замечания. О книге Клейна «Чудеса земного шара», предполагаемой к выпуску тиражом в 20 тысяч экземпляров, Владимир Ильич заметил: «Клейн — хорошая книга, надо больше». О намерении издать биографию музыкантов и художников и разрезной букварь, за которые нужно было расплачиваться валютой, было замечено: «Никому не нужное и несвоевременное предприятие»<sup>1</sup>.

29 июня 1922 года в письме в Секретариат ЦК РКП(б) Ленин дал целую программу деятельности Госиздата по изданиям переводной литературы.

«1) Заставьте Государственное издательство быстро издать (с сокращениями) книгу Keynes. «Economic consequences of the peace»; (Кейнс. «Экономические последствия мира». — Ред.).

2) засадить ряд приват-доцентов за перевод и компиляции лучших... и др. новых экономических сочинений;

3) привлечь Аксельродиху (Любовь Аксельрод) к редакции философского отдела;

4) издать ряд переводов материалов (17 и 18 века) и ряд компиляций из их сочинений»<sup>2</sup>.

Советская пресса, отражая на своих страницах замечательный исторический опыт социалистического строительства, приводит массу материала о всех отраслях деятельности государства и народа. Систематизация этих материалов представляет большой практический и научный интерес. Это раньше друтих подметил Ленин. В январе 1921 года он поручил управляющему делами Совнаркома разузнать, не делается ли где-либо в центральных учреждениях вырезок из газет и систематизации их для справок<sup>3</sup>. Узнав, что такая работа не делается, Ленин поручил Госиздату организовать в Книжной палате в виде опыта вырезки из важнейших центральных и областных газет по экономическим и производственным вопросам<sup>4</sup>. Это поручение Ленина положило начало большому культурному мероприятию — централизованному обслуживанию газетными вырезками всех учреждений страны.

Советская печать, являясь важнейшей отраслью культуры, сама должна быть образцом культуры. Поэтому Ленин не упускал случая, чтобы обратить внимание работников печати на их недостатки. Лениным было замечено, что некоторые правительственные декреты публикуются в газетах без указания даты их утверждения. Это некультурно. И Ленин поручает Управлению делами Совнаркома исправить этот недостаток<sup>5</sup>. Неряшливое издание сборника советских декретов вызывает строгую критику Ленина<sup>6</sup>.

Известно, что Ленин был очень недоволен стенографическими записями своих речей. Повидимому, уровень стенографии 20-х годов не соответствовал его ораторским особенностям. Недовольность стенографией своего времени у Ленина была такова, что он прямо заявлял, что ни одна из записей его выступлений не от-

<sup>1</sup> И. Сталин. Организационный отчет ЦК партии. Изд. 2-е, 1923 г., стр. 32.

<sup>2</sup> И. Сталин. Печать как коллективный организатор. См. «Правду» № 99 от 6 мая 1923 г.

<sup>3</sup> Ленинский сборник XXXV, стр. 320.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>1</sup> Ленинский сборник XXXV, стр. 160.

<sup>2</sup> Там же, стр. 134—135.

<sup>3</sup> Там же, стр. 209.

<sup>4</sup> Там же, стр. 239.

<sup>5</sup> Там же, стр. 24.

<sup>6</sup> Там же, стр. 142.

ражает полностью речи или доклада. И Ленин предупреждал товарища, составлявшего тематический сборник его работ: «*н и к о г д а* не цитировать моих речей (текст их всегда плохо, всегда неточно передан); только мои *п р о и з в е д е н и я*». Ленин неоднократно беседовал с секретарями о том, какой должна быть обработка записи речи. Однажды в записке к секретарю он писал:

«Составитель речи не должен оставлять бесмыслиц и пропусков явно несообразных. Составитель речи должен уметь 2—3 словами *п о л н и т ь* их, чтобы *с в я з ь* всегда была. Не стесняться иногда переходить с первого лица на третье («оратор, коснувшись того-то или повторив то-то, сказал далее:» (опять первое лицо)). Опытные и умелые составители речей всегда пользуются стенографическими записями, как материалом, чтобы *н е с т е с н я я с ь* приводить одно в первом лице, другое в третьем, не гонясь за смешной претензией (все в первом лице, все полностью), которая и смешна и вредна»<sup>2</sup>.

Материалы сборника показывают, как Владимир Ильич повседневно следил за оперативностью нашей печати, за тем, чтобы она лучше и многостороннее отображала советскую действительность, чтобы она более настойчиво боролась за разрешение основных хозяйственно-политических задач страны. Он поручает «Правде» напечатать обстоятельный разбор эсеровской резолюции, которая своей направленностью против военно-экономического союза Украины с Советской Россией играет на руку Колчаку и Деникину; он дает указания о публикации в центральных и местных газетах статьи профессора Михельсона о грядущей засухе, он особенно настойчиво добывается использования в газетах статистических данных, систематического и разностороннего освещения вопросов о развитии местной хозяйственной инициативы, о привлечении беспартийных к делу хозяйственного строительства, о борьбе с бюрократизмом.

Забота Ленина и Сталина о советской печати, повседневно и конкретное руководство ею и помощь обеспечили нашей периодической прессе и книжным издательствам размах деятельности, невиданный еще в истории нашей страны.

★

Разнообразен круг вопросов из области искусства, которыми занимался В. И. Ленин как глава правительства. Установление памятников деятелям революции и культуры, национализация театральных предприятий, произведений искусства, охрана памятников культуры и старины, тематика кинохроники, улучшение материального положения деятелей искусства, подготовка кадров работников искусств — вот далеко не полный перечень вопросов, занимавших Ленина, о чем красноречиво говорят документы XXXV Ленинского сборника.

Деятельность советских работников искусств, их творчество может развиваться плодотворно, когда они проникнутся высокими идеями коммунизма, усвоят коммунистическое мировоззрение. Советские высшие учебные заведения должны давать подрастающим кадрам интеллигенции основу научных марксистских знаний.

Знакомясь с проектом постановления правительства о высшем художественном образовании в ноябре 1920 года, Ленин обратил внимание на отсутствие в учебных программах основ коммунистического учения. В связи с этим Ленин заметил, что «должны быть внесены в курс» «(1) Политграмота (2) и коммунистическая пропаганда»<sup>1</sup>, то-есть как раз те предметы, без понимания которых работники культуры не могут принимать сознательного и активного участия в социалистическом строительстве.

При вторичном просмотре проекта постановления Совнаркома, в котором указывалось, что «на подготовительном курсе обязательно преподавание политической грамоты и основ коммунистического мировоззрения», Ленин заметил, что эти предметы должны быть изучаемы не только на подготовительном, а на «всех курсах»<sup>2</sup>.

Известно, что Владимир Ильич уделял большое внимание кино, как важнейшему из всех искусств. На первых шагах советского киноискусства Ленин придавал особое значение кинохронике. Он считал, что с нее нужно начинать производство советских фильмов. Отображая новую, социалистическую действительность в публицистических хроникальных картинах, работники кино способствовали распространению творчества масс и сами проникались благородным стремлением народных масс построить социализм. Указанный Лениным путь обеспечивал нам создание картин, проникнутых коммунистическими идеями, возможность выращивания советских мастеров киноискусства, способных перейти от публицистических фильмов к созданию художественных произведений больших обобщений. Ленин неоднократно давал конкретные указания о тематике кино и фотохроники научного и публицистического содержания, оказывал практическую помощь работникам кино в создании картин.

Восьмого июля 1920 года Ленин получил письмо из Наркомпроса, в котором сообщалось, что задание В. И. Ленина — изготовление кинокартины «Суд над колчаковскими министрами» — задерживается из-за отсутствия киноплёнки. «Несмотря на бесконечные ходатайства, обращения и хождения в Внешторг, — писали работники Наркомпроса, — несмотря даже на Ваше телеграфное поручение закупить пленку за границей, Фото-кино-отдел постоянно встречает только отказы, и до сих пор ниоткуда не получил ничего». Письмо это Владимир Ильич направил Красину с такой резолюцией: «Прошу *о ч е н ь* *н а ж а т ь* и удовлетворить просьбу *б ы с т р о*»<sup>3</sup>. В тот же день Владимир Ильич направил в Наркомздрав письмо с просьбой передать хотя бы часть хранящейся без употребления пленки Наркомпросу.

В ноябре 1920 года Владимир Ильич набирает тематику кино-фотохроники:

- «1) Материнские дома и охрана детства,
- 2) Дворцы, превращенные в детские дома,
- 3) Фронт Врангеля»<sup>4</sup>.

Забота о детях, организация детских консультаций, передача дворцов детским домам — все это сколок новой жизни, о которой нужно рассказать языком киноискусства советскому нар-

<sup>1</sup> Ленинский сборник XXXV, стр. 174

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же, стр. 136.

<sup>4</sup> Там же, стр. 176.

<sup>1</sup> Ленинский сборник XXXV, стр. 339.

<sup>2</sup> Там же, стр. 338.

ду. «Фронт Врангеля», который к тому времени был уже ликвидирован, представлял собой благодарнейшую тему для хроникального фильма. В борьбе с Врангелем проявилась такая стойкость и отвага наших воинов, такое бесстрашие и мужество, что о них стоит рассказать и современникам и потомкам. Недаром в своем докладе на VIII Всероссийском съезде Советов Ленин говорил, что Красная Армия в борьбе с Врангелем проявила необыкновенный героизм, «одолев такие препятствия и такие укрепления, которые даже военные специалисты и авторитеты считали неприступными. Одна из самых блестящих страниц в истории Красной армии — есть та полная, решительная и замечательно быстрая победа, которая одержана над Врангелем»<sup>1</sup>.

Внимательное и чуткое отношение Владимира Ильича к творчеству начинающих писателей, самоучек весьма наглядно иллюстрируется на следующем примере. В апреле 1919 года к Ленину обратился некий А. А. Вермишев со следующим бесхитрым письмом:

*«Дорогой вождь и товарищ Владимир Ильич,*

Очень прошу уделить время и просмотреть прилагаемый труд... Производя работы по транспорту, я отнял у себя 7 ночей и написал эту пьесу для пролетарского театра... Очень прошу на этом опыте творчества на современную тему в разгаре боя положить свою резолюцию...»<sup>2</sup>.

На полях этого письма Ленин пометил: «Пьеса под девизом «Бытие определяет формы сознания». Ленин поручил послать пьесу на отзыв квалифицированным литераторам. 16 апреля секретарь СНК по поручению В. И. Ленина сообщал А. А. Вермишеву, что «пьеса «Красная правда» была послана на отзыв трем литераторам-редакторам. Отзыв их следующий: 1) как агитационное орудие пьеса должна действовать сильно, особенно там, где переживали гражданскую войну. 2) В художественном отношении страдает длиннотами, искусственностью речи, местами книжностью языка. Подлежит некоторой чистке стиля, сокращениям. 3) Для столичных, балованных сцен не очень подходит, но в гущу народную — хорошо»<sup>3</sup>. В трудное время гражданской войны, когда на Восточном фронте Колчак развивал наступление, Ленин находит время, чтобы прочесть письмо начинающего драматурга, бережно отнестись к его просьбе.

Ленин был инициатором организации государственной охраны памятников искусства и старины, он заботился об их сохранности.

Вскоре после переезда Советского правительства из Петрограда в Москву Ленин дает указание о реставрации важнейших исторических зданий Кремля, поврежденных в октябре 1917 года. В одной из своих записок коменданту Кремля 17 мая 1918 года Ленин писал:

*«Товарищу коменданту Кремля*

Предлагаю в срочном порядке произвести реставрацию Владимирских ворот (кремлевская башня, выходящая к Историческому музею), поручив кому-либо из архитекторов по указанию П. П. Малиновского представить смету и наблюдать за исполнением работ»<sup>4</sup>.

В первые месяцы Советской власти в стране

активно протекал процесс национализации художественных и культурных ценностей: живописи, скульптуры, собраний книг. Из частных владений дворян, буржуазии и разных ликвидированных учреждений местные органы Советской власти изымают богатейшие коллекции произведений искусства и библиотеки и сосредотачивают их в государственных хранилищах. Ленин предупреждает местные органы власти и Наркомпрос о самом бережном отношении к этим ценностям, которые являются, по существу дела, народным добром, нажитым трудом многих поколений. Когда до Ленина дошел слух, что ценная библиотека известного русского либерала П. Б. Струве может быть растащена, он немедленно поручил работникам Наркомпроса предотвратить это. «Охраните от расхищения библиотеку Струве, находящуюся в Политехническом институте, — телеграфировал Ленин в Петроград. — Передайте особо ценное в Публичную библиотеку, остальное Политехническому институту»<sup>1</sup>.

Чрезвычайно любопытна одна записка Ленина Луначарскому. Комиссар Публичной библиотеки в Ленинграде (ныне библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) обратился с ходатайством дать ему от имени Наркомпроса «формальный запрет» на выдачу на дом редких экземпляров книг из библиотеки революционной литературы дооктябрьского периода. Ленин написал Луначарскому коротко и выразительно: «Непременно выдайте! Я подпишу»<sup>2</sup>. Охрана народного достояния, в том числе культурных ценностей, была предметом постоянной заботы Владимира Ильича.

★

Известна трогательная дружба двух корифеев русской культуры, замечательных людей нашего времени: Ленина и Горького.

Горький был пленен великим революционером — Владимиром Ильичем Лениным, его энергией и волей в борьбе за переустройство жизни на благо народа. Он поражался его неиссякаемой любовью к трудящимся, любовался его гордостью за свою родину и народ свой. Для Горького, как художника и гуманиста, Ленин — «большой, настоящий человек мира сего» — был предметом восхищения.

Ленин чрезвычайно высоко ценил великого писателя за его близость к народу, за его светлый ум и самоотверженный, гигантский труд над освоением достижений культуры человечества. Исключительно чутко и внимательно относился Ленин к Горькому на всем протяжении их дружбы.

В трудное время гражданской войны 1918—1920 годов Ленин постоянно следил за здоровьем Алексея Максимовича, чрезвычайно внимательно относился ко всем его предложениям и начинаниям.

Владимир Ильич лично заботился об организации встречи Горького на вокзале, когда Горький приезжал из Петрограда в Москву<sup>3</sup>. В 1921 году Алексей Максимович, по настоянию Ленина, выехал за границу на лечение. 12 декабря 1921 года Ленин в письме к тов. Молотову писал, что Горький выехал из Риги совсем без денег и строит свои планы на

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Соч., т. XXVI, стр. 55.

<sup>2</sup> Ленинский сборник XXXV, стр. 62.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Там же, стр. 21—22.

<sup>1</sup> Ленинский сборник XXXV, стр. 52.

<sup>2</sup> Там же, стр. 200.

<sup>3</sup> Там же, стр. 189.

получение авторского гонорара за издание своих книг. Ленин считал необходимым включить Горького в число товарищей, лечащихся за границей за счет партии или Советского государства.

В феврале 1922 года Ленин, узнав из письма М. Ф. Андреевой о плохом состоянии здоровья и стесненных материальных делах Горького, поручил управляющему делами Совнаркома «поговорить с Красным о Горьком и всячески ускорить получение денег Горьким».

Если есть малейшие трения, сказать мне»<sup>1</sup>.

Летом 1919 года инструктивный пароход ВЦИК'а «Красная Звезда» совершал агитрейс по Волге. На борту парохода в группе товарищей, возглавляемой тов. В. М. Молотовым, находилась Н. К. Крупская. Из телеграммы Ленина к ней мы узнаем, что Владимир Ильич убеждал Горького поехать на пароходе, отдохнуть. Но Горький иаотрез отказался, хотя весьма нуждался в перенеме обстановки и отдыхе.

Самые трудные годы после революции Горький провел в Советской России, несмотря на тяжелые условия жизни и плохое состояние здоровья. Он всем, чем только мог, хотел помочь своей родине и советской власти. Его предложения Советскому правительству и лично Ленину касаются многочисленных и разнообразных вопросов. Обеспечение Петрограда дровами, воспитание бережливого отношения к народному добру, борьба с детской преступностью, перевод учреждений из Москвы в Петроград для разгрузки столицы, заказы на иностранную литературу, конфискация имущества эмигрантов-белогвардейцев, производство дезинфицирующей эмульсии для поливки мостовых, изыскание сыворотки против сыпного тифа, создание экспертной комиссии по пересмотру антикварного экспортного фонда и многое, многое другое занимало писателя.

Каждое письмо Алексея Максимовича внимательнейшим образом прочитывалось Лениным. Об этом свидетельствуют многочисленные ленинские пометки на письмах писателя. Личные встречи Ленина с Горьким всегда оставляли след в памятных заметках Владимира Ильича, после чего аппарату Совнаркома, различным наркоматам и учреждениям давались поручения по выполнению тех или иных предложений Алексея Максимовича.

Лето 1918 года. В городах голод. Некий купец привез большую партию рыбы. На столе председателя Совнаркома лежит записка с заметками для памяти. В ней говорится:

«Горький предлагает *взять у него эту рыбу*, дабы помочь архиголодным питерским рабочим.

Требуется мое разрешение провезти в Питер»<sup>2</sup>.

Ленин чрезвычайно чутко относился к предложениям Горького, поддерживал его инициативу.

В феврале 1920 года под председательством Горького образовалась экспертная комиссия для создания антикварного экспортного фонда. Ленин поручает Наркомфину оказать содействие Горькому в оборудовании здания комиссии<sup>3</sup>.

Директор Пулковской обсерватории обратился к председателю Совнаркома с просьбой помочь наладить научную работу обсерватории. Его предложения поддержал Горький. Это было ре-

шающим для Владимира Ильича. Он направил письмо директора обсерватории заместителю наркома просвещения, написав от себя: «Тов. Покровский! По отзыву Горького помочь необходимо. Дайте мне, пожалуйста, Ваш отзыв»<sup>1</sup>.

В начале марта 1920 года Горький в письме к Ленину просил освободить из-под ареста химика Сапожников, который мог принести большую пользу в упорядочении санитарного состояния Петрограда, хлопотал о помощи Манухину в работе по изысканию сыворотки против сыпняка. Ленин отвечал писателю: «Сапожников освобожден 9 марта»<sup>2</sup> (то-есть на следующий день после получения письма от Алексея Максимовича!), от Манухина Наркомздрав ждет изложения способа предполагаемых изысканий.

Горький внес предложение издать закон о конфискации имущества эмигрантов-белогвардейцев, среди которого было много предметов художественной и исторической ценности. Ленин поддержал предложение Алексея Максимовича. В ноябре 1920 года Владимир Ильич писал наркому юстиции Курскому:

«Горький напоминает мне об издании декрета касательно конфискации имущества эмигрантов».

Кажется это уже было условлено.

Почему застопорил?

Узнайте, пожалуйста, поторопите и скажите мне в СНК 16 ноября»<sup>3</sup>.

Предложение Горького было реализовано. 16 ноября Совнарком принял соответствующий декрет. По декрету объявлялось собственностью государства все движимое имущество бежавших за пределы республики или скрывающихся граждан, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. Декрет предписывал все предметы искусства и старины из этого имущества, имеющие особую художественную и историческую ценность, передавать в музеи, университеты и другие просветительные учреждения. Остальное имущество обращалось в товарный фонд республики. Этим мероприятием, по инициативе А. М. Горького, было сохранено от расхищения и утраты большое количество предметов искусства и старины.

По инициативе Горького, в 1919 году при Наркомпросе было организовано издательство «Всемирная Литература», имевшее целью издание выдающихся произведений художественной литературы всех стран мира. По мысли Горького серия книг «Всемирной Литературы» должна была составить «обширную историко-литературную хрестоматию, которая даст читателю возможность подробно ознакомиться с возникновением, творчеством и падением литературных школ, с развитием техники стиха и прозы, со взаимным влиянием литератур различных наций и вообще всем ходом литературной эволюции в ее исторической последовательности».

С большим трудом создал Горький полиграфическую базу этого издательства на основе типографии бывшей газеты «Копейка». И вот непродуманными действиями работников полиграфической секции местного Совнархоза это начинание писателя стало разрушаться. Из типографии «Всемирной Литературы» стали забирать наиболее квалифицированную силу для работы на других предприятиях. Горький, раздосадованный угрозой срыва своего нового дела, пи-

<sup>1</sup> Ленинский сборник, XXXV стр. 332.

<sup>2</sup> Там же, стр. 33.

<sup>3</sup> Там же, стр. 134.

<sup>1</sup> Ленинский сборник XXXV, стр. 133.

<sup>2</sup> Там же, стр. 112.

<sup>3</sup> Там же, стр. 172.

шет жалобу Владимиру Ильичу. При этом его беспокоит также и то обстоятельство, что местные власти, самостоятельно приняв решение о типографии, обходят его, хотя он является комиссаром данного предприятия. В этом Горький видит уже нарушение советских принципов. Ленин, получив это письмо, поручает тов. Воронскому срочно разобраться в обстоятельствах дела<sup>1</sup>.

Больше всего был озабочен Горький вопросом улучшения быта ученых, интеллигенции. Слова «улучшение быта» не передают всего величия деятельности Алексея Максимовича в данной области. Речь шла о спасении жизни десятков и сотен интеллигентов: знаменитых ученых, писателей, художников, изобретателей. В стране, осажденной кругом врагами, не хватало хлеба и продовольствия для армии и рабочих оборонных заводов. Ученые, разделяя невзгоды всего населения страны, голодали, умирали от истощения. Горький, как гуманист, наблюдая все это, не мог бездействовать. Но не одними соображениями гуманности был движим Горький. Он, может быть лучше, чем кто-либо другой, понимал, что истощение и преждевременное вымирание ученых — тяжелая утрата для родины, что новому государству без ученых не обойтись. Горький не мог помириться с тем, что на его глазах иссякают силы и угасают умы выдающихся специалистов науки и культуры.

Не мало труда положил Горький на спасение жизни ученых, на обеспечение их хлебом, продовольствием, пайками. Он спорил, доказывал, настаивал, добивался, не останавливался перед трудностями, каких было не мало. В самых затруднительных положениях Горький обращался лично к Ленину и находил с его стороны постоянную поддержку.

«Засим: как с учеными? — пишет Горький в письме к Ленину в марте 1921 года. — Остается ли 1800 пайков?»

Убедительно прошу — оставьте, — это совершенно необходимо, имеет огромное значение»<sup>2</sup>. На это Ленин ответил ему, что им дано распоряжение продолжать снабжение по плану, ранее принятому, до специального решения вопроса в правительстве. «Прошу Малый Совет рассмотреть дело поскорее и по возможности удовлетворить»<sup>3</sup>, — заключает Ленин на другом письме Горького с просьбой сохранить 2 тысячи академических пайков для петроградских ученых.

Эта забота Ленина и Горького спасла многих ученых, сохранила нам десятки и сотни незаменимых талантов и обеспечила возможность непрерывного развития советской науки.

★

Разносторонняя научная деятельность не прекращалась в Советской России даже в первые годы нового строя, в условиях войны и разрухи. В чрезвычайно стесненных обстоятельствах — в неотапливаемых и плохо освещаемых институтах, лабораториях и библиотеках, без достаточного оборудования и препаратов — ученые продолжали самоотверженно трудиться.

Исследователи, изобретатели, писатели, врачи,

увлеченные своими работами, часто обращались к правительству, к Ленину за советом, помощью и поддержкой. Ленин, сверх всяких сил перегруженный военными, государственными и хозяйственными делами, находил время, чтобы вникнуть в предложения ученого, поддержать инициативу изобретателя. Ленин и сам был инициатором многих научных предприятий.

В 1921 году Владимир Ильич поручил В. В. Адоратскому составить сборник избранных писем К. Маркса и Ф. Энгельса. Это было серьезнейшее поручение. Переписка Маркса и Энгельса была не известна широкому кругу читателей нашей страны. Между тем, в письмах основоположников марксизма содержится огромное богатство мыслей, важнейшие материалы научного и политического характера. Собрать основные, важнейшие письма Маркса и Энгельса, напечатанные в десятках различных книг и журналов, перевести и издать их в компактной книжке означало во многом способствовать делу распространения революционной теории.

Ленин следил за работой В. В. Адоратского, торопил его и напоминал, что начатое дело надо двигать и довести до конца, давал советы, как подготовить этот сборник, чтобы письма были понятны всем читателям, читал переводы и делал свои замечания. Владимир Ильич давал Адоратскому рекомендательные письма в Институт Маркса и Энгельса и Социалистическую Академию для помощи ученому книгами и пособиями. Благодаря неустанным заботам Владимира Ильича предприятие, начатое В. В. Адоратским, увенчалось успехом, и в 1922 году в Москве был издан сборник избранных писем основоположников марксизма под названием: «Письма. Теория и политика в переписке Маркса и Энгельса».

В интересах научно-экспериментальной работы академика И. П. Павлова Ленин высказывается за организацию заграничной поездки ученого. Он торопит с оформлением заграничного паспорта<sup>1</sup>.

Обращения артистов и писателей лично к Ленину со своими просьбами и нуждами встречали живой отклик Владимира Ильича.

Получив жалобу писателя А. И. Свирского на незаконные действия и издевательское отношение к нему со стороны домоуправления, Ленин поручил Народному комиссариату юстиции назначить расследование<sup>2</sup>. После выполнения этого указания Ленина жалоба писателя была рассмотрена на заседании Малого Совнаркома, который обязал президиум Московского Совета удовлетворить справедливое требование писателя и привлечь виновных к ответственности.

Заслуженная артистка Малого театра Н. Никулина обращалась с просьбой к Владимиру Ильичу — оградить ее от чрезмерного уплотнения жилой площади. Ленин немедленно поручил секретариату Совнаркома проверить факты, связаться с кем надо и передать его мнение: «оставить ее в покое»<sup>3</sup>.

Многим ученым нашей страны хорошо известно, какую благотворную роль в свое время сыграли охранные свидетельства, выдававшиеся Наркомпросом. Эти документы гарантировали ученым неприкосновенность их библиотек, пре-

<sup>1</sup> Ленинский сборник XXXV, стр. 105—106.

<sup>2</sup> Там же, стр. 111.

<sup>3</sup> Там же, стр. 143.

<sup>1</sup> Ленинский сборник XXXV, стр. 290.

<sup>2</sup> Там же, стр. 53.

<sup>3</sup> Там же, стр. 149.

доставляли право на дополнительную жилую площадь и другие материальные льготы. Известны случаи, когда в деле выдачи охранных свидетельств принимал участие сам Ленин. Вот один из таких документов.

«На основании постановления Совета Народных Комиссаров от 25 марта 1919 г выдается эта охранный грамота гражданину Владимиру Ивановичу Танееву, 78 лет, который долгие годы работал научно и, по свидетельству Карла Маркса, проявил себя преданным другом освобождения народа».

Гражданину Владимиру Ивановичу Танееву предоставляется право посещать библиотеку Совета Народных Комиссаров, а всем другим государственным библиотекам предлагается оказывать ему всяческое содействие в его научных работах и изысканиях. Всем советским властям предписывается оказывать гражданину Владимиру Ивановичу Танееву содействие в деле охраны как его самого, так и его семьи, жилища и имущества. В случае передвижения его по Российской Социалистической Советской Республике всем железнодорожным и пароходным властям предписывается оказывать гражданину Владимиру Ивановичу Танееву и его семье возможное содействие в деле получения билетов на поезд и предоставления места в поездах.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)»<sup>1</sup>.

Письмо Луначарского с просьбой помочь ликвидировать задолженность учителям по заработной плате Ленин направляет в Малый Совнарком с такой припиской: «прошу провести это. Даже больше: надо дать *предпочтении* учителям»<sup>2</sup>.

Забота о кадрах интеллигенции была одной из черт государственной деятельности Ленина.

★

В своей повседневной государственной деятельности В. И. Ленин систематически занимался вопросами культурного строительства. Руководство Ленина в этой области выражалось как

в принципиальных установках о путях и методах развития советской культуры и просвещения широких масс народа, так и в конкретно практических указаниях по многочисленным вопросам науки, народного образования, подготовки кадров интеллигенции, вопросам искусства, литературы, политико-просветительной работы и многим другим вопросам.

Ленинская линия развития советской культуры, усвоения и переработки всех культурных достижений человечества предопределила наши успехи в области развития советской культуры, многонациональной по форме, социалистической по содержанию.

Ленин непосредственно связывал силу и мощь нашего государства с развитием советской культуры, с организационной и культурной мощью рабочего класса. В своем плане политического доклада на XI съезде партии Ленин раскрыл понятие советского государства так: «государство = рабочий класс, его авангард, его выкристаллизованная организационная и культурная мощь»<sup>1</sup>.

Двадцативосьмилетний опыт советского культурного строительства полностью подтвердил правильность взглядов Ленина на развитие советской культуры. Культурные достижения Советского Союза — яркое свидетельство выполнения советским народом, руководимым товарищем Сталиным, заветов Ленина о построении социализма, о создании новой, советской, социалистической культуры.

Военно-экономическая мощь Советского государства, разгромившего полчища немецко-фашистских варваров, непосредственно связана с нашими успехами в области развития культуры и просвещения. Недаром великий Ленин говорил: «Никогда не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою, Советскую власть — власть трудящихся, что отстаивают то дело, побела которого им и их детям обеспечит возможность пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями человеческого труда»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Ленинский сборник XIII, стр. 10.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Соч., т. XXIV, стр. 258—259.

<sup>1</sup> Ленинский сборник XXXV, стр. 65—66.

<sup>2</sup> Там же, стр. 116.

# МИХАИЛ ШОЛОХОВ — ПИСАТЕЛЬ-ДЕПУТАТ

СЕРГЕЙ ИВАНОВ

★

1

Предвыборные собрания трудящихся нашей страны, посвященные выдвижению кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР, и выборы явились мощной демонстрацией морально-политического единства советского народа. Миллионы рабочих, колхозников, советских интеллигентов принимали живое участие в обсуждении и выдвижении кандидатов в верховный орган власти советского государства. Это — ярчайшее проявление демократизма социалистического общества.

Восемь лет отделяют нас от первых выборов. За эти годы мы пережили такое колоссальное событие в жизни народа, как четырехлетняя война с немецко-фашистскими захватчиками, закончившаяся полным разгромом фашистской военной машины, безоговорочной капитуляцией врага. За это же время наша Красная Армия в невиданно короткий срок победоносно прошла по полям и горам Маньчжурии и Кореи, Южного Сахалина и Курильских островов, разгромив японскую военщину и вынудив Японию капитулировать перед армиями Объединенных наций.

В тяжелый период войны партия Ленина — Сталина была той силой, которая организовывала и вдохновляла народ, направляла все его усилия к единой цели — разгрому врага. За эти восемь лет неизмеримо вырос в глазах трудящихся авторитет коммунистической партии, еще крепче сплотился блок коммунистов с беспартийными.

Живым олицетворением несокрушимого единства советского народа является то единодушие, с каким все советские люди выдвигали первым своим кандидатом в депутаты Иосифа Виссарионовича Сталина, чье имя знаменует собою победу. В Москве и Ленинграде, Киеве и Тбилиси, Баку и Ереване, Ташкенте и Ашхабаде, Риге и Минске, Сталинграде и Севастополе, на тысячах предвыборных собраниях — на заводах, в колхозах, в учреждениях, в вузах первым кандидатом назывался товарищ Сталин. Это было новым проявлением горячих чувств уважения, признательности, любви и веры к великому человеку, поднявшему могущество и возвысившему славу нашего отечества. «Вы, товарищ Сталин, — ум, совесть, честь советского народа. Вы — наша гордость и надежда», — эти слова из обращения к товарищу Сталину трудящихся Сталинского избирательного окру-

га Москвы стали предвыборным лозунгом всех советских людей.

Ярким выражением единства народа является и то воодушевление, с каким повсеместно выдвигались кандидатуры ближайших соратников товарища Сталина — руководителей партии и правительства: В. М. Молотова, М. И. Калинин, Л. П. Берия, А. И. Микояна, Г. М. Маленкова, А. А. Жданова, К. Е. Ворошилова, А. А. Андреева, Л. М. Кагановича, Н. С. Хрущева, Н. М. Шверника, Н. А. Вознесенского.

Знаменательное явление можно было наблюдать в январские дни: на колхозных собраниях выдвигались кандидатуры рабочих-стахановцев, ученых, писателей; на собраниях рабочих — кандидатуры знатных колхозников, академиков, передовых ученых, а советская интеллигенция называла своими кандидатами рабочих и колхозников. В этом — новое свидетельство единства народа, составляющего одну трудовую семью, единое общество.

Среди лучших людей нашей страны, выдвинутых кандидатами в депутаты Верховного Совета СССР — крупнейшие советские писатели, мастера художественного слова, инженеры человеческих душ. Советский народ жемлет видеть среди своих депутатов в Верховном Совете: председателя правления Союза советских писателей, лауреата Сталинской премии Н. С. Тихонова — прозаика, поэта, публициста и переводчика. автора poem «Киров с нами» и «Слово о 28 гвардейцах», великолепных «Ленинградских рассказов» и многих других произведений; депутата Верховного Совета СССР первого созыва, лауреата Сталинской премии, действительного члена Академии наук СССР, крупнейшего советского писателя М. А. Шолохова; лауреата Сталинской премии писателя Л. М. Леонова, автора многочисленных романов и пьес: «Барсуки», «Соть», «Скутаревский», «Волк», «Дорога на океан», «Обыкновенный человек», «Нашествие», «Взятие Великошумска» — писателя, у которого, по отзыву Алексея Максимовича Горького, «вкуснейший, крепкий, ясный русский язык, именно — ясный, слова у Леонова светятся»; писателя А. А. Фадеева, автора романов «Разгром», «Последний из Удэге» и одного из лучших произведений периода Отечественной войны — романа «Молодая гвардия»; лауреата Сталинской премии, академика народного комиссара просвещения Украинской ССР поэта П. Г. Тычину; лауреата Сталинской премии,

уральского писателя П. П. Бажова — автора замечательных уральских сказов, объединенных названием «Малахитовая шкатулка»; лауреата Сталинской премии Константина Симонова; лауреата Сталинской премии, украинского поэта Максима Рыльского; лауреата Сталинской премии, депутата Верховного Совета СССР первого созыва, грузинского драматурга Шалва Дадиани; лауреата Сталинской премии, виднейшего мастера советской драматургии А. Е. Корнейчука; белорусского поэта Якуба Коласа; русского писателя Ф. И. Панферова; лауреата Сталинской премии писательницу Ванду Василевскую; украинского писателя М. Бажана; узбекского писателя М. Ташмухамедова, татарского писателя Ахмета Ерикеева и молдавского писателя Эмилиана Букова; азербайджанских писателей Самеда Вургун и Тальб-Заде; латвийских — Лациса и Рокпелниса; эстонского — Вареса; таджикского — Турсун-Заде; казахского — Мелик Габдуллина; литовского — Венцлову; тувинского — Салчак Тока; бурят-монгольского — Намсараева.

Высокую честь оказывает советский народ своим писателям — верным представителям народа, выразителям мыслей и чаяний народных. Это доверие является признанием заслуг наших писателей перед страной, оно обязывает их к новым творческим успехам и к большой плодотворной общественной работе.

## 2

Восемь лет назад писатель Михаил Александрович Шолохов был избран депутатом Верховного Совета СССР первого созыва.

Правительство высоко оценило заслуги писателя Шолохова, присвоив ему звание лауреата Сталинской премии. Советские академики избрали Михаила Александровича действительными членами Академии наук СССР. Всемирная слава окружает этого человека, которому в истекшем году исполнилось только сорок лет.

И ни эта слава, ни мировое признание, ни почести не изменили Шолохова. Он остался таким же простым, добрым, душевным человеком, каким был и раньше, и, как и раньше, живет на Дону, в станице Вешенской, среди родных ему казаков, со многими из которых он дружит и живет душа в душу.

Его популярность очень велика. Миллионные тиражи его книг, переведенных не только на языки различных народов нашей страны, но и на языки большинства стран мира, — живое тому свидетельство. Нельзя не любить прекрасные произведения Шолохова.

Обаяние личности этого человека начинаешь познавать, когда еще только приближаешься к станице Вешенской. Везде слышишь разговоры о нем, каждый хочет рассказать о Шолохове, поделиться своими мыслями о своем земляке, любимом писателе. Простой и хороший человек — таково единодушное мнение народа по всей округе.

— Мы очень рады, что Михаил Александрович живет вместе с нами, — говорят вешенцы всем, приезжающим в станицу, — отзывчивый, добрый, простой он человек. Двери его дома открыты для всех. По любому случаю можно прятти к нему, и он поможет, подскажет, посоветует.

Двадцать лет живет Шолохов в станице Вешенской, старожилы знают всю его жизнь и в один голос утверждают, что каким он был двадцать лет назад, таким он остался и теперь, тем же «Александрычем», как любовно все его называют. И в Вешенской, и в окружающих станицах и хуторах нет человека, который не знал бы Шолохова в лицо, а большинство знакомо с ним лично. С одними он охотился, с другими рыбачил, с третьими просто вел душевные разговоры на колхозном поле, или на берегу Дона, или просто на завалинке у хаты. Сотни людей побывали у него дома, в его рабочей комнате. И каждый человек, будь то молодой парень или старый, выдавший виды казак, обязательно улыбнется хорошей, доброй улыбкой и скажет: — Правильный он человек. Простой и душевный!

И не мудрено, что когда заболел Шолохов, к нему началось подлинное паломничество его земляков. Осторожно стучали в калитку, входили на цыпочках, стараясь не потревожить покой писателя, шопотом спрашивали у демашиных:

— Ну, как сегодня Александрыч? Лучше?

Композитор И. Держинский, написавший по произведениям Шолохова оперы «Тихий Дон» и «Поднятая целина», часто бывавший в Вешенской и наблюдавший, как живет и работает писатель, рассказывает:

— День Шолохова проходит в постоянном живом общении с героями его произведений. Шолохов встает на рассвете и уезжает в колхозы, на поля, принимает участие в заседаниях партийных и общественных организаций. Когда в полдень он возвращается домой, оказывается, что здесь его ожидают новые люди. Они приходят к нему с самыми разнообразными делами. Старый колхозник-казак, пройдя через несколько местных инстанций и не разрешив своего дела, приходит к Шолохову. И писатель часами беседует со старым казаком, указывает ему, куда следует обратиться. Он принимает приезжающих к нему колхозников, писателей, художников, журналистов. Для каждого у него находится время.

Шолохов живет в постоянном общении с народом, ведет большую общественную работу. Он член Вешенского райкома партии, член райисполкома. Он часто выступает на собраниях по различным вопросам, касающимся и культуры, и хозяйства, и, по свидетельству многочисленных участников этих собраний, его выступления всегда интересны, содержательны, всегда вносят новое. И характерная черта писателя, говорящая об исключительной его скромности, — когда пытаются записать его выступления, Шолохов отвечает: «Ну, этого еще не хватало! Кому это нужно? Нас будут не по нашим выступлениям судить, а по нашей жизни».

Шолохову обязаны вешенцы всем подъемом культуры станицы, он неустанно воспитывает казачью молодежь в духе советского патриотизма. Характерный разговор с одним учеником местной школы приводил в свое время корреспондент московской газеты. Узнав, что юноша скоро оканчивает школу, корреспондент спросил его:

— Ну, а дальше что? В какой-нибудь город покрунее? В Ростов, а может быть даже в Москву?

Тот удивленно пожал плечами:

— Зачем? Окончу педагогический техникум и

стану учительствовать. В Вешках же или рядом — в Басках, Боковской, Кошарах, мало ли где. Разве всем в столицах надо? А кто здесь тогда будет культуру поднимать? Живет же Шолохов у нас!

По инициативе Шолохова до войны в Вешенской была построена большая электростанция, ему обязаны вешенцы созданием стационарного театра казачьей колхозной молодежи, он специально ездил в Москву добиваться разрешения вопроса о постройке в Вешенской водопровода и добился этого. А постоянных, повседневных общественных дел Шолохова и перечислить невозможно. Нет ни одного мероприятия, в котором Шолохов не принимал бы участия, а значительная часть их проходит по его инициативе.

И до избрания депутатом Шолохов получал массу писем от своих читателей. После избрания этот поток писем значительно увеличился. К нему обращаются и читатели, и избиратели с различными вопросами, предложениями, просьбами, жалобами. Терпеливо перечитывает писатель всю эту обширную корреспонденцию и ежедневно отправляет десятки ответных писем. Ни одной жалобы он не оставляет без внимания. Он действует в этих случаях и здесь, на месте, через районные власти, сносится с Новочеркасском и Ростовом, не останавливается в нужных случаях перед тем, чтобы запросить и Москву. А в каждый свой приезд в Москву он всегда разрешает массу вопросов, поставленных перед ним его избирателями.

Станица Вешенская подверглась жесточайшему артиллерийскому огню немцев. Михаил Александрович рассказывал мне, что станица очень разрушена. И вернувшись на родину с фронта, писатель, плодотворно работая над окончанием «Они сражались за родину», вместе с тем, как депутат Верховного Совета и член бюро райкома и райисполкома, со всей своей энергией трудится со своими земляками над восстановлением станицы.

А сам он о своей депутатской деятельности говорит кратко:

— Мало еще я сделал. Очень мало.

## 3

Биография Шолохова мы знаем в самых общих чертах. О себе он говорить не любит. Лишь двадцать лет назад в сборнике своих рассказов «Лазоревая степь» он напечатал коротенькую автобиографическую заметку. Вот она:

«Родился в 1905 г. в хуторе Кружильном, станицы Вешенской, Донецкого округа (б. области Войска Донского).

Отец — разночинец, выходец из Рязанской губ., до смерти (1925) менял профессии. Был последовательно: «шибаем» (скупщиком скота), сеял хлеб на покупной казачьей земле, служил приказчиком в коммерческом предприятии хуторского масштаба, управляющим на паровой мельнице и т. д.

Мать — полуказачка, полукрестьянка. Грамоте выучилась, когда отец отвез меня в гимназию, для того чтобы, не прибегая к помощи отца, самостоятельно писать мне письма. До 1912 г. и она, и я имели землю; она, как вдова казака, а я, как сын казачий, но в 1912 г. отец мой, Шолохов, усыновил меня (до этого был он

не венчан с матерью), и я стал числиться «сыном мещанина».

Учился я в разных гимназиях до 1918 г. Во время гражданской войны был на Дону.

С 1920 г. служил и мыкался по Донской земле. Долго был подработником. Гонялся за бандами, властвовавшими на Дону до 1922 г., и банды гонялись за нами. Все шло как положено. Приходилось бывать в разных переплетках, но за нынешними днями все это забывается.

Не словоохотлив Шолохов. Дополнить его скупую заметку можно лишь немногим. В 1923 году он приехал в Москву, «специальность» его — продовольственный комиссар — тогда уже была не в ходу, и ему пришлось работать и грузчиком, и каменщиком, и чернорабочим, и делопроизводителем. В том же году он напечатал в газете «Юношеская правда» свой первый фельетон, а в 1925 году — в журнале «Крестьянская молодежь» первый рассказ «Пастух».

В 1926 году вышли два томика рассказов Шолохова: «Донские рассказы» и «Лазоревая степь». Уже тогда такой крупный писатель, как А. С. Серафимович, высоко оценил творчество Шолохова. Он писал в предисловии к «Донским рассказам»:

«Как степной цветок, живым пятном встают рассказы т. Шолохова. Просто, ярко, и рассказываемое чувствуешь — перед глазами стоит. Образный язык, тот цветной язык, которым говорит казачество. Сжато, и эта сжатость полна жизни, напряжения и правды. Чувство меры в острых моментах, и оттого они пронизывают. Огромное значение того, о чем рассказывает. Тонкий, схватывающий ум. Умение выирать из многих признаков наиболее характернейшие».

Этими рассказами начал Шолохов свой литературный путь, в 1925 году возвратился на Дон и остался там навсегда. Он хотел «написать о народе, среди которого родился и который знал».

Но массовый читатель узнал писателя позже, когда в 1928 году вышел первый том «Тихого Дона».

Мы знаем, как блестяще выполнил он свое желание, написав «Тихий Дон» и «Поднятую целину». Меньше знаем мы о том, в каких условиях он жил и работал. А ведь ему приходилось еще и учиться, учиться самому, самостоятельно, без руководителей. И он систематически, изо дня в день учился. Учился и писал, писал и учился. Как-то в беседе с молодыми крестьянскими писателями М. И. Калинин в ответ на их жалобы и требования, чтобы «кто-то научил писать», привел в примерим Шолохова. Калинин говорил о Шолохове: «А писал человек в провинции, в станице. Но по языку чувствуется, что он много и упорно учился, и никакие журналы для начинающих ему не помогали... Он прошел большую школу...»

## 4

Шолохов берет для своих произведений решающие этапы из жизни советского народа. Первый из них — период гражданской войны, когда советский народ с оружием в руках защищал завоевания Октября. Шолохов пишет книгу рассказов о гражданской войне и роман «Тихий Дон». Второму этапу — периоду коллективизации и ликвидации кулачества, как класса, Шолохов посвящает роман «Поднятая

целины»; наступает третий этап — война с немецко-фашистскими захватчиками, когда угроза смертельной опасности нависла над нашей страной, — и Шолохов пишет третье большое свое произведение: «Они сражались за родину». Важнейшие моменты истории советского народа раскрываются в этих трех произведениях, раскрываются не статически, а в действии, в противоречиях, в жесточайших схватках старого с новым. Шолохов рисует перед читателем картины борьбы народа за свое государство, свою советскую власть, и, это самое главное, в ярких типических образах раскрывает психологию народа, обнажает самые тайники его души, показывает, как в горниле колоссальных событий перековывались советские люди, как от этапа к этапу рос советский народ.

Прошло десятилетие после эпохи, описанной в «Поднятой целине». Громадной важности события произошли за этот короткий срок. Сталинские пятилетки в корне перестроили страну, превратили ее в мощную индустриальную державу. Произошла грандиозная перековка людей. И когда немецко-фашистские захватчики вероломно напали на наше отечество, советский народ с непоколебимой уверенностью в победе пошел на фронт.

Шолохов — на фронтах войны. Зорким глазом художника изучает он психологию народа на войне и начинает работу над третьим своим большим произведением — «Они сражались за родину».

Книга еще не закончена, опубликованы лишь отдельные главы, рано судить о произведении в целом, но основные направления, основная идейная установка уже ясны. И хотя между героями «Поднятой целины» и героями «Они сражались за родину», казалось бы, нет ничего общего, ни один из знакомых нам по «Поднятой целине» гремяченок не продолжает свою жизнь в новой вещи Шолохова, — есть определенная живая и теснейшая связь между этими двумя книгами. «Они сражались за родину» продолжает тему «Поднятой целины»: здесь показано, как за годы сталинских пятилеток выросли советские люди, каким стал народ, построивший социализм в своей стране. Изумительный, невиданный в истории рост.

По существу, герои нового романа — и Николай Стрельцов, и Иван Звягинцев, и Петр Лопахин — это те же Майданников, Давыдов, Нагульнов из «Поднятой целины», только колоссально выросшие. Это те же люди, но уже практически познавшие величие и силу своего социалистического государства, борющиеся над созданием новой, радостной, счастливой жизни не только для детей своих и внуков, но и для самих себя. Если в период событий, описанных в «Поднятой целине», люди только предчувствовали радость социалистической жизни, то теперь, в «Они сражались за родину», эти же люди уже воочию убедились в результатах, ощутили на самих себе благостное влияние жизни в социалистическом государстве. И потому советский народ с таким воодушевлением пошел на войну, встал как один человек на защиту своего отечества, совершает героические подвиги, сопротивляется врагу, обеспечивая окончательную победу.

«Поднятая целина» — роман о народе, в муках, крови, слезах, в жесточайшей борьбе, «Новый мир»

выкорчевывающем столетиями насаждавшиеся в нем частно-собственнические инстинкты. «Они сражались за родину» — роман о народе, едином, монолитном, народе-воине, в муках, в крови защищающем свои завоевания от посягательства наглого и сильного врага.

Читая отдельные главы нового романа, мы видим того же Шолохова, автора «Поднятой целины». То же изумительное знание людей, то же глубокое раскрытие характеров, та же насыщенность действием. И если бы главы «Они сражались за родину» появлялись без подписки или под псевдонимом, читатель немедленно установил бы авторство Шолохова.

Писатель начинает с показа отступления нашей армии, и мы вновь переживаем всю горечь и весь трагизм событий того периода. Он не фальшивит и в изображении людей — разные были люди, были люди и неустойчивые, были и трусы. Читатель найдет таких людей в шолоховском романе.

Красная армия отступает под натиском врага. Устало переставляя ноги, идут остатки разбитой врагом части, сто семнадцать человек, оставшихся от целого полка. Тяжелая картина отступления армии, оставления подлому врагу наших городов, наших сел, нашей земли. В эту картину в романе входит выразительной деталью пейзаж: «Устало полегли травы, тускло, безжизненно блистающие солончаки, голубое и трепетное море над дальними курганами, и такое безмолвие вокруг, что издали слышен посыл свистка и долго дрожит в горячем воздухе сухой шорок красных крылышек перелетающего кузнечика».

Осунувшиеся и почерневшие лица, растрескавшиеся от жары губы. И все же это полк, разбитый, но не уничтоженный, это воинская часть, сильная своей дисциплиной, сплоченностью. «Было что-то величественное и трагическое, — пишет Шолохов, — в медленном движении разбитого полка, в мерной поступи людей, измученных боями, жарой, бессонными ночами и долгими переходами, но готовых снова, в любую минуту, развернуться и снова принять бой».

Тяжело воинам отступать. Еще более тяжело переживать это отступление жителям сел и городов, через которые проходят отступающие солдаты Красной Армии. Армия уходит, а часть населения — старики, больные, дети — остается, вынуждена нести на себе всю тяжесть немецкой оккупации.

Солдат Лопахин забегает на хуторок попросить у хуторян ведро, чтобы раков сварить, да соли щепотку. Старуха, к которой он обращается, гневно говорит, что не только соли, «мне вам князя вот этого поганого жалко дать». И на недоуменный вопрос ошалевшего Лопахина «За что же такая немилость к нам?» — старуха отвечает:

«— А ты не знаешь за что? — сурово спросила старуха. — Бесстыжие твои глаза! Куда идете? За Дон поспешаете? А воевать кто за вас будет? Может, нам, старухам, прикажете ружья брать да оборонять вас от немца? Третьи сутки через хутор войско идет, нагляделись на вас вволюшку!»

Бардовый от стыда и смущения Лопахин что-то растерянно говорит, но вспыхивает, когда старуха затрагивает его медаль: «Ты мою ме-

даль не трогай, мамаша, она тебя не касает-ся», — и получает крепкий ответ:

«— Меня, соколяк ты мой, все касается. Я до старости на работе хрип гнула, все налоги выплачивала и помогала власти не за тем, чтобы вы сейчас бегли, как оглашенные, и оставляли бы все на разор да на поруху...»

Всегда находчивый и развязный Лопахин применяет обычный в таких случаях аргумент: «Наверно, в армии у тебя никого нет, а то бы ты иначе рассуждала», — и умолкает, услышав ответ старухи:

«— Это у меня-то нет? Пойди, спытай у соседей, что они тебе скажут. У меня три сына и зять на фронте, а четвертого, младшего сынка, убили в Севастополе-городе, понял? Сторонний ты, чужой человек, потому я с тобой по-мирному и разговариваю, а заляпись сейчас сыны — я бы их и на баз не пустила. Благословила бы палкой через лоб да сказала своим материнским словом: «Взялись воевать — так воййте, окаян-ные, как следует, не таскайте за собой супротивника через всю державу, не срамите перед людьми свою старуху-мать!»

Гордая старуха. И правильная. Много таких советских людей приходилось нам видеть. Много горьких слов выказала тогда народ, и слова эти были нужные, они помогали нашей армии воевать, они усиливали в красноармейцах злобу и ненависть к фашистским захватчикам. Так и понимали слова народа наши воины.

Старуха, конечно, дала Лопахину и ведро и соль.

О многом заставляет думать этот маленький эпизод. Вот такие «тарухи, гордые, сильные, убежденные в своей правоте, которые «хрип гнули, помогая власти», — это народ, не согнувшийся перед опасностью, нависшей над родиной, не ставший на колени перед наглым врагом. Это народ-воин, уходящий в партизаны, в народные мстители. В период «Поднятой целины» таких женщин было мало, в период Отечественной войны — их было бесконечно много. И этим кратким эпизодом писатель оттеняет основную мысль произведения — невиданный рост советских людей за десятилетие, отделяющее период коллективизации от периода Отечественной войны.

Два солдата — Николай Стрельцов и Петр Лопахин. Два типа, два характера. Образы реальные, не надуманные. Каждому из нас приходилось встречать на фронте десятки тысяч таких Лопахиных и Стрельцовых.

Сдружились они недавно, после боя за совхоз «Светлый путь», когда их окопы были рядом. Земляки. Один из Ростовской области, второй из города Шахты. Донцы, сородичи гремяченских колхозников из «Поднятой целины». Двумя строками рисует их Шолохов, и они становятся близкими, родными читателю, они крепко врезаются в память — Лопахин, «насмешливый, злой на язык, бабник и весельчак» и Стрельцов, всегда сдержанный и молчаливый, — как бы дополняющие друг друга. А вот и психология каждого из них, ярко раскрываемая Шолоховым в диалоге, жгущем, из которого слова не выбросишь, и настолько полною, что ни одного лишнего слова сюда не вставишь.

На привале у реки разговорились Лопахин и Стрельцов, говорил больше Лопахин, он и начал разговор, чтобы рассеять уныние и мрач-

ность Стрельцова, тяжело переживающего горечь отступления.

Говорит Лопахин:

«... Удивляюсь я тебе: старый ты солдат, почти год воюешь, а всяких переживаний у тебя, как у допризывника. Ты что думаешь: если дали нам духу, так это уже все? Конеч света? Войне конец?»

Николай досадливо поморщился, сказал:

— При чем тут — конец войне. Вовсе я этого не думаю, но относиться легкомысленно к тому, что произошло, я не могу. А ты именно так и относишься и делаешь вид, будто ничего особенного не случилось. Для меня ясно, что произошла катастрофа. Размеров этой катастрофы мы с тобой не знаем, но кое о чем можно догадываться. Идем мы пятый день, скоро уже Дон, а потом — Сталинград... Разбили наш полк вдребезги. А что с остальными? С армией? Ясное дело, что фронт наш прорван на широком участке. Немцы висят на хвосте, только вчера оторвались от них и все топаям и когда впрямь — неизвестно. Ведь это же тоска, вот так идти и не знать ничего! А какими глазами провозжат нас жители? С ума сойти можно! — Николай скритнул зубами и отвернулся. С минуту он молчал, справляясь с охватившим его волнением, потом заговорил уже спокойнее и тише:

— Это всего этого душа с телом расстается, а ты проповедуешь — живай, мол, ну и радуйся, солнце, кувшинки плавают... Иди ты к черту со своими кувшинками, мне не них смотреть-то тошно! Ты вроде такого дешевого бодрячка из плохой пески...»

Опускаем дальнейший разговор, прямого отношения к поставленному нами вопросу не имеющий, и переходим к ответу Лопахина, который заговорил «сдержанно и зло»:

«— А я не вижу оснований, чтобы мне по собачьему обычаю хвост между ног зажимать, Понятно тебе? Бьют нас? Значит, поделим бьют... Воййте лучше, сукины сыны! Цепляйтесь за каждую кошку на своей земле, учитеесь врага бить так, чтобы зайкал он смертной икотой. А если не умеете — не обижайтесь, что вам морду в кровь бьют и что жители на вас неласково смотрят. Чего ради они будут вас с хлебом-солью встречать? Говори спасибо, что хоть в глаза не плюют, и то хорошо. Вот ты, не бодрячок, объясни мне: почему немец сядет в какой-нибудь деревушке, и деревушка-то с чирей величиной, а выковыриваешь его оттуда с великим трудом, а мы иной раз города почти без боя сдаем, мелкой рысью уходим. Брать-то их нам же придется или дядя за нас возьмет? А происходит это потому, что воевать мы с тобой, мистер, как следует еще не научились. И злости настоящей в нас маловато. А вот когда научимся да когда в бой будем идти так, чтобы от ярости пена на губах кипела, тогда и повернется немец задом на восток, понятно? Я, например, уже дошел до такого градуса злости, что плюнь на меня — шипеть слюна будет, потому и бодрый я, потому и хвост держу трубой, что злой ужасно! А ты и хвост поджал и слезой облялся. «Ах, полк наш разбили! Ах, армию разбили! Ах, провались немцы!» Прах его возьми, этого проклятого немца! Прорваться он прорвался, но кто его отсюда выводит будет, когда мы соберемся с силами и ударим? Если уж сейчас отступаем и бьем, то при наступлении

вдесятеро больше бить будем! Худо ли, хорошо ли, но мы отступаем, а им и отступать не придется, не на чем будет! Как только повернутся задом на восток — ноги судным детям повидаю, гниваем из того места, откуда они растут, чтобы больше по нашей земле не ходили. Я так думаю, а тебе вот что скажу: при мне ты, пожалуйста, не плачь, все равно слез твоих утирать не буду, у меня руки за войну стали жесткие, неровен час, еще поцарапаю тебя...

— Я в утешениях не нуждаюсь, дурень, и ты красноречия не трать понапрасну, а лучше скажи, когда же, по-твоему, мы научимся воевать? Когда в Сибири будем? — сказал Николая

— В Си-би-ри? — протяжно переспросил Лопахин, часто моргая светлыми глазами. — Нет, дорогой мистер, в эту школу далеко нам ходить учиться. Вот тут научимся, вот в этих самых степях, понятно? А Сибирь давай временно вычеркнем из географии. Вчера мне Сашка — мой второй номер — говорит: «Дойдем до Урала, а там в горах мы с немцем скоро управимся». А я ему говорю: «Если ты, земляная жаба, еще раз мне про Урал скажешь — бронейного патрона не пожалей, сьму сейчас своей мушкет и прямой наводкой глупую твою башку так и собью с плеч!» Он — назад: говорит, пошутил. Отвечаю ему, что и я, мол, пошутил, разве по таким дуракам бронейными патронами стреляют да еще из хорошего противотанкового ружья? Ну, на том приятный разговор и покончили...»

Лопахин — это подлинный советский воин, тот, кто одержал победу над заклятым врагом. Но и Стрельцов — тоже настоящий воин. Он и от природы задумчив, а тут еще личное горе большое — в первый день войны ушла от него жена. Размышления Стрельцова — не черный пессимизм, а раздумье над величием свершающихся исторических событий. Он вдумчив и серьезен, он старается всякое событие осмыслить со всех сторон, со всех точек зрения.

Он может поделиться своими мыслями только с таким другом, как Лопахин. Характеры у Стрельцова и Лопахина разные, а зло к немцам у них одинаково сильное, враждебное одним и тем же — посягательством врага на нашу кровь и потом народа добытую свободу. Читатель настолько ясно представляет себе характеры этих людей (а прочитал он всего каких-нибудь тридцать страничек), что не сомневается в том, что так же мужественно, как и Лопахин, будет биться с врагом Стрельцов, не дрогнет его сердце, будет тверда его рука, будет упорен он в бою.

И вот он, бой. Ста семнадцати бойцам и командирам, невыносимо уставшим, измученным, приказано занять оборону. Шли неприятельские танки. Их было много. Старый и вечно новый вопрос — страшно ли бойцам перед боем? Бойцы, описанные Шолоховым, не новички в бою, они прошли огонь и воду, этот бой для них не первый. «Народ остался в полку безалай, большинство — коммунисты...» Шолохов дает простой, житейский, правдивый ответ.

«И вот наступили те предшествующие бою короткие и исполненные огромного внутреннего напряжения минуты, когда учащенно и глухо бьются сердца и каждый боец, как бы много ни было вокруг него товарищей, на миг чувствует ледяной холодок одиночества и острую, со-

сущую сердце тоску. Николаю было знакомо и это чувство, и источники, порождающие его; когда однажды он заговорил об этом с Лопахиным, тот с несвойственной ему серьезностью сказал: «Воюем-то мы вместе, а умирать будем порознь, и смерть у каждого из нас своя, собственная... А потом, Коля, свидание со смертью — это штука серьезная. Состоится оно, это свидание, или нет, а все равно сердце бьется, как у влюбленного, и даже при свидетелях ты чувствуешь себя так, будто вас только двое на белом свете: ты и она... Каждый человек — живой, чего же ты хочешь?»

Таково состояние человека перед боем. Начался бой — на смену этому чувству приходят другие, страх смерти исчезает, приходит горячее, властное чувство долга и яростное, непреодолимое, страстное желание победить, разгромить, уничтожить врага. Хорошо описан у Шолохова этот бой. Простыми, короткими штрихами рисует он и танковую атаку, и работу наших бронейщиков, и действия и чувства солдата в окопе. Отбита первая атака танков, отбита вторая, и вот потрясающая, страшная атака с воздуха. «Из последних сил держались считанные бойцы полка; слабел их огонь — мало оставалось способных к защите людей...» И вот тот много раздумывающий Стрельцов, контуженный, помятый, полузасыпанный землей, немощный встать даже на колени, — преодолевает и тошноту, и головокружение, и отвратительную, обезволивающую все его тело слабость. «И он стал стрелять, глухой и равнодушный ко всему, что творилось вокруг него, властно движимый двумя самыми могучими желаниями — жить и биться до последнего!» И он бьется до победы, до тех пор, пока немцы не покатылись «по склону, как серо-зеленые листья, сорванные и гонимые сильным ветром, и многие из них, также как листья, падали, сливались с травой и больше уже не подымались...»

Это был первый бой, приняты остатками разбитого врагом полка после длительного, тяжелого отступления. Горсточка красноармейцев и командиров отстояла рубеж, ей порученный. Шолохов развешивает картину и второго боя, боя уже в иных условиях, когда и новые пополнения пришли в армию, и новая техника увеличила силу ее сопротивления, и старые, побывавшие не раз в боях воины научились по-настоящему бить врага. Между этими двумя боями прошел совершенно незначительный срок, но картина резкого изменения соотношения сил уже налицо. Нужно учесть, что именно в этот период войны был издан исторический приказ товарища Сталина, сущность которого можно кратко охарактеризовать тремя словами: «Ни шагу назад». Шолохов не говорит об этом приказе, но во всем описании и первого и в особенности второго боев мы ощущаем коренное изменение и в настроении, и в умении, и в силе сопротивления наших воинов. Второй бой, описываемый Шолоховым, оканчивается разгромом крупных сил неприятеля. Правда, красноармейские войска опять отступают и переходят на другую сторону Дона, но перелом уже назрел, мы чувствуем его дыхание, и мы знаем, что дальнейшие страницы шолоховского произведения расскажут нам о переходе Красной Армии от активной обороны к непрерывному, все нарастающему и сокрушающему врага наступлению.

Когда «Мы сражались за родину» будет за-

кончено — о книге будут много писать, и тогда можно будет дать подробный ее разбор. Но и сейчас можно совершенно смело утверждать, что новый труд Шолохова будет прекрасным произведением об Отечественной войне.

## 4

Лучшим своим критиком Шолохов считает массового читателя. «В критике читателя, — говорит он, — я ощущаю и взволнованную заинтересованность, и проникновение в творческие замыслы, и боль, и радость, — человеческая страстность есть в этой критике». И тысячи читательских писем, идущие к писателю из различных районов страны, несказанно радуют его и помогают в его большой и плодотворной работе, ибо это голос самого народа, для которого творит писатель. И когда учительница из Курской области пишет о «Поднятой целине», что «надо быть проникательным, неразрывно связанным с народом, самому это пережить, — тогда только может получиться такое произведение, реальное, как сама жизнь», — это замечание правильное, идущее от глубины души. И устами московского комсомольца говорит народ:

«Эта книга (речь идет о «Тихом Доне») безусловно дойдет до последнего курдюка казака, до крайней хаты белоруса, до мазанки украинца, дойдет до монгола и сибиряка. Прочтет человек и скажет: «Вот она, живая правда...»

Об этой живой повседневной связи советского писателя со своим читателем-народом говорил Шолохов и с трибуны XVIII съезда партии:

«Взаимоотношения, издавна установившиеся между советским писателем и читателем, совершенно иные, нежели в капиталистических странах. Народ, которому мы служим своим искусством, ежедневно говорит о нашей работе устами читателя. Нас критикуют, ругают когда надо, поддерживают под локоть при творческих неудачах, хвалят, когда мы этого заслуживаем, и каждый из нас постоянно чувствует около себя эту направляющую, исполнинскую, трудовую и ласковую руку народа-созидателя».

Прекрасными произведениями и большой общественной работой завоевал Шолохов любовь народа, который восемь лет назад оказал своему писателю большое доверие, избрав его депутатом верховного органа страны. Шолохов оправдал доверие народа, и народ вновь выдвинул его своим кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР второго созыва.

# РАССКАЗЫ О НЕОБЫКНОВЕННОМ

Б. ЕВГЕНЬЕВ

★

Недавно в нашей литературе появилось новое имя — Илан Ефремов.

В сравнительно короткое время — меньше чем за два года — это имя привлекло к себе внимание издательства и читателей, писательских кругов и даже тяжелой на подъем критики.

В апрельской книжке журнала «Новый мир» за 1944 год был напечатан цикл «Рассказов о необыкновенном» И. Ефремова. Это был его дебют. Вслед за тем, в издательстве «Молодая гвардия» осенью 1944 года, вышла его первая книжка рассказов — «Пять румбов». В том же 1944 году Военмориздат издал книгу рассказов И. Ефремова под названием «Встреча над Тускаророй». В четвертом номере «Нового мира» за 1945 год были напечатаны еще два рассказа И. Ефремова. Его имя появляется на страницах журналов «Красноармеец», «Краснофлотец», «Техника молодежи». Наконец, только что вышли в свет две новых книги И. Ефремова: «Белый рог» в издательстве «Молодая гвардия» и «Тень минувшего» — в Детиздате.

Все это свидетельствует не только о творческой активности, но и о бесспорном успехе нового автора. Впрочем, количественно литературный багаж И. Ефремова не так уж велик. В книгу «Пять румбов» вошли три рассказа, напечатанные в 1944 году в «Новом мире». В книге «Встреча над Тускаророй» есть два рассказа из «Пяти румбов», а в книге «Белый рог» — два рассказа, напечатанные в «Новом мире» за 1945 год и четыре рассказа из книги «Встреча над Тускаророй». Детиздат издал отдельной книжкой два рассказа, вошедшие в книгу «Белый рог».

Как видно, наши издательства и журналы наперебой стремятся напечатать рассказы И. Ефремова. Условий, определяющих успех автора, может быть, по существу, только два: первое — автор пишет о нужном и интересном, и второе — автор хорошо пишет.

Вот мне и хочется проследить, как укладываются работа И. Ефремова в нормы этих двух основных условий, обеспечивающих успех.

## 1. ЖАНР

И. Ефремов написалнадцать рассказов. По тематическому признаку (их можно разделить на морские рассказы («Встреча над Тускаророй», «Атолл Факаофо», «Вухта радужных струй», «Последний марсель», «Катти Сарк») и

на рассказы геологические («Озеро горных духов», «Путями старых горняков», «Аллергорхой-хорхой», «Голец Подлунный», «Белый рог», «Алмазная труба», «Обсерватория Нур-и-Дешт», «Тень минувшего»).

В подзаголовке к книге «Пять румбов» рассказы И. Ефремова названы так: «Рассказы о необыкновенном». Этот несколько неожиданный подзаголовок довольно точно определяет жанровые особенности ефремовских рассказов, — во всяком случае точнее, чем если бы было указано: «приключенческие» или «научно-фантастические рассказы». Жанровой особенностью рассказов И. Ефремова как раз и является то, что они стоят на грани достоверного и возможного, допустимого — того, что является если не сегодняшним, то ближайшим, может быть — завтрашним днем жизни и науки.

В Алтайских горах нет описанного Ефремовым ртутного озера; в мертвой глуши тайги, в долине реки Мойеро не открыты алмазные россыпи; в знойной пустыне Узбекистана нет развалин древней обсерватории с поэтическим названием Нур-и-Дешт — «Свет пустыни»; в барханах Шары-тоби едва ли водятся гигантские смертоносные черви, убивающие все живое на расстоянии, хотя, к слову сказать, о них существуют народные монгольские сказания; в сердце скованных стужей сибирских гор, насколько известно, не сохранились рисунки первобытного человека, изображающие слонов, жирафов, носорогов и других африканских животных; сегодня не изобретен еще чудесный телевизор, дающий возможность видеть недоступные глубины океана...

Это все — смелая фантазия И. Ефремова, его «допуск», основанные, впрочем, на вполне реальных и научно допустимых возможностях.

Таким образом, рассказы И. Ефремова вполне укладываются на полочку с ярлыком: «приключенческая литература», и с пояснением в скобках — «с налетом научной фантастики»... Этот налет — вполне в нормах жанра. Не говоря уж о Жюль Верне, у которого научная фантастика является самоцелью, ее широко используют даже такие «чистые приключенцы», как Джек Лондон, а у Конан Дойля она занимает значительное место в его сочинениях.

Герои рассказов И. Ефремова — моряки, геологи, горные инженеры, палеонтологи, геодезисты, — неутомимые исследователи, путешественники по неоглядным просторам нашей родины, люди жадного, спокойного сердца, гото-

вые к любым испытаниям и трудностям во имя блага родины, во имя движения науки вперед.

В тревожную военную ночь, после очередного налета немецких воздушных пиратов на Москву, вернувшись, — кто с крыши, кто со двора, — герои рассказов И. Ефремова собирались в квартире старого моряка — капитана дальнего плавания. Каждый из присутствующих, по предложению радушного хозяина, рассказывает «необыкновенную» историю из своей жизни.

Таким «декамероновским» приемом начинается книга «Пять румбов».

«... Работаем, радуемся, опораемся, — и ничего не случается с нами замечательного», — говорит старый капитан, обращаясь к своим гостям. — «К этому можно привыкнуть, и можно всю жизнь прожить, ничего особенного в ней не заметив. Вот так-то и появляются скептики. Все им ничо чем, все пустяки, все неинтересно... И немудрено: если с закрытой душой, закостеневшими, по жизни итги — попадется что-нибудь и впрямь выдающееся, а ты его и не заметил, отвернулся и мимо курс проложил»...

Нет, герои Ефремова не шли по жизни с закрытой душой. Румбы, по которым они прокладывали в жизни курс, неизбежно приводили их к необычайному, потому что этот курс — курс смелых искателей.

«Необычайное, встреченное почти каждым из вас, как бы соответствует внутренним исканиям каждого», — говорит один из рассказчиков, неутомимый исследователь Сибири. — «Терпеливое стремление тренирует нашу чуткость, дает умение отделить настоящее от случайного — это своего рода внутренний компас, который в нужную минуту всегда подскажет вам, что вы на верном румбе... И кто знает, — быть может, мы потому и встречали в жизни необычайное, что постоянно следовали этому своему компасу...»

Следуя этому компасу, геолог Волхов (рассказ «Озеро горных духов»), изучая часть Центрального Алтая — хребет Листвяга — находит озерко чистой ртуты. Горный инженер Канин (рассказ «Путями старых горняков»), обследуя старые медные рудники недалеко от Оренбурга, проходит вместе с девятистолетним штейгером по таинственным жутким шахтам. На южной границе Монголии, в пустыне Шарьнгоби, геодезист Зубов встречается с гигантскими червями, похожими по своим свойствам на сухопутных электрических скатов (рассказ Алергорхой-хорхой»). Исследователь Сибири Балабин находит на границе Якутии, в горной пещере, рисунки первобытного человека, изображающие африканских животных, — свидетельств того, что здесь был крайний северо-восточный форпост Африки, — место, куда до оледенения докатилась волна переселений африканской жизни (рассказ «Голец Подлунный»). Английский капитан Джессельтон, записки которого, найденные на старинном затонувшем корабле, читает наш, советский моряк, нашел в огромных глубинах океана воду, обладающую животворящей силой (рассказ «Встреча над Тускаророй»); геолог Уольцев совершает героическое восхождение на страшную неприступную скалу Ак-Мюнгуз («Белый рог»); геологи Чурилин и Султанов, преодолевая нечеловеческие трудно-

сти, открывают в долине реки Мойеро алмазные россыпи (рассказ «Алмазная труба»); палеонтолог Никитин конструирует замечательный аппарат, дающий возможность воспроизводить световые отпечатки доисторической жизни на земле (рассказ «Тень минувшего»); инженер-моряк, капитан-лейтенант Ганешин построил телевизор, с помощью которого он наблюдает тайны океанских глубин (рассказ «Атолл Факафо»); летчик Сергиевский на Флориде нашел чудесное дерево, придающее воде не только изумительной красоты окраску, но и сообщаящее ей необыкновенное живительное свойство.

Таково действительное выражение, таково претворение в практику жизни исканий и стремлений героев рассказов И. Ефремова.

Но ведь это — жизненная практика наших старых знакомых, наших старых и любимых друзей, с которыми всегда так радостно встретиться!

Робинзон Крузо — славный моряк из Йорка, двадцать восемь лет проживший в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки, близ устья Ориноко, и все же не утоливший жажду к скитаниям по огромной неисследованной земле. Лесной бродяга, траппер Натаниель Бумпо, — неутомимый исследователь лесов и бескрайних степей «Нового света» прозванный индейцами Зеробоем, Следопытом, и Кожаным Чулком, и Соколиным Глазом, и Длинным Карабином. Трагический скиталец по Южным морям — юный Артур Гордон Пим из Нантукета. Неотразимый в своей декоративной доблести и предельном благородстве мустангер Морис Джеральд. Живая энциклопедия географических, этнографических, зоологических и прочих знаний — секретарь Парижского географического общества Жак Паганель, столяр обаятельный, несмотря на все свои чудачества и гомерическую рассеянность. Капитан Немо, суровый мститель, таинственный отшельник, укравшийся от людской несправедливости в глубинах океанов. Оважный и прямодушный мальчик Джим Гокинс, отыскавший на пустынном, затерянном в океане острове клад пирата Филлинта...

И скольких других можно было бы назвать наряду с этими нашими любимыми героями романов Дефо, Купера, Эдгара По, Майн-Рида, Жюль Верна, Стивенсона — таких бесстрашных, рыцарски-благородных, великодушных, дерзких, жадных и веселых! Они направляли бег своих кораблей по всем морям и океанам земного шара. Они слышали шелест пальм и свист снежной вьюги. Они видели и северное сияние и созвездие Южного Креста над своей головой. С надменной улыбкой смотрели они в татуированные лица дикарей, стоя со связанными руками у столба пыток и казни. Они искали золото и древние сокровища инков, рубились с пиратами, охотились на диких зверей. Они любили прекраснейших женщин, и споры их часто решала меткая пуля шестиствольного пистолета. И они никогда не жалели своей жизни, чтобы спасти друга или честь любимой девушки.

Никто, конечно, безоговорочно не назовет этих героев своими учителями. Другие, вечные и великие образы учили нас добру и правде жизни, тревожили нашу совесть, волновали наши сердца могучими страстями, трагизмом своей судьбы. Но те, о ком я говорю, навсегда стали

нашими друзьями. И разве можно их забыть уже по одному тому, что именно с ними делили мы юношеские мечты и первое, еще неосознанное, но горячее стремление ко всему героическому, к новому и смелому, свободному от прописных истин, яркому, сильному, живому? Как бы то ни было, но ведь эти герои первые раскрывают перед нами богатство жизни и красоту мира, — пусть в условных, пусть в самых простых и примитивных красках и чувствах.

В этом извечном влечении человека к деятельной жизни — сильной, обнаженной и простой — скрыты, как мне кажется, причины неуявляемой молодости литературы приключений.

Значение литературы приключений, — а в связи с тем и ее рост, развитие и проникновение в самые широкие круги читателей, — обусловлено, разумеется, не только тем, что она отвечает определенным душевным склонностям, но и ее прямым и очень сильным воспитательным воздействием на читателя.

В предисловии к романам Ф. Купера М. Горький писал:

«Воспитательное значение книг Купера — несомненно. Они на протяжении ста лет были любимым чтением юношества всех стран, и, читая воспоминания, например, русских революционеров, мы нередко встретим указания, что книги Купера служили для них хорошим воспитателем чувства чести, мужества, стремления к деятельности».

Советский читатель. — и в первую очередь советское юношество — жадный потребитель приключенческой литературы. И это вполне закономерно. Яркая, бурная, созидательная молодость нашей страны, отважно прокладывающая дороги в будущее, покоряющая природу, героя нашей повседневной жизни, — воины, исследователи, строители, — люди большого сердца и непреклонной воли, вся жизнь которых — борьба за благо и счастье родного народа, — не могут не отдавать должное издавна любимым героям приключенческих романов.

Романы Ф. Купера, Майн-Рида, Жюль Верна, Р. Л. Стивенсона, Д. Лондона изданы советскими издательствами в количестве десятков, если не сотен тысяч экземпляров. Вниманием и поощрением окружены попытки отечественных романистов пополнить существенный пробел в советской литературе в области приключенческого жанра. И все-таки пробел этот не восполнен в должном объеме и качестве.

Даже лучшие, передовые романы приключений при всех своих бесспорных литературных достоинствах, при всем умении их авторов блестяще построить сюжет, дать обстановку, обрисовать героев не могут до конца удовлетворить советского читателя. Их идейная направленность, духовный мир героев, как правило, очень далеки от круга идей, близких нашему читателю.

Тем большего внимания заслуживает работа писателя, поставившего своей целью восполнить этот дефицитный жанр, с учетом новых и сложных требований, продиктованных нашей жизнью.

Герои рассказов И. Ефремова, — отважные и мужественные советские люди, — продолжают прекрасные и смелые традиции завоевателей земли, открывателей новых путей к победе человека над непокорной природой, к разумному и деятельному счастью человека.

Не случайно поэтому, что в ряде рассказов

И. Ефремова наша современность как бы перекликается с прошлыми временами. В этих рассказах очень ощутимы нити, связующие наших героев-искателей с героями-искателями прошлого. Вот в рассказе «Путями старых горняков» горный инженер Канин преодолевает под землей тот же самый трудный и смелый путь, которым прошел до него молодой крепостной шахтер, спасаясь от преследования хозяина. В одном из лучших рассказов И. Ефремова — «Встреча над Тускаророй» — судьбы советских моряков причудливым образом переплетаются с трагической судьбой английского капитана Эфраима Джессельтона, владельца корабля «Святая Анна» — отважного исследователя морских пучин. В рассказе «Белый рог» геолог Усольцев позторяет подвиг таинственного черного воина, прибывшего «из далекой жаркой страны, где страшный пламень солнца жжет мертвые пески на берегах горячего Красного моря», — подымается на неприступную скалу Ак-Мюнгуз и взамен золотого меча, оставленного там черным воином, кладет свой геологический молоток.

Линию традиций героического прошлого в героической нашей современности можно проследить в других рассказах И. Ефремова.

Хочется отметить еще одну, может быть, и второстепенную, но характерную деталь прямой принадлежности И. Ефремова к приключенческому жанру — деталь, так сказать, личного, биографического плана.

И переживаешь невольное разочарование, когда узнаешь, что великолепный непоседа Жюль Верн, проведший своих читателей едва ли не по всем странам земли — и в Южную Америку, и в Австралию, и в Африку, и на Северный полюс, и в джунгли Индии, тихо и смиренно жил во французском уютном провинциальном городе, и, если не считать комфортабельной поездки в Америку и прогулок на увеселительной яхте, не совершил ни одного сколько-нибудь значительного путешествия.

«Я довольствуюсь вот этим», — сказал однажды Жюль Верн своему другу Лемюру, указывая на большую карту, украшавшую стену его кабинета...

И как волнующе понятно было узнать о мятежной и беспокойной жизни Томаса Майн-Рида, о том, что острова Тихого океана занимали такое большое место в жизни Стивенсона, что биография Джека Лондона превосходит по своей напряженной занимательности жизнь любого из его героев... Правда же, испытываешь чувство определенного удовлетворения, когда узнаешь, что, прежде чем взяться за перо, И. Ефремов прошел довольно сложный и богатый разносторонним практическим опытом скитальца жизненный путь. В прошлом он — моряк, ныне — профессор палеонтологии, доктор биологических наук, горный инженер, неутомимый путешественник, исколесивший в научных экспедициях Сибирь, Дальний Восток, Среднюю Азию. Думаешь: значит, он много видел, много пережил сам, — значит, ему вполне можно верить.

## 2. ПИСАТЕЛЬ

Было бы ошибкой считать, что успех рассказов И. Ефремова и стремление журналов и издательств печатать их обусловлены только тем, что он поставил свой заявочный столб у золотой жилы «дефицитного» жанра, который к то-

ду же вызывает особенный интерес и симпатии у нашего читателя.

Дело еще и в том, что И. Ефремов — интересный, своеобразный писатель. И в этом плане прежде всего заслуживает внимания идейная направленность его рассказов.

В авторском эпиграфе к книге «Белый рог» И. Ефремов пишет:

«... Я уверен, — сильно ошибаются те, кто предполагает, что романтике не будет места на нашей планете, измеренной вдоль и поперек. Огромный бесконечно просторный мир творческого исследования окружает нас. Стоит лишь заглянуть в него, чтобы убедиться, как смешны рассуждения о скуке жизни. Всестороннее познание природы и творческий труд — крылья человеческого духа...»

В этом авторском слого отчетливо выражена благородная идея, ведущая в жизни героев рассказов И. Ефремова.

«Ищите — и найдете; боритесь — и завоеуете». Эта боевая устремленность близка и понятна советскому человеку — творцу, создателю и участнику героической неустанной борьбы за свою жизнь и счастье.

Высокий, действительный гуманизм, оплодотворенный научным, марксистским мировоззрением, бескорыстная, самоотверженная любовь советского человека к своей прекрасной родине, побуждающие его дерзать, творить, искать, — вот что составляет идейную основу рассказов И. Ефремова.

Подлинной романтикой свободного труда исполнены эти рассказы.

Геологи смело отправляются к ртутному озеру, зная, что пары его губельны для всего живого.

— «Если мы откроем такое месторождение — это переворот во всей ртутной экономике! — Ртуть — важнейший металл медицины и войны...»

Геодезист, устанавливающий астрономический пункт в мертвой пустыне Монголии, думает, заканчивая свою работу:

«Наваленная сверху высокая пирамида камней издаലെка укажет астрономический пункт в самой забытой богом и людьми местности... Право же, это не плохая о себе память и не плохой вид творческой работы на общую пользу...»

В этих простых, благородных чувствах людей заключается прямое и сильное воспитательное воздействие рассказов И. Ефремова на читателя — воздействие, поданное не в плане дидактического поучения, а путем пробуждения в читателе волевых творческих эмоций.

В рассказе «Белый рог» спорят герои — геолог Усольцев — и любимая им девушка. Девушка говорит:

«— Разве этого мало — выбрать себе высокую, неизмеримо трудную цель, пусть несоизмеримую с вашими данными. Вложить всего себя в ее достижение. Я так ясно представляю себе Эверест. Роковая, обнаженная, скалистая гора. На той недоступной высоте ужасные ветры, даже снег не держится. Вокруг — страшные пропасти. Рушатся ледники, скатываются лавины. И люди упорно ползут наверх, вперед... Если бы мы могли почаще ставить себе подобные завоеванию Эвереста цели!...»

Как полно и точно выражена в этих словах целеустремленная, непреклонная душа совет-

ского человека! Сколько таких Эверестов завоевано и в годы мирного строительства и в годы Великой Отечественной войны советскими людьми, всем советским народом!

Герои рассказов И. Ефремова — это не какие-нибудь исключительные герои. Это — люди повседневного трудового подвига.

Геолог Чурилин, в невероятно трудных условиях разрабатывающий алмазную «трубу» в тайге (рассказ «Алмазная труба») так думает о своем товарище, разделившем с ним все трудности исканий и работы:

«Что заставляет людей идти на такие невздуманные, никому неизвестные подвиги? Если мы выйдем, — разве кто-нибудь узнает о стойком героизме этого человека? Пережитое быстро сопрется, забудется, покажется тяжелым сном, — кто же рассказывает всерьез о снах? А если мы не выйдем, — тоже никто не узнает. Больше того, скажут — погибли от неумелости, неосторожности... А у Султана там, в далеком мире, за тысячи километров, — жизнь, счастье, любимая женщина, ждущая давно, тревожно и нетерпеливо...»

Все идейное благородство как раз в том и заключается, что и сам Чурилин, и Султанов, как и сотни тысяч советских людей, работают совсем не для того, чтобы кто-то узнал об их труде, об их подвиге. Иные, более высокие побуждения движут ими: бескорыстное, самоабвенное служение родине, народу, а все личное, предходящее отодвигается на второй план.

Торжественным, радостным гимном человеческому созидательному труду звучат слова старого океанографа, с которыми он обращается к советским морякам (рассказ «Атолл Факаофо»):

«... Среди низких атоллов Токелау есть атолл Факаофо — небольшой остров, около трехсот метров в диаметре; однако живет на нем шестьсот человек, — гораздо больше, чем на соседних островах. В прилив от Факаофо над поверхностью моря виден только плотный серо-зеленый купол густой рощи кокосовых пальм. Атолл Факаофо лежит в девяти градусах к северу от экватора, на пути постоянных ураганов. В то время как ураганы затопляют соседние островки, обитатели Факаофо чувствуют себя в безопасности. Бронзовокожие прирожденные моряки, полинезийцы, обнесли остров стеной из крупных кусков кораллового рифа и сделали настил в середине, подняв поверхность своего острова почти на пять метров над уровнем прилива. Таким образом, туземцы, лишённые всяких механизмов, не вооруженные техникой, создали себе безопасный приют. Какое бесстрашие и глубокое вековое знание океана нужно было иметь, чтобы противопоставить грозной мощи стихии слабые силы простых человеческих рук! Атолл Факаофо всегда служит для нас примером могущества человека и его власти над морем...»

Волевая направленность героев — обязательный жанровый признак приключенческой литературы. И. Ефремов полностью сохранил этот признак в своих рассказах, но по-своему принял его и дал ему иное, новое содержание.

По существу, он влил в старые меха новое, молодое вино — крепкое, благоуханное вино советской идейности. В самом деле насколько различны между собой моральные стимулы, управляющие поступками его героев, устремляющие их на подвиг, и моральные сти-

мулы хотя бы большинства героев Джека Лондона с их откровенным честолюбием и своекорыстием!

В этой своеобразной поправке к условиям жанра — бесспорная заслуга советского писателя И. Ефремова. И эта же его поправка дает нам возможность и определить, чем в основном привлекают нас к себе его рассказы, почему они так волнующе близки нам.

Есть еще одна сильная сторона рассказов И. Ефремова: изобразительные средства, которыми пользуется автор. Здесь Ефремов достигает очень многого в смысле точности и непосредственности передачи виденного.

Он смотрит на мир как беспоконный странник, как путешественник, привыкший ночевать в палатке или под открытым небом у костра, любящий не внешнюю красоту природы, а умеющий понимать и любить ее суровое и строгое обличье. Для описаний величественной, могучей природы, диких, еще мало исследованных просторов он находит яркие, сочные краски.

...«Свежий ветер колыхал темнозеленые ветки кедров. Между двумя деревьями, левее, как в темной раме, висели в розовом чистом свете легкие контуры четырех острых белых вершин. Воздух был удивительно прозрачен. По крутым склонам белков струились все мыслимые сочетания светлых оттенков красного света. Немного ниже, на выпуклой поверхности голубого ледника лежали огромные косые синие полосы теней...» Так описывает И. Ефремов первую встречу одного из своих героев с Алтайскими белками. Таковы и другие описания природы, — точные и в то же время лирические.

Экспедиция совершает переход по льду над горным потоком (в рассказе «Голоц Подлунный»).

«Странно и жутко было идти, скользя и балансируя, и видеть прямо под своими ногами, сквозь зеленоватую прозрачную плиту льда полуметровой толщины, бушующие волны реки, мелькавшие в зеленоватом мерцании с огромной быстротой. Особенно жутким казалось то, что этот хаос воды и пены несся под нашими ногами совершенно беззвучно, как будто заколдованный тяжелой морозной мглой в ущелье...»

Интересно, что изобразительная точность присуща И. Ефремову и в тех случаях, когда он дает описание заведомо вымышленных картин природы. Здесь, вместо личного опыта, на помощь ему приходит точное, научно обоснованное знание того, о чем он говорит. Таковы, например, описания морских глубин, в которые опускается чудесный телевизор в рассказе «Атолл Факаофо».

Таково описание берега силурийского моря, увиденного палеонтологом Никитиным с помощью изобретенного им аппарата.

«Перед ним был берег необычайно прозрачного зеленого моря. Плоскость серебристо-белого песка неуловимо переходила в изумрудную воду, длинные прямые гребешки маленьких волн застыли в своем взлете, прочерпив кристально-ясную поверхность воды яркими синегато-зелеными полосами. На более далеком плане эти полосы дробились в преугольники; заостренные вершины волн заворачивались вниз, показывая вспышку ослепительно белой, тоже серебрищейся пены. В чистой зелени воды даль казалась голубой, чувствовалась дивная прозрачность воздуха и поразительная яркость света...»

Сюжетная занимательность — неперенное условие приключенческого жанра. Рассказы И. Ефремова занимательны. В их сюжетах, правда, нет нарочитого стремления к тому, чтобы все время держать читателя в напряжении. Больше того — они не блещут остротой и неожиданностью положений. Значительная часть рассказов разворачивается даже в несколько замедленном темпе. Взять, к примеру, один из наиболее драматических рассказов «Аллергорхой-хорхой». В нем очень подробно описано, как геодизист Зубов едет на машине по Монгольской пустыне. В рассказе семнадцать страниц, и только на последних четырех страницах описывается встреча в барханах с какими-то страшными червями и трагическая смерть двух членов экспедиции. На тринадцати страницах дано описание путешествия в однообразной обстановке пустыни. Но именно этим — волюно или невольно — И. Ефремов достигает неожиданного эффекта. Детальное, точное описание путешествия убеждает читателя в реальности всего происходящего, и поэтому, когда появляются смертоносные черви, то они, естественно, воспринимаются как реальность.

Этот прием — длительная, иногда даже чрезмерно затянутая подготовка читателя к восприятию «чужесного» — повторен И. Ефремовым в ряде рассказов. Точно так же построены рассказы «Голоц Подлунный» и «Тень минувшего» — в первой своей части.

Вобщем следует отметить, что рассказы И. Ефремова не отличаются богатством и разнообразием сюжетов. Автор вводит своего читателя в самую различную обстановку — тут и Южная Африка, и Кэптаун, и Алтай, и Оренбургские степи, и Монгольская пустыня, и ледяная Якутия, и леса и болота Средне-Сибирского плоскогорья, и огненная Средняя Азия, и норвежские фиорды, и острова Тихого океана. Но это разнообразие — чисто внешнего порядка. Не трудно заметить схожесть сюжетов ефремовских рассказов, которые по существу можно разделить на две основные группы: 1) рассказы, где человек сталкивается с чудесным в природе и после ряда усилий объясняет это чудесное с помощью науки («Озеро горных духов», «Обсерватория Нур-и-Дешт», «Тень минувшего», «Бухта радужных струй»); 2) рассказы, в которых человек стремится к определенной цели и достигает ее, преодолевая ряд препятствий («Путями старых горняков», «Голоц Подлунный», «Белый рог», «Алмазная труба», «Атолл Факаофо», «Последний марсель»).

Человек-искатель, человек-борец, срывающий покров тайны с природы, — излюбленный герой приключенческой литературы. Огромное большинство произведений этого жанра построено именно по одной из указанных выше двух схем, дающих неисчерпаемые возможности вариаций. Но все же хотелось бы видеть в небольших сравнительно рассказах, собранных к тому же в книги, больше сюжетное разнообразие. У И. Ефремова есть определенные успехи в отклонении от общоизвестных им схем. Три рассказа: «Встреча над Тускаророй», «Аллергорхой-хорхой» и «Катти Сарк», построены по несколько другим сюжетным планам и, кстати сказать, являются, пожалуй, и наиболее удачными рассказами.

Все исполнено таинственной и какой-то ми-

норной романтики в рассказе «Встреча над Тускаророй». Где-то около Курильских островов, ночью, советский пароход сталкивается с полузатонувшим старинным кораблем. Водолазы находят на корабле дневник его капитана Джессельтона, уцелевший от воздействия времени и воды в оловянной банке. Из этого дневника советские моряки узнают, что капитан Джессельтон занимался изучением морских глубин, причем ему удалось достать со дна океана удивительную воду, обладающую животворным свойством... Спустя некоторое время один из советских моряков попадает в Кэптаун. Там, в портовом кабаке, он слушает старинную песенку, которую исполняет на эспраде девушка «в черном бархатном платье с кружевным воротником». В песенке говорится о капитане Джессельтоне и о чудесной живой воде. Моряк поражен этим. Его удивление возрастает, когда он узнает, что девушка носит фамилию капитана. Он знакомится с ней, рассказывает о находке на затонувшем корабле. Девушка не верит его рассказу. «Да, вы настоящий моряк, без сомнения, если можете так здорово выдумывать!..» На утро моряк уплывает из Кэптауна. Больше он никогда не вернется сюда, никогда не встретится с девушкой Эни Джессельтон, и связь между ее песенкой и находкой на старинном корабле останется для него тайной...

Многое недоговорено в этом рассказе, но именно в этом его привлекательность, его лиризм, именно этим он выгодно отличается от других рассказов.

О рассказе «Аллергорхой-хорхой» мы говорили выше. Хочется сказать несколько слов о рассказе «Катти Сарк». В английском портовом городке Фальмуте группа моряков-энтузиастов уходящего в прошлое парусного флота решает во что бы то ни стало собрать для истории флота знаменитый клиппер «Катти Сарк». Одному из этих моряков удалось добиться покупки клиппера, чтобы поместить его в морской музей. Клипперу предстояло пройти огромный, семитысячечильный путь. Во время его следования от берегов Африки к Панамскому каналу — действие происходит в дни войны — клиппер повстречался в Атлантическом океане с немецким линкором. Благодаря прекрасной маневренности и скорости хода «Катти Сарк» удалось уйти из-под обстрела грозного врага.

«... Ветер гудел все громче, накрывая «Катти Сарк» и сплывая брамстенги. Усилившийся скрип дерева и звон стоячего такелажа влились в хор прежних звуков. Громче стали тяжелые всплески, посылались тупые удары днища корабля о воду. «Катти Сарк» летела, как никогда

еще за всю свою семидесятилетнюю службу. Она мчалась прямо на запад, спасая себя от следовавшего за нею чудовища...»

«Катти Сарк» — гордый беспомощный лебедь, — думал молодой лейтенант. — Корабль, созданный для смелой борьбы с океаном, но не с бронированным чудовищем... Как красив клиппер в этом своем последнем порыве, несущий, будто высокую грудь, чистые, белые паруса... Последний, уже бесполезный и обреченный свидетель золотого века парусного флота...»

Наиболее уязвимым местом в рассказах И. Ефремова оказывается изображение людей. Он создал отчетливо и полно обрисованный общающийся образ искателя чудесного в жизни, носителя высоких и благородных идей, но, за редким исключением, образа живого человека у него не получилось.

Попробуйте-ка определить, чем отличается геолог Усольцев от геолога Чурилина, палеонтолог Никитин от инженера Ганешина... Различны только внешние обстоятельства их жизни и обстановка, в которой они действуют. Прислушайтесь к их голосам — даже говорят они все каким-то одним языком — не очень-то выразительным и довольно примитивным по своим интонациям...

Странная и досадная вещь происходит с героями И. Ефремова — стоит им только выйти за пределы активного действия в пустыне, тайге или на палубе корабля и вступить в круг обычных человеческих чувств и эмоций — задуматься, запустеть, полюбить, развеселиться, как они сразу блекнут и тускнеют.

В этом плане особенно досадное впечатление производят женщины ефремовских рассказов. Их не очень много, и все они выполняют второстепенные, подсобные функции и в общем все они на одно лицо...

К И. Ефремову можно и должно относиться придирчиво и требовательно. Совершенно в его силах и возможностях исправить в дальнейшем отмеченные недостатки. Есть все основания ждать от И. Ефремова такого же серьезного продолжения работы, каким было ее успешное начало.

На мой взгляд, нет ничего бесплоднее литературных пророков и советчиков. Не беря на себя их обременительных функций, хочется сказать, что по-моему решительный и полный успех ожидает И. Ефремова в какой-то новой, большой и очень личной работе, в отношении которой перечисленные рассказы займут место своего рода этюдов.

# БИБЛИОГРАФИЯ

## СБОРНИК О ЛЕНИНЕ\*

В сборнике «О Ленине» напечатано пятьдесят наиболее значительных художественных произведений или отрывков в стихах и прозе. Количество произведений о Ленине неизмеримо больше. В одном фольклоре насчитываются многие сотни записанных уже песен, сказов, легенд. Образ Ленина — любимейший в народном творчестве. Пламенной, неугасимой любовью окружает народ память вождя. Идя по пути, предначертанному Лениным, каждодневно и в большом и в малом претворяя в жизнь его заветы, советские люди проникнуты чувством благодарности к тому, кто указал им необозримые перспективы их поступательного движения. Горячая любовь к величайшему из людей дала силы нашим лучшим писателям и поэтам верно запечатлеть бессмертные черты его облика. Лучшее из того, что дала советская литература о Ленине, собранное вместе, создает яркий образ творца нового мира.

Решающее значение в создании образа Ленина имела и имеет речь И. В. Сталина, произнесенная им на траурном вечере кремлевских курсантов 28 января 1924 года и очерк А. М. Горького: «В. И. Ленин». Горячей любовью дышит каждое слово сталинской характеристики Ленина. В речи И. В. Сталина мы видим Владимира Ильича и в дни поражения, и в «роли победителя». Вот Ленин, придя «на собрание раньше делегатов и забывшись где-то в углу, по-простецки ведет беседу, самую обыкновенную беседу». И вот он же, выступая с вдохновенной речью, простой, глубокой и ясной, наполненной необычайной силой убеждения, приводит в восторг своих слушателей. Сталинская характеристика Ленина дает целостный яркий образ вождя.

В очерке Горького образ Ленина воспроизведен всесторонне, исторически. Ленин — на лондонском съезде партии в борьбе с меньшевиками отстаивающий чистоту партийной теории, разящий врагов убийственной иронией, железной логикой большевистской правды. Ленин — на Капри в часы отдыха с итальянскими рыбаками, которые сразу распознали в нем большого, но простого человека и полюбили его. Ленин — во главе советского государства, решающий вопросы общенародного значения и не забывающий позаботиться о здоровье товарищей, успевающий решать вопросы организации советского

аппарата, принять участие в осмотре образца нового вооружения, знакомиться с книжными новинками. Со скульптурной ошугимостью воспроизводит Горький образ Ленина — цельный, сложный, живой, глубокий. Мы видим сократовский лоб Ильича, слышим заразительный, чистый смех человека «простого, как правда», слушаем его речь, из слов которой возникает «художественно выточенная фигура правды», любимся пронизательными «всевидящими глазами», молниеносно распознающими истинный смысл и ценность людей, событий, фактов. Горький с огромной силой показывает нам грандиозное богатство внутреннего мира «большого, настоящего человека мира сего». В очерках Горького каждое слово насыщено великой любовью к «гению революции», как его назвал товарищ Сталин. Перед нами встает во весь свой исполинский рост Человек с большой буквы, о котором всю жизнь мечтал Буревестник революции и которого он увидел в Ленине.

★

Художественное воспроизведение сложного образа Ленина — гигантски трудная задача. Десятки лучших советских поэтов и прозаиков, следуя за Горьким, отдали ей свои самые сильные творческие порывы. Книга в целом создает прекрасный образ Ленина. Глубокая вера в могучую силу ленинских идей, в неразрывную связь вождя с миллионными массами нашла прекрасное выражение в поэзии Маяковского.

Великому вождю посвящена замечательная поэма — «Владимир Ильич Ленин».

Я знал рабочего.

Он был безграмотный.

Не разжевал

даже азбуки соль.

Но он слышал,

как говорил Ленин,

и он

знал — все.

Я слышал

рассказ

крестьянина-сибирца.

Отобрали,

отстояли винтовками

и раем разделили селеньице.

Они не читали

и не слышали Ленина,

но это

были ленинцы.

\* «О Ленине». Сборник художественных произведений, Гослитиздат, 1945 г., 215 стр.

Близкая к фольклору поэзия Джамбула, со всеми ее национальными особенностями, с восточной пышностью, которая вместе со словами простыми, почти прозаическими, образует своеобразный поэтический сплав, сочетающий мудрость древности с величием современной эпохи. Джамбул посещает мавзолей и видит:

...в гробу он лежит, как живой,  
Спокойный и мудрый, простой и родной;  
Знамена склонились с любовью над ним,  
Проходят народы, а он недвижим,  
Не слышит, как я ему, спорблен и сед,  
Шепчу по-казахски сыновней привет  
И клятву шепчу ему — ленинцем быть,  
По-ленински думать, бороться и жить,  
И детям, и внукам, и правнукам — всем  
Поведать и в песнях и в строфах поэм,  
Что Ленин, как солнце, планету живит,  
Что в Сталине ленинский гений горит.

Образ Сталина в творчестве поэтов всех народов неизменно встает рядом с образом Ленина.

В поэме Степана Щипачева «Домик в Шушенском» присущая этому поэту лирическая струя сливается с эпикой грозного дыхания грандиозной эпохи.

Горит свеча, чуть-чуть колеблет тени...  
Село до ставней вьюги замели,  
Но здесь, где трудится, где мыслит Ленин,  
Здесь, в Шушенском, проходит ось земли.

Уж полночь, окно бело от снега,  
А он всё пишет, строчки торопая.  
Сквозь вьюги девятнадцатого века,  
Двадцатый век, он разглядел тебя.

И он уж знает, в чем России сила  
И чем грядущее озарено.  
Пусть еще не высохли чернила —  
Словам уже бессмертье дано.

Еще «десятилетним мальчиком Чапаев на побегушках в чайной у купца»; в приюте «мальчишка Костриков Сережа»; двадцатилетним юношей Сталин по переулкам глиняным идет, в его спокойной и негромкой речи —

Как клятва, имя Ленина звучит.  
И ни Сибирь, ни гор кавказские гряды  
Их не разделят — встретятся они,  
Чтобы стоять в тысячелетях рядом.

В отрывках из романа «Пархоменко» Всеволода Иванова и в повести «Хлеб» Алексея Толстого хорошо переданы любовь Ленина и Сталина к людям из народа, глубокая вера в творческую силу масс, великое умение отыскивать талантливые самородки в бурлящем потоке людского половодья.

Сталин посылает Пархоменко в Москву за снарядами для Царицынского фронта. Ленину с первого взгляда понравился посланец Сталина, и он откровенно любит его могучей фигурой, загорелым лицом и смеется «от удовольствия видеть, что именно зот такого упорного и настойчивого рабочего послал Сталин в Москву». В повести Толстого талантливо показано превращение в жизнь гениальных решений Ленина, определяющих ход гражданской войны.

Весна 1918 года. Происходит беседа Ленина со Сталиным, который раскрывает значение Царицына в борьбе за хлеб. Алексей Толстой в этом, наиболее удачном месте повести превосходит

но изобразил единомыслие Ленина и Сталина, их глубокое взаимопонимание, их духовное единство.

Ленин, выслушав Сталина, говорит:  
...«Определяется центр борьбы — Царицын. Прекрасно! И вот тут мы и победим...»

Сталин усмехнулся под усами. Со сдержанным восхищением он глядел на этого человека — величайшего оптимиста истории, провидящего в самые тяжелые минуты трудностей то новое, рождаемое этими трудностями, что можно было взять как оружие — для борьбы и победы...»

★

Удачно подобран фольклорный отдел книги, — небольшой, но дающий представление о своеобразии народного творчества, которому имя Ленина, как неиссякающий живительный родник, дает новую силу и красоту. В узбекском сказе «Воины и Ленин» говорится о том, что из массы людей, бесследно прошедших по земле, некоторые оставили след, но след этот страшный, кровавый, покрытый пеплом сожженных городов. Это путь великих полководцев: Тамерлана, Чингиз-хана, Александра Македонского. Но Ленин был могущественнее всех этих воинов, взятых вместе, ибо он один построил то, что они разрушали тысячу лет. И как бы обобщая и подчеркивая эту мысль, азербайджанская народная песня «Он видел на тысячелетия вперед» говорит о Ленине:

Были великие люди у разных народов...  
Он же — велик для всего человечества.

В представлении всех народов мира Ленин — олицетворение правды, справедливости, красоты, человеческого счастья. В белорусской сказке «Ленинская правда» рассказывается, как один из двух братьев, после того, как их обманули пан и поп, пошел работать на фабрику и Ленин одобрил это и рассказал, «как надо за рабочую правду бороться, чтобы не служить ни панам, ни купцам, ни фабрикантам, и как выгнать их вместе с царем.

Вернулся брат на фабрику и начал товарищам ленинскую правду рассказывать. Один рассказывает — десять слушают, десять рассказывают — сто слушают. И пошла ленинская правда по всему свету» и в октябре семнадцатого года взяла верх.

В широко известной украинской песне «Соколы» средствами фольклора изображается историческая клятва товарища Сталина, а в русской песне «Дороженька» — счастье и радость, принесенные колхозным строем.

Имя Ленина вдохновляло советских поэтов в дни Отечественной войны. В сборнике помещено несколько стихотворений, в которых показывается, как имя Ленина воодушевляло советских людей на великие подвиги во имя Родины. В стихотворении Щипачева немецкий полковник, по приказу которого фашисты низвергли статую Ленина,

...на рассвете задрожал от страха:  
Как прежде памятник в саду стоял,  
Незримой силой поднятый из праха.

Заторопились офицеры вдруг.  
Неясные вдали мелькали тени.  
То партизаны, замыкая круг,  
Шли на врага. И вел их Ленин.

Воплощение темы принимает самые разнообразные сюжетные формы. Надпись «Улица Ленина», появляющаяся каждую ночь на обгорелых стенах сожженной немцами улицы советского города, и встречающая наших наступающих воинов — как братский привет родной освобождаемой земли (С. Васильев — «Улица Ленина»). Неожиданная помощь старухи из колхоза имени Ленина попавшим в окружение и погибающим от голода красноармейцам (рассказ С. Головановского — «Подарок от Ленина»). Изображение Ленина на знамени, призываю-

щее бойцов вперед, к освобождению родины от ненавистного врага (С. Гудзенко — «Баллада о знамени»). Ленин, мчащийся на броневике по ночным улицам Ленинграда и призывающий народ к победе. (И. Мосашвили — «Ленин на броневике»).

В короткой статье невозможно полностью охватить содержание сборника. Книга эта, включающая лучшее из того, что создано нашими писателями и поэтами о Ленине, представляет большой интерес для читателей

А. Костицын

★

## ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ЛЮДИ

Перед нами изданные в 1945 году четыре книжки из серии «Великие русские люди», выпускаемой издательством «Молодая гвардия»: чл.-корр. Академии наук СССР Х. Коштоянца «Иван Михайлович Сеченов»; Вл. Холодковского «Николай Иванович Лобачевский»; Г. Голозина «Александр Степанович Попов» и проф. Н. Водовозова «Николай Васильевич Гоголь».

На первый взгляд кажется, что, посвященные жизнеописанию столь разнородных деятелей, как физиолог, математик, физик и писатель, они подлежат строго-изолированному обсуждению и во всяком случае не дают повода для плодотворных сравнений, обобщений и оценок. На самом деле это не так. Книжки эти — не специальные научные монографии, адресуемые каждая определенному специалисту: физиологу и математику уже известно то, что о Сеченове и Лобачевском говорится в названных книжках. Это — популярные биографии, предназначенные для массового читателя. Этот читатель — современный советский интеллигент, преимущественно молодого возраста, стремящийся чтением книги пополнить свое образование, в частности — свое представление о величайших творцах в самых разнородных сферах русской культуры.

Потребности этого читателя и должны определять тип подобного рода книг, и отсюда вытекают те специфические требования, какие должны быть к ним предъявлены сверх общих требований, предъявляемых к современной советской книге.

Каковы главнейшие из них?

Первой по важности предпосылкой для успешного создания такой книги должно быть наличие у ее автора цели в ее концепции лица, о котором он пишет. Разумеется, это не только не значит, что такая концепция исключает те или иные противоречия в облике, в жизни и в творчестве изображаемого деятеля; наоборот, они должны быть вскрыты биографом со всей возможной ясностью, но в цельной концепции автора они должны найти свое органическое место, что, кстати сказать, и делает ее цельной. Если биографу «некуда девать» ту или иную сторону деятельности и жизни изображаемого лица или даже существенный эпизод из его деятельности, хотя бы это был и отрицательный эпизод: научное или идеологическое заблуждение, промах, ошибка и т. п., — то это вер-

нейший признак, что у биографа нет цельной концепции изображаемого лица.

Вторым важнейшим требованием, которым должны удовлетворять данного рода книги, является предельная ясность изложения. Это диктуется именно тем, что в подавляющем большинстве случаев по ним будут знакомиться с специальными отраслями знания читатели, имеющие о них самое общее и недостаточно ясное представление.

О других требованиях, как правильный идеологический угол зрения на деятельность изображаемого лица, как точность сообщаемых фактов и др., мы не говорим, потому что это касается любой книги.

Из четырех рецензируемых биографий вполне удовлетворяющей указанным требованиям является превосходная книжка Х. Коштоянца о Сеченове. Прочитав ее, читатель получает не сумму фрагментов жизни и творчества нашего великого физиолога, но ясное и живое представление о нем самом в нерасторжимой цельности прожитой им жизни и совершенного им научного подвига. Говорит ли автор о строе домашнего воспитания Сеченова, или о годах его учения, или об особенностях его эпохи, — читатель со всей ясностью ощущает, что это не заполнение граф биографической анкеты, а воссоздание черт живого лица, что это — органические элементы цельного и законченного портрета, что близость, например, Сеченова с Чернышевским самым непосредственным образом отразилась в составе и характере сделанных им научных открытий и в их направлении.

Высокой оценки заслуживает формальная сторона работы Коштоянца: книжка написана с большой ясностью и простотой, но достигнуто это не ценой отказа от сложности и серьезности вопросов, которые здесь трактуются, не «упрощенностью» содержания, а строгой логичностью изложения, точностью формулировок, умелым подбором примеров, наконец стилистической лаконичностью. Впечатление от книжки остается чрезвычайно живое, несмотря на то, что автор совершенно воздержался от столь частого у писателей-популяризаторов приема «оживлять» так называемую сухую материю изложения путем введения забавных эпизодов или даже анекдотов из жизни изображаемого деятеля.

В частности, не побрезговал этим приемом и автор жизнеописания Лобачевского В. Холодковский. Вот как, например, начинает он главу о

юности великого математика: «Окно университетской канцелярии распахнулось, и из него выставилось дуло астрономической трубы. Прямо против окна на темном августовском небе стояла крупная белая звезда, от которой тянулась как бы полоса светящегося тумана. Однако лохматые осенние тучи то и дело закрывали небо. Рядосадованный профессор сердито ворчал себе что-то под нос по-немецки. Погода явно не благоприятствовала успеху наблюдений... Тем не менее профессор Литтров и оба его помощника со всей возможной в таких условиях точностью провели эти первые в Казани астрономические наблюдения. И вскоре Литтров опубликовал в «Казанских известиях» небольшое научное сообщение: «О результатах наблюдений положения кометы, произведенных магистром Николаем Лобачевским и студентом Симоновым».

Намерения автора этой словесной завитушки были, конечно, самые благие: «оживить» изложение, приохотить читателя к книге, посвященной не легкой теме, и т. д. Но результат получается как раз обратный: от читателя подобного рода книги требуется сосредоточенное, серьезное, повышенное внимание, а всему этому отвлекательный тон приведенных выше строк наносит явный ущерб, разоружает его интеллектуальную собранность, предрасполагая к знакомству с чем-то забавным. И ведь не для малых ребят это написано.

С другой стороны, едва ли можно признать целесообразным и правильным тот путь, который избрал автор для ознакомления читателя с сущностью сделанных Лобачевским научных открытий: вместо популярного изложения его теорий Холодковский в большинстве случаев приводит пространные цитаты из ученых трудов великого математика, цементируя их словесными мостиками вроде той же завитушки с астрономической трубой. Но беда в том, что Лобачевский отнюдь не стремился к популярности изложения, он писал для самых квалифицированных специалистов, для ученых математиков. В результате — теории Лобачевского остаются для рядового читателя данной книги темны и непонятны. С полной открытостью признаюсь, что она весьма мало что прибавила к моему представлению о математике Лобачевского, несмотря на все внимание, с каким я, не-математик, эту книгу читал. Правда, перед автором ее стояла труднейшая для популяризатора задача, и преуменьшать ее трудность было бы верхом несправедливости. Ведь десятки лет Лобачевский оставался непонят даже в кругу ученых математиков. Но если уж браться за эту задачу, то приступать к ней надо не с такими приемами, которые явно не могут привести к успешному результату.

Так обстоит дело со вторым условием. Что касается первого — наличия стройной и цельной концепции, то и тут не все безусловно: книжка Холодковского фрагментарна. Надо отдать автору справедливость: он проявил большое усердие в изучении жизни Лобачевского, собрал интересный и ценный материал, но цельного сплава из него не получилось. Описание перехода бурной, веселой, даже озорной молодости Лобачевского в сосредоточенную и суровую упрямость зрелых лет и старости — как-то неожиданно, слабо мотивировано, местами явно натянуто. Автор не объясняет сравнительно терпимое от-

ношение знаменитого мракобеса и разрушителя Казанского университета Магницкого к строптивцу Лобачевскому. Это непременно должно было быть объяснено и мотивировано в его биографии. В иных случаях, наоборот, автор находит нужным давать явно натянутые «объяснения», когда в них не встречается особенной нужды. Так, в главе «Закат» мы читаем: «Поглощенный своей наукой и университетом, Николай Иванович довольно поздно, — лишь на сороковом году, — удосужился наконец подумать об устройстве личной жизни. В 1832 году, уже будучи ректором, женился он на пятнадцатилетней девушке из местной дворянской семьи, Варваре Александровне Моисеевой». Казалось бы, в качестве ректора и в пору максимальной интенсивности своей творческой работы Лобачевский был поглощен «своей наукой и университетом» не меньше, а больше, чем прежде, но вот однако же «удосужился»!

Еще более неудачна написанная профессором Н. Водовозовым биография Гоголя, причем нельзя не принять во внимание, что написать хорошую и популярную книгу о Лобачевском — задача неизмеримо более трудная, чем о Гоголе: «Мертвые души» и «Ревизора» знает каждый грамотный человек, а с не-эвклидовой геометрией Лобачевского знакомы весьма немногие.

Книжку проф. Водовозова точнее будет называть хронологически расположенным сводом биографических материалов, а не биографией, если за основной признак последней принять цельную, законченную фигуру изображаемого деятеля. В книжке нет даже намека на организуемое начало, на центр, который объединял бы приведенные в ней материалы в систему. Достаточно сказать, что здесь нет ни слова о столь очевидной для каждого исследователя связи мировоззрения Гоголя с социальными моментами его биографии!

Но даже и как хронологический свод биографических материалов книга несободна от существенных дефектов. Свод не полон и внутренне несоразмерен: зачастую в нем отсутствуют крайне важные элементы параллельно с упоминанием незначительных биографических эпизодов. Биографические факты изложены порой не отчетливо, порою неверно.

Несколько примеров, иллюстрирующих сказанное. На странице 101, где говорится о первом знакомстве Гоголя с Гончаровым, Григоровичем и Некрасовым в доме А. А. Комарова, приведена довольно пространная сценка, как хозяин дома потчевал Гоголя малагой и как Гоголь от нее отказывался. Ради чего эта сценка приведена — непонятно. Или на целых четырех страницах излагается неудавшаяся попытка Гоголя стать профессором истории. И в то же время во всей книге нет буквально ни слова о петербургских повестях, — даже простого упоминания о «Портрете», «Невском проспекте», «Носе», как если бы *а* не существовало на свете этой одной из самых могучих книг в мировой литературе! Не упомянуты нигде и «Коляска», и «Женитьба»...

Очень странное впечатление остается у читателя от некоторых эпизодов биографии Гоголя в изложении проф. Водовозова: то — да не то... Вот как, например, излагает автор прием, оказанный «Вечерам на хуторе близ Диканьки» в типографии, где книга печаталась: «Однажды,

когда Гоголь зашел в Петербурге в типографию, где печаталась его книга, он был поражен тем, как встретили его наборщики. Оказывается, вся типография с восторгом читала его книгу. Узнав об этом; Пушкин поздравил Гоголя с «первым торжеством», какое может быть только у настоящего народного писателя».

Поистине, это худший вид изложения: здесь опущено самое существенное и «добавлено» не бывшее. Эпизод этот кратко и ясно изложен в письме Гоголя к Пушкину. А затем он изложен и освещен в письме Пушкина к Воейкову (которое только и оставалось процитировать автору биографии): «Мне сказывали, что когда издатель (т. е. Гоголь. — А. Д.) вошел в типографию, где печатались «Вечера», то наборщики начали прыскать и фыркать. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно-веселою книгою». А в письме к Гоголю Пушкин написал: «Поздравляю вас с первым вашим торжеством — с фырканьем наборщиков и изъяснениями фактора».

Что же сделал биограф из этих ясных строк, дышащих восхищением от юмора Гоголя?

Во-первых, он тщательно вытравил из них как раз все то, что касается юмора: исчезло указание, что наборщики прыскали, фыркали, помирали со смеху. Исчезло упоминание о Мольере и Фильдинге, которые были бы рады «рассмешить своих наборщиков». Исчезло поздравление публики с «истинно-веселою книгою». Таким образом читатель биографии даже не подозревает, что речь идет о гоголевском юморе, о смехе.

И эта тщательность препарирования, конечно, исключает мысль о случайности операции. Однако для чего же она понадобилась автору биографии? Ясно для чего: чтобы заставить Пушкина поздравить Гоголя как «настоящего народного писателя», что тогда, конечно, в намерениях Пушкина не входило...

Такого рода прихотливые перетолковывания биографических материалов в книжке не редки, причем порой они переходят уже в чистейшую выдумку. Так, в своих известных воспоминаниях о Гоголе С. Т. Аксаков описывает, как проходило в Москве празднование именин Гоголя 9 мая 1840 г. и 9 мая 1842 года. Относительно первой даты читает: «Обед был веселый и шумный; но Гоголь, хотя также был весел, но как-то озабочен, что, впрочем, с ним бывало в подобных случаях. После обеда все разбрелось по саду маленькими кружками. Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случился, отрывок из новой своей поэмы «Мцыри» и читал, говорят, прекрасно. Потом все собрались в беседку, где Гоголь собственноручно, с особым старанием, приготавливая жженку. Он любил брать на себя приготовление этого напитка, при чем говаривал много очень забавных шуток».

В описании второго обеда читаем: «9 мая сделал Гоголь такой же обед для своих друзей в саду у Погодина, как и в 1840-м году... Обед был шумный и веселый... Гоголь шутил и смешил своих соседей. После обеда Гоголь в беседе сам приготавливал жженку, и когда голубоватое пламя горящего рома и шампанского охватило и растопило куски сахара, лежавшего на решетке, Гоголь говорил, что «это Бенкендорф,

который должен привести в порядок сытые желудки». Разумеется, голубое пламя и голубой жандармский мундир своей аналогией подали повод к такой шутке, которая после обеда оказалась всем очень забавною и возбудила общий громкий смех».

А вот описание тех же именинных обедов в книжке проф. Водовозова; места, «добавленные» им, мы подчеркиваем:

«Обед был веселый и шумный. Гоголь и Лермонтов оба были в центре внимания. После обеда пошли в сад (там, кстати сказать, обед и происходил. — А. Д.), где Лермонтов стал читать отрывки из новой, только что законченной им поэмы «Мцыри». Гоголь слушал серьезно и внимательно».

Из описания второго обеда: «9 мая 1842 года, в день своих именин, Гоголь опять устроил обед для друзей в доме Погодина. На этот раз среди них не было Лермонтова (кстати сказать, Гоголь с Лермонтовым никогда в дружбе не состояли. — А. Д.), убитого год назад на дуэли в Пятигорске. После обеда Гоголь в саду сам приготавливал жженку, и когда голубоватое пламя охватило куски сахара, грустно сказал:

— Это Бенкендорф, который должен привести в порядок наши желудки.

Присутствовавшие поняли намек Гоголя на то, что в смерти Лермонтова виновно было царское правительство.

Бенкендорф был шефом жандармов, а жандармы носили голубые мундиры».

Ясно, что автор биографии «обыгрывает» здесь от начала до конца выдуманную версию с воспоминанием о Лермонтове, непринужденно превращая веселого Гоголя и его гостей в грустных участников какой-то странной панихиды.

Надо ли доказывать, что подобного сорта «вольная интерпретация» менее всего уместна в серьезной массовой книге.

Еще один красноречивый пример беззаботности автора биографии. Вот абзац из первой ее главы: «В декабре 1825 года произошло событие, которое потрясло всю Россию и должно было оставить сильнейший след в уме и сердце Гоголя: в Петербурге разразилось восстание декабристов. Великий русский народ, только что освободивший Европу от наполеоновской тирании, не хотел сам оставаться под гнетом крепостнического самодержавного режима. Знамя революции подняли на первых порах революционеры из дворян — декабристы. Это были первенцы нашей свободы. Восстание было расстреляно пушками Николая I на Сенатской площади. Объясняя причину неудачи декабристов В. И. Ленин писал: «Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало».

Таким образом в одном и том же абзаце непринужденно объединяется указание Ленина на то, что декабристы были «страшно далеки от народа», с тирадой автора биографии насчет «великого русского народа», не хотевшего оставаться под гнетом самодержавия...

Освещение художественного творчества Гоголя также мало удачно. Вот, например, характеристика «Старосветских помещиков» и того впечатления, какое повесть произвела на современников: «Он пишет повести: «Старосветские помещики» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». В обиход повестях Гоголь показал быт

обыкновенных «существователей», у которых нет никакой цели в жизни, чьи человеческие чувства и страсти приняты карикатурный характер. Беспросветная пошлость, мелочность и скука делают из этих людей никому не нужных «небокопителей», по выражению самого Гоголя. Новые повести Гоголя, написанные с гениальной простотой и правдой, заставляли современников глубоко задуматься над причинами такой страшной, пустой жизни».

Перед нами полное отождествление исполненной любви идиллии с исполненной сарказма беспощадной сатирой. При этом автор биографии пытается нас уверить, что и современники Гоголя воспринимали обе повести, как обличение страшной и пустой жизни.

Но вот мы имеем отзыв о «Старосветских помещиках» такого современника, как Пушкин, который свидетельствует, что «с жадностью все прочли «Старосветских помещиков», эту шутиловую, трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления».

После подобного сорта экспериментов уже сущими мелочами представляются такие «неточности», как наименование войны запорожцев с польской шляхтой — борьбой «славян за свободу», или как такие, например, стилистические «шероховатости»: «Господствовавшая... почти безраздельно дидактическая точка зрения на историю Карамзина уступила место стремлению объяснить исторический процесс, как цепь причинно-связанных между собою событий». Позвидимо, автор имел в виду не «точку зрения на

историю Карамзина», а точку зрения Карамзина на историю, но об этом приходится лишь догадываться.

В заключение нельзя не выразить удивления, что на образцовой книжке Коштоянца и, пожалуй, тоже на «образцовой» проф. Водовозова стоит имя одного и того же редактора — В. Сафонова.

Хорошую, дельную книжку о знаменитом изобретателе радиотелефона А. С. Попове написал Г. Головин. Книжка о Сеченове выгодно отличается от книжки о Попове лишь тем, что образ великого физиолога дан автором на искусно нарисованном фоне эпохи и среды, между тем как у Головина эта сторона биографии разработана беднее. В остальном — это цельное и законченное жизнеописание, умело знакомящее читателя не только с самой сущностью, но и с процессом великого изобретения Попова. Книжка написана ясно, точно, просто, популярно и, — что очень ценно, — горячо, темпераментно. В порядке придирчивости можно в ней отметить лишь такие мелкие промахи, как двукратное наименование адмирала Авелана — Авеналом; как отсутствие указания, где и когда была получена Поповым медаль, крупное изображение которой помещено на двух страницах книги; отсутствие указания, где было напечатано весьма важное письмо Попова по вопросу о попытке Маркони приписать себе честь открытия радиотелеграфа, и еще две-три шероховатости в том же роде. Надо ли добавлять, что достоинства книги этими пустяками несколько не умаляются.

А Дерман.

★

## МИР ПОЭТА \*

«О, жизни образ пестрый и богатый!»

Ондра Лысогорский.

Книга стихов Ондры Лысогорского с первых строк останавливает внимание. Читатель не спешит с ней расстаться, еще и еще раз перечитывает прочитанное. Что же привлекает в этих стихах? Нельзя не видеть, что главную их силу составляет определенность идеалов — они заряжены духом борьбы против зла, против рабства, против хищников. В сочетании со свободным и широким лиризмом поэтического воплощения ясная идейная направленность сообщает стихам Ондры Лысогорского ту благородную способность будить мысль и чувство, открывать простор воображению, которая свойственна только истинной поэзии.

Ондра Лысогорский пишет на ляхском языке. Он зачинатель литературы и первый поэт бескидских ляхов. Родина поэта, отграниченная от большого мира вершинами Бескидских гор, его устами впервые возвестила о себе на языке искусства.

Тема родины в стихах Ондры Лысогорского имеет очень конкретное содержание. Как первые ростки его поэзии питались впечатлениями жизни шахтеров, из рода которых он произошел, так и последующее творчество поэта живет глу-

бокой связью с судьбой ляхского грудового народа и всегда ему посвящено.

Ондра Лысогорский вырос у подножия Лысой горы, где в XVIII веке был центр восстания бескидского крестьянства против гнета немецких баронов. Вождь восстания, крестьянин Ондраш стал для новых поколений тем легендарным героем, чей образ воплощает идеалы народной борьбы, и поэт, избрав себе его имя для литературного псевдонима, ясно определил цели своего творческого пути.

Пафос поэзии Ондры Лысогорского в этой постоянной и действенной верности народу. В его поэтическом отклике на страдания родины нет и тени пустозвонного «сострадания» или унылой рефлексии. Слово поэта, исполненное внутреннего драматизма, зовет к взрыву чувств, к действию, к борьбе. Это не риторическое слово. Тяжелая доля бескидского шахтера выражена в нем с той живой конкретностью, которую могло открыть поэту только духовное родство с народом.

Ты под Карвиной, Сухой и Лазами,  
упрямый крот, рыл штольни под пластами.

Так, день за днем, все штольни, сумрак  
клятый,  
не знал ты сна под кровом теплой хаты.

<sup>1</sup> Ондра Лысогорский. Песни о солнце и земле. Москва. Гослитиздат, 1945, стр. 131, ц. 2 р

Сырое мясо, уксус вместо масла  
да черствый хлеб, чтоб сила не угасла,  
Ты спал на жестком ложе меж клокками,  
среди других циклопов под Лазами.  
Как выбрал час, чтоб лечь в постель с женой?  
я кровь твоя, я плоть души стальной.  
(«Отцу». Перев. Алексей Сурков).

Проза жизни, ее обнаженная реальность при-  
сутствуют здесь в самых «низких» своих чер-  
тах, и в то же время, силою поэтического обоб-  
щения, она поднята до философского символа.  
Несмотря на мрачные краски действительности,  
изображаемой поэтом, общий колорит его  
стихов, посвященных теме труда и жизни лях-  
ского народа, не только не пессимистичен, но,  
напротив, дышит жизненной уверенностью.

Я вижу вас, шахтеры Карвины,  
и вас, землеобы, чьи согнуты спины,

Я вижу руки в мозолях и пятнах  
и души, обманутые стократно.

И все ж вы пришли, в глазах ваших  
пламень,  
со мною рядом взялись за камень.

.....  
Возводим нашей души желанье,  
к рассвету будет готово заданье.  
(«Строим в ночи». Перев. Н. Асанов).

Тема труда, главным образом тема преемст-  
венности труда, как всеосознающей основы  
жизни, постоянно и глубоко волнует поэта. Од-  
нако в отношении к ней в иных стихотворениях  
выражается некоторая отвлеченность его поэ-  
тического мировоззрения, когда, останавливаясь  
в восхищении перед творениями человеческих  
рук и ума, поэт воспринимает их только как  
звенья связи между поколениями в безбрежном  
океане вечности.

Повидимому, в этом сказалось отчасти и  
влияние среды, из которой вышел поэт, с ее  
оторванностью от общественной борьбы боль-  
шого мира. Но очевидно и то, что по эмоцио-  
нальному складу своего характера Ондра Лысо-  
горский склонен иногда обобщать явления,  
больше следуя поэтическому воображению, чем  
опираясь на факты. Тем не менее общий харак-  
тер отношения Ондры Лысогорского к действи-  
тельности критический, и свою первую задачу  
он видит в том, чтобы разбудить национальные  
силы родины.

«Я разбуду героя — близок срок!», — говорит  
поэт.

Ошибка было бы здесь заключить, что на  
стихах Ондры Лысогорского лежит печать на-  
циональной ограниченности. Ондра Лысогорский  
отразил в своей поэзии пробуждающееся на-  
родное самосознание. Талантливый поэт, зрелый  
мастер Ондра Лысогорский явился выразителем  
прогрессивных сил народа.

За последние годы поэт ближе всего чувствует  
на себе влияние общественных идей, воплощен-  
ных в жизнь в стране Советов. Под этим влия-  
нием многое созрело в его общественном созна-  
нии и направило его творческие устремления.

В рядах советской интеллигенции поэт участ-  
вовал в годы войны в антифашистской борьбе  
объединенной демократии мира, и это по-новому  
определило темы его поэзии. Стихи, написанные  
в годы пребывания в Советском Союзе (Ондра  
Лысогорский вынужден был оставить родину

после оккупации ее Гитлером), отразили новый  
этап в его поэтическом осмыслении жизни.

Потрясения войны, казалось, несли гибель на-  
родам. И первой среди погибших поэт уже видел  
свою родину. Откуда же пришло спасение? И  
что вернуло поэту веру в себя, вдохновение для  
новых песен?

Вот ответ:

Когда усталость и печаль мне в сердце  
постучат,  
к чертам знакомого лица я поднимаю взгляд:  
я думаю о нем.

Он время тяжкое несет — нет в мире  
тяжелей —  
и все ж, он согревает нас улыбкою своей,  
как солнце ясным днем.

.....  
Он направляет и перо и острое штыка,  
и водит каждою рукой незримая рука.  
Он вдохновил меня на бой, мне в сердце  
песню влил.

(«Перед портретом Сталина». Перев. В. Левик).

Образ Сталина вошел в поэзию Ондры Лы-  
согорского, как образ великой силы, питающей  
дух искусства.

Из общения с народами Советского Союза  
поэт вынес большой жизненный опыт. задачи и  
цели человеческого труда открылись ему в но-  
вом свете. И Ондра Лысогорский бережно хра-  
нит накопленные духовные богатства, чтобы до-  
нести их до родного края. «Домой не приду я с  
пустыми руками», — клянется поэт в разлуке с  
родиной. На всех дорогах своих скитаний он  
видит перед собой, как цель, этот образ — еди-  
ный и многоликий образ Родины, его животвор-  
ящим светом озарено поэтическое искусство  
Ондры Лысогорского.

Ондра Лысогорский наделен счастливым да-  
ром живописца. Дар этот проявляется в особен-  
ности ярко в его картинах природы. Но можно  
сказать, что чувство природы определяет в лю-  
бом из его стихотворений не только характер  
изобразительных средств, не только выбор де-  
талей, но часто и самый ракурс темы.

Это можно видеть на примере стихотворения  
«Остравский район», где образ поруганной ро-  
дины повернут к нам лицом страдающей при-  
роды:

...утесы голову кладут на плаху,

.....  
Березы на дорогах раскаленных  
бредут как нищенки путем беды  
(«Остравский район». Перев. Н. Асанов).

Взору читателя открывается картина горя  
ограбленного края, где горы, пастбища и уголь-  
ные копи, все его обширные богатства, могли  
бы доставить счастье народу, но вместо этого:

До неба рёв голодных коз вознесся,  
лишь ключья траде на пастбищах пустых  
и вагонетки ржавые на тросах —  
как ноги танца смерти для живых.

(там же).

Собственно тема природы занимает большое  
место в стихах Ондры Лысогорского. Это и  
мирные пейзажи родных Бескид, написанные  
рукой художника, погруженного в раздумье  
перед лицом красоты (такоры миниатюры: «Как  
тихо», «Весла», «Нейзидлерское озеро»), и  
природа советской страны, согревшая поэта

в его разлуке с родиной. Из произведений последних лет цикл стихов об Узбекистане — это красочные, писанные маслом этюды к большой картине.

Вот один из них:

На город медленным навалом  
обрушивается жара

И бродит по кривым дувалам  
тень воздушная игра.

.....

Все тихо... Мимо древних улиц  
текут века. Я слышу их,

и вдруг ворота распахнулись,  
и вышла девушка из них.

Пух персика на коже яркой,  
арыка легче гибкий стан,  
и вся она — на глине жаркой —  
как распустившийся тюльпан.

Влекутся облака отарой  
и тянет медом спелых слив,  
и спят дувалы, рамой старой  
всю эту прелесть охватив.

(«Ташкентские дувалы». Пер. Е. Благинина).

А вот родной поэту бескидский пейзаж:

В грязи блестит, посмеиваясь, пруд  
Холодным зеркалом горящей глади.

Стоят часы и звука эхо ждут,  
Молчащего поблизости в засаде.

.....

В овраге тень, малиновый квасок  
И плеск, и плесень по краям плотины,

И сонный шорох спутанных осок,  
Задетых синей спинкой стрекозиной.

(«Грушевые пруды». Пер. Борис Пастернак).

Можно еще и еще на примерах показать, как свободно владеет поэт изображением вещного мира. Но, живописец по характеру своего дарования, Ондра Лысогорский и в красоте природы всегда и прежде всего видит отраженно человеческую жизнь, и в его поэтических образах всегда заложена философская тема жизни или искусства. Живое сознание ответственности поэта перед народом не позволило бы ему ограничиться изображением красоты только ради ее красок.

Особая и большая тема в стихах Ондры Лысогорского — тема матери. Он вложил в нее все, что питает его любовь к родине. Женщинам ляхской земли — тем, что «иссохли у машин», тем, которые: «чтоб накормить девятерых малюток, до рассвета начинали утро, а ночью шли, не смыкая глаз», — этим женщинам Ондра Лысогорский посвящает проникновенные слова сыновней любви. И если в картинах природы Ондра Лысогорский развернул перед нами разнообразие своих красок, то образ матери он показал в искусном психологическом портрете:

Изрытый лоб, как древняя скала,  
крутые скулы с острыми углами,  
во мраке шахт ковала их веками,  
и воля предков в скулах залегла.

Безмолвие сомкнуло скорбный рот,  
но все, что губы утаить сумели,  
открыл твой взор. Так синий небосвод  
глядит в просвет сквозь ветви **темной ели.**  
(«Облик матери». Пер. Н. Познанская).

Тематика стихов Ондры Лысогорского значительна и многообразна. То же можно сказать и об их формальных качествах. Лаконизм, точная мысль-образ, выраженная точным и образным словом, достигает нашего восприятия и сквозь завесу перевода. Каким бы приближенным ни был, например, перевод «Осенней баллады»:

Свершились таинства небес, земли, воды,  
с деревьев падают созревшие плоды.

В поселках голод погасил огни  
и люди падают на землю в эти дни,

как от ветров незрелые плоды...

Где благодать небес, земли, воды?

(«Осенняя баллада». Пер. Н. Познанская), —

как бы по-разному ни перевести это на другой язык, высокая поэтическая культура оригинала сквозит здесь в ясном выражении мысли, в законченности художественного образа.

Число переводчиков стихов Ондры Лысогорского в этой книге составляют двадцать три имени. Привлекает внимание интересный опыт параллельного перевода одного и того же стихотворения двумя поэтами. «Комнату в Ташкенте» читаем в переводах Бориса Пастернака и Василия Казина.

Игра солнечного луча, пробравшегося в комнату, видоизменяет мир вещей, подчиняя их действию причудливых законов света. Художник поставил перед собой задачу — дать картину, в которой движение красок, вызванное физическими свойствами света, было бы передано словом. Задача сложная и для перевода. В варианте Б. Пастернака в фокусе картины — стакан, преломляющий луч, «разбрызгивает пачками алмазы в цветной вулкан узбекского ковра». В этом — движение света, игра луча. В переводе В. Казина в центре — «кипит в слепящей россыпи алмазов вулкан цветов узбекского ковра». Сам по себе образ кипящего вулкана-ковра полон поэтической прелести и, может быть, в большем соответствии с законами живописи решает то основное, что определяет светотень всей композиции. Но здесь движение луча лишается господства в картине, ибо ковер не может, как стакан, отражать свет. Менее удачно у В. Казина уподобление луча трубе горниста (это «звуковое» сравнение отсутствует в переводе Б. Пастернака), а затем магу, «смазавшему» границы между предметами в комнате. Напротив, у Б. Пастернака предметы под действием луча калейдоскопически огранены, хотя и переходят волшебным образом в другой.

Так по-разному решается эта тема в переводе двумя разными поэтами. Впрочем, в обоих переводах надо отметить в некоторых местах общую для них тяжелую посылку слова. (У Б. Пастернака: «Я из угла смотрю и цепенею голодными глазами северян». То же место у В. Казина: «Смотрю я из угла, спешивше дыханье, голодным глазом края длинных зим». И то и другое — гяжелю, вернее, бедно для русского языка). Бесспорно, однако, что опыт этих двух переводов представляет живой литературный интерес и помогает советскому читателю вернее понять замысел оригинала и угадать его достоинства (как, впрочем, и недостатки).

В. Раковская.

## НОВЫЕ КНИГИ

★

### ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

**ВУРГУН, САМЕД.** — Вагиф. Перевод с азербайджанского А. Адалис. — Гослитиздат, 1945 г., 135 стр., ц. 3 руб. — Драма «Вагиф» переносит нас в далекое прошлое. Вагиф один из крупнейших исторических деятелей и поэтов древнего Азербайджана.

В лице национального героя Вагифа автор показал лучшие исторические традиции азербайджанского народа. В них воплощены черты глубокой человечности и преданности родине. В поэтическом образе Вагифа олицетворены нестягаемая воля и высокое служение правде, свободолюбие и смелость. Он защищает свой народ перед властителем персов Каджаром: за это Вагиф был посажен в тюрьму. Когда палач хватает поэта и его сына, появляется Эльдар — вождь народного движения и свергает владычество персов.

Творчество азербайджанского писателя Самеда Вургуня тесно связано с живыми традициями азербайджанского искусства. Оно проникнуто подлинно поэтическим отношением к миру.

Автор плодотворно использовал художественные богатства народного азербайджанского эпоса. В настоящее время драматическая хроника «Вагиф» прочно утвердилась в советском театральном репертуаре.

**ИРАСЕК, АЛОИС.** — Псоглавцы. — Славянская библиотека. Гослитиздат, 1945 г., 267 стр., ц. 4 руб. — Исторический роман Алоиса Ирасека (1851—1930) «Псоглавцы» повествует о полной драматизма борьбе чешских патриотов с немецким игом в XVII веке. Герои романа свободолюбивые люди — обитатели граничащего с Германией района Чехии, охранявшие границу своей страны от посягательств немцев (на знамени ходов гербом являлось изображение песьей головы: отсюда и идет их прозвище псоглавцы). После порабощения Чехии Габсбургами ходы начали упорную борьбу. Свободолюбивые люди стойко защищали свои права против немецкого насилия и беззакония. Больше шестидесяти лет длилась эта неравная борьба. Порою вспыхивала искра надежды, и ходы думали, что им удастся выиграть тяжбу при венском дворе, но выиграл ее окончательно и бесповоротно наследник гофрата Ламмингера — его сын Максимилиан. Ходам было вновь объявлено, что права их потеряли силу, а сами они обязаны, под страхом строгой кары, хранить вечное молчание.

Это было в 1668 году.

Молчание действительно воцарилось в ходском крае. Его не нарушило даже разразившееся в 1680 году по Чехии грозное крестьянское восстание.

Но вечным оно все же не было. Ходы нарушили его. О восстании ходов рассказывает в романе «Псоглавцы» Алоис Ирасек.

Перевел роман с чешского А. Гурович.

**КАТАЕВ, ВАЛЕНТИН.** — Сын полка. Отчий дом. Катакомбы. — «Советский писатель», 1945 г., 250 стр., ц. 10 руб. — В этой книге собраны произведения В. Катаева, написанные им в течение 1944 и 1945 годов. Наиболее значительное место в книге занимает «Сын полка». Это повесть о мальчике, усыновленном артиллерийским полком, написана с присущим В. Катаеву знанием детской психологии. Образ простого советского мальчика Вани Солнцева близок к типам детей, нарисованным писателем в популярной повести «Белеет парус одинокий». В пьесе «Отчий дом» писатель затрагивает актуальную для нашего времени тему восстановления разрушенных немецкими варварами заводов, городов. «Катакомбы» — очерки о героической борьбе одесских партизан с немецко-румынскими оккупантами. Одесские катакомбы были местом, где скрывались партизаны, откуда они выходили для боев с врагами родины. О подвигах этих советских патриотов рассказывает в своих очерках В. Катаев. По словам автора — это часть материала, который ляжет в основу его будущего романа о партизанах Одессы.

**КИРОВСКАЯ НОВЬ, № 1.** Литературно-художественный альманх. — Кировское областное издательство, 1945 г., 155 стр., ц. 5 руб. 50 коп. — Задачи альманаха — «творческое объединение всех литературных сил Кировской области, выращивание новых кадров литераторов. На страницах альманаха должны печататься лучшие произведения местных писателей, краеведов, работников искусства» (из вступительного сообщения редакции). Однако первая книжка вышла не совсем удачной. Объясняется это бедностью произведений, составляющих в альманахе отделы прозы и поэзии. В них мало живых образов, бледен и невыразителен язык (фрагменты повести М. Карнеева «Соперники», очерки Н. Веселова, А. Блинова, стихи В. Заболотского). Но

лее интересны «Рассказы о Кирове» Н. Быляева, где воссоздан ряд эпизодов из жизни Кирова. Наиболее выгодное впечатление в альманахе производит раздел «Из литературного прошлого», где опубликованы отрывки из незавершенной рукописи В. Г. Короленко, статьи П. Л. Луппова «Короленко в Вятской ссылке» и Л. Дьяконова «Забытый собиратель вятских народных песен и его книга» (о народном учителе Л. М. Васнецове и его книге «Песни северо-восточной России»).

**ЛАНГЕР, ФРАНТИШЕК.** — *Дети и кинжал.* Перевод с чешского А. Гуровича. — Гослитиздат, 1945 г., 157 стр., ц. 3 руб. — В повести современного чешского писателя Франтишека Лангера «Дети и кинжал» рассказывается о сопротивлении чешского народа немецким оккупантам. Время действия — 1939 год, когда после позорного мюнхенскогоговора Чехия была отдана на поругание немецким фашистам. В книге нет вступительной статьи, знакомящей читателя с автором и его замыслом. Лангер счел нужным сам обратиться с письмом «К советскому читателю» («Литературная газета» № 40, 1 декабря 1945 г.), в котором выражает глубокое признание советскому народу за освобождение родной чешской земли. В этом письме Лангер говорит также о замысле и содержании своей повести «Дети и кинжал».

«Действие происходит в Кладненской области, неподалеку от Праги. Автор избрал Кладненскую область потому, что ее можно было считать одним из центров антинемецкого сопротивления в Чехословакии. Кладненские шахтеры и сталелитейщики всегда стояли в первых рядах чешского рабочего движения. Развалины кладненской деревни Лидице, которая за свое участие в борьбе с нацистами была вместе со своими жителями стерта с лица земли, служат ярким доказательством этому. И автор счел своим долгом, хотя бы в нескольких последних строках повести, вспомнить об этой героической деревне».

**ЛОНДОН, ДЖЕК.** — *Смок Белью.* Перевод с английского под редакцией Е. Старинкевич. — Детгиз, 1945 г., 79 стр., ц. 2 руб. — В книгу вошли три рассказа Д. Лондона «Вкус мяса», «На бабий ручей за золотом», «Состязание на первенство». Издание этих рассказов в библиотеке научной фантастики и приключений Детгиза заслуживает большого одобрения. Во вступительной статье говорится, что огромный запас жизненных впечатлений, накопленный во время бесконечных странствований, — основа большинства произведений Джека Лондона. В его книгах действуют моряки и ковбои, охотники и золотоискатели, контрабандисты и безработные, белые и индейцы. Герои его — люди мужественные, выносливые, изобретательные, люди, умеющие работать и умеющие веселиться. Это оптимисты, никогда не теряющие веры в будущее и не признающие себя побежденными. Они настойчивы, упрямы и подчас жестоки, но они хорошие товарищи, и им свойственны порывы редкостного великодушия.

Писатель часто ставит своих героев в чрезвычайно трудные условия и показывает, как они, напрягая все свои силы, выбиваются, каза-

лось бы, из совершенно безвыходного положения.

Один из лучших рассказов Джека Лондона «Любовь к жизни», к сожалению, не включен в сборник. Рассказ этот за два дня до смерти слушал В. И. Ленин, и, как свидетельствует Н. К. Крупская, Ильичу он «понравился чрезвычайно». Любовь к жизни — такова наиболее характерная и наиболее ценная черта творчества Джека Лондона. Она ярко выражена в таких его книгах как «Смок Белью», из которой взяты напечатанные здесь рассказы. Вступительная статья написана Г. Ленobleм.

**МАРШАК, С.** — *Английские народные песенки.* — Детгиз, 1945 г., 30 стр., ц. 3 руб., 60 коп. — Превосходные переводы английских народных песенок, изданные для детей младшего возраста, с удовольствием прочтут и взрослые. В песнях много остроумия и непосредственности, которые хорошо переданы С. Маршаком, они отличаются занимательностью сюжета, подчас наивного, но всегда увлекательного. Мастерская простота стиха Маршака несомненно содействует развитию эстетического вкуса юных читателей. В книге помещены следующие песни: «Кузнец», «Барашек», «В гостях у королевы», «Примета», «Гвоздь и подкова», «Веселый король», «Песенка бродячего лудильщика», «Клю», «Если бы да кабы», «Королевский поход», «Не может быть», «Старушка», «Котятка», «Поросята», «Перчатки». Книжка иллюстрирована худ. Ю. Васнецовым. К тексту каждой песни приложен рисунок.

**ПАСТЕРНАК, БОРИС.** — *Избранные стихи и поэмы.* — Гослитиздат, 1945 г., 188 стр., ц. 6 руб. — Содержание книги Пастернака — стихи и поэмы, написанные в течение более чем тридцати лет. Открывается сборник стихами из цикла «Поверх барьеров» (1912—1913 гг.) и заканчивается циклом «На ранних поездах» (1941—1944 гг.). Напечатаны здесь также стихи из книг «Сестра моя — жизнь», «Второе рождение» и поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт». Такое расположение материала дает читателю возможность проследить общие черты сложного творческого пути поэта, увидеть его художественное своеобразие.

Всякому интересующемуся поэзией Пастернака эта книга даст ясное представление о творческой индивидуальности поэта. Читая книгу, мы видим, как лирический талант поэта обогащался новыми темами и впечатлениями и в то же время как своеобразно материал жизни преломлялся через призму прочно сложившегося творческого восприятия автора. Из стихов, написанных поэтом за последние годы, в книгу включены «Летний день», «Сосны», «Иней», «Город», «Вальс со слезой», «Опять весна», «Дрозды», «Странная сказка», «Бобыль», «Застава», «Смелость», «Старый парк» «Зима приближается», «Смерть сапера», «Преследование», «Разведчики», «Неоглядность», «Весна».

**ПАУСТОВСКИЙ, КОНСТАНТИН.** — *Степная гроза.* — Детгиз, 1945 г., 74 стр., ц. 5 руб. — В книгу вошли рассказы К. Паустовского: «Степная гроза», «Дорожные

разговоры», «Робкое сердце», «Старая черепаха», «Бакенщик», «Приказ по военной школе», «Спор в вагоне», «Правая рука», «Снег», «Старый сад», «Стеклянные бусы». Большинство из них написано о советских детях в дни Великой Отечественной войны. Книга предназначена, как указано на обложке, для детей среднего и старшего возраста. Но некоторые из рассказов, включенных в нее (например, «Приказ по военной школе»), для детей среднего возраста малодоступны. В этом смысле выгодно выделяется «Степная гроза» — рассказ, отличающийся занимательностью сюжета и естественностью изображения переживаний мальчика в тяжелые дни немецкой оккупации. Писатель стремится отразить самые лучшие свойства наших детей, воспитанные советским строем — их преданность родине, любовь к Красной Армии. Рассказы, напечатанные в книге «Степная гроза», не равноценны по своим художественным достоинствам. Издательству следовало бы произвести более строгий отбор их, сообразно интересам своего читателя.

**ПУМПУРС, АНДРЕЙС.** — *Лачплесис. — Гослитиздат, 1945 г., 146 стр., ц. 5 руб.* — А. Пумпурс (1841—1902) — выдающийся латышский писатель. Его поэма «Лачплесис» стала подлинно народным произведением Латвии. В поэме образы национально-латышского фольклора тесно переплелись с изображением реальных исторических событий.

В основу «Лачплесиса» Пумпурс положил идею борьбы латышей с их извечным врагом — немцами.

Фигуру центрального героя Лачплесиса Пумпурс заимствовал из народного сказания, повествующего о силаче, сыне медведицы, который совершает различные подвиги: очищает окрестности от лютых зверей, кабанов, волков и медведей, хватая их за пасть и раздирая на части (отсюда произошло и имя героя: Лачплесис — раздирающий медведя). Лачплесис служит перевозчиком через Даугаву и гребет вместо весел ладонями, изгоняет великана, подымает затонувший замок и, наконец, гибнет в единоборстве с сыном ведьмы, который отрубает медвежьи уши Лачплесиса, источник его сверхъестественной силы. Это сказание изобилует мотивами, широко распространенными в мировом фольклоре. К сказанию о Лачплесисе присоединяются другие предания этой эпохи, и сказочные герои превращаются в народных героев, они борются и умирают за свободу и независимость латышского народа.

Действие поэмы изображает события конца XII и начала XIII веков, когда немецкие миссионеры в сопровождении вооруженных отрядов рыцарей высадились на побережье теперешнего Рижского залива и с помощью меча и огня начали покорение коренного населения, жившего на территории Латвии.

Поэма Пумпурса завоевала широкое признание латышского народа. Поэму «Лачплесис» перевел с латышского В. В. Державин. Вступительная статья о жизни и творчестве Пумпурса написана Ю. Виппером.

**СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ, С.** — *Крым. Избранные произведения, т. 1 — Издательство «Красный Крым», 1945 г., 555 стр., ц. 30 руб.* — Книга избранных произведений Сергеева-Цен-

ского выпущена крымским областным издательством в связи с исполнившимся в текущем году семидесятилетием со дня рождения писателя.

В Крыму, в Алуште, С. Сергеев-Ценский прожил без малого 40 лет. Он написал здесь свои лучшие произведения — три тома «Севастопольской страды», романы «Наклонная Елена», «Валя», «Обреченные на гибель», «Зауряд-полк», повести, рассказы.

Однако с Крымом писатель связан не только биографически, но и творчески. Своеобразие быта и нравов, живописная южная природа и историческое прошлое Крыма нашли в Сергеев-Ценском своего яркого и талантливого интерпретатора.

Настоящий сборник, составленный по плану самого автора, включает несколько дореволюционных рассказов («Уголок», «Ульбки», «Нетопливое солнце»), роман «Валя» — первый в монументальной эпопее «Преображение России», завершаемой сейчас писателем.

Наряду с этими произведениями в книгу вошли повести и рассказы («Кость в голове», «Маяк в тумане», «Устный счет», «Память сердца»), написанные позднее и рисующие целую галерею лиц и характеров, картины пестрого крымского быта первых послереволюционных лет.

Особую группу составляют в книге рассказы Сергеева-Ценского о детях — «Воронята», «Конец света», «Потерянный дневник», «Гриф и Граф».

**СИМОНОВ, КОНСТАНТИН.** — *От Черного до Баренцова моря. Записки военного корреспондента, книга 4-ая. — «Советский писатель», 1945 г., 261 стр., ц. 6 руб. 50 коп.* — К. Симонов — писатель, плодотворно работающий в самых различных литературных жанрах: поэзии, прозе, драматургии, публицистике. Четвертая книга «От Черного до Баренцова моря» является хронологическим продолжением первых трех, вышедших под тем же заглавием. Как и они, эта книга составлена из корреспонденций, очерков и рассказов, написанных К. Симоновым во время поездок на фронт в качестве корреспондента газеты «Красная Звезда». Место действия — Ленинградский, 1-й Белорусский, 1-й, 2-й и 3-ий Украинские фронты, Югославия и Италия. Время действия: ноябрь 1943 — октябрь 1944 года. Сам автор в предисловии замечает, что название книги уже не совсем соответствует содержанию, так как к этому времени фронт сильно передвинулся, и книгу правильнее было бы назвать не «От Черного до Баренцова моря», а «От Балтийского до Адриатического моря». «Но мне не хотелось менять общего названия», — объясняет К. Симонов причину неточности названия этой книги.

**ТВАРДОВСКИЙ, А.** — *Фронтная хроника, стихи. — «Советский писатель», 1945 г. 65 стр., ц. 3 руб.* — Название книги «Фронтная хроника» ясно выражает характер собранных в ней стихов. Это поэтические зарисовки фронтной жизни с 1942 до конца 1944 гг. Автор не стремится в этих стихах последовательно отразить внешний ход военных событий: его интересуют главным образом настроения, быт советских людей на войне. В таком духе написаны стихи: «В тот самый час», «В пути», «Армейский сапожник», «Рассказ старика», «Поза-

растали стежки-дорожки», «Большое лето», «Иван Громок», «В Смоленске», «Минское шоссе», «Здесь были немцы», «Граница». Лейтмотив стихов Твардовского — уверенность в победе советского оружия, любовь к своей родине.

Где бы ты был ты в огне передних линий —  
На Севере или где-нибудь в Крыму,  
В Смоленщине или здесь, на Украине, —  
Идешь ты нынче к дому своему.

Идешь с людьми в строю необозримом, —  
У каждого своя родная сторона,  
У каждого свой дом, свой сад, свой брат  
Любимый.

А родина у всех у нас одна...

(«Земляку»)

Кончается сборник стихотворением «Возмездие» о победном марше нашей армии к Берлину.

## ИСТОРИЯ — ФИЛОСОФИЯ

**ВОСКРЕСЕНСКИЙ, Н. А.** — *Законодательные акты Петра I.* — Издательство Академии наук СССР, 1945 г., 602 стр., ц. 50 руб. — В основе объемистой книги Н. Воскресенского лежит публикация законодательных актов Петра I. В отличие от других трудов подобного типа, автор располагает документы в таком виде, что его издание раскрывает перед читателем историю рождения каждого закона петровской эпохи в последовательных стадиях до окончательного его оформления. Особо выделены все собственноручные поправки, дополнения и формулировки самого Петра I.

В свете подобранных и ныне публикуемых Н. А. Воскресенским материалов окончательно рассеивается легенда, созданная П. Милюковым. Как известно, он развивал тот взгляд, что реформы Петра носили стихийный, бессистемный, лишенный всякого плана и какой-либо руководящей «теоретической» идеи характер, шли от случая к случаю, причем сам Петр играл при этом пассивную роль, в то время как главными ее двигателями являлись «сотрудники» Петра I и разного рода иноземные и русские «проектёры» и «прибывальщики».

Однако документы показывают, что Петр I собственноручно набрасывал проекты законов, редактируя их по несколько раз, собирая справки, никогда ничего не заимствуя из иноземного права механически, но перерабатывая собранный материал применительно к условиям русской жизни, окружающим обстоятельствам, «ситуации сего государства». Чтобы судить о том, какой характер носила эта плановая, глубоко продуманная работа, достаточно указать, например, что указ о «Должности Сената» имел 6 редакций, а «Генеральный Регламент» — 12.

**ГРЕКОВ, Б. Д.** — *Борьба Руси за создание своего государства.* — Научно-популярная серия, издательство Академии наук СССР, 1945 г., 77 стр., ц. 4 руб. 50 коп. — Автор книги рисует живую картину раннего средневековья и условий жизни первых славянских государств. Всесторонне характеризуются общественные отношения докиевского периода истории Руси, создание и укрепление Киевского государства, его место в Европе и Азии. Вопросы эти очень существенны. Например, Маркс видел в существовании Киевского государства важнейший исторический фактор.

Киевское государство с его огромной территорией — результат деятельности народа и правительства — Маркс рассматривал как одно из явлений периода раннего средневековья в Европе. Империя Рюриковичей, по его словам, подобна другим империям аналогичного происхождения. И этим объясняется, почему Маркс

так ясно сопоставил два самых больших из средневековых государств: одно западноевропейское — империя Карла Великого, другое восточноевропейское — держава Рюриковичей. «Подобно тому, как империя Карла Великого предшествовала образованию современных Франции, Германии и Италии, так и империя Рюриковичей предшествовала образованию Польши, Литвы, Прибалтики, Турции и, наконец, самой Московии» (Маркс, «Секретная дипломатия»).

Подводя итоги своему труду, автор делает следующий вывод: «Сюжет слишком велик, чтобы его охватить полностью, а для выяснения основного вопроса о борьбе Руси за создание своего государства сказанного вполне достаточно. Выбирая факты из огромного запаса, я старался представить этим фактам возможность говорить самим за себя. Их язык мне казался достаточно убедительным, чтобы притти к окончательному выводу, что русский народ, выступив на исторической арене в VI веке, оказался достаточно сильным и организованным, чтобы сохранить свое лицо, свою независимость, обречь свое официальное существование в Европе в государственную форму и занять почетное место в истории Европы».

**ИОВЧУК, М.** — *Основные черты русской классической философии XIX века.* — Госполитиздат, 1945 г., 32 стр., ц. 50 коп. — Это популярная книга о великом теоретическом наследии, оставленном классиками русской общественной мысли прошлого века — Герценом, Белинским, Чернышевским, Добролюбовым. Автор раскрывает своеобразие русской классической философии и ее всемирно-историческое значение.

Наша страна, ставшая родиной ленинизма, обязана русской классической философии тем, что она расчистила почву для восприятия марксистских идей для победы марксизма в России. М. Иовчук анализирует общественные и теоретические истоки русской философии: он связывает ее возникновение и своеобразие с социальной борьбой прогрессивных сил русского общества, с борьбой народа за развитие производительных сил.

Книга М. Иовчука дает общее представление об основных путях формирования русской философии вплоть до идейной революции, произведенной в сознании народов России в конце XIX — начале XX века большевистской партией и ее вождями Лениным и Сталиным. С этой идейной революцией, пишет М. Иовчук, «не может сравниться по своему значению и силе ни одна из тех философских, идейных революций, какие были на Западе». Автор подчеркивает также великую роль, которую труды

классиков русской общественной мысли сыграли в развитии самосознания народа, а также в его освободительной и патриотической борьбе.

**ЛИХАЧЕВ, Д. С.** — *Национальное самосознание древней Руси.* — Научно-популярная серия, Издательство Академии наук СССР, 1945 г., 119 стр., ц. 8 руб. — Книга Д. С. Лихачева — очерки русской литературы XI—XVII вв. В ней автор не ставит себе целью всестороннее и полное освещение истории развития национального самосознания русского народа в пределах XI—XVII вв. Национальное самосознание в древней Руси имеет своими показателями не только памятники письменности и искусства: борьба за свою политическую и культурную самостоятельность и за свое государство служит самым ярким свидетельством высокого уровня национального сознания русского народа. Вот почему настоящая работа возникла отчасти под влиянием работ академика Б. Д. Грекова, посвященных теме борьбы Руси за свое государство и политическую независимость. В своем понимании наследия древней русской литературы автор в значительной мере исходит из работ академика А. С. Орлова.

Главная тема книги Лихачева — отражение идей национального самосознания русского народа в эпосе и письменности от создания былины до Смуты. Главное внимание автор обратил на следующие явления русской культуры и литературы: 1) Первые былины; 2) Борьба Руси за свою культурную самостоятельность при Ярославе Мудром; 3) Идея единства Руси в годы княжения Владимира Мономаха; 4) Культура и народ накануне татаро-монгольского нашествия; 5) Возрождение исторических традиций и победа на Куликовом поле; 6) Идеологическая борьба с Москвою Новгородом и Тверью; 7) Россия и Западная Европа в XVI в.; 8) Народ и освободительное движение начала XVII в.

**О КЛАССИЧЕСКОЙ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ.** — В помощь политическому самообразованию кадров. Сборник лекций и консультаций, — «Московский большевик», 1945 г., 108 стр., ц. 3 руб. — В сборнике напечатаны следующие статьи и консультации: М. Иовчук «Классики русской философии XIX века», В. Кружков «Основные особенности русской классической философии», Г. Васецкий «А. И. Герцен — выдающийся русский мыслитель и революционер», М. Наумова «Чернышевский и Фейербах», М. Иовчук «Философские и социально-политические воззрения Н. А. Добролюбова», Г. Васецкий «Основные черты естественно-научного материализма в России».

Книга освещает главные явления и особенности русской классической философии XIX века. Главнейшее внимание авторы сборника естественно посвящают выяснению ее материалистических основ. «Со времени Ломоносова, — пишет один из авторов сборника, научная и общественная деятельность которого относится к 40—60-м годам XVIII века, — начинает развиваться русская материалистическая философия. От Ломоносова и Радищева идут две ветви русской материалистической философии: одна ветвь — освободительная философия, тесно связанная с революционным движением против царизма и крепостничества (Радищев, декабри-

сты, Герцен, Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Писарев), другая — естественно-научный материализм (Лобачевский, Менделеев, Столетов, Сеченов, Мечников, Тимирязев, Павлов)».

Большое внимание авторы сборника уделяют освещению огромного значения русской классической философии в идейном формировании передовых кругов русского общества, и в частности лучших деятелей русского искусства и литературы.

«Творчество Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, в известной мере Льва Толстого, Чехова, Максима Горького и многих других писателей нашей страны вдохновялось теми идеями, которые выдвинули и развили Герцен, Белинский, Чернышевский, Добролюбов. А через русскую литературу эти идеи проникали на Запад. Не случайно многие западноевропейские мыслители и писатели-гуманисты признают, что именно русская литература научила их гуманно мыслить и служить человечеству».

**ОСИПОВ, К.** — *Русские войска в Восточной Пруссии в Семилетней войне.* — Гослитиздат, 1945 г., 51 стр., ц. 1 руб. — Брошюра К. Осипова дает популярное изложение главнейших событий Семилетней войны 1756—1763 гг.

В заключении книги автор определяет историческое значение Семилетней войны в свете победы Красной Армии, одержанной в Великой Отечественной войне, несравнимой по масштабам и значению.

«Немцы без устали твердили о замечательных военных дарованиях Фридриха. Эти дифирамбы сильно преувеличены. Но если даже допустить, что на сей раз немцы не солгали и Фридрих действительно был искусным полководцем, то что из этого следует? Да то, что даже этот превозносимый до небес вояка не выдержал единоборства с русскими. Он был наголову разбит при Кунерсдорфе, не смог помешать взятию Берлина, не смог защитит от Румянцева Кольберг, о котором он сам говорил, что потеря этого города для него не менее тяжка, чем потеря столицы. Русская военная доктрина торжествовала над схоластической военной системой Фридриха так же, как доблесть и героизм русских солдат восторжествовали над прусской муштрой и выучкой».

**РОТШТЕЙН, Ф. Л.** — *Две прусских войны.* — Издательство Академии наук СССР, 1945 г., 183 стр., ц. 11 руб. — Книга Ф. Л. Ротштейна вышла в научно-популярной серии, объединенной названием «Война и мир». Задача этой серии — помочь читателю расширить знания о войнах и мирных договорах нового времени. В своей книге Ф. Л. Ротштейн излагает историю двух прусских войн: австро-прусской 1866 г. и франко-прусской 1870—1871 гг., являвшихся по существу ступенями территориального и политического укрепления Пруссии и захвата ею власти над всей Германией.

Это прусское преобладание делало всю Германскую империю иллюзорной. Как выразался Маркс, «единство Германии» было лишь «маской для прусского деспотизма».

Пагубное значение имела эта диктатура Пруссии над Германией для всего германского народа и всей Европы.

Именно в этом заключается интерес излагаемых Ф. Л. Ротштейном событий, особенно сейчас, когда подведен итог существования разбойничьего фашистского государства.

**ТАРЛЕ, Е. В.** — *Экспедиции русского флота в Архипелаг в 1769—1774 гг.* — *Военмориздат, 108 стр., ц. 3 руб. 50 коп.* — Чесменское сражение и вся экспедиция русского флота в Архипелаг в 1769—1774 гг. — это блестящие страницы русской военной истории. Особенно отличились тогда в сражениях знаменитые русские флотоводцы Спиридов и Грейг. Факты экспедиции, ход Чесменского сражения и место их в истории русской внешней политики освещает в своей книге академик Тарле.

Автор ставит своей целью показать также значение этих событий и для последующих поколений русских военных моряков.

Герои Чесмы и Архипелага как бы проложили путь в Средиземное море Ушакову и Сенявину. Спиридов, Грейг, Ильич, моряки «Евстафия», «Трех святителей», «Европы», «Трех иерархов», Коняев и матросы коняевской эскад-

ры, лейтенант Алексанов и его маленькая команда не должны быть забыты их потомками, покрывшими в наши дни русский флот новой славой.

**ЩЕРБАЧЕВ, О.** — *Афонское сражение*, — *Военмориздат, 1945 г., 70 стр., ц. 1 руб. 90 коп.* — Труд О. Щербачева «Афонское сражение» впервые был опубликован в «Морском сборнике» № 12 за 1915 и № 1 за 1916 гг. Работа посвящена замечательной победе, одержанной русским флотом под командованием адмирала Д. Н. Сенявина в морском бою у Афонской горы.

Оперировав большим фактическим материалом, автор сумел показать флотоводческое искусство Д. Н. Сенявина, отвагу и мужество русских моряков.

Ценность книги состоит в том, что в ней дан оперативно-тактический разбор сражения, в котором искусство флотоводца, высокий уровень морской и тактической подготовки офицеров и отличная подготовка матросов обеспечили успех русской эскадры.

## ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

**ГРЕМЯЦКИЙ, М. А.** — *Как произошел человек.* — *Госполитиздат, 1945 г., 115 стр., ц. 2 руб.* — С незапамятных времен люди интересовались вопросом о происхождении человечества. Перед людьми настойчиво вставал вопрос — как произошел человек. На разных ступенях развития культуры люди по-разному отвечали на этот вопрос. Детские наивные суеверия и поэтические фантазии первобытных людей постепенно уступали дорогу более правильным взглядам, и передовые мыслители минувших веков приближались к тому пониманию происхождения человека, какое дает современная наука.

М. Гремяцкий рисует картину научных исканий, приведших к современному представлению о происхождении человека. Кратко изложив взгляды по этому вопросу до Ламарка, автор пишет:

«Ламарк пытался объяснить происхождение и других особенностей человека, например, членораздельной речи. По его словам, в общественной жизни наших предков потребовалось, чтобы у них увеличился запас знаков, при помощи которых они общались между собой, потому что возросло количество их потребностей. Немногие звуки, издаваемые обезьянами, и их гримасы в условиях человеческой жизни оказались уже недостаточными. Поэтому прогрессивно развивалась членораздельная речь, которая быстро подвинула вперед умственное развитие человека. Вот какие замечательные мысли Ламарк высказал 136 лет назад, в 1809 г. Многие из них и до сих пор не потеряли интереса. Но на строго научную почву вопрос о происхождении человека был поставлен лишь Чарльзом Дарвином (1809—1882) и Фридрихом Энгельсом (1820—1895)».

Основное содержание книги посвящено популярной характеристике воззрений Дарвина и Энгельса на происхождение человека.

**ДОГЕЛЬ, В. А.** — *А. О. Ковалевский. Научная биография.* — *Научно-популярная серия. Издательство Академии наук СССР, 1945 г., 153 стр., ц. 9 руб.* — Александр Онуфриевич Ковалевский — виднейший русский ученый. Для развития зоологической науки Ковалевский и его современник и ближайший друг Илья Ильич Мечников сыграли такую же роль, как для русской и мировой химии Менделеев и Бутлеров, как для русской и мировой физиологии Павлов и Сеченов. Труды Ковалевского и Мечникова приобщили русскую зоологию к лучшим достижениям мировой науки и заставили зарубежные научные круги с уважением относиться к русским исследователям.

Название настоящей книжки «Научная биография» определяет собою и ее содержание. В своем очерке автор освещает главным образом научный путь, пройденный Ковалевским.

Ковалевский жил среди таких замечательных людей, как брат его — знаменитый палеонтолог — В. О. Ковалевский, жена брата — известный математик С. В. Ковалевская. Автор ограничил свою задачу глазным образом характеристикой этапов научной деятельности А. О. Ковалевского, осветив лишь некоторые важнейшие даты его личной жизни.

**КЕЛЛЕР, Б. А.** — *Преобразователи природы растений.* — *Госполитиздат, 1945 г., 122 стр., ц. 2 руб.* — Это научно-популярная книжка о преобразователях природы растений — К. А. Тимирязеве, И. В. Мичурине и Т. Д. Лысенко. Автор, недавно умерший академик Келлер, талантливо и доступно осветил сложные проблемы ботанической науки и работу ее крупнейших деятелей.

Передовые советские ученые — последователи Мичурина исходят из единых установок, истоки которых находятся в работах Тимирязева. Вся практика Мичурина свидетельствует об этом. В 1943 году академик Лысенко опубли-

ковал книгу «О наследственности и ее изменчивости». В этой книге Лысенко на основании богатейшего опыта своего и своих сотрудников продолжает и развивает идеи Тимирязева.

В своей книжке академик Келлер показывает, что в области преобразования природы растений в советском народе проявилась огромная творческая сила. Эта сила не только в ученых, достижения которых получали небывало широкое использование в сельскохозяйственной практике, но и в том, что наука и ученые стали народными, получили опору и помощь в массе простых людей — новаторов растениеводства, колхозников-опытников, любителей-мишуринцев, юных натуралистов.

Все эти преобразователи природы являются горячими патриотами социалистической родины и имеют свою долю в грандиозных мирных и военных победах советского народа.

**КОВАЛЕВСКАЯ, С. В.** — *Воспоминания детства и автобиографические очерки.* — Научно-популярная серия, мемуары. Издательство Академии наук СССР, 1945 г., 209 стр., ц. 20 руб. — Жизнь и деятельность знаменитой русской женщины-математика Софьи Васильевны Ковалевской представляет интерес в двух планах: научно-исследовательском и культурно-историческом. Ковалевская — талантливая и разносторонне одаренная представительница 60—70-х годов XIX столетия, первая женщина, добившаяся официального признания ее ученых заслуг.

Из литературного наследия С. В. Ковалевской самыми ценными в историческом отношении являются «Воспоминания детства». Кроме значения документа, рисующего эпоху так называемого освобождения крестьян в «Воспоминаниях детства» представляет большой интерес художественное описание взаимоотношений Ф. М. Достоевского с семьей Корвин-Круковских и превосходная — одна из лучших в литературе — характеристика писателя в эпоху создания «Преступления и наказания». В «Воспоминаниях» имеются несколько ярких и интересных характеристик родных Софьи Васильевны, особенно ее сестры Анны Васильевны, русской писательницы и выдающейся деятельницы Парижской Коммуны, а также ее отца — типичного представителя крупнопоместного дворянства.

«Первостепенный документ для характеристики самой Софьи Васильевны в годы юности, «Воспоминания», — пишет редактор книги и автор вступительной статьи С. Штрайх, — совсем не отражают ее научной деятельности». Этот пробел восполняют автобиографические очерки, письма и дневники Ковалевской. Соответственные выдержки из них помещаются вслед за «Воспоминаниями».

Текст «Воспоминаний детства» сверен по рукописям автора и дополнен новой главой о Достоевском. Значительная часть приложений и выдержек из писем С. В. и В. О. Ковалевских в примечаниях публикуется впервые.

**ПЛАВИЛЬЩИКОВ, Н.** — *Недостающее звено.* — Детиз, 1945 г., 56 стр., ц. 2 руб. 50 коп. — Книга Н. Плавильщикова вышла в библиотеке фантастики и приключений Детгиза. Автор пытается познакомиться с одной из увлекательнейших страниц истории происхождения человека — с поисками «недостающего звена» следов питекантропуса.

«Много света будет пролито на происхождение человека и на его историю», — так писал Дарвин в самом конце своей книги «Происхождение видов» (1859)

Знаменитый ученый Геккель нарисовал в свое время родословное древо животного мира; в основании этого древа были помещены простейшие одноклеточные животные, вершина древа — человек. В родословной человека оказалась перерыв: перехода от обезьяноподобного предка к человеку наука того времени (последняя четверть XIX века) не знала. И вот Геккель поместил в родословной человека эту переходную форму, которой никто никогда не видел. Он назвал ее обезьяночеловеком, или питекантропусом. Это название произошло от слов «питекус» — обезьяна и «антропос» — человек.

Обезьяночеловек Геккеля был только предположением, а науке нужны факты.

Первым нашел кости питекантропуса ученый голландец Дюбуа. Затем существование питекантропусов было доказано и другими исследователями. П. Плавильщиков переносит юного читателя в далекие времена, рисует картину условий жизни предшественника человека. К сожалению, картина получилась тусклой и маловыразительной. Книжка иллюстрирована художником Г. Никольским.

**СЕЧЕНОВ, И. М.** — *Автобиографические записки.* — Научно-популярная серия. Издательство Академии наук СССР, 1945 г., 176 стр., ц. 12 руб., переплет 4 руб. — «Автобиографические записки» Ивана Михайловича Сеченова представляют собой один из лучших образцов русской мемуарной литературы. Исключительный интерес этих записок заключается в том, что они охватывают один из наиболее ярких периодов в истории общественной жизни дореволюционной России. В них дана картина зарождения и развития отечественной науки и борьбы за науку в царской России. Знаменителем этой борьбы был Иван Михайлович Сеченов — признанный учитель блестящей плеяды русских естествоиспытателей XIX в., смело и дерзновенно взявшийся за разработку наиболее трудных проблем науки, закладывавших фундамент передового материалистического мировоззрения.

«Автобиографические записки» раскрывают перед нами живую картину того, как под влиянием передовых идей великих революционеров пятидесятников и шестидесятников складывались передовые традиции отечественной науки в России, как развивалась наука в России, питавшаяся интересами нашего отечества.

В записях оживает кружок Грановского, редакция «Молодого москвитянина», московские студенческие кружки 40-х годов, собиравшиеся на частных квартирах передовых московских профессоров.

В живой форме изложены в «Автобиографических записках» основные факты жизни Сеченова в период его научных исканий и формирования его гениальных произведений. Особенно подробно Сеченов останавливается на обстановке возникновения и формирования его книги «Рефлексы головного мозга».

Настоящее издание «Автобиографических записок» сверено с оригиналом сохранившейся рукописи И. М. Сеченова.

ФЕРСМАН, А. Е. — *Воспоминания о камне*. — Научно-популярная серия, Издательство Академии наук СССР, 1945 г., 82 стр. ц. 5 руб. — Впервые «Воспоминания о камне» академика Ферсмана были изданы в 1940 году. Эта книга сразу же завоевала симпатии и признание читателя. Выход второго издания вызван ее большими достоинствами и отвечает потребностям читателей, требующих увлекательных книг о научном творчестве. Красочно и интересно повествует автор о камнях (алебастре, беломорите, мраморе, целестине, алмазе и других), о поэзии их познания. Книга Ферсмана имеет мало общего с обычной научно-популярной литературой: скорее, это поэтические зарисовки, где наука и искусство, труд и мечта сли-

ваются воедино. Автор, характеризуя свой труд, пишет в предисловии к первому изданию книги:

«Такую книгу можно решиться писать тогда, когда жизнь в основном уже прожита, когда последние отзвуки старых переживаний сливаются и заглушаются торжествующими волнами новых идей и побед человека нового поколения. И в этих могучих звуках настоящего, в ярко сверкающих красках сегодняшнего дня растворяются эти картины прошлого так, как тонут неясные контуры утренних миражей в ярких солнечных лучах прекрасного дня.

И все же в этих воспоминаниях так много пережитого, передуманного, так много того прошлого, которое любишь не потому, что оно было, а потому, что в нем были ростки нового, светлого будущего!»

# ПАРОДИИ И ШАРЖИ

А. Раскин

## ДРАМАТУРГИ

★

### ХЛЯБЬ И ТВЕРДЬ

Н. Погодин

Действующие лица:

Беркутов — инженер. Хороший человек.  
Беркутова — жена. Хорошая жена.  
Канальский — их друг. Так себе.  
Муся — девушка без характера.  
Мишка-одессит — шутник-профессионал.  
Филя — мальчик. Просто Филя.  
Коллектив завода № 113/215 — хор.

### ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ

Строительная площадка. Встречаются Беркутов и Беркутова.

Беркутов. Здравствуй, жена! (Презрение. Лодозрение. Зазрение. Ревнует жену к Канальскому. Беспокоится о сырье для завода. Постоял, плюнул, уехал в командировку на Дальний Восток. Тосковал, пил коньяк. Переломил себя, достал сырье. Вернулся через полгода. Жену не ревнует. Ревнует завод к Канальскому. Разоблачает проходимца Канальского. Целует жену. Пьет чай с лимоном. Перевыполняет).

Беркутова. Здравствуй, муж! (Интересуется Канальским, но быстро разгадывает его. Тоска по мужу. Уходит в общественную работу. Ушла. Перевоспитала Мусю. Разбила цветник. Разбила сердце Канальского. Внесла восемь рационализаторских предложений. Цитирует Пушкина. Работает над собой).

Муся (входит). Ах! (Кокетство. Парфюмерия. Внутренняя пустота. Живет с Канальским. Вовлекается в коллектив. Вовлеклась. Увлелась Мишкой-одесситом. Редактирует стенную газету. Клеймит в ней Канальского за склопничество. Стерла пудру и помаду, стала мудрой. Все, как надо).

Мишка-одессит (входит). Муся! Какашкарная роскошь! Какой роскошный шик!

(Обожание. Жаргон. Бицепсы. Поймал Канальского с поличным. Дал по шее. Женится на Мусе. Шутит, шутит, шутит. Плохо, плохо, плохо. Общий любимец).

Канальский (входит). Здравствуй, Филя! (Завидует Беркутову. Мстит Мусе. Гадит Беркутовой. Интриганство, блат, бытовое разложение. Подбивает Филю сломать кран и свалить на Беркутова. Сигара, трость, виски с содой, виски с сединой. Разоблачается, сокращается, заключается. Типичный гад с позорным прошлым).

Филя (входит). Гы-гы... (Чешет правое ухо левой рукой. В дальнейшем развитии событий участия не принимает. Явно случайный персонаж).

Коллектив завода № 113/215. План! Не! Выполнен! А! Пере! Выполнен! (Восторг! Ликование! Овация! Самум!)

Страшный скрип. Это перевернулся в гробу В. Шекспир. До чего беспокойный классик!

Лежал бы себе.

★

## СМЕШНОЙ РЕБЕНОК

В. Шкваркин

Действующие лица:

Владимир Яковлевич Пенкин — по-  
жилой папа.  
Ева Адамовна Пенкина — пожилая мама.  
Ваня Пенкин — их дочь.  
Колумбия Христофоровна — акушерка.  
Ирочка — ее дочь. Фифа.  
Простоволосов — муж Ирочки.  
Рубаха — парень.  
Почтальон.  
Прохожий чужак.  
Кошка Пенкиных.

## ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Картина вторая

Комната Пенкиных. Пенкина вяжет за столом,  
Пенкин не вяжет (лыка) у окна.

Пенкин. Мне что обидно? Мне все обидно.  
Пенкина. Тебе всегда все обидно.  
Пенкин. Нет, ты мне скажи, почему наш  
Ваня вдруг юбку надел? На что это похоже?

Пенкина. Уж ты ни одной юбки не пропу-  
стишь! Смелоду таков!

Пенкин. Вот и говори с ней!

Кошка. Ку-ка-реку! (скрывается).

Пенкин (дикое). Что это?

Пенкина. Известно что — кошка.

Пенкин. Чего ж она петухом поет?

Пенкина. Переквалифицируется, значит.  
Жалко тебе, что ли?

Колумбия Христофоровна (врыва-  
ясь). До каких пор это кошачье отродье будет  
здесь кукарекать? Как акушерка и ответствен-  
ная сьемщица, я протестую!

Пенкина. Сами вы кошачье отродье! Сами  
кукарекаете!

Колумбия Христофоровна. Ах, вы  
так! Простоволосов!

Простоволосов (входит). Я-с! Да-с!  
Ну-с!

Колумбия Христофоровна (траги-  
чески). Простоволосов! Меня опять оскорбля-  
ют!

Простоволосов. Кто-с?

Пенкин (вызывающе). Я-с! Мы-с!

Простоволосов. Плюньте, Колумбия  
Христофоровна!

Колумбия Христофоровна. Тьфу на  
вас! (Плюет, уходит.)

Пенкины. Ах!

Простоволосов. Я подотру-с! (Подти-  
рает.)

Ирочка (входя). Кто это трус? Конечно,  
вы?

Простоволосов. Не трус, а подотру-с!

Ирочка. Значит, еще хуже? Боже мой, как  
низко я пала! Ах, когда мой девятый муж уви-  
дел моего двенадцатого мужа, он тогда еще ска-  
зал, что дальше будет еще хуже.

Пенкин. Ваши мужья нам без надобности.  
У нас свое горе.

Ирочка. Подумаешь! Простоволосов, до-  
мой!

(Уходят.)

Кошка. Гав-гав! (Скрывается.)

Колумбия Христофоровна (за сце-  
ной). Тьфу!

Пенкина. Где же наш Ваня?

Пенкин. Где-то наш Иван-дурак?

Ваня (вбегает в женском платье). Вот и я  
пришла!

Пенкина. Почему «пришла»? Ты пришел!

Ваня. Нет, я пришла! Папа, мама! Простите  
меня, мои малые старички. Двадцать лет я вас  
обманывала. Я не мальчик, я девочка. Я — не  
он. Я — она!

Пенкин. Что я слышу? Он не он! Он —  
она! Она не он! Она — она! Я не я и Ваня не  
моя. (Падает в кресло.)

Пенкина. Ваня, Ваня! Что ты с нами сде-  
лала!

Ваня Папа, мама! Я не хотела вас обидеть.  
Я думала, смешно будет. А вышло не смешно.

Почтальон (входит). Вам телеграмм. А  
с вас сто грамм!

Пенкин (яростно). Телеграмма! Она! Не  
телеграмм!

Почтальон. Вам же хуже! Вам телеграм-  
ма. А с вас сто два грамма. (Уходит.)

Рубаха (входит). Ванька дома?

Ваня. Я им все сказала. Папа-мама, вот мой  
муж!

Пенкин. Чорт с вами! Прощаю! Только  
чтобы тройня мне была.

(Все целуются.)

Прохожий чужак (в окно). Театр Сати-  
ры тут будет?

Все хором. Что вы, что вы! Какая там  
сатира! Это совсем в другой стороне!

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

Дружеский шарж худ. КУКРЫНИКСЫ



КУКРЫНИКСЫ - 45

Писатель Иванов,  
Создатель романов,  
Сценариев. пьес.  
С успехом и без.

А. Раскин

Александр Жаров

## Б. ПАСТЕРНАК

Как нерожденных чад зачатки,  
Сверлим себе для крика горла.  
Пять пальцев, пять лучей в перчатке  
Звезда над елкою простерла.

Не модам — новым переводам  
Я отдан, всех поэм помимо.  
Гласит подстрочник: «С новым годом!».  
Нет, это непереводаемо.

## С. ШИПАЧЕВ

Блестит снежинка новогодней ночи.  
Ее судьбу кто может предсказать?  
Хочу об этом проще и короче,  
Не изощряясь в рифме, рассказать...

К утру снежинка стала целым комом.  
Приятно, что не греет солнце дня...  
Не покажу я этот ком знакомым. —  
А то еще узнают в нем меня.

★

Я. Сапги

## КАК НЕ БЫЛ ДОПИСАН ЧИЖИК

Виктор Шкловский

Чижик — это такая песня.

Еще чижиками бывали птицы.

Они любили юг, как литераторы.

У них была своя судьба.

Песня пробивалась из глубины времен, как трамвайный пассажир к выходу. Она приехала в жизнь на трамвае истории, шедшем по измененному маршруту, и походила на сквозняк.

Первоисточник лежал где-то между «Яром» и французским возрождением. Еще до Леонардо да-Винчи об этом умолчал русский крепостной Анясим Косой.

Меня зовут Виктором. Виктор — это значит победитель. Левитан — это совсем другое. Он диктор, а не Виктор. Одна буква поворачивает судьбу.

В песне есть такие слова: «На Фонтанке водку пил». Над этой строкой семнадцатого августа тысяча восемьсот девяносто восьмого года плакал буфетчик из Сандуновских бань. Он тоже любил водку.

Через тридцать лет после этого я стоял на Фонтанке и смотрел на сырое, свое петербургское небо.

Чижика уже не было, а Утесов еще не родился. «Чижикино горе» Салтыкова вышло тогда седьмым изданием. Иллюстрации были плохие. Художники ломали материал и чинили его из уважения к Ивану Федорову. Никто не знал, где кончается Федоров и начинается памятник.

Самый бранный из памятников — это память Человека, обладающий только памятью, похож на обладателя палитры и красок, которые не делают его живописцем.

Пока кто-то умный изрекал эту фразу, чижик вошел в быт. Песню стали кончать словами: «Закружилось в голове».

Галилей сказал: «А все-таки она вертится». Но он не имел в виду голову чижика.

И песня осталась недописанной.

Вот я вспомнил и про Галилея.

Умение наводить скуку, — сказал Вольтер, — состоит в том, чтобы высказывать все.

Я знал одного человека. У него было по шесть пальцев на руках.

Играть на рояле он все же не мог.

★

## ОН ПРОЧЕЛ

(Весьма вероятная история)

Лица:

Гертруда Тимофеевна Адюльтерн,  
писательница.  
Вильям Кузьмич Шекспирчук, член  
группкома драматургов.  
Илиодор Парфенович Непотерплюев,  
критик.  
Аркадий Угловой, поэт.  
Иван Петрович Нинин-Противопо-  
жарский, редактор.  
Человек с портфелем.  
Работница.

По ходу действия на сцене не появляются:  
тень отца Гамлета, Арина — мать солдатская и  
автобус № 5.

★

Комната в квартире Гертруды Тимофеевны. За столом сидят Адюльтерн,  
Непотерплюев, Угловой, Нинин-Противопожарский.

Адюльтерн. Пейте чай, товарищи. Совершенно не умею угощать...

Угловой. Лично меня угощать не надо. Я — сам. Что ж ты, критик, молчишь? Роман Гертруды Тимофеевны хвалил, а пирожки не хвалишь.

Непотерплюев. О пирожках выскажусь лобово: они меня устраивают и стилезво, и вкусово. А что касается романа, думаю, не ошибся в оценке: роман «У калитки» — это явление.

Адюльтерн. Да, «У калитки» — моя лача. И представьте себе, этот, как его... какой-то Щукин — я читала его статейку об мне — решительно ничего не понял в моем романе. Нет, говорит, смысла. Как будто от писателя всегда требуется смысл!

Нинин-Противопожарский. Да разве у них в «Млечном пути» что-нибудь путное напечатано? (Угловому). А вас что нигде не видно, товарищ Угловой, что поделяете?

Угловой. Завален работой. Заканчиваю программу для Ансамбля Зубоврачебной песни и пляски имени Челюскина. Уже написана песня «Три дантиста» и куглеты «Вырвем с корнем». Вот послушайте.

(Поет).

К нам придет весь род людской  
В кабинет зубоврачебный  
И споет нам гимн хвалебный,  
Зуб вставляя золотой.

(Входит работница)

Работница. Гертруда Тимофеевна, какой-то человек вас спрашивает.

Адюльтерн. Попросите его войти.

(Работница уходит. Входит человек с портфелем).

(Напряженная тишина).

Человек с портфелем. Я должен сообщить вам, что сорок две минуты назад один из пассажиров метро в тяжелом состоянии был доставлен в институт Склифассовского. Перед тем, как потерять сознание, он успел сказать

только два слова: «Я прочел». В связи с этим я должен задать вам несколько вопросов.

Адюльтерн, Угловой, Нинин-Противопожарский, Непотерплюев. Каких вопросов? Почему нам?

Человек с портфелем. Потому что Шолохов, Фадеев и многие другие писатели для читателя не опасны и даже полезны. А вот вы... (Гертруде Тимофеевне). Скажите, пожалуйста, ваше произведение вполне удобочитаемо?

Адюльтерн. Да, конечно. Но я так спешила. Надо было уложиться в договорные сроки. Поэтому пришлось скомкать четвертую, пятую, шестую главы и недоработать первую, вторую и третью.

Человек с портфелем. Вот видите.

Адюльтерн. Но редактор находил, что...

Нинин-Противопожарский (смотрит на часы). Батюшки! Опаздываю на редколлегию!! Беги!!!

Человек с портфелем. Вас подождают. Так что вы находили?

Нинин-Противопожарский. Что роман можно печатать и даже читать. Его уже читали шесть рецензентов. И все здоровы.

Человек с портфелем. А вы его читали?

Нинин-Противопожарский. Видите ли... У меня так много непосредственных обязанностей...

Непотерплюев. Ну, уж это, Иван Петрович, нечестно. Даже уж слишком лобово. И вообще, по-моему, мне лучше уйти.

Человек с портфелем. А по-моему, вам лучше остаться. Скажите, вам нравится это произведение?

Непотерплюев (смущенно). Откровенно говоря, и да, и нет, и не очень.

Человек с портфелем. Но вы написали хвалебную статью об этом произведении?

Непотерплюев. Видите ли... Этот роман — поймите меня правильно — халтура в самом высоком смысле. Если, с одной стороны, в произведении есть языковые погрешности, то, с другой стороны, они восполняются отсутствием образов.

Человек с портфелем. Восполняются в самом высоком смысле? (Угловому). К вам у меня один вопрос... (Что-то ищет в записной книжке).

Угловой. Не ищите, не надо. Я уже знаю, что ковыль мужского рода. Прошу эту мою строфу считать недоразумением:

То ли небывь, то ли бывь,  
Эх, великолепье —  
Дремлет тихая ковыль  
По над полем-степью.

Человек с портфелем. Только одну стру?

Угловой (закрывает лицо руками). Отдайте меня в неполную среднюю школу! Полной мне все равно не выдержать. (Плачет).

(Входит Шекспирчук.)

Шекспирчук. Я, кажется, опоздал?

Человек с портфелем. Нет, в самый раз.

Шекспирчук. Приветствую, Гертруда Тимофеевна! Ба! Да вы чем-то расстроены. Здравствуйте, товарищи! (Человеку с портфелем). Простите, все забываю вашу фамилию. (Заметив стонущего Углового). Да что тут происходит, чорт возьми?!

Человек с портфелем. Полтора часа тому назад в метро произошел несчастный случай. Незнаемый пассажир, читавший книгу, потерял сознание и отправлен в институт Склифассовского в тяжелом состоянии.

Шекспирчук. Но при чем тут все мы? Я?

Человек с портфелем. Скажите, когда вы в последний раз встречались с вашим читателем?

Шекспирчук. На читательской конференции... Дай бог памяти, это было с месяц назад в клубе завода имени... Простите, все забываю вашу фамилию...

Человек с портфелем. Что вы там делаете?

Шекспирчук. Читал свою новую пьесу. Это уже третья моя пьеса.

Человек с портфелем. И после этого вы утверждаете, что не имеете к несчастному никакого отношения?

Шекспирчук. Но, простите, все забываю вашу фамилию. Я не вижу связи...

Адюльтерн (перебивает). Не запирайтесь, Вильям Кузьмич, умоляю вас, это бесполезно (глубоко вздыхает). Мы все уже сошлись.

Шекспирчук. Хорошо, я скажу все. Я написал пьесу. В ней восемь картин, четыре действия и почти ничего не происходит. Нет становления личности, развития характеров, языковой, персонифицированный... (Утирает пот).

Человек с портфелем. Почему же вы предложили ее театру?

Шекспирчук. Потому что после удачной пьесы драматург имеет право написать подряд три неудачных.

Человек с портфелем. Почему же вы пишете, так сказать, в обратном порядке?

Шекспирчук. От перестановки слагаемых сумма не изменяется.

Человек с портфелем. У меня больше вопросов нет.

(Уходит).

Адюльтерн (гневно). Я думаю, Илюдоо Паофеныч, что после того, что произошло...

Непотерплюев. Если говорить начистоту, Гертруда Тимофеевна, роман ваш весьма средневат, даже плох...

Шекспирчук. Стойте! С чего вы взяли, что этот человек что-нибудь о нас с вами знает? Это же просто розыгрыш! Впрочем, сейчас я все выясню. (Набирает номер). Институт Склифассовского? Говорит Шекспирчук. Да. Скажите был ли вам доставлен сегодня вечером больно пострадавший в метро? Нет?! Спасибо! (Кладет трубку). Вот видите? Все это вздор. Нас одурочили. А мы-то, чорт побери, разоткровенничались! Простак! Провинциалы!

Адюльтерн. Прошу к столу, товарищи. Чай совсем остыл.

(Звонит телефон).

Шекспирчук — Да?! Я. Что? Не может быть! (К остальным). Говорят из института Склифассовского. Только что туда доставлен гражданин, потерявший сознание в метро.

(Немая сцена).

Занавес.

Редколлегия: М. М. Розенталь, А. А. Сурков, К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва, в. Пушкинская площадь, 5.  
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

А 0311. Подписано к печати 27/II — 46 г. Тираж 61.000. Зак. 53.  
14 печ. листов.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано с набора в типографии газеты «Правда» имени Сталина Москва, ул. «Правды», 24.